

ISSN 0130-7673

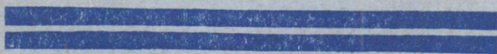
ЖОВЬИ МИР

||
1
||

ЖОВЬИ МИР

|| 1984 ||

1



1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ — Будем собою..., О добрых людях, Да, пора...	
Стихи. Перевел с украинского Н. Котенко	3
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ — Небо Урала, стихотворение	5
ДАНИИЛ ГРАНИН — Еще заметен след, повесть	6
СЕРГЕЙ СМИРНОВ — Жигуля, мои вы Жигули!..., поэма	56
В. МАКАНИН — Где сходилось небо с холмами, повесть	68
ИРИНА ВОЛОБУЕВА — Новые стихи	103
ОЛЕГ ЖДАН — Два рассказа	104
УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — Чрезвычайный посол, повесть. Перевел с англий- ского Ю. Здоровов	144
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. РОСЛЯКОВ — Чужое и свое	177
ПУБЛИЦИСТИКА	
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Горячий пепел. Хроника тайной гонки за об- ладание атомным оружием	201
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСАНДР КРИВИЦКИЙ — Старый и верный друг	224
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — Диалоги с прошлым	233
МИКОЛА БАЖАН — Мир героев Олеса Гончара. Авторизованный перевод с украинского К. Григорьева	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	247
Лев Озеров . Неприкосновенный запас.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Наум Мар. Люди под жарким солнцем.	
Александр Басманов. На службе русского искусства.	
Вик. Ерофеев. Памятник Артюру Рембо.	
<i>Политика и наука</i>	258
А. Кондратович. Поездки и портреты.	
К. Левития. Кибернетики спорят.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Н. Макарова.—Очерки русской литературы в Сибири. ✦	
И. Роднянская.—Владимир Портнов. Равновесие. Избранные стихи. ✦	
Вл. Котовсков.—М. Б. Храпченко. Горизонты художественного образа. ✦	
Я. Звездов.—А. Ф. Хренов. Мосты к победе. ✦	
Д. Изборский.—В. Левин. Свидетели из Каповой пещеры. ✦	
Ю. Михайлов.—Эдгар Чепоров. Как делаются сенсации. ✦	
П. Черкасов.—В. О. Ключевский. Неопубликованные произведения. ✦	
В. Буров.—Л. Е. Бежин. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III—VI веков. ✦	
Викентий Матвеев.—Даниил Краминов. Люди и ракеты. ✦	
Александр Левиков.—Анатолий Аграновский. Совершенно не секретно	263
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ



НЕБО УРАЛА

Я и дымным и темным люблю
это синее небо Урала,
что ни коршуну, ни воробью
ни великим, ни тесным не стало.
Сколько солнечный шар простоял
в этом небе!

Века проходили...
Все записано в хронике скал,
побелевших от выжженной пыли.
Знают степи небес этих зной,
ветерок налетит — обжигает,
и как будто стеклянной волной,
серебрясь, ковыли набегают!..
Но умолкнет кузнечиков хор
и со свистом завоюет метели
там, где суслики, стоя у нор,
в летнем зное тоскливо свистели...
И над снежным сияньем земли
вновь увижу, как в юности ранней, —
в неподвижные тучи зимы
дым вплетается индустриальный...
Мне с годами понятней уже,
что так тянет нас к сфере небесной:
те же тучи и солнце в душе,
те же звезды, высоты — не бездны!..

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

ЕЩЕ ЗАМЕТЕН СЛЕД

Повесть

I

В конце квартала, когда к нам съехались представители заводов с заявками насчет инструмента и творился суций бедлам, ко мне позвонила незнакомая женщина. Она принялась расспрашивать про Волкова, которого я должен знать, поскольку я воевал вместе с ним на Ленинградском фронте. Сперва я решил, что это недоразумение. Не помнил я никакого Волкова. Но она настаивала — ведь был же я в сорок втором и сорок третьем годах в частях под Ленинградом. Что значит — в частях? В каких именно? Она не знала, видимо, она представляла себе фронт чем-то вроде туристского кемпинга, где все могут перезнакомиться. В доказательство она назвала номер полевой почты. Как будто я помнил, какой у нас был номер. А вы проверьте, потребовала она. Интересно, каким это образом проверить? Меня все больше злила ее настырность. У вас же есть письма, невозмутимо сообщила она. Какие письма, закричал я, представив себе, что надо ехать за город, рыться в дачном сундуке. На это она, словно отвечая моим мыслям, сообщила, что специально приехала в Ленинград из Грузии повидать меня. Очень жаль, но тут какая-то ошибка, я Волкова не знаю, я занят, я не смогу ей быть полезным — так, со всей решительностью и сухостью, я обозначил конец разговора. В ответ она объявила непреклонно, что все равно повидает меня, хочу я этого или не хочу, и лучше не спорить, потому что потом мне будет неловко. Самоуверенность ее могла вывести из себя и более спокойного, чем я, человека. Я хлопнул трубку на аппарат. Она тотчас позвонила снова. У меня сидели заказчики, и я должен был взять трубку. Она спокойно принялась стыдить меня фронтовым братством, хваленой преданностью боевым друзьям, которые не жалея сил разыскивают друг друга, весь тот шоколадный набор, которым потчуют по радио и в праздничных телепередачах сладкоголосые, умиленные журналистки. Я взвился, неизвестно, что бы я наговорил ей, но она, не слушая, обещала привести какие-то неоспоримые факты, сыпала датами, именами и вдруг произнесла имя-имечко, каким меня звали давным-давно, окрестили те, кого уже не увидишь на этой земле. Те, кто засыпали со мною в казарме на двухэтажных койках, топали строем по булыжникам тихого Ульяновска с посвистом и песней. Там, в училище, и прилепилось ко мне: Тоха. Антон — Антоха — Тоха — так и докатилось до фронта, куда мы прибыли досрочными лейтенантами для прохождения службы в танковых частях, которых уже не было. Танки на Ленинградском фронте к тому времени превратились в огневые точки, закопанные в землю так, что торчала одна башня с орудием.

С тех пор меня никто не называл Тохой.

Ладно, сказал я, приходите.

Что-то у меня сбилось с этой минуты. Конечно, я дал слабину. На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза? Много лет как я запретил себе заниматься этими цацками. Были тому причины.

Успокоился я на том, что все кончится просьбой насчет инструмента. Вне очереди или без фондов отпустить чего-то. Так всегда бывает. Откуда бы ни делались заходы, из любого далека — друзья-родичи, с женой в больнице лежали — и вдруг: вот тут бумажечка, подпишите. Никто ко мне так просто, за здорово живешь не приежжает.

На этом я успокоился, забыл о ней, и, когда назавтра она появилась, я не сразу сообразил, что это именно она. Появилась она в моем закутке как очередной посетитель из тех, что томились в коридоре. Остановилась в дверях, оглядывая меня недоуменно.

— Вы Дударев? Антон Максимович?

На дверях было написано. Никто не задавал мне здесь такого дурацкого вопроса.

Она продолжала изучать меня с непонятым удивлением и вдруг хмыкнула. Смешок прозвучал неуместно, обидно. Она представилась. Я узнал ее низкий голос по легкому кавказскому акценту. Фамилия ее была Нижерадзе, звали Жанна, дальше следовало труднопроизносимое отчество, и она просила звать по имени, как принято в Грузии. Была она не молода, много за сорок, но еще красивая крепкая женщина, копна черных волос нависала надо лбом, делая ее мрачно-серьезной.

Волков Сергей Алексеевич — повторяла она упрямо, как гипнотизер, следя за мною угольно-черными глазами. Я подтвердил, что не помню такого. Слова «не помню» вызвали у нее недоверие. Ей казалось невозможным не помнить Волкова. А Лукьянова я помню? И Лукьянова я не помнил. Это ее не обескуражило, наоборот, как бы удовлетворило.

После этого она успокоенно уселась, выложила на стол объемистую оранжевую папку.

— Может быть, вам неприятно вспоминать то время?

Если бы она спросила от души, может, я что-то и объяснил бы ей, но в тоне ее звучала укоризна.

— Как так неприятно? — сказал я. — Это наша гордость, мы только и делаем, что вспоминаем.

Она протянула мне письмо. Старое письмо, которое лежало сверху, приготовленное. На второй странице несколько строчек были свежее отчеркнуты красным фломастером:

«У нас лейтенант Антон Дударев отчаянно несогласен в этом вопросе. По его понятию любовь только мешает солдату воевать, снижает боеспособность и мужество. А вы как, Жанна, думаете? Милый этот Тоха, как мы его называем, жизненной практики не проходил, можно сказать школьный лейтенант-теоретик. Я же доказываю, что сильное чувство помогает сознанию. За любовь, за нашу молодость мы боремся против немецких оккупантов и защищаем Великий город Ленина».

Лиловыми чернилами, какими теперь не пишут, косым ровным почерком, каким тоже уже не пишут, письмо говорило о том, кто когда-то был мною.

Гладкое лицо ее оставалось бесстрастным, жизнь шла в темноте глаз, она мысленно повторяла за мною текст, и где-то в черной глубине проблеснула улыбка. Это был отблеск той внутренней улыбки, с какой она сравнивала меня и того лейтенанта. Я увидел — ее глазами — обоих: тоненького, перетянутого в талии широким ремнем, в пилотке, которая так шла шевелюре, и в фуражке, которая так

шла его узкому лицу, в кирзовых сапогах, которыми он умел так лихо щелкать, — молочно-розовый лейтенант, привычный портрет, который она набросала себе по дороге сюда, и другого — плешивого, с отвислыми щеками, припадающего на правую ногу от боли в колене; скучный, малопривытный, невеселый тип, который и есть тот самый Тоха. Не ожидала она увидеть такого? От совмещения этих двух фигур и произошла улыбка. Наверное, это было и впрямь смешно. За тридцать с лишним лет каждого уводит куда-то в сторону. Никто не стареет по прямой...

— Это про вас написано? — спросила она.

— Может, и про меня, теперь трудно установить.

— Никакого другого Антона Дударева в Ленинграде нет. Вашего возраста, — добавила она.

— Чье это письмо?

— Лукьянова Бориса.

Она ждала. Она была уверена, что я ахну, пну слезу, что из меня посыплются воспоминания. Ничего не найдя на моем лице, она нахмурилась.

— Пожалуйста, читайте дальше. Читайте, — попросила она. — Вы вспомните.

Она как бы внушала мне, но у меня даже любопытства не было. Ничего не отзывалось. Пустые, давно закрытые помещения. После смерти жены я перестал вспоминать. Преданность воспоминательному процессу вызывала у меня отвращение. Пышный обряд, от которого остается горечь.

«Молодость, как гордо звучит это слово. При любой обстановке она требует своего и заставляет человека испить хоть маленькую дозу своего напитка. Жанна, я самый обыкновенный парень, это нас должно еще больше сблизить, конечно, если вы ничего не имеете против. Несколько слов о себе. Родился в 1918 году. До войны работал проектировщиком. Проектная работа мое любимое дело. Время проводил весело. Лучшим отдыхом были танцы. Музыка на меня действует сильно. В саду летом, в клубе зимой меня можно было встретить неумоимо танцующим вальс «Пламенное сердце», польское танго, шаконь и другие модные танцы. В общем, люблю жить, работать и отдыхать. Жанна, прошу выслать фотокарточку, как та, которую я видел у Аполлона. Жду ответа, с Вашего позволения шлю воздушный поцелуй. Борис».

Конвертик розовенький, на нем слепо отпечатана боевая сценка — санитарка перевязывает раненого бойца. Такие конвертики и я посылаю. Почему рисунок этот должен был успокаивать наших адресатов, неясно. Штемпель — май месяц сорок второго года.

Та блокадная весна... Молодая, неслышанно зеленая трава на откосе. Солдаты наши лазали за ней, варили в котелках крапиву, щавель, одуванчики, жевали, сосали сырую зелень расштаннанными от цинги зубами, сплевывали горечь. Слюна была с кровью. Вспомнилась раскрытая банка сгущенки. Она стояла на нарах, после обстрела в нее сквозь щели наката насыпался песок. Вот такие пустяковины бренчали в моей опустелой черепной коробке. Значки той поры. Как он съезжился — круг, освещенный коптилкой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигались какие-то тени, безымянные призраки.

— Припомнили?

— Нет.

— У меня есть фотография.

Она действовала с терпеливой настойчивостью, надеясь как-то оживить мои мозги явного склеротика.

Одна фотография пять на шесть, другая совсем маленькая — на офицерское удостоверение. На первой — мальчик, мальчишечка задрал подбородок, фуражка с длинным козырьком, плечи прямоуголь-

ные, скулы торчат, медалька какая-то блестит. Бессонница, голодуха обстругали лицо до предела, а вид держит бравый, упоен своей храбростью и верой, что обязательно уцелеет. Где-то и у меня валяется такая же карточка. Фотограф кричал: «Гвардейскую улыбочку!» Половина избы снесена. У печи угол затянут плащ-палаткой. Перезаряжать он лазил в погреб.

— Как же так, вы должны его знать,— совершенно непререкаемо сказала она, и я стал вглядываться.

— Это что же, адъютант комбата два? — спросил я.— Так это старлей Лукьянов! Так бы сразу и говорили.

Чуб у него был золотистый, курчавистый. Послышался его хриплый хохоток. Франт, пижон, гусар — и отчаянный, без всякого страха. На другой карточке он уже капитан. На обороте написано: 1943 год, ноябрь. Полтора года прошло. А как повзрослел. Год передовой засчитывался нам за два, следовало бы его считать за четыре. По карточкам видно, как быстро мы старели. Тогда это называлось — мужали.

— Узнали! — сказала она.— Вот видите.

— Где он? Что с ним?

— Понятия не имею,— произнесла она, как мне показалось, без особого сожаления.

— Это все его письма?

— Часть его.

— Вам?

— Мне.

— Значит, вы с ним долго переписывались?

— Долго,— она кивнула, понимая, куда я клоню.

— И чем это кончилось?

— Плохо кончилось,— весело сказала она.— Но это сейчас неважно. Я писала ему как бойцу на фронт,— пояснила она.— Было такое движение. Помните?

— Да.

Я помнил такое движение. Оно приезжало ко мне в госпиталь, это движение, прелестное зеленоглазое движение.

— С ним в части служил и Сергей Волков,— тем же внушающим голосом говорила она, следя за моим лицом.— Сергей Волков.

— У вас потом с ним что-то произошло?

— С кем?

— С Лукьяновым.

— Ничего особенного. Что вас еще интересует?

— Не злитесь, вы же сами меня раздражили.

— Ничего между нами не было.

Она нахмурилась. Угрюмость ей шла. Недаром Лукьянов что-то нашел в этой особе. Он был ходок и разбирался в женщинах.

— Жив он?

— Не знаю.

— Как же так? — сказал я.

Она сердито мотнула своей черной гривой.

— Почему вы сами не знаете? Вместе воевали, друзья-товарищи, а я должна из вас клещами тащить.

— Да, не помню. Но не вам меня... Где вы раньше были? Явились не запылились, когда все быльем поросло...— Кажется, я сорвался на крик, сам себя я не слышал, а сужу по тому, как Жанна выпрямилась, с каким надменным выражением слушала меня.

— Извините, вы тут ни при чем...— сказал я.— Что вам, собственно, нужно?

— Мне нужно расспросить вас о Сергее Волкове.— Она отдельно вдалбливала в меня каждое слово.

— Повторяю, я такого не помню,— так же отдельно ответил я.— К сожалению, я больше не могу отвлекаться.

Она поднялась, захлопнула папку.

— Тогда я вас подожду,— сказала она.

— То есть как это?

— Я не могу уехать, не выяснив.

— После работы я буду занят. Да кроме того, я вам уже все сказал.

— Вы вспомнили Лукьянова, вспомните и Волкова. Я буду вас ждать внизу, в вестибюле.

В кабинете было душно. Посетители сменялись. Я подписывал бумаги, сочувственно кивал, вздыхал, отказывал, отодвигал бумаги, а сам незаметно растирал пальцы. Стоило мне завестись, как у меня сводило пальцы. Лег пять уже таким образом давала знать себя рана в плече. Очнулась.

В каморке моей умещались два облезлых кресла, старый сейф, о который все стучались. В сейфе я держал лекарства, девочки прятали туда подарки, купленные ко дню рождения кого-нибудь из них. Полутемная скошенная конура выдавала с головой однообразие моей работы да и невидное существование остального конторского персонала. Я никак не мог успокоиться. Вместо Жанны представился мне Борис, такой, как на фотографии, чуб из-под фуражки, ремень со звездой, Борис тоже, небось, ухмыльнулся бы, оглядев эту дыру и облыселое чучело за столом. Мог бы он узнать во мне лейтенанта, с которым в последний раз встретился на развилке шоссе в Эстонии? Я прогромычал мимо него на новеньком танке «ИС» — тяжелый, могучий красавец. Колонна наша шла на запад. Я стоял по пояс в башне с откинутым люком. Кожаная куртка накинута на плечи, а на плечах погоны старшего лейтенанта. Черный шлем, ларингофончики болтались на шее. Мокрые поля, красные черепичные крыши хуторов, неслышные птицы в небе, неслышно кричит и машет вслед мой бывший батальон, слышен только грохот гусениц. Весь мир ждал нас, мы двигались освобождать его, мы несли ему справедливость, свободу и будущее! Кем только я не видел себя в мечтах! Будущее переливалось, играло всеми цветами. Ну и чего ты достиг, Тоха, спросил бы Борис сочувственно, чего это ты сюда забрался? Эх, Боря, Боря, да разве можно являться через тридцать лет и думать, что все шло по восходящей? Если я был тогда молодцом, то так по прямой, вверх и должен был возноситься?

— Нет, голубчик, так требовать нельзя, такой номер не проходит!

— Да я с тебя не требую, чего с тебя требовать? — сказал Колесников. — Инструмент ваш как был дерьмовый, так и остается. И за таким дерьмом приходится шапку ломать. Было бы мне куда податься, ты бы меня тут кофеем поил с тортом, дверь бы передо мною открывал, а так я тебя должен в забегаловку водить. Ума много, а все в дураках хожу.

Я открыл было рот, он замахал руками:

— Знаю, знаю. Вы получаете негодный металл, который тоже выпрашиваете, станки у вас демидовских времен.

Разговор этот у нас повторялся ежегодно. Колесников единственный из заказчиков, который не боялся мне в глаза бранить нашу продукцию. Он честил ее теми же словами, что и я когда-то на закрытых наших совещаниях. Он единственный из заказчиков, кто позволял себе это, на этом мы и подружились. Он приходил в конце дня, и, сделав все дела, мы отправлялись с ним в «Ландыш». Со временем эта церемония вошла в привычку, мы шли туда независимо от судьбы его заявок, угощал я — за удовольствие послушать правду о качестве, о котором никто не смел заикнуться. Несколько лет назад я затеял битву за качество и, честно говоря, проиграл ее. Никто меня не поддержал. Упрекали в том, что я не патриот своего производства, что я пятая колонна... Колесников у себя на Урале

тоже воевал с туптой и показухой. Съеженный, тщедушный, бледно-синий, словно бы замерзший, он говорил с пылом, не осторожничая, расстояние между мыслью и словом у него было кратчайшим, безо всяких фильтров, он выдавал то, что было у него на уме, в натуральном виде.

— Я вас жду.

Жанна стояла у подъезда между колонн.

— Но я вас предупреждал. Мы с товарищем Колесниковым договорились,— сказал я.

— Господи, да у нас ничего срочного,— перебил меня Колесников, восхищенно уставясь на Жанну. В светло-сером плаще с клетчатым шарфиком она выглядела эффектно.— Мы всего лишь перекусить собрались,— бесхитростно признался Колесников.

— Я бы тоже непрочь,— сказала Жанна,— я проголодалась, если я вам не помешаю.

— Мне нисколько,— поспешил Колесников и посмотрел на меня. Я пожал плечами.

Малозаметное кафе «Ландыш» не нуждалось в рекламе. Крохотная зеленая вывеска была известна всем, кому надо. Кафе служило прибежищем местным выпивохам среднего слоя, а также обслуживало нашу фирму. Здесь обмывали премии, справляли мелкие юбилеи, обговаривали деликатные дела. Сюда приходили после субботников, перед отпуском, после выговора. Рано или поздно сюда перекантовывались официантки нашей столовой. В «Ландыше» они быстро менялись — хамели, толстели, начинали закладывать, но нас по старой памяти привечали.

Обслуживала Наталья. В прошлый раз один снабженец из Молдавии щедро отметил свою удачу, и сейчас она подмигнула мне, вспоминая тот шумный заход. Наталья предложила экстрасмену: бульон, сосиски с капустой, бутерброд с чавычей, кофе и, разумеется, бомбу — шампанское с коньяком. Фирменным в этом наборе был кофе, который варили не в большом чайнике, а в джезве.

Поодаль от нас в ускоренном блаженстве опрокидывали свою порцию в честь конца работы разные ханурики. Публика сюда жаловала беззлая, малоимущая, но обильная душой, здесь всегда можно было найти себе слушателя, чье сочувствие бывает незаметно.

— Это кто же, новая сотрудница? — без стеснения спросила Наталья.

— Моя личная знакомая,— сказал я.— Приехала сюда закусить из Грузии.

— То-то больно симпатичная. К вам в шарагу такая женщина не пойдет.

Исключив Колесникова, Наталья соединила меня и Жанну оценивающим взглядом, в котором было черт знает что.

Мы ели и пили, Колесников нахваливал Тбилиси, произнес тост за Грузию и грузинок. У них сразу установились легкие, простые отношения.

— В нашем возрасте, когда такая женщина обращается к нам с любой просьбой, это уже счастье,— рассуждал он.— Давайте напоим Дударева, и этот северный медведь расколется. У нас на Урале...— Он нахваливал Урал, нахваливал Грузию, и грубейшие его приемы действовали. Жанна оттаяла. Ела она с аппетитом, видно было, что проголодалась, и я представил путь, проделанный в Ленинград, хлопоты, очереди, вагонную качку, вагонный коричневый чай (представил именно поезд, а не самолет) — и все для того, чтобы встретиться со мною? Не могло этого быть!..

Она вдруг стала доставать из дорожной сумки баночки, аккумуляторно закрытые. Баночка с ореховым вареньем — мне. Баночка с инжировым вареньем — Колесникову, по связке чурчхелы каждому, ме-

шочек с печеньем, которое она сама пекла, мне. Тащила и тащила из небольшой сумки, как фокусник. Я стал упираться — да с какой стати, да зачем, да за что, да я сладкого не люблю.

Она с твердой ласковостью пояснила, что если я не люблю, то жена любит, дети любят и вообще нехорошо отказываться, таков обычай.

— Теперь я буду обязан, — сказал я. — Это похоже на взятку.

— Ха, разве взятки такие бывают? — сказала Жанна. — Вы нас обижаете.

Колесников даже заплодировал. Жанна сложила все подношения в приготовленные мешочки с видом Тбилиси. Один мешочек мне, другой — Колесникову, можно было подумать, что все у нее было предусмотрено, все заранее известно.

— Погодите, — сказал я. — Если этот гостинец предназначен источнику информации, то жив замкомполка по строевой части. Он знал всех офицеров. Он в Ленинграде. Давайте с ним созвонимся, я дам телефон.

Жанна помотала головой:

— Мне не источник информации нужен, мне нужны вы.

— Как это звучит! — воскликнул Колесников.

Он преобразился. Присутствие интересной женщины воодушевило его, заставило забыть о бедах бесхозяйственности, проблемах экономики и прочих любимых его темах. И я тоже подумал о том, как давно я не сидел с женщиной в ресторане, и хотя «Ландыш» не был рестораном, все равно было хорошо, хорошо, что не грохотал оркестр, хорошо, что Колесников разошелся и мне можно было помалкивать.

— Весь почет, вся слава и любовь достается фронтовикам, — говорил Колесников. — Мы, которым было пятнадцать-шестнадцать, оказались в тени, нам достался только комплекс неполноценности. Теперь мне все время приходится объяснять, почему я не был на войне. Мы хватили голода, страха, непосильного труда и взамен ничего не получили. Я мальчиком работал на Челябинском, орудия собирал, только начал выдвигаться — пришли фронтовики. И так всегда...

— Не завидуйте фронтовикам, — сказала Жанна. — Верно, Антон Максимович?

— Что за страсть оглядываться назад? — сказал я. — Там нет никаких указателей, оттуда нет помощи.

— Скучный человек, не ценит вас. А вы слушаете его, а не меня. Потому что он фронтовик... Я понимаю, господа, я вам мешаю. Жанна, опровергните меня.

— Зачем опровергать? — сказала она. — Вы тонко чувствующий человек.

— Выставляете? Учись, Антон, как можно изящно выпроваживать людей. Но прежде я хочу выпить за женщин. Они выше нашего понимания. Логикой их не вскрыешь. Им лучше верить, идти за женщиной, как за охотничьей собакой, она тебя приведет.

Жанна прищурилась так, что Колесников смутился и выпил свою рюмку не чокаясь.

После ухода Колесникова я налил себе полфужера шампанского и долил коньяком. Этого должно было хватить.

При Колесникове все было проще и легче. К счастью, Жанна больше не спрашивала про Волкова. Она показывала мне письма и открытки Бориса. Их было много. Они могли составить целый сборник, книжицу типичных лейтенантских писем. Я сразу подумал о своих письмах той девице, забавно, если они у нее сохраняются, перетянутые такими же резинками от лекарств.

Первая открытка, написанная химическим карандашом, гласила: «Привет с Ленинградского фронта! Здравствуйтесь, Жанна! Вы с

удивлением возьмете эту открытку... Невольно подумаете, кто ж это написал. Объясню. Я увидел Вашу карточку у моего друга по борьбе с немецкими оккупантами Гогоберидзе Аполлона, Вы его хорошо знаете, и я не мог ее выпустить из рук. Не отрываясь я смотрел на Вас. Кровь закипала в жилах, смотря на Ваши прелестные черты...— И дальше катил в том же духе. Не мудрствуя лукаво, он брал быка за рога: «Эта открытка является залогом к дружбе с тобой, Жанна, много писать нет необходимости, т. к. нет ясности в нашей связи».

Начал на вы, кончил на ты.

Писарский, ровно бегущий, без помарок почерк.

«Здравствуй, милая Жанна! Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта... В конце своего письма ты вскользь намекнула о воздушных поцелуях. Ты глубоко ошиблась. К сожалению, мне некому их посылать. Товарищей очень много, а друзья все моего пола. И если ты так холодно приняла мой скромный дар, то это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумный. Аполлон находится от меня в некотором отдалении. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа и фото».

— Зачем вы их хранили?

— Не знаю. Может, для сравнения.

— Сравнения?

— Вы читайте.

— Кто это Аполлон?

— Гогоберидзе. Может, помните? Высокий красивый мальчик с усиками. Он почти рядовым был. У него треугольник был или два.— Она помолчала.— Жених он был моей подруги. Мы втроем там на фото: Нино, я и он.

— У вас есть эта фотография?

— Где-то была...— Она стала перебирать бумаги.— Аполлон вскоре погиб. Его тяжело ранило в наступлении в октябре сорок второго года. И он умер через три дня.

— В октябре сорок второго? Что за наступление? Наверное, в сентябре.

— Нет, в октябре. Это точно.

— Не могло этого быть!

— Вы сами сейчас прочтете. Тогда пришла официальная бумага.— Она смотрела на меня с подозрением.

— Ладно, разберемся,— сказал я. Что-то тут было не так, но я не стал торопиться со своей правотой.

«Получил твое длинное письмо. Мне очень понравилось, как ты прямолинейно и действительно жизненно ответила на мои вопросы. Раз я могу надеяться, мы должны продолжать переписку и возможно лучше узнать внутренний мир друг друга. Правда, я не имею пока возможности писать подробно. Фотокарточку пришлю, как только снимусь, т. е. смогу отлучиться с передовой. Национальные отличия меня несколько не смущают, я сужу по Аполлону, с которым мы в оч. хор. отношениях. Я вообще не знаю, какую роль может играть национальность в любви. Аполлон сильно ранен, не знаю, куда его отправили и жив ли он. Пиши чаще, письма дают моральную поддержку».

У нас в роте были узбеки, двое, это я точно помню. Они говорили между собой по-своему. Поэтому и помню. А других национальностей не помню, мы тогда начисто не интересовались этим вопросом.

— Жаль, что нельзя прочитать ваши ответы,— сказал я.

— Они к делу не относятся.

— К какому делу?

— К моему.

Наталья принесла еще кофе.

— Вы мне морочите голову,— сказал я.— Так же, как морочили бедному Борису.

— Откуда вы знаете, что я морочила. Он вам рассказывал?

— Нет, об этом легко догадаться.

— Неизвестно, кто кому морочил. Разве вы не видите по его письмам? Он не вкладывал ни труда, ни трепета.

— Трепета? — Это слово меня озадачило. Наверное, я никогда его не произносил. Интересно, был ли трепет в моих письмах? — А вы?

— А я... Я считала, что помогаю фронту.

— Ничего себе помощь.

Взгляд ее похолодел и отстранил меня, отодвинул куда-то вниз так, что она могла смотреть свысока.

— К вашему сведению, я днем ходила в институт, а вечером работала в госпитале.

— Кем же вы работали? — спросил я, еще не сдаваясь.

— Санитаркой.

— Тогда ладно,— сказал я.— Санитаркам доставалось.

— Колесников прав, у вас фронтовое чванство... Вот та фотография.

Две девочки в довоенных белых платицах сидели на скамеечке в парке, у цветущего олеандра. Над ними навис мальчик — вытянутый, нескладный, какими бывают в отрочестве, когда не успевают за своим ростом. Крохотные усики темнели под горбатым носом. У одной девушки коса кинута на грудь, другая была подстрижена, с ровной челочкой, и смотрела она, в данном случае на меня, с восторгом и смущением, будто слушала признание. Это была удачная фотография. Когда-то я занимался фотографией и знаю, что такой снимок — счастливая случайность, подстреленное влет мгновение. Всех троих соединяло что-то старомодное. То ли выражение лиц, то ли поза, не берусь определить, во всяком случае довоенное, присутствующее тем годам. Я давно заметил, что каждое время накладывает свое выражение на лица. В школьные мои годы у нас висели портреты родителей отца. Я не знал их живыми, но любил смотреть на их нездешне-спокойные лица. Такие лица сохранились в картинных галереях.

Как бы там ни было, та Жанна привлекла внимание нашего старлея. С нынешней Жанной сходства оставалось немного. Все огрубело, закрылось. Время уводило от той девочки, предназначенной для любви и счастья, уводило от замысла природы в печали и горести. Были, конечно, и радости, и труд, и подарки судьбы, но сейчас, глядя на эту грузную властную женщину с тяжелым подбородком, с бесстрастным, ловко подкрашенным лицом, умеющую скрывать свои чувства, думалось только о потерях. Может, жизнь в чем-то подправила тот давний замысел судьбы? Вряд ли. Картина, задуманная художником, наверняка лучше той, что написана. Годы, если что и подправят, то обязательно под общий манер...

Она хладнокровно позволяла себя сравнивать с той девчонкой, что побуждала старшего лейтенанта к столь пылким заходам. Она не скрывала своих морщин, набухших мешков под глазами. Я мог отплатить ей за усмешку, с какой она уставилась на меня в кабинете.

Она вдруг кивнула мне:

— Вы правы,— и во тьме ее глаз вспыхнул огонь, что горел в распахнутых глазах девочки на фотографии, на какой-то миг обнаружилось их несомненное родство. Конечно, годы нельзя победить, но она не чувствовала поражения. И может, это самое главное в нашей безнадежной борьбе?

«Здравствуй, милая Жанна! Твою фотографию я поместил между плексигласовыми пластинками, чтобы не истрепать. т. к. я часто смотрю, она мое утешение. А настроение неважное, Аполлон умер.

Он пал смертью храбрых вместе с теми, кто погиб в нашем наступлении. Он участвовал в уничтожении фашистской группировки. Мы держим оборону, несмотря на все усилия противника. Фотокарточку пока выслать не могу, сама понимаешь почему. Я пока жив и вполне здоров, очевидно, судьба улыбается и хочет, чтобы мы с тобою встретились. Она хочет, чтобы я взял тебя в объятия и прижал к груди. Смысл нашей переписки должен быть не пустой тратой времени и флиртом двух представителей молодежи, а искренним чувством, которое обязательно превратится в прямую идеальную любовь. Пиши чаще, не забудь Бориса, если хочешь быть с ним!»

Я опять посмотрел на фотографию в парке, на тоненького грузинского мальчика под олеандровым кустом. Наверняка я знал его, но внутри ничего не отозвалось. Разве только ошибка с датой в письме Бориса кое-что вызвала в памяти, но об этом я не стал говорить.

Борис и впрямь строчил не раздумывая. Временами я еле удерживался от смеха. По прошествии лет в письмах выступал налет пошлости, которого раньше могло и не быть.

— Там еще есть, где про меня?

— Есть, есть.

По каким-то своим пометкам она быстро нашла письмо с подчеркнутыми строками: «...прочитал нашему Тохе там, где ты опровергаешь его рассуждения о любви. Он, конечно, стоит насмерть, но просил передать, что стихи ему понравились. Между нами, он сам стал переписываться с одной москвичкой. Она быстро вправит мозги этому бычку».

— Какие стихи? — спросил я.

Жанна не помнила. Мы оба всматривались в пустоту, я никак не мог оживить эту сцену, где Борис мне читает из письма Жанны. Выходит, мы спорили, я о чем-то думал, куда ж это все подевалось, где искать следы? Но все равно, выходит, мы с Жанной давно знали друг про друга.

— Вот видите, — сказал я, — даже вас подводит память.

— Так это мелочь, эпизод, — сразу ответила она. — Если вы вспомнили Лукьянова, то Волкова тем более. Я приехала к вам из-за него.

— А что с ним?

— Нет смысла рассказывать, пока вы не вспомните.

— Кто он был по должности?

— Понятия не имею. Он инженер.

— Это на гражданке.

Она протянула мне большую фотографию. Я смотрел на снимок, чувствуя, что она следит за моим лицом. Логика ее была проста: раз я вспомнил по карточке Лукьянова, то должен вспомнить и Волкова, они служили вместе, это ей точно известно, следовательно, я знаю Волкова.

— Может, и знал. Разве всех упомнишь? Столько лет прошло. Кто вам Волков?

— Никто.

— Никто, — повторил я, взгляды наши столкнулись, словно ударились. Я поспешил улыбнуться. — Тогда невелика потеря.

Она чуть вздрогнула, пригнулась. Мне стало жаль ее.

— Жанна, я не знаю, зачем вам это нужно, — как можно безразличнее начал я, — и не хочу вникать. Не ворошите. Не настаивайте. Поверьте мне. Как сказал один мудрец: не надо будить демонов прошлого.

Она смотрела исподлобья, подозрительно.

— Чего вы боитесь?

— Мне нечего бояться.

— Эх вы... Я-то на вас надеялась. Вы знаете, кто вы?

— Не будем. На меня это не действует. Я знаю о себе больше плохого, чем вы можете сказать.

— Но вы не должны так, не должны. Если вы знали его, то как вы можете...— Злость сделала ее старой и некрасивой. Она была не из тех женщин, что плачут. Губы ее скривились.— Глупо и унижительно просить об этом...

Она допила кофе, вынула зеркальце, принялась восстанавливать краски. Она проделывала это без стеснения, один карандашик, второй карандашик, и снова она была прекрасно-угрюмой, с диковато-чувственным лицом. Я ждал, что она скажет. Если бы она хотя бы улыбнулась мне, хотя бы спросила — ну а вы-то, Тоха, как выживаете или что-нибудь в этом роде. Но я не существовал, я был всего лишь источник информации, который оказался несостоятельным. Поставщик нужных сведений. Только для этого я и требовался всем — уточнить, найти резервы, подсказать кому сколько, составить график. Никто не виноват в том, что я сам куда-то подевался. Жена моя была единственным человеком, которого интересовало, как я, что со мною. После ее смерти уже никто не спрашивает, что со мною творится. Считается, что если я хожу на работу, то со мною ничего не происходит.

Аккуратно завязав папку, Жанна уложила ее в сумку.

— Здесь что, одни письма Лукьянова? — спросил я.

— Его и Волкова,— ответила она без интереса.

Я рассчитался, мы вышли на улицу. Жанне надо было на метро, я провожал ее через парк. В воздухе густо и беззвучно летал тополиный пух.

— Что ж, вы так и уедете?

— Посмотрим,— сказала она с неясным смешком.

Мы почти дошли до метро, когда я неожиданно для себя попросил ее дать мне эту папку до завтрашнего дня. Почитать. Может, что-то вспомнится.

Она несколько не удивилась.

— Конечно, берите. Если что — позвоните, там записка с моим гостиничным телефоном,— преспокойно сказала она.

— А как вам вернуть?..

— Завтра в двенадцать часов подъезжайте к Манежу, вам удобно?

Я несколько растерялся, похоже, что у нее все было предусмотрено. Полагалось бы пригласить ее в свой дом, но когда я заикнулся об этом, она сказала:

— Лучше, если вы завтра поводите меня по городу. Я хотела кое-что посмотреть.

Она отдала мне папку, распрощалась, не благодаря и не радуясь, и скрылась в метро.

II

Почти год дощатый мой домик простоял на замке. В комнате накопилась тьма и сырость. Я открыл ставни, затопил печь. На столе стояла чернильница и открытая жестянка с карамелью. Откуда здесь эта карамель? Я не люблю карамели. Но кроме меня никто не мог сюда зайти. Я не приезжал на свой садовый участок с прошлой осени. И зимой не был. На подоконнике лежала дощечка с красным кружком, нарисованным масляной краской. Опять я ничего не мог вспомнить. Конечно, я сам рисовал этот кружок, но зачем? Все в доме оставалось по-прежнему. Кочергу пришлось поискать. На стуле висела моя синяя фланелевая куртка. Я совсем забыл о ней. В шкафу увидел справочник машиностроителя, мне его не хватало всю зиму. Вот он где, оказывается. Я прошел на кухню, привыкая

вновь к своим вещам. Одни припоминались быстро, другие не сразу, а были и такие, вроде этой дощечки. И карамель тоже не вспомнилась.

На участке висел умывальник. Я поднял крышку. Внутри было сухо, лежала хвоя и какие-то личинки. Ворот колодца пронзительно скрипнул. Я вытянул ведро, налил в умывальник, взял синий обмылок, пересохший, треснувший.

Крыльцо покосилось, доски подгнили, все собирался менять их, да так и не сменил. И желоб под умывальник проложить. Наверное, и в этом году не сделаю. Прошел уже тот возраст, когда утром кажется, что за день все успеешь — и то, что не доделал вчера, и еще столько же.

Я обошел участок. От выгребной ямы шла вонища. Когда-то я хотел ее отделить туей, заборчик такой живой насадить.

Все на участке одичало, заросло. Грядки расплозились. Хотел еще посадить клены, серебристые елки, но посадил только два куста сирени. Сирень разрослась. Смотреть на нее было неохота, она напоминала о несделанном, лучше бы не было этих кустов.

В доме потеплело. Я выложил на стол оранжевую папку, шарил в шкафу, нашел банку сгущенки, сварил себе кофе, но вместо того, чтобы приняться за письма, лег на диван. Там валялась книжка про Вселенную. Я стал ее читать, и оказалось, что когда-то я ее уже читал. Вспомнил по рисункам. Немного нам остается от прошлого. Каким я был год назад, когда лежал на этом диване и читал эту книжку? И зачем-то уехал, и что-то было с карамельками. Приходила сюда женщина, с которой было так хорошо, и вот расстались. Все это теперь забылось, стало непонятным. Непонятно, почему надо было расстаться?

А если бы я убрал карамельки, выбросил их, то и этого я бы не вспомнил и сидел бы тут, как будто ничего и не было.

Письма Бориса были пронумерованы, сложены в стопки, стопки перетянуты резинками, писем много. В сорок втором, сорок третьем годах переписка с Жанной шла энергично. Он отвечал, как правило, немедленно, слал много кратких открыток, неизменно пылких и напористых. Его энергия удивляла. За первую блокадную зиму мы так отощали и наголодались, что никакой мужской силы не осталось в наших слабых телах. Хватало лишь воли исполнять самое необходимое — стрелять, проверять посты, помогать чистить окопы от снега. В апреле к нам приехали шефы из Ленинграда, работницы швейной фабрики. После ужина, разморенные сытостью от пшеничного концентрата, сладкого чая с огромными флотскими сухарями, женщины уснули в наших землянках. Они раскинулись, нежно посыпаемая, на наших нарах, покрытых коричневым бархатом. Мы сидели у печки, умиленные своей бережностью. Никто не пытался их притиснуть, подвалиться к ним. Мысль такая не возникала. Правда, и манкости в них не осталось. Груды, например, начисто исчезли. Разумеется, бабье устройство сохранилось, а вот не тянуло. Не было желания, никаких желаний, кроме как подхарчиться и в баню сходить. Много еще месяцев снов томящих не снилось, разговоров про баб не было... Откуда у Бориса брались пыл, страсть? Сыпал ей стихами, долго не выбирая, брал из песен:

Я пришел немножечко усталый,
И на лбу морщина залегла,
Ты меня так долго ожидала,
Много слов горячих сберегла.

Все больше о встрече, в тот Великий День, после победы. Встреча и Победа у него соединялись в одно прекрасное Однажды. Судя по письмам, при встрече должно было произойти нечто неслыханное. Вначале, конечно: «Прижать к груди и сказать: „Ты моя!“ После

этого мир озарялся огнями, играли оркестры, пели соловьи, расстился зеленый шелк лугов, солнце не уходило за горизонт, одновременно светила луна — и сразу всеми фазами. Они без конца целовались. Не могли наглядеться. Стояли взявшись за руки и в то же время лежали на высокой кровати.

Из месяца в месяц Борис не уставал расписывать радость Встречи. Он не замечал, что повторяется и становится однообразным. Потом в тоне его восторгов появилась некоторая озабоченность. Она нарастала. Если бы что-то его смущало в письмах Жанны, он бы спорил, цитировал какие-то фразы. Нет, беспокоило нечто другое, но что именно, я не мог понять. Зачем-то Борис требовал от нее все новых обещаний. Добивался заверений в верности, хотел заручиться — что меня ждет, когда я приеду к тебе? Хочешь ли ты быть моей? Он требовал определенности, требовал гарантий, настойчиво, мнительно. Удивляла его расчетливость, вроде он не такой был. Вытащил меня с нейтралки, когда я заоченел, двигаться не мог, рисковал, хотя не обязан был. На передке, правда, осторожно, не стыдился ползать в мелком окопе, зря не подставлялся. Чего ради он так добивался заверений, как будто они обеспечивают любовь? В ответ на расспросы Жанны он написал о Волкове, впервые упомянул его: «Да, я его знаю, короткое время жил с ним в одной землянке. Адрес твой он взял у Аполлона. Вина моя. Видишь ли, я не удержался, рассказывал о тебе, показал твою карточку, прочел отрывки из твоих писем. Поделился в минуту откровенности. Не знаю, что он тебе написал, но ведет он разговоры о женщинах не в моем вкусе. Воззрения его на жизнь не по мне. Я человек прямой и ценю откровенность, а не подходы. Что мне нужно, пишу прямо, интимными церемониями не занимаюсь, паутину не раскидываю. Длинные письма, Жанна, я не пишу, я предпочитаю писать короткую правду, чем длинную ложь. Вывод сделай сама».

Собственно, с этого началась та житейская история, что росла по извечным законам любви и ревности среди посвиста пуль и осколков, между боями местного значения, проходами в спиралях Бруно и минными полями, под гулом бомбардировщиков, летящих на Ленинград.

В следующий раз о Волкове он написал злее, хотя, на мой взгляд, все же сдержанно, мог бы выставить его похуже... Но тут я обратил внимание на записку, приколотую к письму. Свеженько-белый листок, на нем знакомым, сочно-красным фломастером написано: «Прошу Вас, читайте по очереди письма Волкова и Лукьянова,— так, как я их получала. Ж.».

Будто угадала, что я предпочитал Борины письма, что в письма Волкова я не собирался заглядывать. Выходит, все у нее было предусмотрено — и то, что буду читать переписку, и то, что папка окажется у меня дома, и то, что надо подсказать. Я вспомнил, как она преспокойно передала мне папку, словно знала, что в конце концов я сам ее попрошу. Не очень-то приятно, когда твои действия просматриваются наперед, оказываешься примитивным устройством — этакая заводная игрушка зеленая лягушка.

Волковских писем было много — три увесистых пачки. Пронумерованы, разложены по порядку, с тем, однако, отличием, что письма его истерты на сгибах, поматы, их, следовательно, перечитывали, носили в сумочке, в кармане. Я разложил их на столе — нечто вроде пасьянса: письмо, открытка, конверт зелененький, конверт серенький. Аккуратно-печатный почерк, каждое слово вырисовано. Ох, как не хотелось мне братья за них. Не мог заставить себя. Встал, вышел на крыльцо.

Вечерний птичий гам бушевал в пахучей зеленой теплыни. Вот где буйствовала жизнь. От заброшенности, неухоженности участка жизнь выигрывала, прибывала. Всюду громоздились кротовые гуд-

ки вывороченной земли. Дорожки заросли, расплзлись, захваченные повилкой, диким горошком. Я смотрел в небо, которого нет в городе, стараясь войти в покой этого вечера. Птицы не занимаются воспоминаниями, думал я, они поют, переговариваются, поглощенные счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь настоящее и будущую зиму. Они куда мудрее человека, всегда по пояс погруженного в свое прошлое.

Эти блистательные мысли меня тешили, но не помогали. Я все больше уходил в прошлое, как в трясину. Чугунное лицо Волкова, оживленное фотографией, приблизилось вплотную. Обритая наголо круглая шишковатая голова напоминала бюсты римских императоров из черного мрамора, что стояли в Камероновой галерее. Пули цокали по ним, не оставляя следов. Голос его тоже звучал чугуново-звонко: «Читать чужие письма, лейтенант Дударев, это подлость!» Слово «подлость» звучало невыносимо, как подлец. Все сработало автоматически, я размахнулся дать ему по морде, но он перехватил мою руку, вывернул так, что я вскрикнул от боли. Волков был куда сильнее меня, но то, что я вскрикнул, было унижительней, чем его слова.

После бомбежки я нашел у развороченной землянки листки. Я не сообразил, чья это землянка, поднял листок и стал читать, сперва про себя, потом вслух, потешаясь над чьей-то любовной дребеденью. Это была разрядка, и все обрадовались возможности пошохотать, когда подошел Волков. Моя шутка обернулась серьезным скандалом. Я кинулся на него с кулаками, он отшвырнул меня — все это в присутствии бойцов! Я схватился за револьвер. Меня оттащили. С этого дня я возненавидел Волкова. Потом было всякое, на передовой друг без друга не обойдешься, но обида засела во мне прочно.

Какие каверзы подстраивает жизни! Зачем ей понадобилось через столько лет подсунуть мне его письма?

Я вернулся в комнату, оставил дверь открытой в сад, в шорох молодых листьев, в неутраченный птичий шум, непонятный нам разговор о чем-то. Я сел за стол. Что в них, в этих волковских письмах? Во мне все напряглось, как в детстве в ожидании наказания. Кроме той несостоявшейся драки было потом куда более серьезное. Не за этим ли пожаловала ко мне Жанна? Потребовать ответа! Все же существует, значит, закон возмездия. Давно уж занимало меня его действие. Он то подтверждался, то нарушался, но я считал, что это не нарушение, а мое незнание — потому что действие его могло быть скрытым, неизвестным мне. Рано или поздно зло должно наказываться. Не всегда воздается виновнику, может воздаться его детям, потомству, но какое-то равновесие природа должна восстановить. Если справедливость не сумеет восторжествовать, тогда она зачахнет, тогда человеку не на что надеяться. От школьных лет остался мне невнятным эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». Что он означает? Кроме божественного, уловлен ли тут закон, по которому творится суд над нами?..

Первое письмо было про то, как Волкова поразила фотография Жанны: «Как выстрел в упор из ракетницы!» Фотографию Борис выпросил у Аполлона и повесил ее над нарами. (А про выстрел я вспомнил — был у нас случай: кто-то в землянке выстрелил из ракетницы, действительно ослепнуть можно.) Увидел Волков карточку, Борис ему прочел кусок из письма, произвело все это впечатление сильное — «беззащитностью Вашей, опасно соединенной с отзывчивостью и умением чувствовать тонкости, нам недоступные». Читать было неловко, такие он кренделя завивал: «Теперь стоит мне закрыть глаза, появляется Ваше лицо. Я изучал каждую его черточку. Вижу милую расслабленность губ, восторг жизни в глазах. Я убеждал себя, что навоображал, но теперь знаю, что Вы существо необычное...»

Строчки эти неприятно резанули меня. Напыщенные выражения каким-то образом совпадали с моим собственным впечатлением.

Жанна ответила. Она охотно отвечала тому и другому. Переписка пошла параллельно — у Бориса своя, у Волкова своя. Разница состояла в том, что Волков про свою скрывал.

От чтения их писем попеременно чувствовалось, как нарастало соперничество. Поначалу преимущество имел Борис. Бурные его признания подействовали. За ним было первенство, он имел фору. Кроме того, Волков явно переборщил. Ответ ему, очевидно, пришел суховато-колкий. Я сужу по тому, как он сменил стиль своих писем. Отшутился: полагал, что сумеет воспеть ее по-восточному, в духе Руставели, но — «с чужого голоса не пой, свой сорвешь». И дальше без выкрутасов, иронично принялся рассказывать о себе. О чувствах ни звука, о фронтовых наших перипетиях общими словами отделялся, как и Борис, неторопливо разглядывая прожитые годы, как бы издалека, по ту сторону рубежа. Письма его, признаюсь сразу, читались. Дело заключалось не в литературности, я не большой охотник до беллетристики, он заинтересовал меня своей судьбой. Обстоятельно и серьезно излагал он историю своей жизненной борьбы. Он был старше нас всех. Намного. Лет на пятнадцать. Совсем из другого поколения. Хотя по виду такой разницы не чувствовалось. Голодуха всех подравняла. В тесных, задымленных наших землянках, в окопной зиме, закутанные, замерзшие, измученные снежными заносами, ночными тревогами, нехваткой патронов, мин, потерями от ран, от голодного довольствия, мы возрастов не различали. Тем более что Волков выделялся силой. В феврале, в самое голодное время, он в одиночку тащил ящик с противопехотными минами. Судя по некоторым деталям жизнеописания, было ему лет тридцать пять. Он описывал тот слой жизни, который мне был неведом, в промежутке как бы между моим отцом и мною. В письмах его, конечно, различался умысел. Ему хотелось заинтересовать Жанну своей особой. Я раскусил это сразу, но Жанна, казалось, не замечала, ее смущала методичная манера изложения, анализ своей жизни, который производил Волков вроде бы специально ради нее. Но он выдерживал свою линию.

«Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я других не умею? У вас просквозил намек, будто я щеголяю. Давайте условимся, что мое умничание — средство от моего непомерного аппетита. Мои мозги с помощью писем к Вам усмиряют муки пустого желудка. Так что отнесите все излишества за счет желудка. Есть и другое соображение. Игривость вещь легкая. Бойкость, нахальство всегда выигрывают. Здесь меня тоже попрекают, обзывают умником. И начальству не нравится. В самом деле, почему я такой? Не знаю. Пробовал прикинуться чушкой — выходит фальшиво. Уж лучше оставаться каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было 12 лет, весь наш класс отправился в кино, и я захотел. Нужно было двадцать копеек. Я спросил у отца. Он сказал: заработай, а у меня не спрашивай. С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего всерьез я воспринял слова отца. Наверное, слишком. Он у меня был весовщик, мать прачка. У отца образование четыре сельских класса, мать неграмотная, и они признавали жизнь в труде, а не в образовании. Так как в кино я ходить хотел, то стал работать подручным у монтера. В 1920 году был голод, и я попал в колонию».

А мы числили его чуть ли не профессорским сынком! Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.

«...Мы аккуратно обследовали помойки, куда из столовых выбрасывали головки от вобл. Воровали из кладовых продукты. Взламывали замок либо окно, мальчикам хватало щелки. Тащили сухари, са-

хар, прятали на кладбище Александро-Невской лавры. Днем делились, вечером шла на промысел другая тройка. Но все же я нашел в себе силы продолжать учиться, стал монтером. В последних классах я самостоятельно брал подряды на проводку освещения и зарабатывал деньги. Мои одноклассники казались мне детьми.

Я вдруг вспомнил, как в школьные годы мы с приятелем зарабатывали починкой электрических звонков. Он снимал испорченные и устанавливал чиненные, а я зачищал контакты прерывателя, заросшие мохнатой пылью, менял катушечки. Надоело у матери попрошайничать, и мы с охотой работали. Дети любят работать. Но мне было лет четырнадцать.

В другом письме Волков рассказывал, как его потянуло к музыке. Тайком от отца он стал брать уроки «фортепианной игры» у одной старушки. Потом это открылось, произошел скандал. Были годы нэпа, была безработица... Я привык, что то время изображалось в кинофильмах только как время нэпманов и бандитов, ресторанных разгулов, частной торговли. Нэповские времена казались более древними и темными, чем дореволюционные годы, о которых я знал по книжкам. От той скоротечной поры ничего не осталось. Ни обычаев, ни мемуаров, ни памятников, ни героев. Нэп как бы отпал, начисто отрубленный, только песенки, что напевала мать, какие-то романсы, мелодии без нот и пластинок — колыбельное воздуха.

Волков брался за все, ловчил, чтобы устроиться в той непростой жизни. Окончил какие-то курсы Доброхима, стал читать лекции. Что за лекции мог читать пятнадцатилетний парень — не представляю. Зарабатывал деньги чем придется, не гнушался никакой работой, не было тогда работы непрестижной. «Химию я любил? Любил. Травил крыс в кооперативах и частных лавках. Научился. Стал авторитетным крысомором. Работал каменщиком — бил камни для мостовой, сидел на дороге, обмотавши колени портянками, между ног камень. По вечерам чертил диаграммы лекторам. Опять деньги! Музыку я любил? Любил! Слух есть? Есть! У соседки был рояль, я по слуху разучил танцы того времени — падеспань, миньон, падекатр, шимми, вальсы, фоксы, несколько ходовых песенок:

Смотрите, граждане, какой я элегантный!
Какой пи-пи, какой ка-ка, какой пикантный!

Стал тапером на вечеринках, на танцульках. Деньги, плюс к этому — накормят. Я пить не пил, ни одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную таперскую специальность, уж больно приставали. А то бы так и осталась бренчалой».

Действительно Волков не пил. Единственный из офицеров полка, кто отказался принимать положенные зимой сто граммов водки. Демонстративно отказался. Его пробовали высмеивать — он принципы выставил. Мол, во время первой мировой войны русские солдаты сражались без всякой водки и хорошо воевали, водка не помощник и так далее. Был в этом как бы упрек нам. Многие возмутились: не чересчур ли берете на себя, товарищ лейтенант, приказ наркома не по вкусу? Предлагали ему выменивать свою водку на табак, на шпроты, в конце концов не хочешь пить — отдай желающим. Найдутся. Ни в какую, уперся в принцип. Хорошо, что комиссар, мудрый мужик, перевел проблему на калории, в наших блокадных условиях водка — хлебово, дополнительное питание, слава этому замечательному приказу...

«Из таперов ушел в дворники, поливал улицу кишкой».

Из дворников на курсы слесарей при Институте труда, оттуда на курсы чертежников. Устроился чертежником на завод. Сокращение. Опять взяли чертежником...

Я все ждал, когда он приблизится к тому Волкову, которого мы знали. Пока что неустроенный паренек двадцатых годов изо всех

сил карабкался, пытаюсь найти себя, добраться туда... А собственно, куда? Куда мы карабкаемся в молодости? Его мотало — то к деньгам, то к стоящей специальности. Тянуло, согласно ажиотажу времени, к богатству, тянуло и за трубным призывом эпохи — учиться.

«У нас с Вами, Жанна, одинаковые установки. Вы малым не хотите удолетвориться. Мне полюбились эти Ваши слова. Я тоже всегда хотел самого большого для себя».

Наконец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову.

Письмо Бориса имело ту же дату. Сидя в соседних землянках, они писали свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел, темно, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались, ложку кулаком держишь, не то что писать. Землянки у нас были низкие. Борису приходилось голову пригибать. Низко, тесно, а уютно. Вернешься с наряда, с усталости завалишься на нары. Кто-то сидит чинит гимнастерку, кто-то автомат смазывает. Малиново-бархатно светятся расклеванные бока печки. Кресло колченогое стоит, которое притащили из разбитой церкви. И стоит оно, между прочим, на дощатом полу. Был в одной из моих землянок дощатый пол. Запомнился! Да, еще топор лежит в головах, чтоб не сперли. Топор, драгоценнейшая вещь в окопной зимовке.

«Добрый день, милая Жанна! Получил твое письмо и две фотокарточки. Радости не было границ. Честно говоря, я думал, что вряд ли получу от тебя (будем на ты называть друг друга, кажется, есть у Пушкина «сердечное ты, пустое вы», так, Жанна?) что-либо подобное. Я надеюсь, что ты сердиться не будешь за то, что я назвал тебя м и л о й — иначе говорить не могу. «Любовь твоя запала в сердце глубоко». Настроение прекрасное, хочется жить, бороться и приблизить час, в который мы с тобой, Жанна, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит: что меня ждет, если когда-либо я приеду прямо к тебе? Стоит ли мне думать о нашем будущем? Мы с Аполлоном были в Ленинграде. Смотрели «Три мушкетера» А. Дюма, надеюсь, ты его читала».

Тут Борис промашку дал, обращается, как с девочкой, снисходительно, Волков себе этого не позволял, он писал в полную силу уважения, может, нарочно преувеличивал, и наверняка Жанне это льстило. Прервав свою биографию, он разбирал биографии великих людей, которые служили ему примером. Один из любимых был у него Эдисон. Тоже рабочий паренек, без всякого образования, взмыл исключительно за счет таланта плюс коммерческая хватка. Насчет таланта Волков не беспокоился, он думать не хотел, что ему отпущено меньше, чем другим. Эдисон имел к двадцати годам три изобретения, Волкову семнадцать, у него к двадцати годам будет не три, а пять изобретений! Не в тщеславии была беда, тщеславие чисто мальчишеское, беда в том, что он совершенно всерьез, без шуток относился к своему соревнованию с Эдисоном. Высокое мнение о себе осталось у него и на фронте. Высокомерием можно было прекратить Волкова, но тщеславием не стоило, потому что нечто подобное происходило в семнадцать лет и со мною. Я ведь тоже увлекался Эдисоном. Папанин, Графтио, Чкалов были в моем списке, и был Эдисон, который спал пять часов в сутки и за какую бы задачу ни брался, все у него получалось... Привязанности наши совпали, меня это и злило и радовало.

Прочитав в журнале «Наука и техника» о почтовой связи между Парижем и Лондоном, Волков взялся совершенствовать ее и разработал устройство «для приема световых сигналов с летящего самолета». Наверняка туфта, наплев, но Волков привел в письме номер патента — 4467, сообщил, что вышел отдельной брошюрой в издании

Комитета по делам изобретений при СНК СССР. И о следующих изобретениях тоже сообщал номера — по памяти, что ли? Стоило мне усомниться, он сразу давал ссылку. Мог и в этом махлявать, но я чувствовал, что не врет, все точно. В 1927 году опубликовал в таком-то номере такого-то журнала статью об изобретателях-самоучках. Успех воодушевил его, он принялся выступать по радио. К тому времени он устроился на должность конструктора. Изобретателей, имеющих патенты, биржа труда обязана была направлять на работу вне очереди. Действовало такое правило. Он мог выбирать и выбрал завод, где больше платили. У него на иждивении были мать и племянник, отца которого зарубили колчаковцы. Про деньги описывал, как пытался тратить их с шиком — после танцев отвозил девиц на извозчике и одаривал кулками конфет. Публикация в журнале вскружила ему голову, он решил стать писателем. Все могу! Его приняли в литературный кружок при журнале «Резец» — самое лучшее, как он подчеркнул, объединение молодых писателей города. И музыку он стал сочинять — в 1929 году исполнил на радиостудии собственную композицию «Наводнение в Ленинграде». По поводу пятилетия наводнения 1924 года. Отмечались и такие события. «Средним писателем я бы мог стать. Я в этом убедился. Модным, успевающим наподобие Пантелеймона Романова, Льва Гумилевского, Сергея Семенова. Но ничего среднего я не принимаю. Кому нужен средний писатель?»

И Волков поступил в Технологический институт. Вечерами он зарабатывал на чертежах, по выходным посещал Университет культуры, рано утром, до занятий, бежал на стадион. Он хотел всего сразу, всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил двадцать восемь экскурсий в Эрмитаж. Столько же по городу, изучая петербургскую архитектуру. Ему надо было отличать барокко от ампира, понять гениальность Тициана, научиться слушать Бетховена и не скучать, глядя на стоящего спиной дирижера. Быть не хуже этих меломанов, которые свободно обсуждают, кто как исполняет. Знать про Платона, Демокрита и Сенеку. И чтоб не захлебнуться в этом потоке. Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что «инженер» для него означало высшую категорию людей. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Орион, и историю Исаакиевского собора. В 1937 году он получил диплом. Его послали работать мастером, потом выдвинули начальником цеха, оттуда — руководить конструкторским бюро. Продвигался он достаточно быстро, еще немного — и достиг бы большего, но началась война и он попросился в народное ополчение.

...За окном прогудела машина, хлопнула дверца, заскрипело крыльцо, в комнату вбежала дочь, за ней вошел ее муж. Они заехали за мной по дороге, как было договорено, поскольку я думал к этому времени освободиться. Дочь чмокнула меня в скулу, под самым глазом, место, куда она целовала меня школьницей, и на секунду так же привычно прижалась, ожидая, когда я поглажу, поворошу ее затылок. Делая это, я увидел у нее седые волосы. Их было совсем немного, скорей всего она еще не замечала их, три, четыре, их легко было выдернуть. Я чуть коснулся губами ее темечка, она вопросительно посмотрела мне в глаза.

— Тут такое дело, придется мне задержаться, — сказал я. — Надо к завтраму прочесть.

Она скользнула глазами по письмам, разложенным на столе, и ничего не спросила, как будто это были деловые бумаги. Тогда я сказал:

— Любопытные тут фронтовые письма. — И я рассказал в двух словах что к чему и стал читать им из письма Волкова, где было про фронт и хоть немного про наше бытие. Письмо, написанное в

газогенераторной машине. Были такие. Вместо бензина — сухие чурки: — «На бункере стоит моя походная чернильница из аптечной склянки. Кругом лес и болото. Вчера был случайно в Ленинграде, открылось несколько книжных магазинов, я их обошел, купил для Вас открытки с видами города. Женщины чистят город, видно стало на весеннем солнышке, какие они слабые. Голод унижает человека. Но сейчас, когда они вылезли из своих замороженных нор, когда они вместе и стараются очистить улицы, они уже не боятся обстрела. Это очень странно, они так рады солнцу, что при обстреле неохотно уходят с проезжей части в тень подъездов и подворотен. А я все ищу Вам какой-нибудь подарок. Но ничего в Ленинграде нет. Найти бы какую-нибудь вещь, которая сохранила память обо мне, ведь в любую минуту меня может не стать...»

Голос мой упал, перешел на скороговорку, я чувствовал, что им все это неинтересно. Это была не их эпоха. Те подробности, которые меня так волновали, нагоняли на них тоску. Моя война существовала для домашних контуженным бедром, которое время от времени приходилось растирать, шрамом на плече — когда-то дочери гордились им. Рассказы о моей войне их перестали интересовать. Сколько можно! Но им нравилось, когда я надевал ордена. И в то же время они считали, что меня обошли, я недотепа, не пользуюсь своими заслугами, позволил задвинуть себя, всего-навсего руководитель группы с зарплатой сто девяносто рз.

Зять слушал, опираясь на дверной косяк. Бледно-розовый, рыхлый, скучающий, он был так похож на первого ее мужа, что я не понимал, какой смысл было их менять. Оба они строчили диссертации, оба оценивали свой успех должностью и степенью. И чужой успех — так же. Они скучливо доказывали мне, что это показатель объективный и всеобщий: майор стремится стать подполковником, полковник генералом, кандидат доктором, доктор членкором. Маленькая должность показывает низкую ценность человека, неспособность подниматься по служебному косоугору. Жажда восхождения движет прогрессом. Им нравилось восходить, взбираться. Понижение у них означало неудачу, все равно что сорваться с кручи.

Я читал уже из упрямства. Они переглянулись. Дочь успокаивающе кивнула мужу, может, она надеялась на какой-то поворот, я чувствовал — ей неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова, мы были с ним сейчас заодно. Дочь отошла к окну, модные туфли на платформе, так они назывались, делали ее выше и тоньше.

— Мы оставили в коридоре мешок с бутылками, — сказал зять, как только я кончил.

— Ладно, — сказал я. — Поезжайте.

Она еще раз поцеловала меня и шепнула: «Не расстраивайся».

Я вернулся к сообщениям Бориса про смерть Аполлона. «С Аполлоном мы в оч. хор. отношениях... рана его оказалась сильной, не знаю, куда его отправили и жив ли он». При чем тут хорошие отношения? Может, отвечал Жанне на какой-то вопрос? Следующая открытка серо-зеленая, шинельного цвета с напечатанным на ней призывом: «Воин Красной Армии! Бей врага, не зная страха!» В открытке было про смерть Аполлона. То, что читала мне Жанна. Первая открытка о ранении написана 18 октября. Наступление мы проводили шестого сентября. Это я знаю точно, потому что меня в том бою контузило. Мы захватили насыпь железной дороги, выпрямили линию обороны и оказались над противником. Я отлеживался несколько дней в нашем медсанбате, пока не перестало тошнить. Легкое ранение мне все же приписали. У нас было много потерь. Комсорга нашего убило.

Вот к этой операции Борис, очевидно, и приплюсовал смерть Аполлона. Потому что, возможно, она была случайной, бестолковой, и нам тогда казалось, что такая смерть огорчительней, чем

смерть в бою. Меня очень мучил, прямо-таки пугал один случай. К нам прислали из дивизии связиста опробовать рацию. Мы стояли с ним у землянки, греясь на солнышке. Веселый усач травил мне анекдоты, была весна, в проталинах открылась земля, снег оседал, отовсюду слышалось урчание воды, стук капели. Заснеженные поля стеклянно блестели настом. Есть минуты в жизни, которые врезаются навсегда, со всеми красками, звуками, запахами. Мы расстегнули полушубки, подставляя себя долгожданной теплыни. Вода бежала у нас под ногами. Вдруг связист замолчал, как бы прислушиваясь. Потом он стал поворачиваться, пытаясь заглянуть назад, следуя за его взглядом, обернулся и я. На спине его из черного полушубка вылез клоч овчины. Выторнул ее и задрожал. «Что это?» — спросил я, не успевая понять. Связист начал улыбаться, зрачки его расширились, и он, помедлив еще какой-то миг, цепляясь за меня недоуменным взглядом, мягко сгибаясь в коленях, повалился вниз, лицом в землю. Талая вода заклокотала у его головы. Пуля, тихая, без свиста, правду говорят, шальная, пробила грудь навывлет. Жизнь вышла сразу, вся, безболезненно, вместе с клочком овчины на спине. Я не запомнил ни его фамилии, ни звания, помню — отдельно от лица — недоуменное выражение, с которым он уходил. Смерть долго еще выглядела как серенький клочок, вылезавший на спине. Я сам хоронил его на нашем полковом кладбище, сам написал ему домой, как он пал, храбро сражаясь. Во что бы то ни стало хотелось украсить его смерть. На войне гибель — зло неизбежное, но то, что убит он был как бы бесполезно, не в бою, попусту, представлялось ужасным, чуть ли не стыдным. Случайная смерть казалась злом войны в чистом виде. Мы как умели расписывали в письмах родным про гибель наших солдат. Вместо обстрелов, бомбежек сочиняли бои, чуть ли не подвиги, полагая, что хоть чем-то утешаем родных. Так, видать, обошелся и Борис с гибельным ранением грузинского мальчика.

В июле 1941 года Сергей Волков ушел воевать с винтовкой и двумя гранатами «по полям Новгородской области». Кроме положенного взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке, справочник по металлоторговле — «собрался между делом подучить». Так он представлял войну. Через неделю справочник выбросил, затем выбросил тетрадь, порошок высыпал, коробку оставил для пуговиц, ниток, мыла туда клал. «Сапожная щетка пошла на растопку... Тем не менее я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жанна, я вышел из самых низов, из дворников, прачек, все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом, и я не могу позволить себе утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с Вами слишком большая разница в происхождении. Борис ближе Вам, Вы с ним из одной стаи. В этом смысле я очень чувствителен...»

Мы считали его кичливым зазнайкой, который щеголял своим инженерством, а он втайне мучился дворничьим происхождением. При этом на четырех страницах расписывал свое ленинградское житье, продуманный до мелочей уют, роскошь по тем временам.

«...в нише имеется новейшая химическая аппаратура — я занимаюсь дома некоторыми опытами. Появится какая-то идея, надо тут же проверить. Я люблю, чтобы на небольшом столике, наискосок от письменного стола, лежали последние газеты и журналы, стояли вазочки с конфетами типа чернослива в шоколаде и печеньем ассорти. На письменном столе я люблю видеть букет живых цветов. Сидя в кресле, я могу, протянув руку, достать любой справочник с этикетки — *Hütte, Chemischer Calender* и другие, могу включить радио. Не забудьте, что я монтер. Стены оформлены живописью. Импрес-

сионисты, рисунки японских художников, архитектура Реймсского собора, Врубель, зарисовки Рембрандта — его жены Саскии. На окне у меня аквариум с вуалехвостами и небольшим фонтаном. А если помечтать и занять хороший телевизор, то, возможно, вы откажетесь пойти в театр и предпочтете провести вечер у меня в комнате».

Ну раскудахтался! Телевизор! Я проверил дату — 1942 год, ноябрь. Это значит в сорок втором, в раскисшей окопной грязюке, в самый непросых, когда мы мыкались с фурункулезом, он тайком, мысленно, пребывал в своем уюте с телевизором, Реймсским собором и вуалехвостами. Предательство форменное, душевное предательство!

«И полагаю, что во всем этом нет мещанства, о котором Вы беспокоитесь. Я тоже против мещанства, но здесь, на фронте, мои понятия о мещанстве изменились».

Каждый против мещанства. Никто не скажет: я за мещанство! Но этот Волков не так-то был пррст. Что такое мещанство? — допытывался он. Дореволюционное мещанство он понимал, мещанство вывалялось в столкновениях с революционностью, ну а нынче — что есть мещанство? «Когда спокойная трудовая жизнь — трудятся-то у нас все, — когда дом, уют, пусть даже герань на окнах, Вы знаете, Жанна, отсюда, из окопов, все это выглядит так прекрасно, и мещанского не различить в этих приметах».

«Не могу согласиться с Вашей фразой «мои требования к жизни иные». Требовать от жизни толку мало, требовать надо от себя, и только от себя. Жизнь нам ничем не обязана. Мы усвоили, что государство должно о нас заботиться, устраивать, обеспечивать, чуть что — требуем. А ты от себя потребуй. Разве я могу требовать, чтобы Вы прониклись ко мне чувством? Некоторые у нас считают — его в тылу обязаны любить, хранить верность и т. п. А собственно говоря — почему? Во-первых, мы, требующие это, сами себе позволяем... Во-вторых, война это проверка, а не льгота. Я могу пытаться завоевать Вас лишь трудом своих чувств».

Фразы о требовании были подчеркнуты простым карандашом.

«Посылаю Вам щепотку песка, ленинградской земли, в которую мы прочно врылись».

Я потряс конверт. Всего несколько песчинок высыпались на ладонь. Они поблескивали при свете лампы, чудом уцелевшие и сами чудо. Было так, как если бы лег на руки снег той зимы, пайка того хлеба.

Без перехода Волков выкладывал ей о кино: «Вы явно не поняли меня и простите, но Вы не представляете, что такое цветное стереокино, которое я смотрел на площади Маяковского в мае 1941 года».

Можно было подумать, что он умышленно цепляется к каждой ее фразе, чтобы втянуть в споры, надо же было завязать вокруг чего-то отношения. Но я-то знал его манеру цепляться, не соглашаться ни с кем, обо всем у него было свое мнение. Он позволял себе поучать и старших по званию. Начальнику штаба полка он разъяснил, что кабель, обнаруженный нами, шестикиловольтный, направление его и так ясно, нечего копать, проверять, идет он на подстанцию, что около нашей хозчасти, использовать его для телефонной связи можно спокойно, потому что никаких ответвлений у высоковольтных кабелей не бывает. Разъяснял он как школьнику, с терпеливостью, от которой начштаба зашелся и потом не раз честил нас всех без разбору умниками. Сейчас я сочувственно подумал, что копать мерзлую землю, чтобы проверить, не присоединился ли кто, было действительно неразумно.

Начальник штаба, аккуратный старичок, негнувшийся, весь как на шарнирах, неумоимо требовал от нас донесений, сводок, схем.

Если бы не командир полка, он бы нас замучил. Вздорный, в сущности, чинуша с воспаленной амбицией — таким он увиделся по нынешним моим меркам. Нет ничего хуже начальника, который боится признаться в своем невежестве.

...Постепенно у Жанны и Волкова образовался почтовый быт. Куда-то девалась одна его фотография, одно письмо застряло, зато другое пришло почему-то очень быстро — через девять дней. Появились как бы общие знакомые, он отвечал Жанне на расспросы о Левашове, о его приятельнице Зине, которую затем убило под Снявином. Подруга Жанны, стоматолог, иронизировала над стилем волковских посланий. Однако он оставался верен себе: «Я буду писать Вам в том же духе, потому что это и есть я, с Вами я пребываю самим собою». Он взвешивал каждое ее слово, и, видно, ей это нравилось. Никто еще с ней так уважительно не обращался.

Словно у телефонной будки, мне была слышна лишь половина чужого разговора, и я мог только гадать о неведомых вопросах и размышлениях Жанны. «Что такое подлинный оптимизм? Все же это не вера, — вдруг отвечал Волков. — Конечно, Вы правы, мы верим в победу. Но ведь не потому, что вера помогает сохранить боевой дух, т. е. верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знание. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и античеловечны, они не могут торжествовать. Мне возмущают, ссылаясь на Тамерлана и Чингисхана. Они были просто завоеватели. Фашизм пользуется страшной идеей, ненавистной другим народам. Наши идеалы общечеловечны, и они должны победить. Вот в чем мой оптимизм. Пессимистом приятно быть в юности. И, кстати, ничего плохого в этом нет. Но мне уже поздно быть разочарованным и несчастным. Я научился ценить мгновение. Мне бы еще научиться помакивать и соглашаться». И далее он язвительно описывал, как всюду он суется со своей правотой, всех поучает, и хотя то, что он требует, правильно, например, когда предлагает другую схему заграждений, это почему-то всех обижает. Про схему я не знаю, но вспомнились другие нудные его поучения: старшине он доказывал, какая каша калорийнее, замполиту — где откроют второй фронт, поправлял нас — это виден купол не такого собора, а другого. От того, что так оно и было, его терпеть не могли. И в звании его из-за этого не повышали.

В одном из писем он благодарил Жанну за открытку с изображением решетки Зимнего дворца: «Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет, потому что вся решетка сада Зимнего дворца снята еще в 1917 году, свезена за Нарвскую заставу и поставлена у сада Девятого января. Там она плохо вяжется с окружением...»

Замечание показалось резонным. Жаль, что замысел Растрелли был нарушен, вот что я подумал, и сразу же подумал, что на фронте подобное его высказывание вызвало бы раздражение. Мы ругали артиллеристов, Военторг, своих начальников, но не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть плохого в ней. Последними словами поносили мы нашу телефонную связь. Волков же говорил: радио изобрели у нас, почему же мы сидим без радики? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирают с голода в Ленинграде, допытывался он у комиссара, упрямо набывчив каменно-гладкую голову. В письмах к Жанне все чаще встречались замечания рискованные. Цензура вычеркивала какие-то строки, а кое-что и проскакивало: «Что Вы скажете, Жанна, о гимне Советского Союза? Откровенно говоря, мне больше нравится как гимн «Интернационал»...» По тем временам такого рода высказывания могли кончиться неприятностями.

Мелькнула фамилия Припутышко, из-за фамилии он и вспомнился, увиделось не лицо, а мягкие ловкие его руки, обегающие ору-

дийный замок. Он орудийный техник, кроме того возится с автоматами, диски у нас портятся. Волков обсуждает с ним работу диска и устанавливает ошибку конструкторов. Убедительно и опять почему-то неприятно. Левашов считал, что у Волкова талант сомнения — вымирающее качество. Единственный из начальников, кто защищал Волкова, был наш комиссар. Один еретик полезен для правды, говорил он. После нашей стычки из-за письма Волков относился ко мне с подчеркнутой бесстрастностью, но я-то видел за ней брезгливость, неуважение, то, что уязвляло меня больше всего другого. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей, пришлось так и делать, уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Сейчас я подумал об этом с раскаянием. Привычный образ Волкова нарушился. Письма сдвинули фокус, изображение стало расплывчатым, раздвоилось.

«...Книжка может Вам показаться любопытной как будущему строителю. Я перелистал ее. Грустно — чтобы снабдить ее данными и позволить автору делать выводы, потребовалось разрушить сотни домов, убить под развалинами десятки тысяч ленинградцев, сотни тысяч оставить без крова. Огромные потери делают автора глухим. На странице 120 он пишет: «Потери машин и людей, их обслуживающих, безусловно окупались возможностью поддерживать нормальную работу заводов и учреждений». Чувствуете? Он же сам не слышит, какую чудовищную идею провозглашает. Да разве могут чем-то окупаться потери людей? Нормальной работой! Как же называть нормальной такую работу? Сколько людей можно, по-вашему, товарищ автор, принести в жертву, чтобы учреждение работало?.. Когда будете просматривать книгу, увидите в ней трупы комаров. Я убиваю их на своей бритой голове, где их на квадратный сантиметр больше, чем на любом участке фронта. Книжку у меня вчера утащили, еле нашел. Взял ее Семен Левашов, мой приятель. Накануне я показал ему место про потери. Он парень толковый, но всегда удивляется, что можно видеть вещи иначе, чем принято. Вместе с Дударевым и Поляковым они обсуждали это место в книге и навалились на меня. Молодые эти люди имеют ум острый, но неразвитый. Все принимают на веру. Напечатано — значит, правильно. Видно, что им не приходилось заниматься изобретательством».

У меня похолодело внутри, когда увидел свою фамилию, красиво выписанную его рукой. Просто упомянул, без вражды, чуть ли не с симпатией, вместе с Левашовым.

А что же Борис? А мой Борис, поняв, что происходит, стал писать чаще, слал письмо за письмом, подтверждая свои чувства. Письма оставались короткими, он все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он сообщал, как и год назад, насчет здоровья, как рад был получить ответ Жанны, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицер в разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько там всего происходило! А в письмах ни звука. И у Волкова то же самое, да и в моих собственных письмах родным, сколько я помню, ничего про войну. Почему так было — не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе молодым.

Даже если бы Жанна не переписывалась с Волковым, все равно однообразие Борисовых писем должно было ей надоесть. Он не умел писать. Писать письма и для меня было мукой, собственная жизнь, когда садишься за бумагу, становится плоской, недостойной описания, куда-то пропадает значимость событий. Борис не замечал, как он повторяется и проигрывает. Ущемленное самолюбие подстегивало его, он злился и выглядел еще глупее. Его наградили орденом Отечественной войны за переправу — знаменитый бой, о нем сообщали

газеты, а Борис ни словом не обмолвился. Он не скромничал, повторяю, он просто не умел писать, не умел рассказывать о себе. Я хорошо понимал его. Это вовсе не достоинство. Несколько раз меня приглашали на пионерские сборы рассказать о войне. Добросовестно перечисляя я населенные пункты, которые мы оставили, затем населенные пункты, которые мы взяли, пути наступления, какие шли бои. Ребята скучали, и самому мне было скучно.

В компании Борис умел и анекдот рассказать, и спеть, и изобразить любого из нас — голосом, ужимками, вокруг него всегда было весело, он хорошо подходил к непрочному нашему житью. Кр-расотища! — рычал он, вваливаясь в землянку весь в сосульках, и сразу фитиль в высокой гильзе начинал бодрее потрескивать, прибавлялось свету, тепла. Бархатный коричневый театральный занавес он приволок из разбитого клуба. Разрезал, роздал по землянкам, создав (по его выражению) пиратскую роскошь. Ничего этого Жанна не знала. Борис предстал перед ней как долдон, недалекий бурбон. Письма Волкова Жанна читала подругам, письма Бориса ни читать другим, ни самой перечитывать не имело смысла. Знай Борис про то, как Жанне нравятся письма Волкова, он мог бы тоже расстараться. После той стычки с Волковым я наверняка рассказывал ему стиль волковских писаний, думаю, что мы посмеялись — и только. Борис считал, что всегда сдержанный Волков так вспылал, потому что совесть у него нечиста, потому что воспользовался откровенностью товарища и стал браконьерничать. В ту пору у Бориса и прорвалось: «Здравствуй, милая Жанна! Сегодня счастливый день, я получил твое письмо после четырех месяцев твоего молчания. Долго ты меня мучила, но наконец я читаю твои слова. Милая Жанна, давай не будем больше испытывать друг друга, не будем ранить подозрениями и наводить тень на ясную будущую молодую жизнь нашу. Не может быть, чтобы ты плохо думала обо мне, у тебя нет на то оснований. Для меня самое главное в отношениях — откровенность. Чего-то ты недоговариваешь. Я часто представляю, с какой радостью я прижал бы тебя к своей груди и рассказал все, что накопилось за период с первого твоего письма до последнего. Мой товарищ по оружию А. Дударев, впрочем, я тебе упоминал про него, случайно после бомбежки подобрал письмо С. Волкова к тебе. В связи с этим, если можно, напиши подробнее, что он тебе пишет. Тоха удивляется, что ты в нем нашла. Напрасно ты полагаешь, что С. Волков мой близкий друг. Не знаю, чего он тебе плетет, мы и раньше-то не были друзьями, а теперь и вовсе. Получилось, наверное, как в рассказе О'Генри «Блинчики». Обязательно прочитай. Если не найдешь, я в следующем письме пришлю. Я лично буду продолжать жить, бороться, имея мечту, что наши пути соединятся. Целую. Твой Борис».

Использовал как бы невзначай меня для укола, сам же не позволил никаких выпадов против соперника, ничем его не ослабил. Он вел себя рыцарски, единственно — указал на рассказ О'Генри, впервые блеснул, мол, тоже не лыком шиты. Откуда я знал этот рассказ? Не был я поклонником О'Генри. Следовательно, Борис пересказал. Он пересказывал Зоценко, Мопассана, О'Генри, истории с неожиданным концом. «Блинчики» — про то, как один простодушный, неотесанный ковбой влюбился в девушку. Соперник его, образованный, ловкий на язык парень, обвел его вокруг пальца. Дело было так — ковбой хотел изувечить этого болтуна за то, что тот вклинился, но парень задурил ему голову, посоветовал для успеха у девицы вести разговор о блинчиках. На самом же деле, как потом выяснилось, в той семье терпеть не могли блинчиков. Что-то в этом роде. В результате ковбой был отлучен, изгнан, и тот парень, несмотря на недозволённый прием, восторжествовал и предложил свою руку девице. Такие получились блинчики.

С помощью рассказа Борис позволил себе единственный упрек Жанне. Ревность усилила его чувства к девушке, которую он никогда не видел. «Да как же Волков так мог? — рассуждал он. — Ведь знал, что у меня всерьез завязывается. Я с ним по-товарищески поделился, а он воспользовался и тайком к ней...»

Самолюбие его страдало. Казалось, он обладал всеми преимуществами, всеми правами — и однако проигрывал. Сам виноват, не мог удержаться, рассказывал, зачитывал нам кое-что из насмешливых ответов Жанны. Я жалел Бориса, я негодовал, я искал случая отплатить Волкову за него, высказать ему все в глаза.

А волковские письма были по-прежнему длинными, подробными. «Несколько часов тому назад в штабе мне передали Ваше письмо. Безобразие, как долго идут письма. Почти месяц! Три дня назад я получил извещение, что убит мой племянник. Он был мне как младший брат. Очень я его любил. Две недели назад умерла в Ленинграде моя мамочка. Дистрофия взяла свое. Так и не оправилась от блокады. Она все хотела умереть в начале месяца, чтобы оставить карточку своей сестре. Племянник мой погиб под Синявином, там много моих друзей легло. Он был совсем молодой, жизни не знал, зато смерти навиделся. Об этом писать Вам не хочу, это не должно быть Вам интересно, хотя Вы будете доказывать обратное из вежливости. Лучше поговорим о красоте жизни, которую мы защищаем. У нас прибавили паек, помаленьку отъедаемся. Когда я был в городе, слышал по радио стихи Ольги Берггольц. Как хорошо она читала. Я думаю, после войны мы будем ставить памятник в первую очередь женщинам. И поэту Берггольц тоже. Вы пишете про кино. Я не сумел посмотреть ни «Воздушный извозчик», ни «Насреддин в Бухаре». Кино для нас труднодоступное удовольствие. Видел я «Антон Иванович сердится» — очень понравился, и фильм «Два бойца». В театр выбраться ни разу не мог. По поводу «Двух бойцов» Вы ставите вопрос: «Можно ли полюбить человека по письмам?» В фильме девушке пишет Аркадий, но подпись дает своего друга. Он вводит девушку в заблуждение. Простите, Жанна, меня вызывают... Был очень занят. Сегодня уже 10.11, т. е. на следующий день продолжаю. Вопрос Ваш не простой и для нас обоих важный. Отвечаю независимо от фильма. По-моему, полюбить можно, но только полюбить, а не больше. Любить в полном смысле нельзя. И вот почему. Любить это значит иметь человека, с которым хочешь соединить жизнь. Любовь не наступает сразу, это процесс. Природное сродство, взаимная тяга, привлекательность, начальная свободная валентность заставляют интересоваться, затем подстраиваться друг к другу. Происходят внутренние изменения, ты постепенно находишь новые приятные черты в другом человеке, и то, что, может, недавно оставляло тебя равнодушным, теперь стало нравиться. Почему? Да потому, что в тебе самом произошла подстройка, изменилась структура. Температура повысилась, и реакция соединения стала возможной. Простите, что я применяю здесь школьные физико-химические модели. Для меня любовь это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих навстречу друг другу. Есть тут общие требования — порядочность, целеустремленность, идейная общность — и есть сугубо личные требования. Допустим, внешний вид, привычки и т. п. Но когда перестройка произошла, то после этого перестаешь замечать вещи, которые раньше оттолкнули бы. У меня здесь приятель Семен Левашов получил письмо из дома, анонимное (не стесняются!), что жена его делает карьеру всеми частями тела. И Семен, побушевав, примирился с этим, потому что любит ее безумно. Но вернемся к переписке. Если общие требования Ваши можно выяснить в письмах, то личные Вы не проверите. Или получите о них не то представление. Это существенная опасность. Судя по письмам, допустим, Вам кажется, что он порядочный человек, тянется к Вам всей душой, ру-

баха-парень, молодой, горячий, передовых взглядов. Он понимает Вас, и у Вас впечатление, что нашли человека, которого искали плюс фотокарточка — облик отнюдь не уroda. Полупризнания с обеих сторон, открытости, работа воображения — и появляется чувство. Полюбить можно так же, как можно попробовать суп из котла. Снять пробу. Как будто вкусно, но когда начнете есть, эффект может быть другой. Хотите, я сразу разрушу Вашу любовь? Вы увидели его воочию, и оказывается, он слишком высок, он скособочен, он неопрятен, у него пахнет изо рта, — разве узнаешь об этом по письмам. Возьмем не так грубо. Оказалось, он скуп. Скрыга. Трясетя над каждым рублем. Или он в первую же встречу обнимает, целует при всех, подмигивает, чтобы скорее уединиться. Нет ни цветов, ни трепета. Влюбленность не задумывается над совместным бытом, у нее нет желания соединить судьбы, она не требует постоянного общения. Влюбленность, как всякое увлечение, рассчитано на короткое время, если не перейдет в любовь. Ну, хватит теоретизировать. Вы писали про архитектурный кружок и жаловались на эпидиаскоп. Действительно, у нас выпускают эпидиаскопы, не рассчитав их на долгую работу. Даю совет. Открытку, которую надо показывать, я прижимал сверху простым стеклом, она не коробится. Когда вынимал, то обязательно вкладывал в толстую книгу...»

И долго еще инструктировал, с нудной обстоятельностью, лишь в конце появилось что-то наше, фронтовое:

«...Сейчас 02 часа 33 мин. Озябли ноги. Сижу в ушанке. Кончились дровишки. На ноябрьские дежурил по части. Это письмо доберется, наверное, к Новому году, поэтому поздравляю Вас и хочу, чтобы жизнь дала то, что Вы требуете. Кругом меня жизнь прохудилась, стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если Вы пишете мне ответ, то до него я должен дожить».

На Новый год и выпал мне повод объясниться с Волковым, вступить за Бориса. Хотя он этого не просил, но я считал себя обязанным вернуть похищенную любовь. Несправедливость, учиненная над Борисом, жгла меня, ибо для юности священна жажда восстановить справедливость. Сердца наши привлекали герои, которые терпели унижение за свои подвиги, которых преследовали клевета, наветы, козни, от которых отворачивались любимые... Словом, Волков был типичный злодей, а Борис был как Овод или как Дубровский. В конце концов мне только исполнилось двадцать лет, по сегодняшним моим понятиям — мальчишка.

Был веселый офицерский ужин, кажется, была елка, откуда-то пригласили двух или трех женщин, мы с ними по очереди танцевали. Во время перерыва женщина, с которой я разговаривал, улыбнулась Волкову, который стоял неподалеку, и он улыбнулся ей. Она не слушала меня. Я подошел к Волкову и сказал, что хватит цепляться к чужим женщинам. Назвал его непорядочным человеком. Он позволяет себе писать к невесте своего же товарища. Все это совершенно хладнокровно, руки за спину, покачиваюсь на носочках. Воспользовались, значит, доверчивостью Лукьянова? Думаете, если вы такой эрудированный, вам все позволено, а мы тут скобари, тюхи серопузые? Очень я нравился себе, таким элегантным мстителем представлялся.

Но Волков все испортил своей улыбкой. Ему явно было смешно, боюсь, что от моего тона. Взял он меня под руку, отвел в сторону и сказал уже серьезно, что я ставлю в жалкое положение Лукьянова, которого здесь нет, в таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться, если мне когда-нибудь станут известны обстоятельства, мне будет стыдно.

И вот я читаю письмо Волкова об этом.

«...Встречали мы Новый год 1 января, в той самой деревеньке, из которой я писал Вам первое свое письмо. В 18.00 собрались в из-

бу. Начали с доклада о международном положении. Доклад делал наш офицер. Читал, как пономарь, сообщал всем известные истины, что Германия вот-вот будет разбита, что второй фронт вот-вот будет открыт, что у немцев все больше ошибок, а у нас все больше уменья и т. д. Кончил, мы бурно похлопали, потом были выборы в совет офицерского собрания, куда я, раб божий Сергей, тоже попал по рекомендации С. Л., единственного здесь моего товарища. После выборов ком-р части прочел напутственное слово для офицеров, чтобы не напивались, не матерились, не дрались, чтобы консервы с тарелки брали вилками, а не руками, а с женщинами обращались бережно, как с хлебом».

Я не вспомнил, а представил, как наш командир говорил, это была его интонация — не то в шутку, не то всерьез. Он сам умел выпить и погулять. Учил нас при питье знать, что пьешь, сколько, с кем и когда. Ерш, говорил он, это не разное питье, а разные собутыльники.

«Солдаты принесли скамейки в избу. Мы вошли. Три стола с белыми скатертями и на них яства, от которых мы отвыкли, — винегрет, хлеб черный, 25% белого, капуста, шпроты, селедка, благословенная водка из расчета поллитра на двоих. Стояла елка с игрушками. Вся комната была в лентах с золотым дождем. Перед входом в этот зал была маленькая комнатка, где мы прыскались «Шипром», ваксали сапоги...»

Господи, была же елка! Она вдруг появилась передо мною вся в золотом сиянии, нарядней, чем в детстве, она вспомнилась вместе с тем замирающим чувством восторга, что никогда не повторится. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Тут смешалось все — и война, прокопченная эта изба, грубый наш офицерский быт, и вдруг это видение из прошлого, когда были еще мама, папа, братишка, тетка, наш дом, еще не спаленный, старый шкаф с игрушками. Сильный и нежный запах елки, запах зажженных крохотных свечек, запах рождества мешался с запахами капусты, кожи, табака, пороха, неистребимым запахом войны. Может, в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от той елки в ночь на 1943 год.

Я вспомнил, походил по комнате, любуясь благодаря письму этой картиной, чувствуя на лице улыбку.

«Первый тост предложили за победу, второй за родину, третий за наших любимых. Приехали артисты из Дома Красной Армии».

Вот артистов я плохо помнил.

«Они сидели с нами, мы кормили их котлетами с жареной картошкой, потом начались танцы. Между танцами артисты исполняли номера. Мне было хорошо и грустно. Безумная мысль мне досаждала — откроется дверь, и войдете Вы в голубеньком платице. Есть у Вас такое? Бывают ведь чудеса? Вы войдете, все с грохотом встанут, вытянутся, Вы будете обходить нас и вглядываться, отыскивая меня. Но время шло, и Вы не появлялись. А появился крепко подвавший лейтенант Д., приятель Б. Лукьянова, и принялся меня распекать за то, что я Вас «кобольщаю» без позволения на то Бориса. Почему люди считают себя вправе лезть в чужие интимные отношения, судить о них, решать, что правильно, что неправильно? Танцевали под рэдиолу и под баян. Я сыграл несколько танцев, но получалось у меня грустновато. Потом устроили чай с пирожками с рисом. Чай был сладкий. Артисты остались очень довольны, всем было весело, и я сейчас, когда пишу, понимаю, что было хорошо, вполне прилично. В два часа ночи был минометный обстрел, а на соседнем участке фрицы попытались пройти, но их неплохо встретили. Идет война, мы защищаем великий город, отечество и при этом позволяем себе сордиться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть

достойным того, что мы защищаем. Я виноват, я попробую объясниться с Б. Л., хотя не знаю как. Любить, мечтать о любви — это, по моему, достойно даже во время такой тяжелой войны...

Меня часто отрываю, поэтому письмо нескладное. А Борису я завидую, сумел найти с Вами близкий язык, если Вы с ним на «ты». Буду надеяться, что когда-нибудь и я этого заслужу. Как бы ни сложились мои отношения с ним, лично я всегда буду ему благодарен за знакомство с Вами».

Вот и все, что было в письме Волкова о той памятной мне истории. Без обиды, без гнева, после нее чай с пирожками, причем то, что чай сладкий, для него тоже существенно. А может, он прав, с нынешнего расстояния кажется смешно, несопоставимо, что в разгар войны, на передовой такие страсти терзали нас. Идет минометный обстрел, а я петухом наскакиваю на Волкова — из-за чего?

Через несколько дней после Нового года Лукьянов вернулся из командировки, потом началась подготовка к наступлению, узнал Борис или нет о новогодней истории, неизвестно, но больше он мне о своей переписке ничего не рассказывал.

«Наконец-то, дорогая Жанна, пришло Ваше письмо от 15.04. Не понимаю, почему Вы не получаете моих писем? Я написал Вам за этот месяц три письма, каждое страниц по десять. Неужели пропали? Я повторю ответ на Ваше письмо от 17.03, где Вы не соглашаетесь с моим мнением. Мысли Ваши меня поразили, они открыли для меня иную сторону вопроса, ту, которую видит женщина. Вы пишете, что пусть тот, кого Вы полюбите по письмам, окажется и роста другого, и хром, и болен, Вы согласны на это, Вы заранее готовы перетерпеть. Вы приготовитесь к разочарованиям. Подозреваю, что Вам даже хочется пострадать, без этого любовь не в любовь. Лишь бы внутри возлюбленного имелась душа, ради которой Вы готовы лишиться многих претензий. Как у нас говорят — в милом нет постылого. Вы, девочка, способны возвыситься до такого, чего я, взрослый мужчина, все видавший в жизни, не до конца могу постигнуть, могу лишь почувствовать в этом недоступную нашему мужскому племени мудрость. Я себя останавливаю: это восторженность девичья, попробует, помучается месяц, другой, потом жизнь возьмет свое. Появится молодой да красивый, и она сменяет, почему не сменять? Но тут же чувствую, что обычная житейская логика не властна над женщиной, она ниже женского сердца. Тем-то любовь и удивляет, что любовь не поддается расчету. Разница между нами в том, что я, честно говоря, боюсь Вас увидеть. Хочу и боюсь. Потому что я составил себе Ваш образ, Ваш характер, я с Вами мысленно разговариваю и вижу каждый Ваш жест. Несомненно, Вы, живая, не совпадете с той, какую я сочинил из Ваших писем и фотокарточек. Расхождение, может, будет велико. Возможно, Вы на самом деле лучше, чем придуманная, но я-то свыкся, я-то буду укладывать Вас в прокрустово ложе. Поняли теперь, какова разница между нами? Ведь у Вас тоже сложился какой-то мой образ, а Вы несколько этого не боитесь...»

Далее Волков зачем-то с подробностями описывал, как они, но чуя в сарае после немцев, обовшивели, вся солома кишела вшами.

«Вы не представляете, что это за мерзость, когда чувствуешь, как по телу ползают десятки паразитов, и сделать ничего не можешь, сменяешь белье нет, да ее и не доставить. Переправу через реку держат под непрерывным обстрелом. Вши заполняют все складки гимнастерки, брюк, шинели, никуда от них не уйти, пришлось с ними жить более месяца. Сейчас нас отвели на отдых. Правда, всего за восемь километров от переднего края. Но все-таки эти пять-шесть дней были отдыхом. Третьего дня полностью избавился от паразитов. Рано утром затопили деревенскую баню, накалили камень. Над каменной развешивали белье, шинель, ушанку, вывернутые наизнан-

ку. Каменка обливалась водой из ведра, я еле успевал выскочить, чтобы не быть ошпаренным. Прodelав это семь раз и семь раз прокляв фрицев, я сам вымылся, натерев мочалкой тело до крови, и вот уже третий день наслаждаюсь покоем. Ни одного укуса. Утром осматриваю бойцов — чисто! Только испытав этот ужас, ценишь прелесть чистой кровати с подушкой и простынями. Мне хотелось написать Вам не только о картинах фламандской школы, а и о картинах нашей походной жизни, хотя бы об одной из них».

«Если бы Вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу! Вот с кого надо писать художникам. Будь здесь фотографы, получились бы бесценные снимки. Я ехал в кабине, метров за двести до переправы девушка-регулировщица дает сигнал «стой!». Колонна машин останавливается. Пропускаем встречные с орудиями. Они идут занимать наши позиции. Непрерывный обстрел. Бьют по лесу, бьют по переправе. Сидим молча в кабине, я и шофер. В кузове у нас мины. При близком разрыве идущие впереди солдаты бросаются на землю. Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прескучно. Время ползет медленно. Я смотрю то на стрелку секундную, то на девушку. Она стоит среди разрывов, не имеет права лечь на землю, не пригибается даже. Должна стоять и стоит. Что это — привычка? Но разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Я, например, привык бросаться на землю. Когда ее убьет, встанет другая. Потому что без регулировщиц нельзя. И снова взмахи флажков. Сколько эта переправа вывела из строя людей! Наконец она махнула нам, шофер дает газ, спускаемся к реке. Медленно движемся по шаткому мосту. Я закрываю глаза, когда рядом взмётается столб воды, а шофер должен смотреть вперед. На первой скорости перебираемся на правый берег, отъезжаем метров триста, шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит все: «Проехали!» Посмотри Вы на его лицо, запомнили бы надолго, такое в нем было, ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник?..»

Все это было и со мною: баня, и свежее белье, и переправа, и девушка-регулировщица. Я погружался в те, казалось, навсегда забытые наслаждения, присваивая себе мысли об этой девушке, даже о художнике. Я уверен, что-то похожее было в моих письмах, если они хранятся у той... фамилию ее позабыл, помнил лишь, что жила она в Москве. Провести бы опыт: дать мне почитать те письма, да еще перепечатанные на машинке, вряд ли бы я узнал, что они мои собственные. Многие фронтовые подробности читались бы как чужие. Пережитое было словно не мое, а как бы всеобщее, знакомое по кино, по книгам, — все слиплось неразлично. Но что-то, какие-то строки вдруг откликались в душе, и за ними медленно всплывали числа, названия, поднимая за собою забытые сцены.

Одно письмо Волкова было в потеках, первую страницу я с трудом разобрал. На последней же приписка сбоку, наспех, объясняла: «Случилось несчастье, проснулся в семь утра, ужас! Вода льется ручьями. Тают снега. Схемы, что чертил, пропали, письмо тоже пострадало, у меня совсем нет времени переписать его, посылаю в таком неприглядном виде. Сам весь мокрый. Ваш Сергей».

И я поежился, припомнив свою затопленную землянку. Нижние нары закрыло водой. Всплыли доски пола. А что же творилось в окопах? Я стал припоминать, и так как знал, что хочу вспомнить, то передо мною появились затопленные — по колено и выше — ледяной водой извилистые траншеи, вода стекала с брустверов, с полей, ручьями устремлялась в окопы, грозя нас вытолкнуть на поверхность. Из распада, где было боевое охранение, приползли все четверо моих бойцов, все отделение, мокрые до нитки. Распадок затопило полно-

стью. К тому же пошел дождь, ускоряя таяние. Начштаба полка кричал про отводные канавки, про то, что он предупреждал, запрещал покидать позиции. Пулеметчиков на пригорке отрезало разлившейся водой, и мы никак не могли доставить им еду. Вода со снежным крошевом наступала неотвратимо, остановив наше продвижение, ни артиллерия, ни авиация не могли помочь нам. Как мы выдержали, не помню, вижу только уплывающие дровишки, с таким трудом заготовленные, диски ручных пулеметов, ящик с гранатами, которые мы тащили, подняв над головой. Куда тащили? Наверное, на крыши землянок.

И то, что мы удержались, наполнило меня запоздалой гордостью. Испытание ледяной купелью не было отмечено ни в сводках, ни в газетах, за него не полагалось наград, оно исчезло из памяти, утонуло в весенней радости наступления. Вряд ли и в моих письмах упоминалось об этом эпизоде. Было там наверняка снятие блокады в январские солнечные дни сорок четвертого, примерно так вот, как писал Волков: «Освобождаем город Ленина, скоро узнаете об этом из газет. На шоссе — вереница легкораненых, мчатся санитарные машины, навстречу тяжелые танки с десантами, машины с боеприпасами, везут пленных фрицев...» Я жадно выискивал в письмах Волкова эти описания, в общем-то бесцветные. Но все же в них сохранилась подлинность спешки, различались звуки, которые когда-то я слышал на том шоссе, запахи движения, от которого мы отвыкли, — от него замечательно пахло бензином, дизельной копотью, развороченным асфальтом. Сквозь февральскую влажность мы входили в Эстонию. Вот и она. «Пятнадцать градусов мороза, ночевал в открытом сарае, продрог, кругом треск от выстрелов и взрывов. Похоронили многих товарищей». В другом письме тоже: «Леса Эстонии. Небо звездное. Прекрасно виден Орион и Сириус. Лежу в палатке. Рядом бойцы. Все спят. В двух километрах гремит бой. Воют наши «катюши». Наверху летит самолет, к которому несутся красные и зеленые линии трассирующих пуль. Недалеко раздастся крик часового: «Стой! Кто идет?» Поднимаются сигнальные ракеты. Вчера два снаряда упали метров в десяти от нашей палатки. Мы лежали и ждали смерти, а они не взорвались. Все мои ребята остались целы, настроение у меня поэтому прекрасное».

«Сижу около своего шалаша и давлю комаров. Напротив Надя развела огонь в ведре и положила мху. Валит дым. Мимо прошествовал повар утверждать меню к командиру части. Спросил, чем завтра кормить будут. Слушайте: завтрак — каша из фасоли. Обед — суп лапша, картофельное пюре с селедкой».

«На чердаке дома во время поисков мин нашел интересную газетку. Сохранил и оставил у себя. Я люблю такие штучки: «Газета-Копейка» от 17 апреля 1915 года. Есть интересные заметки: «Цепелины над Англией», «Как должны говорить телефонистки».

«Вчера чудно пообедали. На первое кусок семги. Суп. Рисовая каша с отбивной котлетой».

Чего это он все про жратву? Довольно бестактно, у них там в Тбилиси в это время не густо было насчет пожевать. Но я уже по уши вошел в то время и мог сообразить, что иначе быть не могло — после вареной лебеды, гнилых капустных листьев, дележки хлеба, после отечности, дистрофии, фурункулов, цинги, после того, как Силюхина у меня в роте судили за кражу картошки из кухни — украл и съел сырую картошку, — после всего этого — обилие и разнообразие еды потрясало наши души. Кусок семги — видение невероятное, так же как и обед из трех блюд с закуской — вместо термоса, который волокли ночью по ходам сообщения и потом у взводной землянки вычерпывали котелками промерзшую бурду. Каша, вываленная в макаронный суп, заменяла завтрак, обед, ужин. Все тут было

вместе. Случалось, что термос пробивало осколком, и мы куковали на хлебе и сахаре.

За то, что Надю напомнил, поклон низкий Волкову. Не пригнись я тогда на ее крик, разбило бы мне череп. Сколько раз что-то спало! Прыгни в другой окоп — разнесло бы бомбой, задержись — попал бы снаряд. Сколько было таких разминов со смертью. Они касались меня стылым крылом, и сразу приходили в движение запахи, краски жизни. Эти восторги везения, казалось, навсегда останутся сияющим воспоминанием, но нет, забылись, стерлись. Какие огромные были эти четыре года! Остальное, послевоенное, житье скомкалось в монотонное существование. Не то что годы, десятилетия неразличимо слиплись.

Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплилась, и, что любопытно, Жанна время от времени как бы питала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Простодушие, верность, прямота, а может, молодость Бориса, а может, она уставала от умных рассуждений Волкова, от его взрослости, образованности...

Пачки открыток с видами Ленинграда, каждую Волков заполнил пояснениями — что за здание, кто архитектор, когда построено. Память у него была исключительная.

«Справа стоит одна из колонн с гениями славы, подарок Фридриха-Вильгельма IV прусского Николаю I в 1845 году. За колонной виден портик бывшего Конногвардейского манежа работы Кваренги (1804 год)».

И остальные в таком роде. Он сообщал Жанне, что ведет переписку с вологодским химиком М. Чуевой о том, почему соль кристаллизуется в виде куба, разбирает с ней какой-то практический вопрос неорганической химии. Помимо архитектуры, в его письмах были суждения о живописи Рембрандта, Рубенса, Ван Гога, Пикассо, о картине Клода Моне «Бульвар Капуцинок в Париже». Из русских художников он разбирал Саврасова, Левитана. Писал о театре, критиковал статью Симона Чиковани «Грузинская литература в дни Отечественной войны». Замечания его были не безобидны. Со статьей Чиковани он расправился без жалости. Неосторожная ехидность его разбора читалась с удовольствием.

Тревожило, что он терял всякую осмотрительность, письма его Жанна читала, видимо, с опаской, я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы. Может быть, его опьянило наступление. У нас у всех появилась эйфория успеха. К тому же он один из немногих оставался не задетым ни пулей, ни осколком. Как заговоренный он орудовал с нашими минами и с немецкими, такая везучесть не могла хорошо кончиться. О своей везучести нельзя упоминать. Зачем же он писал Жанне, как он неуязвим? Война полна примет и суеверий. Слишком много там зависит от случая. Как бы ты ни смеялся над приметами, украдкой все равно сплевываешь через левое плечо.

После выхода на железную дорогу у Тарту нас сменили, и мы остановились на отдых. Приехал генерал из армии вручать награды. Прикрепляя орден, он смотрел каждому в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Я еле удержался, чтобы не подмигнуть ему. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым. Перед Волковым он задержался. Внешность Волкова останавливала начальников. Проверяющие, корреспонденты, инструктора обращались к нему. В нем виделся им то ли разжалованный полковник, то ли случайно мобилизованный директор, во всяком случае, что-то значительное, не соответствующее званию лейтенанта. Генерал заговорил с ним. Волков отделялся односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не

помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил его разговориться о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел. В этом наступлении полела вся вторая рота вместе с Семеном Левашовым, но все равно Волков не имел права так вести себя и портить праздник. Начальство еще не успело ничего сказать, мы сами навалились на Волкова, поскольку ясно — нам вперед рвать надо, а не потери считать, с фашистами надо драться, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает его в глазах начальства, которое так хорошо отозвалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разозлились на него, и он сорвался и бог знает что наговорил — что мы заработали ордена на трупах. На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры и за этот.

Вскоре после этого меня взяли в танковый полк, и от кого-то я потом узнал, что Волкова наказали, и его дальнейшую участь заволкло клубами пыли наших танков и самоходок, идущих на запад.

Но это все произошло позже. Пока же в письмах его еще царило безмятежное неведение. В одном — рисунок на всю страницу. Изображены были развалины дома, печка железная стоит на фундаменте, каменные ступени, извилистая линия бетонных опор. «Установите по этим руинам, какого стиля было сооружение, как его реставрировать. Нам теперь придется восстанавливать разрушенные города и следует научиться сохранять дорогие нашей истории постройки. На печке сидит птичка, у нее голова большая от флюса, флюс мой, но она из-за него долго не сможет чиркать».

Некоторые намеки, шуточки я не понимал, наверное, из их внутреннего обихода, которым они быстро обрастали. У них были даже размолвки и примирения. Волков попробовал определить характер Жанны, нарисовать ее внутренний портрет. Очевидно, он перестарался в своем правдолюбии, потому что она рассердилась (расстроилась?) и перестала отвечать.

«Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью, было такое, что не верил, что меня минует чаша сия. Однажды я с двумя бойцами был отрезан, и нас считали погибшими. Однако через несколько дней мы вышли, и вот, когда вернулся, я первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет Ваше письмо. Эта вера мне помогала всю дорогу. Жизнь ощущалась как никогда раньше — вернулись, без ранений, все выполнили. Вкус хлеба, вкус горячей каши, мягкость кровати, на которой можно вытянуться, лежать, сняв шинель, — каждая мелочь радовала. Письма не было. Это казалось невероятным. Почему Вы перестали писать? Никого ближе Вас у меня сейчас нет. Так получилось. Ни здесь, в части, нигде в другом месте. Винить я Вас ни в чем не имею права, так же как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы Вы решили прекратить переписку, то что я могу? Ничего. У нас нет третьего, через которого я бы мог выснить, что произошло. Не могу ж я обращаться с этим к Борису, да мы почти и не видимся, он на соседнем участке».

Дата последнего письма 14 июля 1944 года. В нем ни слова о награде, о том происшествии, когда ее вручали. Есть такие строчки: «Погиб второй мой племянник. Погиб мой товарищ Семен Левашов. У него остался братик семилетний, родители умерли в блокаду, а братишка эвакуировался с детским домом в Саратов. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против?»

И вдруг он переходит на шутливый, беспечный тон:

«Венчаемся в католической церкви — у нас есть на Невском, затем едем в православную — Владимирский собор, оттуда в загс, после едем в Тбилиси, там все повторяем сначала. Двоеженство наказуемо, а двоезагство? И вообще если регистрироваться каждый год?.. Заказал для Вас книжку «Живопись Ирака», если достанут, сразу вышлю».

Я пытался вспомнить, разглядеть малый, последний временной промежуток — от того злополучного происшествия до моего отъезда. Там, на отдыхе в Тарту, каким был Волков, перед тем как мы расстались? Ничего не вспоминалось. Но почему-то мне представилось тяжелое его, вдумчивое спокойствие, словно бы он знал о грядущей ему опасности, но относился к ней как к неизбежному злу, как мы относились к ледяной воде, затопившей окоп. И, двигаясь обратным ходом, я иначе увидел столкновение с генералом. Слова Волкова звучали обдуманно, и все его поведение не было вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы ему это ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут над ним.

Впрочем, не могло ли это мне придуматься, домыслиться сейчас? Проклятое беспамятство могло пользоваться всякими уловками, угожливо рисовать то, чего мне хотелось.

В чулане стоял сундук. Большой, крепкий, обитый железными узорными скрепами. Принадлежал он моей бабке, он один остался от охтенского их домика с флюгером, с чугунной лестницей, с полированными перилами. В сундук этот я кидал вещи, которые хотели выбросить. Спасал всякое старье. Отслуживший, сточенный охотничий нож, школьные тетради дочерей — думал, что взрослым им будет приятно увидеть свои каракули. Грамоты, которые получала жена, какие-то номера газет. На самом дне лежало то, что осталось от войны. Там был мой медальон — черный пластмассовый патрончик с фамилией и прочими данными, по которому должны были опознать мой труп. Смертный медальон, лучшее, что мы могли привезти с войны, дороже всех медалей и наград, как заявила моя бабка. Были там пилотка, полевые погоны, обойма от ТТ, танковый шлем, полевая сумка. А в полевой сумке вместе с последними листами карты Восточной Пруссии, на которых мы закончили войну, были всякие снимки, призма от триплекса и бумажки. Полевая сумка была из кирзы, потом мне предложили кожаную, но к этой я привык и остался с ней. Однажды я скатал свое военное имущество в узел, чтобы выбросить, до того надоели мне все эти реликвии. Жена пробовала отдать их в школьный музей, но там уже были и планшеты и полевые сумки. Тогда я решил выбросить, но в последнюю минуту почему-то привез сюда и спрятал.

Нынче я приехал, чтобы покопаться в сундуке. На одной из общих фотографий должны были быть и Волков и Борис. Могло там храниться и письмо Бориса, которое догнало меня под Кенигсбергом, в нем тоже могло кое-что быть.

Я поднял крышку сундука, и сразу дохнуло сладковатой прелью и слабым душистым запахом, знакомым с детства, когда сундук стоял у бабушки, прикрытый зеленой плюшевой накидкой. Был он тогда огромным, как пещера. Давно я ничего не клал в него. Места хватало. Сундук для хранения Прошлого. Но, наверное, теперь у меня пошла та полоса жизни, о которой вспоминать не придется. Уровень наполнения соответствует тому сроку жизни, который идет на воспоминания, формулировал я.

Я все никак не решался наклониться и достать полевую сумку с бумагами. Не хотелось ничего трогать. Прошлое безобидно доживало тут до своего забвения. На самом деле я абсолютно честно ответил Жанне, что не знаю Волкова. Когда она спрашивала, я его

начисто забыл. Так забывают то, от чего хотят избавиться. Это было сопротивление памяти, ее инстинкт.

Что такое забвение, думал я, здоровье оно памяти или болезнь? Благо оно либо же это чудовище, которое пожирает облики самых дорогих людей? Слышны их голоса, а лица исчезли, только колышется зеленоватое пятно, приближается, но сквозь него никак не могут проступить родные черты. Вдруг, как в насмешку, как подмиг, появляется краснорожий вагонный попутчик. Зачем изрыгнуло его чудовище памяти? Порой память целиком подчиняет себе человека, он начинает страдать памятью. У нас была одна сотрудница, тихая стеснительная женщина. Однажды кто-то из девиц, когда она что-то рассказывала о блокаде, сказал ей: «Подумаешь, делов-то ваша блокада, настоящие блокадники все на Пискаревке лежат». Глупая, даже подленькая фраза, пущенная много лет назад трусами, бездумно повторяется молодыми. Ее же слова эти поразили, она заметалась, и с той поры память накинулась на нее. Зимой, в мороз, она надела валенки, подпоясалась платком, как это делали блокадники, и пошла по улице тем путем, каким ходила в блокаду. Стояла у булочной, прислонясь к стене, садилась на панели отдохнуть, потом легла в подворотне, там, где лежала в сорок втором году. Когда узнали, что она не больна, собралась толпа, большинство не смеялось, задумчиво стояли над ней. Она продолжала свой путь «на ту блокадную работу», так же падала, беспомощно смотря на небо. Заходила в магазин на Литейном, где последний раз отоварила свою карточку. Врач-психиатр потом подтвердил, что она здорова, ею просто завладело прошлое. «Я разговариваю с ушедшими из жизни, — призналась она мне, — они меня понимают, они слушают, мне с ними хорошо». Работала она добросовестно, и со странностями ее смирились. Порой она чувствовала себя на Пискаревском кладбище, окруженной почестями, как будто это к ней идут экскурсии, кладут цветы... Эта история сильно подействовала на меня. Я не хотел отдаться во власть воспоминаний. Я избегал встреч однополчан, вечеров воспоминаний. Зачем? Я свое отвоювал, свое получил, оставте меня в покое. Люди хотят слышать про подвиги, победы, и они правы. Что же, я буду им рассказывать, как у меня вырезали взвод? Как мы прикрывались в поле трупами?

Осторожно, без стука я опустил крышку сундука.

Мне вдруг подумалось, что та история с Волковым не канула бесследно. О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броню сажали пехоту...

Письма Волкова кончились. Оставалось одно, последнее, датированное 1949 годом, но я отложил его.

А от Бориса последней была телеграмма в Тбилиси в ноябре 1945 года: «Выезжаю, встречай, целую. Борис». И все. Больше тоже ничего не имелось. История обрывалась на самом интересном месте. Как поступают в таких случаях историки?

Итак, был только белый конверт с новым обратным адресом: Хабаровский край, почтовое отделение «Залив», С. А. Волкову.

Почерк почти не изменился. Шесть больших страниц, заполненных сверху донизу, — черт возьми, если б я мог уклониться от этого чтения. Но слишком далеко я зашел, и надо было добратсья до фишиа.

«Не удивляйтесь этому письму, не возмущайтесь. Почему человек, который страдает от одиночества, не может написать женщине, с которой когда-то у него были хорошие отношения? Мы так и не увиделись. Я любил писать Вам, и, смею думать, Вы отвечали мне с охотой. Конечно, Вы сейчас с мужем, возможно, у Вас дети, ну и

что из этого? Думаю, в глазах мужа и детей то, что Вам несколько лет писал с фронта человек о своем житье-бытье, о себе, рассуждал с Вами о живописи и литературе, никак Вас не порочит. Более того, если этот человек на основании переписки проникся к Вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности — в этом тоже ничего плохого нет. Среди тех, кто Вас любил, был и некий Волков, бедняге не повезло, но все равно он был один из самых верных Ваших поклонников. То, что Вас любили, это естественно, стыдиться тут нечего. Если Вы замужем — поздравляю Вас. Но почему-то мне кажется, что Ваш муж не Б. Л. Почему, не знаю. Но если Ваш муж Б. Л., все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мною, в том не обязательно видеть его злое участие. Я сам творил свою судьбу, не буду повторяться, об этом подробно писал прошлый раз. Мне когда-то, в той жизни, хотелось познакомиться с Вашими родителями. И вот не пришлось. Иметь бы хоть одного общего знакомого! Подумать только — пять лет минуло! Я часто вспоминаю не то, что я Вам писал, а то, как писал, как это мне помогало. Одно письмо я писал под минометным обстрелом. Мы лежали в палатке — хорошо прикрытие! — и ждали, попадет или нет. Бежать укрываться было некуда. Трое моих бойцов нервно курили самокрутку за самокруткой, а я писал Вам. И тоже ждал: пронесет — не пронесет? И не переставал писать, из суеверия ни словом не упоминая про мины. Приятно вспоминать былые невзгоды». Дальше шли его стихи про войну. Там были две строчки, которые почему-то тронули меня:

Еще заметен след,
Еще нас могут вспомнить...

Где-то у меня были припрятаны сигареты. На всякий случай. Самые дешевые, горлодеры «Памир». Я нашел их в кухне на шкафу, пыльные, высохшие. От первой затяжки поплыло в голове, и слава богу, чем-то надо было отвлечься, прерваться. Мало ли что могло быть дальше? Могло быть и про меня. Почему нет?

Шел первый час ночи. Туманная бледность сделала поляну за окном призрачной. Редкие тонкие сосны как бы струились в неровном свете. Желтые электрические фонари ненужно горели на белом небе. Опечаленность была в этой картине, в этом неизвестно откуда льющемся свете. Я стоял, курил, смотрел, как вдруг мне пришел ответ на мысль, что давно мучила, — не затем ли Жанна явилась ко мне, чтобы спросить ответа за Волкова, за его судьбу? Что еще могло заставить ее приехать? Ее настойчивость, ее угрюмость, ее нежелание ничего пояснять, пока я не прочту, все, все сцепилось, сошлось. Волков ей написал, где-то узнала, кто-то намекнул, поскольку комиссара нет, командира полка нет, из тех лейтенантов один я остался, значит, с меня весь спрос. Вали на серого, серый свезет... Ладно, сперва дочитаем, там видно будет.

Каждый абзац был как препятствие, надо было перелезть, а сил не было, за каждым препятствием могло оказаться наставленное дуло.

«Как будто в 45 году я посылал Вам одно или два письма с просьбой выслать мне посылку. Если б Вы знали, Жанна, до чего мне стыдно. Бог ты мой, как я мог так опуститься? Единственным, причем не заслуживающим внимания обстоятельством могло быть только отчаянье. Очень было голодно. Послевоенное время для всех было трудное, для нашего же брата особенно. Когда я ходил на завод, я с трудом поднимался на второй этаж в свою лабораторию. По дороге три раза отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал Вам письмо, кусок сала, свитер, что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных и тех немногих друзей, которые у меня были. Почему-то я в этот момент устремился

к Вам, это была слабость, бестактность, но тогда я полагал, что Вы так не сочтете. Простите меня, Жанна, сейчас, когда я сыт, я вижу, что как бы хотел воспользоваться нашими отношениями и подкорректировать. Воистину сытый голодного не разумеет. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Сегодня праздник — Седьмое ноября. Я вернулся из гостей. Ел настоящие сибирские пельмени, тушеную баранину с картошкой, пирожки, колымский ликер, какао и тому подобные вкусные вещи. Как Вы знаете, я был наказан, но срок дали небольшой. Я в точности тот же самый, кто писал Вам письма с фронта. Сейчас я сижу в кабинете директора завода. За окном воеет пурга. Я работаю начальником производственно-технической части завода. Как раз по моей специальности технолога. Живу на вольной квартире. Оклад мой две тысячи рублей... Зачем я Вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо и чтобы Вы убедились, что и в сытости я помню о Вас. Во-вторых, потому что скучаю без Вас. Та незримая связь, которая возникла у меня с Вами, не отпускает, держит меня, и слава богу. Разумом я сознавал, что Вы могли выйти замуж, но в душе, в самой ее глубине, мечтал, что Вы ждете меня. Только последнее время эта уверенность стала рушиться. Никаких оснований ни для уверенности, ни для сомнений у меня не было. Знал только, что не могла пропасть близость, которая у нас появилась. Мы рыли тоннель навстречу друг другу. Вы пробивались к моей душе, я к Вашей. Никто так близко не добирался до моей сути, никому я так не открывался, и хотя переписка оборвалась, Ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит. Но взаимозаменяемость в постели вещь более легкая, чем в душе».

Хорошо было бы воспринимать это письмо как историческое, лишь как архивный документ тех времен, когда автомобили гудели, паровозы дымили, письма писали чернилами. Письмо было длиннущее, очевидно, послано с оказией. Наконец-то Волков мог выговориться. Он писал все так же — без единой помарочки, без абзацев, что было правильно, поскольку жизнь идет сплошняком, без абзацев и без помарок. Ошибки происходят, но как их вычеркнешь? Он рассказывал о своих делах, отвлекаясь на пейзажи и описания здешней природы. В 1946 году его вызвали в Москву и предложили работать по специальности. То есть практически его скоро заметили. Он стал руководить научно-исследовательской темой. Ему дали лабораторию. Через два года случилось новое несчастье — произошел взрыв. Волкову обожгло руки, голову, переломало кости. Чудом сохранились глаза. Когда он подлечился, его наказали. Как руководитель он должен был отвечать. Отправили в Магадан, где сделали начальником производства. С неподдельным восторгом описывал он поездку на пароходе — пролив Лаперуза, последний маяк Японии, Охотское море... Во время шторма он носился с кормы на нос, стараясь ничего не упустить. Качка на него не действовала. Он любовался бурей и сравнивал ее с картиной Айвазовского «Девятый вал». В свое время у него, видите ли, имелись сомнения — правильный ли цвет волны выбрал художник, бывают ли такие краски, особенно на гребне? Вцепившись в поручни, он проверял, огромный вал вздымался над головой, и оказалось, что Айвазовский прав. Приглядываясь к пылающим краскам тайги, он вспоминает Куинджи, Левитана, Шишкина, Васильева, ну и, конечно, заметки искусствоведа, будто он то и дело забегает в Русский музей сравнить. Любой посторонний читатель вознегодовал бы — чего он строит из себя, ваньку валяет, до пейзажей ли? Манерничанье все это! Но я-то знал, кто пишет и кому. Ему показать надо было Жанне, что в любых условиях духовная жизнь его не гасла, в нем осталось поэтическое восприятие мира, не надо его жалеть, он все тот же, ему не нужны скидки. Иногда он перебирал в своих восторгах перед дикой красотой

природы. Его благодушие сбивалось на фальшь. Ни одной жалобы, ни злости, ни укора — ничего не позволил себе. Роль трудная, под конец ему все больших усилий стоило удерживать себя, сам себя за горло держал, иногда полузадушенный вскрик послышится — одиночество («Никого у меня не осталось, и уже не приобрести»), неуверенность («Хотел бы знать, что Вы думаете, читая это письмо?»). А в целом — справился, получилась нестигаемая личность, живущая полноценной жизнью, ему все нипочем, никакие обстоятельства его не удручают. Всюду есть пища пытливому уму, вот вам целое исследование о блатном языке, происхождение словечек «шмон», «прохоря», «чернуха» и других. На предпоследней странице были строчки, подчеркнутые знакомым алым фломастером: «Недавно стало мне известно, что срок мне сократили благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков. Признаться, от него не ожидал такого, помнит о моем жребии. Узнать бы, что заставило его?»

Кто ж это мог быть? Такой же волнистой чертой Жанна отмечала строки обо мне. Я перебирал всех, кого помнил, и все больше склонялся в пользу командира полка. Последние годы перед его смертью я несколько раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас был разговор про то наше наступление в Эстонии, и генерал сказал, что прав был тот лейтенант-сапер (фамилии его не называл): неэкономная была операция, давай, давай! Азарт наступления подмял требования тактики.

Это было в характере нашего генерала — вмешаться, позаботиться, не открывая себя.

Я пробежал оставшиеся две страницы. Больше ничего, никого не упомянул из нас, никому не поставил в вину, что тогда не только не вступились — обрушились на него.

Письмо обрывалось, будто Волков понял, что никакого конца быть не может. Потом он все же приложил узкий листок бумаги: «Боюсь, не поставил ли я Вас этим письмом в трудное положение. Простите, я этого не хотел. Я не рассчитываю ни на участие, ни на ответ. Лет через пять, если буду жив, я вам еще раз напишу. До этого не опасайтесь. А ведь я к Вам привык, как ни странно. Как все неожиданно оборвалось. Какое прекрасное было начало и какой печальный конец. Но, может быть, еще и не конец, не всякая песня до конца поется. Как говорил мой отец: где конец веревки этой? Нету его, отрубили!»

Долго, со стыдным чувством облегчения смотрел я на дату, механически поставленную в углу, потом повалился на диван и мгновенно заснул не раздеваясь, как когда-то засыпал на фронте.

III

Солнце висело на шпиле Адмиралтейства, припекая пустой летний город, пыльную зелень, гранитные набережные. На площади стояли экскурсионные автобусы. По горячему асфальту тупо стучали деревянные сабо. Немцы, шведы, финны, темные очки, челюсти, жующие жвачку...

— Ну как, вспомнили Волкова?

Вопрос вырвался из нее против воли. Она долго удерживалась, вела себя как положено, совершая вступительный обмен фразами насчет погоды, предстоящей прогулки по городу. У Манежа белел новенький щит: «Выставка живописи Финляндии». С тележки продавали брикеты сливочного мороженого. Из картонного ящика дымил сухой лед.

— Ну как, вспомнили?

Все застроено, покрашено, ни одной приметы блокады не осталось. Все дочиста выскоблено. Кому нужны страсти той ушедшей за горизонт поры?

Я пришел за четверть часа, она уже сидела в сквере. Узнал я ее издали, со спины, по шапке ее неистово черных волос. Она сидела неподвижно, я прошел по соседней аллее, глаза ее были закрыты. Неизвестно, как рано она пришла.

— Еще бы, наш знаменитый сапер Волков, сапер Советского Союза его звали.

Губы ее шевельнулись, что-то прошептав, она нахмурилась.

— Вы должны мне рассказать о нем все, все, что помните.

Она волновалась, и я подумал: а что, если Волков жив? Мысль эта испугала и поразила меня.

— Вас что интересует?

— Все, все,— нетерпеливо подстегнула она.— Потом я вам отвечу.

Мы вышли на набережную. Мелкий блеск воды слепил глаза.

— Коренастый, невысокий, голос у него был густой. Он даже пел баритоном. Он был человек замкнутый.

Когда я произносил «был», ничего не менялось в ее лице.

— Что же, он много ниже меня?

Она остановилась передо мной.

— Значит, вы так и не видели его?

Она неприязненно дернула плечом.

— В том-то и дело. Я никогда не видела его.

Я подумал, что Волков был действительно много ниже ее, сутулый, с обезьянье длинными руками, совсем ей не пара.

— Плечистый он был,— сказал я.— Атлетического сложения, по этому росту казался небольшого.

Если бы знать, что хотела она от меня услышать.

— Его любили? Что у него за характер?

— А мы мало что знали о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший.

Я двигался на ощупь, по ее лицу ничего нельзя было прочесть.

— Вы знаете, я так и представляла, что в жизни он немногословен.— Она оживилась.— А по письмам его этого не скажешь, верно?

— Я тоже удивлялся, читая. Борис — тот как раз был рассказчик, заслушаешься, в письмах он, конечно, проигрывал...

Для чего-то я пробовал защитить Лукьянова, восстановить справедливость. Могли же одну и ту же девушку любить два хороших человека. Не обязательно один из них должен быть хуже или глупее. Почему всегда один из соперников оказывается трусом, себялюбцем, словом, недостойным? В молодости я тоже так считал. Когда Волкова осудили, тем самым как бы подтвердилось, что он хуже, что он не имеет права вставать Борису поперек дороги.

— Почему Волков развелся с женой?

— С женой?...— Что-то мелькнуло, тень воспоминания, когда-то об этом толковали.— Черт, не вытащить,— признался я,— может, потом вспомню.

— А о нашей переписке Волков рассказывал?

— Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девицу. Извините, теперь я понимаю, что это — вы.

— Господи, вы становитесь все догадливее.

Я засмеялся.

— Это я нарочно подставляю вам борт, чтобы вам было легче. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбило.

— Интересно было бы их сейчас почитать. Я плохо представляю, что там было.

— Я тоже все пытался вообразить. Наверное, они были на уровне. Иначе не вызвали бы такой переписки.

— Спасибо,— сказала она.— Да, что-то там должно было быть. Все дело в интонации. Может, сегодня я не сумела бы... Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в девятнадцать лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.

— А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспомнить стыдно.

Мы некоторое время шли молча. Она взяла меня под руку и вдруг спросила тихо:

— Вы хлопотали за Волкова?

Я покраснел.

— Нет, это был не я. Наверно, это наш командир полка.

Она внимательно смотрела на меня. Я снял кепку и помахал, отгоняя жар.

— Вы не любили Волкова?

— С чего вы взяли? — Я хмыкнул поравнодушнее.— Просто мне Борис был ближе. Пехота.

— Пехота тут ни при чем.

— Да, я был на стороне Бориса.

— Вам вообще неприятно вспоминать войну?

Она об этом уже спрашивала, и я оживился.

— А почему мне должно быть приятно? Мне три года снилось, как у меня живот разворотило и мне никак кишки назад не запихать, скользкие они.

— Почему же другие любят вспоминать?

— Не знаю. Мне хватает нынешних передрыг. Вот мы сейчас воюем с Госпланом. Это же битва народов. Тридцатилетняя война.

— Вы с фронтовиками не встречаетесь.

В словах ее было больше утверждения, чем вопроса. Это была чисто женская способность внезапно, без всяких, казалось бы, оснований угадывать сокровенные вещи. Откуда она могла знать, что я давно перестал бывать на встречах? С тех пор как хоронили нашего генерала. На гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Он служил у нас в связи. В сорок втором году его за трусость исключили из партии. Он принялся писать на всех кляузы. Еле избавились от него. Появился он через несколько лет после войны и стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, но помешать Акулову не мог. И вот он теперь встал у гроба и поднял руку. Я громко сказал: нельзя Акулову слово давать, это кощунство! Произошло замешательство. Но Акулов нашелся: ах, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех к генералу, меня ревнует, и немудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров, так любил, что... И пошел и покати о том, какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное было время, и вот ушел тот, для кого мы были не ветераны, а солдаты, он знал дни и ночи наших боев, а для других это были всего лишь даты... Кругом меня всхлипывали, сморкались. Ничего не скажешь, красиво говорил этот сукин сын. Но после этого я перестал ходить на встречи. Мне слышались в воспоминаниях медные трубы похвальбы и акуловский голос: «Ах, какие мы были бесстрашные, какие герои!» На пионерских сборах задавали вопросы, за которые мне было неловко: какие подвиги совершили вы и ваши товарищи? Сколько у вас орденов, сколько фашистов вы убили? Две девочки с пушистыми косами водили меня по школьному музею боевой славы. Под стеклом лежали начищенные диски автомата. Была сделана модель землянки, стены обшиты досочками, внутри зажигалась маленькая лампочка, укрепленная на пистолетной гильзе. Это было очень трогательно. Девочки попросили подарить музею мои именные часы и сказали, что если мне сейчас жалко расставаться, то чтобы им дали их, как только я умру. Милые девчужки, исполненные заботы о своем музее.

— Они что же, ссорились?

— Кто?

— Да Волков с Лукьяновым.

— Бывало. Цапались. А между прочим, Волков одеколонился, — неожиданно выскочило у меня, и я как-то по-идиотски обрадовался. Вспомнил, как Волков натирался после бритья тройным одеколоном, и то, как нас возмущало это. Одеколон у него воровали и вышивали. Каким-то образом он вновь добывал его в Военторге, и за круглым этим пузырьком шутники охотились из принципа и, конечно, обнаруживали.

— Одеколонился, вы представляете!

Разумеется, она не могла взять в толк, что тут особенного, и сколько бы я ни разжевывал ей, такие вещи все равно не дойдут.

— Справа стоит одна из колонн с гением славы, подарок Николаю Первому от прусского короля в сорок пятом году.

Казалось, что Жанна потихоньку переводит гида, который бойко шарил по-немецки, но скоро я уловил несоответствие. Толпа экскурсантов потянулась к площади, а Жанна продолжала объяснять мне. Она наизусть повторяла текст волковских открыток. Она поднимала палец, придавая словам торжественность. То же произошло и у «Медного Всадника», «созданного скульптором Фальконе, открытого в 1782 году», и тому подобное. Потом она взяла открытки, те самые, которые я наспех просмотрел, с видами Ленинграда. Она дала мне очередную открытку, изображающую Исаакиевский собор, отдекламировала ее текст и стала продолжать от себя про колонны, осадку, про большие двустворчатые двери с барельефами, про неудачный проект Монферрана... На черно-белой открытке мимо собора несли азростаты заграждения. Три продолговатые серебристые туши. Я никогда не видел их вблизи, всегда только издали. Даже в бинокль они плохо различались на фоне белесого неба.

Сейчас вместо азростатов тянулась длинная очередь желающих попасть в собор. Я сам никогда не был в этом соборе. Меня не интересовали ни Монферран с его просчетами, ни голова Петра, которую, оказывается, лепил не Фальконе, а девица Колло, меня куда больше занимало волнение Жанны, она никак не могла сладить со своим голосом. Ровная безучастность прерывалась, как будто ей не хватало воздуха. Она взглядывала на меня с необъяснимо просящим выражением. Я кивал, энергично поддакивал, но было неловко оттого, что не могу разделить ее восторга от этих памятников и ансамблей. Я рос среди них и не замечал, как не замечал уличного шума, вывесок, запаха нагретого асфальта. Я был потомственным горожанином. Я знал другой город — с очередями, колоннами демонстрантов, его лестницы, дворы, коммунальные квартиры.

Внутри собора попасть не было надежды. Без очереди пропускали организованные экскурсии. В большинстве это были иностранцы. Мы пытались пристроиться к немцам, но нас вежливо отделили. Зато я впервые дошел до самого входа и потрогал изображение святых на дверях.

Пройдя мост, мы очутились перед Биржей. Мы двигались по маршруту, обозначенному открытками.

— Левее Биржи здание Зоологического музея, — чеканила Жанна, — третьего по величине в Европе. По бокам — Ростральные колонны. Сама Биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Обратите внимание, — сказала она другим голосом, — он пишет с уверенностью человека, побывавшего в Греции. У него все перед глазами... Калликрат был бы недоволен качеством материала, — продолжала она декламировать, — Фидий — отсутствием скульптур, а вообще все выдержано точно в дорическом стиле. К счастью, с главного портала убрали световую рекламу, она мешала целостности впечатлений. Это место одно из самых красивых. Вот какой наш Ленинград. Гра-

вюра принадлежит дивному художнику Остроумовой-Лебедевой, она умеет как никто показать прелесть нашего города. Здание Биржи получилось у Томона лучше его проекта. Редкий случай...

Текст открытки кончился. Жанна продолжала показывать обустроенные капители, портик, пандус.

— Да вы же ничего не чувствуете! — с горечью воскликнула она.

Какого черта я должен умиляться этим пандусом и капителями, я ничего не понимаю в архитектуре и не желаю в ней разбираться.

Она расстроилась. При чем тут пандусы? Неужели мне ничего не говорят сами открытки, выпущенные в блокаду бог знает какими усилиями, что уже было подвигом, да еще посланные в те месяцы из осажденного города в Грузию, а до того купленные и привезенные на фронт и там в окопе исписанные крохотными буквами, чтобы побольше уместилось, отправленные полевой почтой, сохраненные за все эти годы и сейчас вновь привезенные сюда? Да как же всего этого не чувствовать! Одно это превратило их в поразительный документ. Черные глаза ее пылали. Надо быть бездушным человеком, чтобы не оценить любовь Волкова к городу, не оценить его эрудиции. Кто бы мог описать по памяти все это с такой точностью! А как ощущал он красоту города, в то время развороченного, изуродованного, полумертвого. По этим открыткам она изучала Ленинград, из-за них она раздобыла альбомы и монографии. Она выучила город, вызубрила его. И это место — стрелка Васильевского острова — действительно самое прекрасное место, она не представляла, что отсюда такой вид на Петропавловку.

Я понял, что впервые отдельные фотографии, картинки соединились для нее в панораму, какую можно было окинуть долгим взглядом. Арки мостов, берега Невы, раскинутые крылья набережных — она жадно оглядывала все это, но, я чувствовал, не своим взглядом, а как бы глазами Волкова. Она перестала обращаться ко мне, теперь она говорила скорее этим грязно-белым языческим богам, сидящим у подножья Ростральных колонн. Лицо ее озарилось сиянием, которое заставило остановиться туркмен в стеганых халатах, они умильно любовались ею, покинув своего экскурсовода. Я чувствовал себя виноватым. Вся эта история с открытками заслуживала, наверно, куда больше внимания, чем мне казалось. Для меня это была пустяковина: нашел чем заниматься во время войны, показывал свою образованность, как будто впереди у этих двоих, у Волкова и Жанны, были годы и годы. Такие открытки могут писать в отпуске вот эти экскурсанты...

Но тут же я подумал о том, как не раз в своей жизни принимал за пустяки чье-то смущенное признание, косноязычную просьбу, а потом из этого вырастала чья-то трагедия, менялись судьбы. Картины, о которых доложил старшина, оказались из Дрезденской галереи, а я даже не взглянул на них. События часто огибали меня и скрывались неузнанными. Маленькая Наташа, наша соседка, которая год упрашивала меня почитать ее стихи, была, оказывается, влюблена в меня и уехала во Владивосток, выйдя замуж за моряка. Волковские открытки остались и все эти годы будоражили чью-то душу.

— Никогда не знаешь, что останется от нас, — сказал я. — Наверняка совсем не то, на что мы рассчитывали.

Мы шли по городу от одной открытки к другой. Ее интересовал только этот Ленинград. Может быть, я должен был сказать ей, что ее Волков создан из писем и фотографий, что он бумажный возлюбленный, она сотворила его, отбирая лучшие фразы. Это было надувательство. Но я не знал, надо ли это говорить.

— Ну, как вам его последнее письмо?..

— Бодрое письмо. Работа по душе, ценят его...

Начала она слушать жадно и быстро угасла.

— Неужели вы не заметили, что он никого не винит? — перебила она и поглядела мне в глаза, словно напоминая про мои страхи. — Он себя винит — за одну просьбу! Меня оправдывает, а себя винит! — Холодное твердое лицо ее порозовело, залучилось нежностью. — Как деликатно он прощает, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят: понять значит наполовину простить. Он понять не мог, потому что не знал ничего, а простил. Меня бы в таком случае месть, самолюбие спалили бы. Я не умею прощать. Это плохо. От его письма у меня совесть очнулась. Я увидела себя. Вы знаете, Антон, я подозреваю, что он приезжал в Тбилиси ко мне. Один непонятный случай был. Человек у дома моего стоял. У кабинета моего в поликлинике сидел. Правда, он с шевелюрой был. Может, я потом навообразила...

Зеленая вода в каналах пахла гнилью. На маслянистой пленке колыхалось четкое отражение: двое над перилами, над ними голубое небо восемнадцатого июня. За четыре дня до начала войны, подумал я.

Из-под свода моста выплыла лодка, на корме сидела девушка с розовым зонтиком. Жаркое небо накладывало тонкий голубой слой на окна, на блеск машин, на воду. Город голубовато светился. Что-то обидное было в его обольстительной красе. Мы все постарели, а у него не осталось и следа когда-то сообща пережитых бед.

Дойдя до Симеоновской церкви, Жанна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом снесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. Дом Волкова — у нее звучало примерно так же, как дом Достоевского. Мы сели на скамейку. Я вытянул больную ногу, стараясь не морщиться. Знал я волковский дом, он был ветхий, скучный, с узкими вонючими лестницами. Несколько раз я бывал в нем. На втором этаже в конце коммунального бедлама когда-то помещалась ободранная нора — место моих коротких свиданий. В сущности, следовало бы благодарить и за это убежище. Хуже нет изматывающей неприютности подъездов, садовых скамеек, дворовых закоулков с кошачьими свадьбами. Гнусная маета молодых, бездомных, маета, в которой гаснут желания и перегорают страсти. Та женщина умела целоваться как никто. Под окнами тархтел трамвай, мчались грузовики, и от этого шума мы почти не разговаривали друг с другом.

— ...приехала в Ленинград в сорок шестом году. Выхлопотала командировку. Через справочное разыскала адрес Волкова. Пришла, звонила, звонила, никто не отвечает. Вышла соседка. Старуха в меховой шапке. Я наплела ей, что один фронтовик раненый просил узнать про своего друга. Мне стыдно было правду сказать — я, девушка, разыскиваю такого взрослого мужчину. Старуха долго приглядывалась ко мне, потом шепотом сказала: не ищи, у него плохая судьба. Значит, не ранен, не убит, поняла я. И то хорошо. Больше ничего узнать не могла, уехала ни с чем. А дома меня Борис ждет. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что случилось с Волковым.

— Борис-то зачем приезжал?

— Предложение мне делал.

— А вы?

— Отказала.

— Отказали? Ему?

Я был потрясен всей силой моего прежнего восхищения Борисом. Он возник передо мною во весь рост — голубоглазый, шинель внакидку, золотая кудряшка прилипла ко лбу... Жанна с улыбкой смотрела на мое виденье. Он был тот же, не стареющий, двадцатитрехлетний. Но она-то! Как она решилась, как посмела? К чувству недоумения примешался вдруг интерес к той девятнадцатилетней грузинской девушке.

— ...геройский офицер из-под Вены приехал специально ко мне. Увидев меня, не разочаровался. Подруги завидовали. Женихи в цене были. Почти все наши мальчишки погибли. Как мама уговаривала меня! Борис ее очаровал. Да и мои отношения с Волковым ее успокоили. К тому же Борис ей наговорил про него. Это я потом узнала, слишком поздно.

— Почему наговорил? Рассказал,— поправил я.

— Наговорил,— твердо повторила Жанна.— У Бориса и так были все преимущества. Ведь все выглядело романтически, нашу историю с ним пропечатали в газете.— В темном прищуре Жанна рассматривала что-то неведомое мне.— Знаете, что меня остановило? То, что он торжествовал. Он не жалел Волкова, он считал, что то, что случилось с Волковым, законно.

— Но если он так думал? Зачем вы писали Борису до самой победы, зачем вы его обнадеживали?

— Я отвечала на его письма.

— Отвечали... А он на ваши отвечал. Это и называется переписываться.

— Конечно, это было легкомысленно.

— За что же вы нас судите? У вас легкомыслие, у нас недомыслие.

— При чем тут вы? — холодно спросила Жанна.

— А я так же отнесся к той истории с Волковым.

Я принялся объяснять ей, но ничего не получалось. Вопросы Волкова, которые нас раздражали, сомнения, которые мы отвергали, поступки, которые вызывали насмешки,— все сейчас потеряло убедительность. Не очень умно и красиво мы выглядели, но тогда... Как показать ей расстояние, которое мы все прошли?

Она тронула мою руку:

— Меня тоже пугали высказывания в его письмах. А теперь я не могу эти высказывания найти. Перечитываю — и не вижу их.

— Борис так и уехал?

Она кивнула.

— И все? Больше не писал?

— Ни разу.

Она могла стать женою Бориса, думал я, и мысль эта делала ее ближе и в то же время порождала какую-то легкую печаль и жалость к собственной судьбе, какие возникают, когда видишь красивую женщину, чужую и недоступную.

Он добирался до Тбилиси так же, как я в Ленинград,— на крышах, в тамбурах. Я все это легко представлял: кипяток на станциях, долгие стоянки, трофейное вино, офицеры, солдаты, гражданские — все перемешалось и все было нипочем, все это пело, ликовало, одаривало друг друга, захлебывалось планами, надеждами, травило байки, играло на перламутровых аккордеонах, выменивало, чокалось... И представил, как Борис возвращался. Из Тбилиси к себе в Костромскую. Отвергнутый — а за что, на каком таком основании? Он, кому весь мир принадлежал, потому что весь мир был обязан нам! И все эти бабы, девки, которые счастливы должны быть от одного нашего слова... Так оно было, так и я жил в тот хмельной послевоенный, салютный наш первый год на гражданке.

— Тыфу, это же чушь собачья,— сказал я.— Выходит, похвали Борис вашего Волкова, у вас все бы сладилось и вы пошли бы за него? По-вашему, он не имел права ругать соперника. Абсурд. Извините, это не проходит.

— Прошло. В моей жизни мало было абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично, разводилась логично.

— Вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?

— Нет,— мягко сказала она.— Отчасти я ему благодарна. Но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Это была еще не любовь.

— Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова?

— Его нет. Я сама не читала его.

— Как так?

— Мать скрыла от меня, спрятала его.

Она проговорила это с натугой, хотела что-то добавить, но промолчала.

— Хотите проехаться на парходике? Тут недалеко пристань.

— Почему вы не спрашиваете, как все это было?

— Вам неохота говорить об этом.

— А вы не решайте за меня,— сказала она неприятным голосом.

— Вы же сами просили не задавать вам вопросов.

— Вы всегда такой послушный?

— Послушайте, Жанна, я разучился разговаривать с женщинами. Я никогда не знаю, чего они добиваются. Чтобы не обращали внимания на их слова? Ну зачем это им надо? Даже Лев Толстой не понимал женщин.

— Единственный, кто их понимал, это Толстой.

— Нет уж, извините, он в собственной жене не мог разобраться. Его сила состояла в том, что он знал, что женщин понять невозможно. Вы замужем?

Она слабо усмехнулась.

— Надо выяснить, я как-то об этом не задумывалась.

Ирония помогала ей преодолеть какую-то нерешительность, что-то мешало ей начать.

— Может, не стоит,— сказал я.— Зачем будить демонов?

— Будем будить,— твердо сказала она.— Иначе ничего не получится. Для этого я и приехала. Надо же мне оправдать поездку.

— Тогда не стесняйтесь, съешьте все без купюр.

Вот уж кто не стеснялся. Она говорила быстро и ровно, но как будто рассказывала не о себе. Глаза ее смотрели на меня невидяще, устремленные куда-то туда, куда она стремилась быстрее добраться.

— ...в госпитале я много писем писала раненым, под их диктовку. Редко кто из них не присочинял. Одни преуменьшали свои раны, другие преувеличивали, третьи расписывали свои подвиги, а те — свою тоску и любовь. Вроде бы на меня после этого не должны были действовать письма Волкова, верно? А они действовали, и все сильнее, я привыкла к ним как к наркотику. Мне их не хватало. Я их принимала один к одному. А вот много позже я усомнилась. Взрослость цинизма прибавила. Это я от первого мужа зарылась. Мне захотелось патенты Волкова проверить. И все оказалось правдой. В Париже в музей ходила импрессионистов смотреть. Тоже ради проверки. Все хотела уличить его, хотелось низвести его. А за что? За то, что он обманул меня и бросил. Я после отъезда Бориса все ждала, что Волков сообщит... А тут у меня отец умер от инсульта мне больно было, что он умер голодным. В Тбилиси тогда голодно было. Мама меня винила, вышла бы за Бориса, мы обеспечены были бы. Она вслух это не говорила, но я знала, что она так думает. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали, ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова, на вид молодцом, солидный, образованный, владел английским, любил поэзию. Он был приятен, и я уступила. Жизнь действительно стала легче, появились вещи, наряды, что ни день — застолье. Откуда-то шли деньги и с ними возможности, о каких раньше и не мечтала.

Она живо изобразила, как посреди пира муж вставал и проникновенно читал стихи Бараташвили или Табидзе. Это почему-то успокаивало ее. Ей казалось, что человек, любящий стихи, не может быть жуликом. В минуты откровенности он признавался, что его влечет риск коммерческих комбинаций. Наша цивилизация, говорил он, возникла благодаря торговле. Все началось с коммерческого таланта. Этот талант надо использовать, грех, когда талант остается неисполь-

зованным, ну и так далее. Он жил бурно, смело и погиб в горах при непонятных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело.

— Мне доказали, что я нужна была ему для прикрытия, поскольку семья наша имела безукоризненную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача. Я бросила строительный. Мне хотелось хоть чем-то искупить...

Несколько жизней, куда больше, чем я думал, уместилось между той девчонкой моих лейтенантов и этой женщиной, которая за чем-то ехала ко мне с их письмами.

Дети носились в сквере на том месте, где жил Сергей Волков, где над нами, в невидимом объеме, когда-то стоял аквариум, этажерка со справочниками, висела репродукция Рембрандта. Напротив нас возвышалась желтая с синим церковь Симеона, самая старая церковь в городе, как сообщила Жанна. По этой церкви Волков всегда сможет определиться. Хоть что-то осталось. А от нашего дома в Лесном и от соседних — ничего, все разобрали на дрова.

— Может, он еще жив? — спросил я.

— Я получила справку. Он умер четыре года назад. Там, на севере. Он там остался. Но лучше я по порядку. — И она продолжала с добросовестной откровенностью, как будто давала показания. У меня было ощущение, что, как в показаниях, любая подробность могла пригодиться, из этих подробностей возникал какой-то, пока еще неясный, смысл.

После первого мужа был второй, который оказался болезненно ревнивым.

— Он уверен был, что я его должна обмануть. Причем как женщина я его интересовала не часто. Заставил меня аборт сделать — не верил, что его ребенок.

Без пощады и без стеснения выкладывала она тайны своей женской жизни. У нее это получалось так естественно и просто, что и я воспринимал так же.

Она развелась и почувствовала облегчение, к ней вернулась независимость, ощущение своего «я». Замужем она побывала, долг свой выполнила, теперь она вольная птица. Семейный очаг у нее как бы был: мать — предмет забот и долга. И работа выиграла, она ушла с головой в медицину — самая лучшая в мире профессия, в которой можно не думать о продвижении, о званиях и каждый день добиваться успеха. Мужчины появлялись и исчезали в ее жизни без особого следа. Был, например, один красавец, который делал карьеру. Он брал ее на приемы, водил как личное украшение. Аристократизм Жанны как нельзя лучше подходил к его планам. Выяснилась правда, одна закорючка — отец Жанны имел иностранное происхождение. Еще в прошлом веке дед приехал в Грузию из Испании и долго сохранял испанское подданство. Жанна со злорадством наблюдала, как это обстоятельство путало все далекие расчеты ее кавалера. Бедняга не понимал, что безупречная биография может также не нравиться и тормозить карьеру. Мужчины были вовсе не так умны, как представлялось ей в молодости. Все больше попадались бесхарактерные, закомплексованные, плохо работающие, а главное, скучные и недалекие.

— Сама еще не сознавая, я все искала мужчину умнее себя, чтобы и культурный был, чтобы на него снизу вверх смотрела. Словом, обычные требования разочарованной женщины средних лет. Вот тогда начал мне вспоминаться Волков. Перечитывая его письма, я сравнивала и убеждалась в его преимуществах. Он становился крупнее и, как бы это сказать, — ощутимее! Вы понимаете?

— Да, пожалуй.

Она недоверчиво усмехнулась и пояснила, что поскольку Волков располагался в прошлом, то существование его обрело законченную

реальность: когда-то у нее был возлюбленный, они любили друг друга и идеально друг другу соответствовали. Он был лучшим украшением ее женской биографии. При случае можно было показать подругам фотографию, хорошо, что он не мальчик, с годами он все больше подходил ей. Иногда она мечтала — а вдруг он объявится? Ей нравилось представлять свое существование жизнью как бы до востребования. Она придумала ему оправдание — его гордость. Конечно, с годами фигура Волкова затуманилась, отодвинулась, осталось лишь приятное воспоминание. От него, пожалуй, передалось ей увлечение живописью, архитектурой, то, что когда-то заставляло ее тянуться, отечая на его письма. Год назад умерла ее мать. Разыскивая документы, чтобы оформить похороны, Жанна наткнулась среди бумаг своей матери на письмо Волкова. То самое, которое я читал. Находка ошеломила ее. Она стояла не в силах пошевелиться. Значит, он ей писал! А мама, для чего она утаила, спрятала? Из текста видно, что было еще одно, а может, и два письма — в 1945 году. Он сразу написал ей, как и должно было быть. Она кинулась искать, перерыла весь дом и не нашла. Перед гробом матери она стояла, пытаясь взглянуть в застывшие черты, попытаться, узнать, что же случилось, зачем мать так поступила? В том, первом, письме Волков просил о помощи, и она, Жанна, ничего не ответила, промолчала. Это первое письмо мать тоже спрятала или уничтожила. Но как мать могла? Тут было что-то дикое, несусветное. Она хоронила мать с тяжелым сердцем.

— Все перевернулось во мне, Волков ожил, проявился, я чувствовала себя виноватой перед ним, опозоренной. Невыносимый стыд мучил меня. Вы только подумайте — на первое письмо не ответила, не помогла, и на второе тоже. Что он подумал обо мне? Выходит, он все эти годы не забывал меня. Ждал ответа. Представляете, какое это предательство, какая низость? — Сплетенные ее пальцы побелели. Она смотрела на меня умоляюще.

— При чем тут вы? Что вы на себя валите? — горячо сказал я и сказал это поглубже, я не хотел, чтобы она говорила о себе плохо, с такой болью.

— Нет, погодите, я восстановила, как все это было. Первое письмо пришло как раз в те дни, когда Борис приехал. Мама испугалась за меня. Не знаю, чем там Борис ее застрашал, но она, увидев обратный адрес, вскрыла конверт. Страхов тогда хватало. Многое надо было, чтобы она решилась на такое. В нашей семье вскрыть чужое письмо — этого нельзя себе представить... Я вам клянусь, если бы я сама прочла письмо, я бы все бросила, помчалась к нему. Мать это знала. А второе письмо пришло, когда все было хорошо. Мать защищала мое счастье.

— Ее тоже можно понять.

— Но Волков ведь не знал, как все было. Он решил, что я струсила. Испугалась за свое благополучие. Даже поверила, что он преступник. Ну хорошо, преступник, так ведь даже преступникам не отказывают в милосердии. А я отказала. Мыла кусок пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.

— Но вы же послали бы, если б знали.

— А почему я не знала? Почему? — воскликнула она режущим голосом и схватила меня за руку. — Думаете, потому что мама письмо спрятала. Верно? Как будто я ни при чем? Недоразумение, мол, случилось. Мама перестаралась. — Лицо ее перекосила усмешка. — Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. На самом-то деле все из-за меня. Ах, если б можно было отнести все на счет случая, пожаловаться на судьбу, да? А нельзя. Потому что судьба дала мне еще шанс. Судьба заботилась обо мне. Цыганка однажды предупредила меня — ты, говорит, счастливая, к тебе судьба всегда дважды будет обращаться, все исправить можешь. Второе его письмо пришло,

и все можно было поправить. Но я была заверчена Суреном. Это мой муж. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что это счастье, я сама ей так говорила. А с Борисом ведь так же было. Зачем я морочила ему голову? Вы правильно сказали. Не полгода — до самого конца войны морочила. Правильно, что он приехал. Когда уезжал, какой он был жалкий, и хоть бы что швельнулось во мне, а теперь перед глазами стоит улыбочка его белая. Приезд Бориса — моя вина. От приезда все и пошло.

— Вы наговариваете на себя. Вы слишком молоды были.

— Я одна во всем виновата. Никто больше! Все из-за меня! — Глаза ее налились влагой, нелегким усилием она сдержала себя, что-бы слезы не выступили, лицо ее некрасиво ожесточилось. — Плохой поступок всегда плохой поступок, — сказала она. — Что в старости, что в молодости — одинаково плохой. Когда-нибудь этот поступок тебя догонит. Вот он и догнал. А с бедным Суреном, думаете, иначе было? Как бы не так. Я глаза на все закрывала, думать не хотела, откуда все берется. У меня оправдание было — человек стихи любит. — Она запрокинула голову, прочитала, глядя в небо:

Не я пишу стихи. Они как повесть пишут
 Меня. И жизни ход оправдывает их.
 Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит
 И заживо схоронит. Вот что стих.

Как он читал Табидзе! Даже эти хапуги-бражники ему аплодировали. Я защищалась ложью. Сколько всякой лжи я позволяла! Лыстила тем, кого презирала. Иногда мне хочется прийти в мою бывшую школу, в мой старый класс, встать перед детьми и признаться им во всех своих грехах. Кому-то хочется признаться, но кому охота слушать? — Она презрительно сморщилась.

Мне стало не по себе. Как будто ее откровенность избличала меня. Мне вспомнилось, как после пожара в цеху мы один за другим выходили перед комиссией и каждый защищался как мог. Энергетики показывали на монтажников, монтажники — на строителей. Все знали, что цех нельзя принимать в эксплуатацию. Приняли. Уступили начальнику. Никто не сказал: братцы, я виноват, я поддался, из-за меня люди пострадали, лежат в больнице. Почему совесть никого не подтолкнула? И меня не подтолкнула. Я радовался, что пронесло. Раз меня не судили, что ж себя судить?..

— Вы знаете, Жанна, — сказал я голосом, который никогда не слышал у себя. — Вы молодец. Вы молодец, что так говорите.

Я понимал, как это трудно увидеть свои проступки, оценить их как проступки, провести целое следствие над собой. В сущности, Волков, когда выступил насчет наших потерь, побуждал нас подумать, хотя бы смутиться чрезмерной ценой нашего успеха. Я сказала Жанне, как мы разозлились на Волкова, потому что не разглядели честности его поступка. До сих пор я не знаю, что толкнуло его — гибель Семена или самодовольная наша праздничность. Но это был поступок, и он не прошел бесследно.

Скрипнули тормоза, возле нас остановился невесть откуда взявшийся старинный желтый автомобиль с высоким кузовом, похожий на карету. Оттуда высунулся мужчина с крашеными рыжими волосами.

— Как проехать в Театральный институт? — крикнул он.

Я показал ему. Он не смотрел на меня, он смотрел на Жанну. Не спуская с нее глаз, он вылез, подошел к нам. На нем была кожаная куртка и желтые блестящие краги, такие носили в начале века.

— Вы та женщина, которая мне нужна для картины, — сказал он. — Это фильм о любви. Неземная любовь, над ней все смеются. Вы не красавица, но понятно, что из-за вас можно было наделать глупостей. Вам не надо ничего играть. Вы будете сидеть на плоту.

— Я не могу сидеть на плоту,— сказала Жанна.— Я замужем. Я не могу смотреть на других мужчин.

Рыжий подмигнул мне, вручил визитную карточку с телефоном и уехал, сказав, что ждет вечером звонка.

— Он помешал вам,— сказала Жанна,— рассказывайте дальше, рассказывайте.

— Собственно, это все.

— Вы не приукрашиваете его специально для меня? — спросила она подозрительно.

— Все делается ради вас,— сказал я.— Как же иначе?

— Не обижайтесь. Мне показалось, вы пересиливаете себя.

— Так оно и есть. Не очень-то приятно сознавать, какой ты был дурак. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы — и началось! Скажите, зачем вы приехали?

— Расспросить у вас про Волкова.

— Чего расспросить? Зачем?

— Я думала... может, вы переписывались.

— И что? К чему вам теперь эти сведения?

— Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер. Ничего не осталось.

— Вы не ответили. Зачем я вам понадобился, для чего вы заставили меня читать письма?

— Простите меня, я отняла у вас много времени.

— Не в этом дело.

— Я думала, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарищей.

— Ну что ж, это было действительно приятно. Пожалуй, я рад, что там побывал. Туда надо возвращаться. Но все же не ради этого ведь вы приехали? Не для того, чтобы пройтись по достопримечательностям и показать мне всякие фронтоны?..

— Но ведь вы многого не знали.— Она быстро взглянула мне в глаза, сделала кокетливое выражение.

— Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить, не надо. Будем считать, что у вас есть причина.

Она разглядывала свои пальцы.

— Когда вы уезжаете? — спросил я.

— Причина есть. Хотя трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Так вот, мне нужно было, чтобы кто-то знал, почему так вышло. Я выбрала вас. Я считала, что вы фронтовые товарищи. Я хотела, чтобы вы знали, почему я не помогла Волкову. Не ради оправдания — вы понимаете? Просто надо, чтобы кто-то знал.

— Но что я могу? — сказал я растерянно.— Я ничем не могу помочь, он же умер.

— Ну и что с того что умер? — сказала она звенящим голосом.— Я все равно должна была.

— Что вам от этого, легче?

— Вы не поняли. Так я и знала.— Она разом сникла.— Я не могу объяснить.

Тот узкий шаткий мостик, что перекинулся меж нами, как бы прогнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил и что-то мне брезжит, но до меня не сразу доходит. Может, и впрямь мне что-то мелькнуло, как бы приоткрылось на миг и исчезло, какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. И я опять не понимал, зачем она приехала, зачем призналась мне и что ей от того, что я знаю. Вопросы мои были слишком грубые, я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. Для Жанны Волков сейчас существовал реальнее, чем несколько лет назад, когда он был жив. Так бывает. Про Бориса мы почему-то так ничего и не ста-

ли выяснять, что с ним, как он, он жил в наших разговорах, и нам этого было достаточно.

Вечером я провожал Жанну на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Дала мне веревку, и я старательно перевязал сверток, легкий, удобный. «Купила в подарок хлебницу»,— сообщила Жанна. На ней был синий ситцевый халатик, тоже ленинградская покупка. Она сказала, что пойдет на вокзал в этом халатике, накинув легкий плащ, чтобы в вагоне не переодеваться. Она болтала о пустяках, была быстрой, домашней, только глаза были припухшие, красные.

А он, Волков, не принес бы ей счастья, вдруг понял я. Он был слишком тяжел для нее с его самолюбием и самонимием. А что, если сказать ей об этом? Это освободит ее от угрызений. Она перестанет себя корить. Но почему-то я решил ничего не говорить. Мне было жалко ее, но я чувствовал, что не надо помогать ей.

События ее жизни сомкнулись в какой-то рисунок. Письма, замужества, страхи, больничные дела, мамина шкатулка — все, что было позади, осветилось, и обозначилась судьба. Понятие это всегда казалось мне надуманным. В моем прошлом я не мог различить никакого единства. Пестрые обрывки, да и те куда-то сдувало. Как будто за мною двигалась машина, которая перемальвала прожитое в пыль. На войне — там была цель, была пусть долгая, но ясная дорога к победе, был путь к Берлину. События после войны — куда они меня веди? Был ли это путь? Не могла же моя жизнь катиться просто так! Наверное, и в ней есть смысл, скрытый за суетой, за всем, что кажется таким важным сегодня и ненужным завтра. Может, лежат где-то письма, запятанные от меня, не дошедшие вовремя. Так я утешал себя, видя, с какой завидной выпуклостью проступала у Жанны ее судьба.

Перед уходом мы присели. От рычащих внизу машин тонко дребезжали стекла. Мы сидели и слушали, потом поднялись одновременно. Путь до вокзала был короток — всего лишь пересечь площадь. Мы шли медленно, говорили про то, чем хороши деревянные хлебницы, про петергофские фонтаны. На вокзале на всех перронах гомонили, тащили чемоданы, обнимались, всхлипывали, встречались, прощались. Мы постояли у ее вагона. Зеленые его стены, раскаленные за день, источали тепло. Белый свет ламп мешался с высоким серебряным светом негаснущей зари. Последние минуты утекали впустую. Я не знал, чем их остановить. Наверно, я должен был что-то сказать. Передо мной стояла единственная на свете женщина, которая связывала меня с войной, с моей молодостью, с той лейтенантской жизнью, когда мы влюблялись по фотографиям. Возлюбленные оживали в наших мечтах, тряслись с нами в танках, на затертых фотографиях они все были небесной чистоты, пышногрудые ангелы наших сновидений. Жанна была из них, я знаком был с ней несколько часов и десятки лет. Через несколько минут она уедет, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Это было неправильно. Я знал, что пожелаю о своем молчании.

— Напрасно вы отказались сниматься в фильме,— начал я со смехом, который плохо получился.

И она начала улыбаться, но остановилась.

— Приезжайте,— сказал я.

Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке, не усмехнулась, не удивилась, прекрасная ее мрачность вернулась к ней и обозначила этот миг серьезностью.

— Не знаю,— сказала она виновато.

Это была как фотовспышка. Я знал, что запомню ее такой. Горячую тьму ее глаз, смотрящих на меня не мигая. Белое и чистое лицо ее, смягченное грустью. За эти сутки она осунулась и посветлела.

До сих пор я был для нее источником сведений о Волкове, и вдруг я возник как самостоятельная личность.

— Еще не поздно,— сказал я.— Завтра поедем с вами на студию.

— И что?

— Начнете сниматься. Я уверен, что получится. Тем временем я буду вспоминать. Вы будете приходить после съемок, а у меня будут готовые воспоминания.

— Похоже на предложение,— весело сказала она.— Правда, слишком робкое.

Мы с облегчением рассмеялись. Все ушло в шутку. Она пожала мне руку, поблагодарила. На площадке она обернулась и что-то сказала, но я не расслышал.

На Невском фонари не зажигали, было светло и людно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. И у меня тоже не было тени. Кошка пробиралась, лишенная тени, из урны шел дым, нигде не отражаясь, все было отделено от земли. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете.

Никогда прежде не видел я город таким легким, воздушным. Рассеянная неуловимость света придавала всему загадочность. Незнакомая мне красота была во всех этих известных мне с детства домах, перекрестках.

Но еще более странным было то, что я сегодня услышал. И приезд Жанны и ее рассказ вызывали у меня признательность и удивление. Выходит, она действительно приезжала ко мне ради того, чтобы я узнал все это... Но и это было не так важно перед теми новыми чувствами и мыслями, которые открылись для меня и долго еще не будут давать покоя.



СЕРГЕЙ СМИРНОВ



ЖИГУЛИ, МОИ ВЫ ЖИГУЛИ!..

Поэма

Все края и веси государства
Как бы чуть в сторонку отошли.
В заповедный мир Луки Самарской
Автор приглашен, на Жигули.

Приглашен к высоким работягам,
Мастерам ударного труда.
И официальная бумага
Просит препожаловать туда.

Молодея от подобной чести,
Автор, ничего не позабудь!
И как званный гость с супругой вместе
Снаряжайся в столь серьезный путь.

Пусть здоровье барахлит немного,
Но оно тебя не тормозит.
Здравствуй, предстоящая дорога
И реальный творческий визит.

Званный гость, гордись, и благодарствуй.
И лети манящему вослед.
Встреча с новью — лучшее лекарство
От ярма оседлых дней и лет!

* * *

Всего каких-то два часа полета —
И мы на самой избранной из рек.
Нам руки жмет у трапа самолета
Хозяин встреч — веселый человек.

Улыбки и взаимные приветы.
Цветы в пыльце цветенья и в росе.
И под благодатным солнцем лета —
Вперед по стреловидному шоссе.

Вожатый наш докладывает с ходу,
Шутейных интонаций не тая,
Что мчимся мы в гостиницу завода,
Где будет резиденция моя.

И добавляет очень даже кстати
К произнесенным только что словам:
— Сегодня никаких мероприятий,
Чтоб акклиматизироваться вам.

* * *

Но любезный совет — отдохните —
Не целебный бальзам для гостей.
Вьются ласточки в чистом зените,
И кругом новизна новостей.

Слушай, Галя, не будем без толку
Здесь вкушать безмятежный покой —
Шагом марш на красавицу Волгу,
На свиданье с царицей рекой.

* * *

Встали перед Волгой на откосе
И стоим, притихшие, над ней.
Чувство встречи — как «сезам, откройся!»,
Как прыжок в безбрежье прежних дней.

Помнишь нашу встречу на Валдае,
У начала волжского пути?
Ты была такая молодая,
Что взглянуть — и глаз не отвести.

А костер, а трепетное пламя,
А кулеш из общего котла.
И у Волги мы. И между нами
Первый хмель интимного тепла...

Вот другая Волга перед нами
В предвечерней дымке и тиши.
Волга — говорим не столь губами,
Сколько всеми фибрами души.

Волга, Волга — прелесть русской сказки.
Самая распевная река.
Тут стихи, не требуя подсказки,
Бьют из сердца как из родника.

Широка, раздольна, величава,
Ты поешь, в турбинах клокоча...
Это здесь пульсирует начало
Всепланетной роди Ильича.

Это здесь... И вспыхнет перед взором,
Все мечты и чувства вороша,
Дат и лиц такой великий кворум,
Что взорлит от гордости душа.

Волга, Волга, мы твоя частица.
Будь добра и ласкова, как мать,—
Разреш нам тихо причаститься,
Чтобы жить и сил не занимать.

И без громких слов признаться надо,
Что река — радушна и светла —

Одарила нас живой прохладой
И толикой летнего тепла.

* * *

Давно, как говорят, во время оно,
Я здесь шагал по горьковским следам,
Слагал стихи про этот край стозвонный
Под стать своим студенческим годам.

...Когда бы я ни странствовал, бывало,
И где бы патефон ни завели,
Мне песенка покоя не давала:
«Ах, Жигули, мои вы Жигули!»

Я видел их сквозь годы и просторы
И называл жемчужиной земли.
В моих мечтах сияли эти горы —
Ах, Жигули,
мои вы Жигули!

Я шел сюда лесами и полями.
И вот меня дороги привели.
Стою. Смотрю. Любуюсь Жигулями.
Ах, Жигули,
мои вы Жигули!

* * *

О Волга, как по-новому картинны
Теперь пейзажи, зримые вокруг, —
И даль, и ширь, и линия плотины
Под стать объятью великанских рук.

И паруса над рукотворным морем,
И ток и свет дающая река.
И Жигули в реликтовом уборе
Лесов, идущих к солнцу сквозь века.

О Волга, ты стоцветна от заката
И как бы хорошеешь в нашу честь.
Ты — храм, ты — Оружейная палата,
Где и красот и ценностей не счесть!..

* * *

Час побудки. Что-то очень рано.
Но у заводчан порядок свой.
Тут согласно принятого плана
Утренник под крышей цеховой.

Мчимся на коне системы «ВАЗа».
Приступаем ровно в семь часов.
Цех людьми заполнен до отказа
И скороговоркой голосов.

Где найти связующие струны,
Как достичь контакта и тепла?

Взял — отмежевался от трибуны
И давай читать из-за стола —

О державе, о пути суровом,
О друзьях, с кем всю судьбу связал.
И мое верительное слово
Принимает слушающий зал.

Начитался до седьмого пота,
Но — польщен и рад, душевно рад:
Люди, поспешая на работу,
Жмут ладонь, спасибо говорят.

И с прицелом пристальным и скорым,
Тоже фактор времени ценя,
Фотомастер щелкает затвором,
Словно снайпер доброго огня.

* * *

Стихи, как видно, делу не помеха.
И в этом свой особый колорит.
И хорошо, что сам начальник цеха
Тебя от всей души благодарит.

И стихотворцу дело не обуза.
Он наготове каждый день и час.
Слова «служу Советскому Союзу!» —
Вот руководство к действию для нас.

* * *

Летит машина по бетонной глади,
Мелькает панорама вдоль шоссе.
А наш вожатый, трогательно глядя,
Заводит сказ об этой полосе.

Жил-был кудесник на речной излуке,
И у него была одна черта:
Буквально мастер — золотые руки,
Он выводил в саду свои сорта.

И вот они, плоды его старанья, —
Необозримый яблоневый сад,
Куда ни глянь, горя и не сгорая,
На прочных кронах яблоки висят.

И каждый сорт по-своему приметен
И выглядит классически почти:
Вот — «Жигулевский»,
Вот — «Подарок детям»...
А все сорта — попробуй перечти!..

Жил человек и так любил работу,
Что — вот она во всей своей красе...
... И мы на самых малых оборотах
Проходим возле сада по шоссе.

Жил человек, творил с перенакалом,
Был одержимым, судя по всему.

И вот сгорел, ушел, его не стало.
Но сад — всезримый памятник ему...

* * *

Город именуется — Тольятти,
В обиходе — просто автоград,
В молодом кругу лесных объятий
Три района с солнцем говорят.

Широкомасштабные площадки,
Благородный росчерк автотрасс.
Здесь живет в почете и достатке
Трудовая рать, рабочий класс.

Поглядишь вокруг — и сердце радо:
Новизна чарует и зовет.
И под стать размаху автограда
ВАЗ — волжанин, труженик завод.

Вход на территорию завода
Посторонним строго воспрещен.
Но своих — в любое время года —
Властно примагничивает он.

И спешит сюда за сменой смена —
Мастера ударного труда.
И теплыню дышат эти стены,
Где всегда рабочая страда.

* * *

И здесь под крышей, как сие ни странно,
Приходишь к мысли ясной и простой,
Что красота на редкость многогранна,
Что это встреча с новой красотой.

* * *

Хороши леса, поля и воды,
Гребни гор и прочие места.
Но в рабочем облике завода
Есть своя живая красота.

Красота творящего момента,
В коем — современный разворот:
Главная конвейерная лента
Хитроумно движется вперед.

Рядом с ней в расчетливом молчанье
Современной марки мастера
Действуют отвертками, ключами,
Выдают уменьше на-гора.

Все у них разумно и вершинно,
Каждый жест отточен и весом.
И растет, растет автомашина,
Складная да ладная во всем.

В блеске электрического света,
Как алмаз, чиста ее краса,
Вот она — с иголочки одета,
Сходит на четыре колеса.

Мчись теперь по всей державной шири,
 Красота ударного труда.
 Нет, у нас не то, что в старом мире:
 Заводской конвейер — это да!

* * *

У выхода охранник верховодит.
 Знакомство. Лаконическая речь:
 — Ну как заводик!..
 — Красота — заводик!..
 — Да, есть на что взглянуть и что беречь

И, от воспоминаний хорошея,
 Он дал понять — что значит старожил:
 Я, говорит, здесь первую траншею
 Еще в начале стройки проложил...

Он тут познал, как дышат зной и пламя,
 Когда металл в изложницы течет.
 — Вот разрешите,— говорит,— на память
 Вручить вам этот маленький значок.

И по обличью — явственно не молод —
 Он молодо одаривает нас.
 С груди на грудь сердечно переколот —
 Сияй, нагрудный знак, эмблема ВАЗ!

* * *

Мимоездом с комплексом знакомлюсь.
 Это молодежные дома.
 Чисто прозаическое — комплекс —
 Наяву — поэзия сама!

Тут простор для молодого люда,
 Сколько хочешь света и тепла.
 Ежедневно именно отсюда
 Все жильцы стремятся на дела.

Тут, куда бы вы ни заглянули,
 Молодо влюбленные снуют.
 И предельно чист, как соты в улье,
 Ими занимаемый уют...

* * *

Званный гость. В таком завидном чине
 Еду на моторке рыбака.
 С добрым утром, горы в ясной сини,
 Здравствуй, Волга, матушка-река.

Между двух янтарных побережий
 Прочертили кипенную нить,
 Вышли «из-за острова на стрежень».
 Стоп мотор. И начали блеснить...

Вот — удар. И быстрота подмотки.
 Хватка рук азартна и лиха.
 И судак бабах на днище лодки,
 Раздувая жабры, как меха.

Глядь — и твой напарник вздернул руку
 И добычу выволок рывком.
 Как торпеда, блещущая щука
 Плюх под ноги вслед за судаком.

Удим, немоты не нарушая.
 Рыбаки не терпят праздных слов.
 Клюй, рыбешка малая, большая.
 Радуй сердце, трепетный улов.

А когда совсем не стало клева,
 Видим, что удача неплоха:
 Полведра добротного улова —
 Значит, будет знатная уха!

* * *

А после чай из кружек и стаканов
 Под звездным сводом Млечного моста.
 И умолкает, будто в воду канув,
 Моторный гул, и меркнет суета.

И просьба: почитать знакомства ради
 Стихи, еще не изданные пусть...
 И, на огонь костра прищурно глядя,
 Глаголет сочинитель наизусть:

— Ты больше, чем себе самой, нужна
 Тому, кто в пламень творчества бросается.
 Избранница, советчица, жена —
 Все это не пустяк, моя красавица.

И есть такой из пишущих мужчин,
 Чья личность блеском славы не увенчана.
 Но верит он в свою стезю и чин:
 Ведь рядом с ним — единственная женщина...

* * *

Вся земля в роскошестве былинном.
 Все ее возможности светлы.
 Только мчатся быстрокрылым клином
 Дни, трубя свое «курлы-курлы».

Им не адресуешь «до свиданья!» —
 Вместе с ними молодость ушла.
 И тебе, седому, в назиданье
 О былом звонят колокола.

Звон с какой-то магией минорной
 Потаенно властвует в груди,
 Что не будет юности повторной
 И что жизнь во многом позади.

Но и та, которая осталась,
 Дорога, и нет претензий к ней.
 Потому и не гнетет усталость,
 Не гибает груз прожитых дней.

Потому и сердце не стремится
Ни слабеть, ни сглаживать углы
И наперекор своим границам
Вторит символичному «курлы»...

* * *

Сошло на нет закатное пыланье.
И если посмотреть по сторонам,
То красота рождалась в новом плане
И самодемонстрировалась нам.

Ночная темень колдовски нависла,
И кто-то в ней зарницы высекал.
И сферой неразгаданного смысла
Лежала Волга в обрамленье скал.

И в центре электрических отточий
Дремали шлюзы, воду шевеля.
И все желало нам спокойной ночи —
Огни и звезды, небо и земля.

* * *

Цепь утесов пепельна от жара:
Разнотравье, камни и тайга.
Это заповедная держава —
Первозданность в двадцать тысяч га.

Глухомань, хоть с лешими встречайся.
Бурелом как чернь на серебре.
Представитель местного начальства
Нас ведет к Бахиловой горе.

Это он вступает в поединки
Супротив бытующего зла:
Тут не тронь ни зверя, ни травинки,
Ни цветка, ни птицы, ни ствола...

Кое-как забрались на вершину,
Осмотрелись и не сходим с мест.
Царственно, могуче, нерушимо
Эпос простирается окрест.

Под ногами мох — как шкура волка.
Вдалеке плоты наперечет.
И родная разинская Волга
Прямо в Каспий сабельно течет.

Волга, дочь равнин и плоскогорий,
Нет тебе ни края ни конца,
И впадаешь ты не только в море,
Но и в наши души и сердца...

И звучит в торжественном покое
Басовитый голос знатока,
Что бессмертны горы над рекою,
Что без них немислима река.

Любо слушать, как они могучи,
Монолитно сжатые в комок:

Сам ледник, упершись в эти кручи,
Сник и дальше двинуться не мог.

И звучит по-своему предметно,
Что они растут из-под земли:
За сто лет четыре сантиметра
Прибавляют в росте Жигули.

И начальство — человек ученый —
Признается честно, от души,
Что, своим призваньем увлеченный,
Он рожден для тутошней глуши.

Чтобы не кукожилась убого
Эта щедрость трав, лесов и вод,
Человек с правами полубога
Здесь во все вникает. Здесь живет.

Он обожествляет эти горы,
Ими же обласкан и храним.
И видать, что фауна и флора
Солидаризируются с ним.

* * *

Вот она, поэзия и проза.
Где-то погромыхивает гром.
Пассажиры ждут у перевоза,
Скоро ли появится паром.

Спит рыбак под кровлей из фанеры.
Рвут моторы воду на клочки.
А янтарновласая Венера
Смотрит вдаль сквозь модные очки.

Дремлет ива возле водной глади,
А под ивой дышится легко.
И великовозрастные дяди
Тянут жигулевское пивко.

Люди отдыхают от работы
И на берег семьями пришли...
Мир тебе, свободный день субботы.
Счастье вам, река и Жигули!

* * *

Конвейер встреч — сплошное наважденье,
И нет конца всеильному ему...
Сегодня свой законный день рожденья
Встречает наш хозяин на дому.

Наплыв гостей. Торжественные тосты.
От них буквально кругом голова.
А юбиляр улыбчиво и просто
Заводит речь, и вот его слова:

— Спасибо, дорогие заводчане,
И званый гость, и вся моя родня.
Но чересчур хвалебными речам!
Вы очень даже портите меня.

И я как цеховое руководство
Хочу сказать в присутствии жены,
Что никакие чувства превосходства
Нам

в нашем коллективе
не нужны.

Давайте же, друзья мои, не будем
Жить с требованием времени вразрез:
Пусть всюду светит совесть людям
И властвует взаимный интерес.

Подъемлю тост за спайку, за веселье,
За наши равноправные права,
За то, что мы

артисты в каждом деле,
Что наш ударный труд —
Всею глава!..

Потом
вовсю мелодии звучали,
Кружились пары около стола.
Шутили дорогие заводчане
И даже толковали про дела.

А сочинитель любовался всеми
И повторял
хозяйские слова,
Что никаких вельмож — не терпит время —
И что ударный труд
Всею глава!..

* * *

Дом культуры.
Видная афиша.
Настежь двери — публика течет.
А в твоей душе — вперед и выше!
Вот что значит творческий отчет.

... И минута жданная настала.
Полный зал, а в зале сотни глаз.
Пред тобой — элита по металлу,
Верховод всего —
Рабочий класс.

Девушки одна другой красивей
Встали от стола не вдалеке
И радушно, как сама Россия,
Поднесли хлеб-соль на рушнике.

Стушевался автор ненадолго
И обрел уверенность и статью.
И давай
с разгоном,
с чувством,
с толком
Лучшее из лучшего читать.

И в этом зримом символе сквозила
Отчизны первозданная краса.
И зрелость,
 и спокойствие,
 и сила,
И всех времен живые голоса.

* * *

Грустный миг прощанья у причала.
Провожали гостя все кто мог.
Лидия Русланова звучала
В песне «Ах, Самара-городок!».

На просторной куйбышевской круче,
Всей фигурой рея в облаках,
Возвышался труженик могучий
С крыльями на вскинутых руках.

А секунды — задержать нельзя их —
Проносились искрами в дыму.
И хотелось всех своих хозяев
Перецеловать по одному.

И сказать...
Но плавно от причала
Теплоход отчалил... И с кормы
Трепетно, печально и устало
Долго перемахивались мы.

И в щемящей власти обожанья
Обронить ни слова не смогли.
До свиданья, милые волжане.
До грядущей встречи,
Жигули!



В. МАКАНИН

★

ГДЕ СХОДИЛОСЬ НЕБО С ХОЛМАМИ

Повесть

1

Георгию Башилову хотелось домой; ему хотелось тишины и очень хотелось в свое кресло-качалку и чтобы покачиваться и покачиваться в комнате, что звалась его кабинетом. Но были в гостях; окружающие вновь затягивали под хмельком песню, обычную, примитивно-грубую, давай, давай, когда хочется поорать, пошуметь,— и Башилов вновь начинал морщиться, кривиться, а после и обхватывал руками голову: не зажимал ли он уши, ушные раковины, дабы тонкий его слух не ранился пением случайных людей? С падением роли кантилены в музыкальном тематизме развились, что и логично, многообразные формы *речевого начала* в музыке. А едва мелодика стала на грань меж выпеванием и выговариванием текста — хватит, хватит насмешек, это уж, знаете, слишком!.. Однако нет: жена композитора объясняла, что Георгий Башилов вовсе не оскорбился их пением и не поранился, а напротив — чувствует себя виноватым. Да, да, представьте, композитор чувствует себя виновным за то, что в поселке, откуда он родом, в некоем далеком поселке за тысячу километров отсюда, люди, то бишь его земляки, совсем не поют.

— ...Ему кажется, что он виновен.— Жена говорила, понизив голос.

— Но почему?— спрашивали гости шепотом. Некоторые продолжали орать песню.

— Не обращайтесь внимания. Прошу вас...

И оглядывались: он сидел за общим их столом, обхватив голову и впав в длительное молчание. Ему было сильно за пятьдесят. Еще полчаса назад он смеялся, шутил, был общителен и в беседе не лишен обаяния. Кто-то пощелкивал ногтем по полупустой бутылке. Окружающие отчасти полагали, что музыкант в гостях малость перепил: бывает же. И действительно, если Башилов выпивал, муки усиливались и лицо его поминутно кривилось, в то время как общий стол гудел и горланил веселые песни. Однажды он стал всхлипывать, и жена сразу увела его домой; он так именно и уходил, придерживаемый ею и обхвативший седовласую голову. Оказывается, он вовсе не зажимал уши. Когда он выпивал, ему казалось, что вина его перед *поселком* не только видна, но и огромна, и за вину свою он ждал некоей кары, может быть с неба, и потому как бы пытался прикрыть голову — от удара.

С одной стороны он, с другой песенники, они соучастники — и общий процесс длится. Но я хоть мучусь этим,— повторял себе Башилов, загадывая, как однажды ночью в тишине и в темноте прозвучит высокий чистый голос ребенка.

Тот поселок был совсем невелик, был весь доступен, и ничего не стоило обойти его кругом, особенно летом. Назначенный не только для нормального хода крекинг-процесса, но и для ликвидации случавшихся пожаров, поселок, казалось, был мал. Первый, второй и третий — там было всего три дома, расположенных буквой «П», притом что открытая часть «П» была обращена к видневшемуся на пригорке заводу. Если сравнивать, три дома были как бы ловушкой, и одновременно это было чуткое открытое ухо, вбирающее в себя шумы и звуки заводских неполадок: поселок был аварийный. С тыла трех домов располагались невысокие горы.

Небольшой городишко, невидный за горами, находился от поселка километрах в двадцати пяти, тридцати, так что его как бы и не было вовсе — город был для маленького Башилова долгое время мифом, чем-то существующим и не существующим, вроде географического юга, или, скажем, запада. «Город?.. Где это?» — спрашивал Башилов-мальчик, и ему отвечали: «Там». И указывали в сторону невысоких гор.

Завод был в значительной степени автоматизирован, но старого образца, так что пожары случались и более того — были предусмотрены. Обслуживали завод два десятка рабочих, техник и инженер, а также один аварийный техник и один аварийный инженер — в силу малого числа людей и взаимозаменяемости все они, в сущности, были аварийщики. Женщины работали тоже; с детьми и стариками в поселке жило около ста человек.

«Не породили горы, ой не породили ж горы ничево-ооо...» — поселковская жизнь на отшибе определила, как водится, тягу к старинке, к былым денечкам и к замшелым уральским песням, от которых сильно пахло болезнями, рудниками и чутким, если не волчьим, трудом искателя, а часто и прямым разбоем. И пили и пели аварийщики за длинными столами, и, конечно, детство окрасило и сделало их в глазах мальчика великанами, громадными людьми, хотя были они, надо думать, обычны и плохонько одеты, в маслах и в саже, беспрерывно курящие и плюющие заводской копотью, набившейся в легкие за вахту. Башилов был мал, а они были огромны. Огромны были и горы и дома. *Междомьем* звалась внутренняя часть «П», всегда солнечная и жаркая, но клены давали тень, и там-то, в тени, вкопанные в землю, стояли три общих длинных стола и к ним скамьи.

Два городских учителя, приехавших в поселок на месяц-другой, учили сразу всем предметам: «Перепиши, мальчик, это...» — а другому и третьему: «Прочитай, мальчик, это...» — отчеркивая от и до, так что Башилов и сейчас помнил ногти своих наставников, здоровенный, как лопата, ноготь мужчины и тоненький, изящный, с какой-то молочной подсветкой изнутри ноготь женщины. Разнокалиберным поселковским детям втолковывали вопросы второго класса, а тут же вдруг пятого, третьего и даже седьмого. Но учение не было самым худшим. К тому же в детях было довольно упорства, а Башилов был сиротой, что придавало его упорству оттенок особый, — да, отец и мать сгорели в одной из аварий, когда ему было лет восемь, да, восемь лет, а жил он у дядьки, где кормили, поили и одевали, да, да, у дядьки его кормили, поили и одевали и еще платили за него в музыкальную школу в их городишке — всё так. Однако же едва он разорвал тихое кольцо Уральских гор, это тихое, мягкорукое на горле и по-своему нежное, едва уехал в столицу и стал учиться на стипендию, пусть крохотную, он от их помощи отказался. Он не хотел. Он уже не брал от них ни копейки. Дядька к тому времени тоже сгорел, а всем прочим поселковским, кто интересовался его судьбой, в редких письмах он каждый раз отвечал просто и твердо, что он при деньгах, так как в музыкальном училище получает *стипендию*, он повторял на-

жимное слово, пока слово не сработало и не убедило, а письма не иссякли.

Его ровесник Генка Кошелев тоже брался в расчет; Генка Кошелев всегда был шалопай при родителях, и никто не должен был его с Башиловым сравнивать. Песенный заряд поселка казался велик, но только двое их и стали музыкантами. Да и хотел ли поселок их отпускать? Двое были не как уехавшие, они были как вырвавшиеся. И в вагоне поезда он не ощутил отсутствия пения. Он ощутил тишину. А стук колес оставался ритмом.

Схожим оставался в памяти звук ножей, ритмичный звук-скрежет, когда женщины скоблили общих три стола, когда поливали водой из медной полуведровой кружки и когда по столу бежали ручки, а Башилов был слишком мал. Он тянулся, но не дотягивался до поверхности стола и не видел стреловидный мощный разлив этих ручьев вширь. Он видел лишь струйки вниз, как они падают: бегут и падают со стола в пыль. Жи-жисть! жи-жисть! — тетка Алина, поставив нож ребром и прижав двумя руками, скребла доску за доской, пока стол не станет для поминок чист и бел. Стол не покрывали скатерками. Башилов-мальчик тоже будет сидеть за этим столом — его окликнут, его и Генку Кошелева, всегда обязательных и званых, и к ним еще двоих, чтобы детские их голоса влетались во взрослое пение.

У поющего — дело; и, может быть, из детского профессионализма он не убежал в горы, не прятался там и не скрывался весь день и всю ночь, как бывало с детьми: он знал, что поминки и что надо петь. Гибель отца и матери была сама по себе и тонкой чертой была отделена от поминок, хотя это были их поминки, поминки по ним. Он не затаил чистый ангельский голос. Когда было много выпито и много съедено, огромные аварийщики грянули любимые песни отца, и он вел и вел их чистым своим голоском: он не медлил и не торопился более обычного, вел ровно и, лишь задержавшись на высокой, недоступной взрослым ноте, ждал помощи вторых теноров и подхвата. Или вдруг оглядывался: не забыли ли?.. Сейчас ведь дадут ему гармонику и, если удастся играть хорошо, станут плакать. Они были слезливы на песню, что не считалось удивительным для аварийщиков с их ослабевшими от дыма и химии слезными железами.

В тот день к вечеру поднялся ветер, небольшой, порывистый, и над заставленными снедью столами закачался фонарь. Качающийся свет набегал на ту скамью, где сидели Кошелевы и Короли, а за ними обе Грунины — Василиса-старая и Василиса-молодая. Водка стояла там в светлых бутылках. И рядом тарелка, где красные огромные шары соленых помидоров. Картошка дымилась горой, горой же были насыпаны крутые яйца.

Вспоминали отца, но особенно шумно спорили о матери — о том, какими могли быть последние ее слова.

Отец сразу и умер, обгорев, а мать, оказывается, еще дышала. Когда ее отвезли в город в больницу, она вдруг пришла в себя и, возбужденная, стала быстро-быстро говорить. Разобрали лишь то, что она просила, посылала за родней, — тогда же и помчались назад в поселок за ее братом, но пока он, дядька маленького Башилова, приехал, мать скончалась. «Что? Что вы хотите сказать? Говорите, говорите!» — торопил врач, но мать, стиснув зубы, ждала человека из рода, хорошего ли, плохого ли, но родного, и не говорила своих слов ни врачу, ни окружающим.

— Теперь можно только гадать!.. И вот гадаем. — Сергей Викторович Король горестно чокался и целовался с бабкой Дарьей.

Тут все они шумно чокались, после чего тянулись, чтобы поцеловать маленького Жорку Башилова, а ему был противен их запах, последоужарный запах завода, каким пахли все, особенно обожжен-

ные. Так же, конечно, пахли его мать и отец, он знал, хотя и не дали подойти к ним близко.

Завод был невысок. Он был плоско разбросан в начинавшейся здесь степи, и в плоской его неподвижности бросалось в глаза лишь подвижное и живое: восходящие клубы дыма. Солнце сияло, на столах под кленами еда, а мамку и папку похоронили — надо играть. И раннее утро, вокруг пьют и поют — надо играть. Мальчик свесил на гармонику голову, а люди, вдруг заговорившие разом, обожженные, пьяненькие, объясняли ему, что никто и никогда так замечательно не играл, как он. Они объясняли, что игры своей он и сам не знает, они целовали его, тискали, а если поднять глаза, над плоским заводом стелились живые красные клубы дыма.

В непогоду или, скажем, холодной осенью, а также зимой аварийщики сидели у Ереминых, что жили шумно, неприсотливо и в комнатах без перегородок, отчего там просто и быстро составлялись столы взамен тех, что на улице. Если Башилов вместе с поющими мальчиками сидел лицом к ряду окон, то и отсюда были видны шевелящиеся клубы дыма. Один раз на поминках он видел все еще не унявшийся пожар. Дым был черный, дым стелился. Сложная трансформация фольклорных элементов начиналась уже тогда, а дальше сработало время: настойчивые межжанровые вплетения сами собой определили синтез с выразительными средствами современной ему музыки.

2

В последние годы, говорила жена, он стал похож на человека с причудами, да, да, и возраст тоже, да, да, особенно когда перевалило за пятьдесят и когда кресло-качалка стало любимым местом сочинения музыки. Если под окнами пьяные вдруг орали песню и если хотя бы один из них был с голосом, Башилов кидался к окну, распахивал, слушал дурацкое пенье — и взвинчивался. Он менялся, как меняется вдруг погода. Пьяные уходили своей веселой дорогой, а композитор уже весь день нервничал и совершенно не мог работать: ни сочинять, ни даже слушать музыку. «Они не поют... Они не поют даже на поминках», — повторял, бормотал Башилов самому себе. Если же родные, сын, скажем, пытались с ним заговорить, он огрызался, вдруг на них кричал, хрипел, а потом запирался в свою комнату, в кабинет. Он садился в кресло, но не качался. Он мог сидеть так очень долго, обхватив голову руками как бы в страшном горе, как бы в беде. Иногда, по счастью редко, он уносил с собой в комнату бутылку водки и там, мрачный, пил. Иногда же родные слышали, как после водки или, может быть, *среди* водки он плакал.

Жена рассказывала, что весь такой день уже был отмеченным, а среди ночи Башилов непременно подходил к ней, лежащей в постели, прижимался головой и говорил, шептал:

— Ты ведь знаешь, я виноват перед своим поселком, я виноват.

— Знаю, милый...

И жена ласково гладила его по голове. Она его успокаивала: напоминала о музыке. Ведь плач ушел из поминок, но остался в его виолончельных сонатах. Плачевое качание мелодической линии всегда было его сильным местом, не только же он давал музыке — музыка давала ему.

Аварийщики пели не только на поминках — они пели и при рождении ребенка, пели на редких своих свадьбах, пели на праздниках, пели по воскресеньям и пели просто так, от скуки, долгими вечерами. Это верно, что вечерами и от скуки пели, как правило, женщины: у них не было такой уж нужды в его ангельском голоске. Но когда Башилову-мальчику было три года и когда под скобленье

столами он ходил пешком в самом прямом смысле, аварийщики пели, в нем тоже ничуть не нуждаясь. Они пели и тогда, когда ему было два и когда был один год. И когда его не было совсем, они пели.

Голоса в поселке были замечательные; и единственный, кого бог заметно обошел, был дурачок Вáсик — антипод маленького Георгия, чей голос сравнительно с поселковскими был слишком хорош. Приблудный и никому здесь не родной Васик жил у Груниных; его там жалели, кормили, поили, и жил он при поселке как птица небесная, не работающий, оберегаемый и счастливый человек. Единственное, в чем ему отказывали,— в пенье. И оттого, что в поселке у всякого встречного был голос, больший или меньший, едва аварийщики запевали, несчастный Васик тотчас испытывал муку. Шаг за шагом он подходил к поющим все ближе. Мало-помалу пенье очаровывало, душа разрывалась, и вот он открывал рот, но тут же закрывал: знал, что петь безголосому нельзя, не велено. И не столько мучимый, может быть, желанием петь, сколько желанием быть как все и соединиться со всеми, Васик подходил наконец совсем близко; с противным своим мычанием, с грубыми утробными звуками он вдруг подскакивал к столам под кленами, где сначала поющие грозили ему пальцем, а затем кулаком: «Заткнись!.. Эй, да гоните же его, раз молчать не может!»

Его отгоняли, а маленький Башилов пел и пел, набирая голосом силу — глаза его были раскрыты широко, ясно; пенья не прерывающий, он вновь видел всю последовательность перемещений, в начале которых Васик приближался тихими шагами, затем приостанавливался поодаль, а затем, подкравшийся, пытался немо, беззвучно петь. Он только открывал рот. Но от внутренних сил сдерживания и торможения руки Васи́ка начинали дергаться, выворачиваться в ладонях, гнутья, затем тик перебрасывался выше, на лицо — по лицу проносилась целая гамма трепета, мелких судорог, гримас. Немая душа, имея чем поделиться, не имела способа передать. Башилов-мальчик пел; он пел, как и все в поселке, о дурачке не думая. Когда же в дождь или в холода сидели у Ереминых, мычащего Васи́ка с первого же раза прогоняли совсем и больше уж в дверь не пускали.

Голос мальчика звучал чисто и неколеблемо, а если кто-то подходил ближе или кто-то уходил, это не имело значения. Пенья лилось легко и естественно, как будто мальчик просто дышал. Он мог при этом улыбаться или даже прозаически почесываться, лицо оставалось ясным, и голос звучал чисто. Позже, войдя в современную музыку, он стал сложен и скрыт за зрелостью выучки, но в детстве естественность оставалась самой видной, если не самой сильной, стороной его музыкальности. Если он долго играл на гармонике, казалось обычным, что люди приходят есть и пить водку, уходят, а потом приходят вновь, садятся около и, оттаяв, плачут; дело было не только в их разрушенных слезных железах.

Они возили его в город и платили в музыкальную школу, а когда дядька сгорел, они же собрали ему деньги для поездки в Москву в музыкальное училище, и Ахтынский, первый силач, красавец и прекрасный низкий голос, повез мальчика в столицу. Петь Ахтынский начинал всегда низко-низко, издав: *Ночь наша на улице те-е-е-оомная...* — ведущий и признанный в распеве, он задышался на верхах, зато был раскован, смел в вариациях. Он был из незримых создателей песни: из безымянных. Физически очень сильный человек, он не все умел, не все удавалось, и потому в поездке он много говорил и учил подростка Георгия жизни: он учил московской жизни, которой не знал. Он вез с собой сколько-то поселковских денег, чтобы сберечь и дать их Георгию впрок, когда придется снять для него угол у какой-нибудь зажившейся, дряхлой бабки. Ахтынский

не знал, что при училищах есть общежития для иногородних; общежитие оказалось для него неожиданной и большой радостью.

Он вез подростка в купированном вагоне, чтобы можно было не озираться и спокойно говорить о жизни:

— В Москве, Георгий, нищают и разоряются в основном на мелочах: на газированной воде, на мороженом. Человек никак не может себе отказать, и вот денежки текут и текут. Не позволяй себе этой слабинки — смотри!

Ахтынский на станциях из вагона не выходил и традиционно боялся, что в пути их куда-нибудь втянут и облапошат. Он наотрез, вызывающе отказался сесть за карты с вполне мирными пассажирами, которые и играли-то не на деньги.

В Москве Ахтынского потрясло пиво; не мог он прийти в себя от его вкуса и особенного, мягкого хмеля, тем не менее больше одной кружки сразу он тоже позволить себе в пивной никак не мог. Вскрикая от восхищения, он уверял: «Ты, Георгий, вырастешь и поймешь! ты поймешь, ты пиво оценишь, гадать не надо, обязательно оценишь!..» — а Георгий его поддерживал плохо и в пиве не понимал: молодой! Срывы на вступительных шли у Георгия один за одним, но выручал слух, выручала музыкальность и еще то, что экзаменаторы были непрочь взять человека из той глубинки, о какой и не слышали. Он сдавал экзамены долго, упорно, цепко, и все эти дни Ахтынский восхищался его баллами, а также пивом, которое пил в недалекой пивной. Пивная была с музыкой, с автоматом, из первых, автомат играл вальсы, что тоже Ахтынского восхищало.

Узнав, что общежитие дается не только на время экзаменов, но и на весь срок учебы, Ахтынский понял, что дело сделано и что гора с плеч, после чего и загулял на излишки денег. Он не вылезал из пивной с музыкой трое суток кряду, а когда вылез, оказался безгласым. Лицо у него было сильно удивленное. Он разводил руками. Он стал сипеть, к тому же стал заметно гундосить и очень надеялся, что это пройдет.

Через год-полтора в вялом письме, в одном из писем *оттуда*, сквозь просеянные временем поселковские события к Георгию дошла, пробиваясь, весть и об Ахтынском: оказалось, силач навсегда потерял свой голос. То был чистый низкий голос с чарующей кантиленой, наводившей на слушателя мысли о не меняющихся временах, о мерцании золотой утвари и о рослых непьющих дьяконах. Прочесть было горько, но Георгий жил уже своей жизнью, далекой от них, новой. Он принял известие близко к сердцу лишь как память, как укол детства, от которого, хоть и невеликая, возникает боль. Боль удержалась. Двумя днями позже старенький преподаватель сольфеджио спросил его: «Что ты загрустил, Георгий?» — и подросток, выйдя из задумчивости, рассказал несколько сбивчиво об осипшем земляке. Старичок слушал и кивал маленькой мудрой головкой. Старичок заметил:

— Это печально, что за все надо платить.

— Да, — поддакнул Георгий.

— Он привез тебя, устроил, помог — и, в сущности, заплатил своим голосом. Это печально.

Слова показались самолюбивому подростку не вполне дружескими. Слова и удивили и задели, так как, поддакивая, он ожидал к своей грусти лишь слов сочувствия. Георгий даже и засмеялся, после чего не мешкая молодо и быстро ответил, что счет неточен и что Ахтынский ведь заплатил своим голосом не только за его устройство в столице, но и за пиво — за жигулевское, кажется.

Старичок сольфеджист тронул его за плечо:

— В тебе прорезывается язвительность, Георгий.

И молодой Башилов тут же смутился: разве он язвил?

А старичок продолжал философствовать:

— ...можно видеть, можно не видеть. Но если обобщать — это ведь поселок заплатил его замечательным голосом за твое образование. За тебя. Они заплатили, сами того не зная. Вот что печально.

Так к Башилову пришла та мысль впервые. Она пришла вроде бы надуманной и совсем случайной — разговор был как разговор, а слова о незримой связи с поселком казались лишь философствованием, причудливым выпадом старенького болтливого сольфеджиста. Минута, впрочем, была запомнившаяся — на выходе из класса Башилов стоял с нотами в руках, отчасти той мыслью смущенный, но, в общем, легкий, улыбающийся, молодой, а старичок чего-то там разглагольствовал: слушать старичка было нужно, но вникать необязательно.

— Да, — говорил молодой Башилов. — Да, да. Как интересно подмечено.

В первый раз Башилов поехал в поселок, когда ему исполнилось двадцать два года; пока молодой музыкант учился, желания навесить и глянуть не возникало: бывало, конечно, что он тосковал, однако же тоска не доходила до той степени, чтобы подойти к кассе и купить на поезд билет. Но вот он поехал, что объяснялось, возможно, душевным равновесием после окончания консерватории. Столбы мелькали. Стук колес пьянил. (Консерватория не далась ему просто, и в середине учебного процесса он перешел, к счастью достаточно гибко, с фортепианного отделения на отделение композиции: произошло самоопределение. Зато теперь композитор Георгий Башилов уже не колебался в своей однозначно нацеленной жизни.)

Он был одет вполне скромно: ничего бросающегося в глаза, ничего бьющего. Был чемодан. Был серый ладный костюм и обычные московские полуботинки тех лет. Он был без шляпы и без кепки, с непокрытой головой, он щурился — стояла жара.

Не без волнения подошел он к трем домикам буквой «П» — сердце затукало, и Башилов даже споткнулся, когда проходил в междомье к дощатым столам, где под кленами как раз сидели старухи и пили чай. Чайник старухи заваривали липой; стоял запах. Первым поздоровался кто-то из Ереминых, шумный, веселый, и вот люди подходили, люди узнавали, и Башилов здоровался-здоровался-здоровался, а они знай били по плечу: молодец, Георгий, вспомнил, Георгий!.. Молодой композитор беспрестанно улыбался. Его зывали к себе, звали и те и другие, но на воздухе, за чаем с липой было шумнее, роднее да и увидеть можно было сразу многих. Были и совсем незнакомые — из окон второго этажа они, чужие, смотрели, как некий приезжий человек сидит в окружении старух и как один за другим с радостными возгласами приостанавливаются возле него проходящие люди.

Тогда-то, на вершине, можно сказать, его возвращения, на вершине и на самом пике его молодой улыбчивости и общего радушия, произошло нечто нелепое и тем более запомнившееся. Василиса-старая, по старости уже и сошедшая с ума, проходя мимо с тазом стирального белья, приостановилась в шаге от пьющих липовый чай и внимательно взгляделась. А запах липы кружил голову. Не сводя с Башилова глаз, она медленно и раздельно проговорила:

— У, пьявка... высосал из нас соки!

— Какие соки, бабушка? — спросил он с улыбкой. Спокойный, он спросил: «Какие соки?» — уже вперед Василису прощая, так как сейчас в ней, очевидно, говорило старческое и неладное, что и положено прощать. Улыбающийся и еще более помягчавший, Башилов ожидал, что бабуля тоже смягчится и, быть может, как-то поправит свои слова.

Но бабка завопила во всю свою скрипучую глотку:

— Соки высосал! Души наши высосал!

И тут уж к ней пошли, метнулись другие старухи, чтобы успокоить: ее уговаривали, потом увели. А люди, конечно, подмигивали молодому Башилову, чтоб не обращал внимания, чего, мол, не бывает от долгих лет; они улыбались, как улыбаются хорошему приезжему человеку, и опять подмигивали: спятила, мол, зажилась наша старушка, не дай бог столько прожить...

Уже и уведенная в первый из трех домов Василиса-старая где-то там, в гулком подъезде, вопила: «Высосал соки! Паразит!.. У него глаз черный!» — голоса там прокатывались, гудели, потом стали потише, а потом стихли, после чего старуху вновь вывели на белый свет наконец успокоившуюся. Ее подвели к гостю, посадили на скамью совсем близко, и молодой композитор ласково ей сказал:

— Это же я — не ругайтесь, бабушка.

Она молчала. Башилов тронул пальцами ее коричневую высохшую руку. Перед древней старухой был вкопанный в землю древний дощатый стол, на который так удобно было выложить локти или даже навалиться грудью, но клены стояли прямые, стол был прямой и старуха, не опираясь, тоже сидела прямая. Липовый чай в ее чашке был как янтарный. Старухе объясняли про Башилова заново — это, мол, наш Георгий, неужели не узнала?..

— Жорка?

Она и видела и не видела. Она все вглядывалась подрагивающими глазами, мелко трясла головой, сидела прямо, а ее сын, сын Василисы-старой, уже и сам седой старик, говорил ей, подсказывал, помогал:

— Ну скажи, скажи доброе слово парню — ишь, напугалась как!

Коснувшийся коричневой руки, музыкант улыбнулся и простил, разумеется, старой ведьме пустые, не заслуженные им слова. Лишь за ужином, где хорошо покормили и где он хорошо выпил водки, среди общей разговорной суеты мелькнула вдруг быстрая, гибкая мысль: а так ли они пустые, ее слова? — после чего был один шаг и до сути: а так ли они незаслуженные? Башилов растет год от году; а разве ячменный колос, возрастая, не истощает почву? — так подумалось, и красивое это сравнение, про колос, задело и зацепило молодой ум, который, как известно, излишне раним, а иногда и излишне совестлив. Разумеется, вспомнился и Ахтынский. Стоило словам старухи обрести какой-то смысл и хоть какую-то непустоту, как непустота означалась, а смысл тут же обрел острие. Но больно пока не было. Застолье шумело, и молодой человек мало-помалу отвлекся: его все больше волновало присутствие Галки Сизовой, той Галки, что помнилась девочкой, а теперь была молодой крепкой женщиной, сияла глазами и пила водку. Она много смеялась, а он был в той самой поре, когда хватаются за всякое чувство жадно, радостно, с охоткой: он только-только обнаружил, что любит женщин, всех, всяких, и что особенно ценит любовь в дороге, на случайном ночлеге, пусть даже совсем кратком. Одно вытеснило другое, и старух за столом Башилов не замечал. Мысль пришла — мысль ушла. Он чокался только с Галкой, она чокалась с ним, они смеялись, но потом Галка вдруг заторопилась домой. Она ушла, довольно выразительно и опять же со смехом пожелав *спокойной ночи*...

А он остался со старухами.

Ему постелили у Чукревых; и когда Башилов погасил свет — когда зажег, войдя, и погасил снова, — из четырех стен и из поселковской густой тишины возникла, ставшая от времени чуть узкой, спальня его детства. Он не спешил заснуть: лежал, улыбался. Он вспомнил, что он композитор. (А ведь став пианистом, всегда бы чувствовал недостаток лет, отданных инструменту: сравнительно с другими он поздно начал.) Он улыбнулся... Весь пестрый день посещения родного места пронесся перед ним кинолентой, в самом конце которой, раз уж она пронеслась перед глазами вся, вновь мелькнула старуха с тряской головой и с злобным выкриком. Была тишина, были стены. Глухо

забормотав, как бывает перед самым засыпанием, Башилов повернулся на другой бок и негромко ответил. Он ответил вроде бы старухе и вроде бы не старухе, а кому-то еще, третьему и стороннему, кто мог бы их рассудить:

— Не вытягивал я соки...

Засыпая, он слышал через открытое окно редкие летние ночные звуки, а также цикад, которых помнил с детства. Был за окном и фонарь, что помнился с малых лет,— фонарь светил не меняясь.

3

Генка Кошелев был певец слабый, там и тут подрабатывающий, но своей полупьяной судьбой, впрочем, гордящийся, как это у совсем слабых подчас бывает; он-то и сосал из поселка соки в том смысле, что тянул и тянул со своих родителей, с Кошелевых, деньги. Он тянул из них, когда учился, а когда учење закончилось, тянул по-прежнему, еще и поторапливая их в письмах. Он пил, что сильно увеличивало его запросы. Позже он понял, что пить вредно, однако же пил — и все с меньшей надеждой пробовал пробиться вокалом, ища удачи на эстрадных площадках города Пскова, куда его забросила судьба. Лишь в самый последний год у него, бросившего эстраду и теперь кочевавшего по ресторанам, деньги появились, и наконец-то у родителей он не просил. Дожили, слава богу. А спятившая, мол, Василиса-старая увязла в стершейся своей памяти и спутала — ей все едино, что и кому кричать.

«Ну ясно, ясно! Не придал я никакого значения! Ни малейшего!» Георгий даже и засмеялся, открыто и широко засмеялся, показывая, что не станет же он сводить счеты со старой бабкой. Он вновь пил с ними липовый чай. Он улыбался. Здесь, а не в другом каком месте убегал он в горы, и здесь, а не в другом месте его едва не убило молнией... Но чем больше Башилов отмахивался и чем старательнее отодвигал, тем цепче слова ее удерживались в памяти: конечно, спутала, однако ведь не только о деньгах она кричала. «Соки вытянул наши! Песни вытянул!» — вот ведь что кричала старуха Генке Кошелеву, вот ведь что кричала она и ему, Башилову, пусть даже спутав, пусть случайно. Спятила, несла вздор, не кричала, а выла о «дурном черном глазе», но ведь не все так просто и ведь помимо вздора и суеверных намеков она кричала, каркала, что эти двое, вышедшие из поселка, уносят их песни и их музыку дальше и дальше — высасывают. Чем больше музыки уносили эти двое, тем меньше ее оставалось здесь — вот ведь что кричала старая ведьма, опять же напоминая о ячменном, о хлебном колосе, истощающем почву. И так ли уж случайно, что он, Башилов, вдруг засовестился, а засовестившийся, старался это скрыть, отчего утешения земляков не облегчали, а только ложились камнем. «Ну ясно, ясно. Не придал я никакого значения, ни малейшего!.. И не сержусь я на нее!» Башилов даже и засмеялся, говоря с ними, широко засмеялся, открыто.

В середине жаркого дня он и Галка Сизова отправились к озерцу, что в трех километрах. Они скоро пришли. Тропа помнилась. И спуски помнились. Но если Галка каждую минуту казалась молодому композитору выросшей, озерцо казалось маленьким, мелким.

— И горы стали меньше... — сказал он Галке о своем наблюдении, а Галка в плане как бы всеобщего оскудения, хотя и вполне равнодушно, поддакнула:

— Сейчас и поют меньше.

— Почему?

— Не знаю... Ахтынский с каких еще пор безголос, а дядя Петя поет. Женщины, правда, поют.

Галка сказала, что Василиса-старая ничуть никого не удивила, да ведь она частенько воеет! С того дня, как уехали Башилов и Генка Кошелев, бабуля совсем свихнулась; выйдет на дорогу, сядет на обочине и вдруг как подхватится там в лунную ночь, воеет и воеет вслед уехавшим, ломает руки, иногда и догнать велит, а матюгается так, что проходящая с завода вахта оглядывается на сидящую и хохочет — мол, даёт бабка!..

И Галка, поддразнивая, засмеялась:

— Нехорошие вы! — И еще засмеялась: — Смотри: у бабки глаз черный!.. — И сказала: — Они стали меньше петь, когда ты на гармонике играл: ты так играл, что им петь не хотелось. («Ты разве не замечал?» — «Что?» — «Ты так играл, что петь не хотелось...»)

Башилов придвинулся к ней, меняя разговор: он обнимал, а Галка уворачивалась. И он и она смеялись. Она была ладная, крепкая, вся начеку, если ее обнимали.

Когда вернулись, время оказалось послеобеденное, притихшее; Галка ушла; Башилов без цели бродил меж домов. Одиноким, он наткался на воспоминания там и тут. Холмы (их линия) рождали смутное беспокойство, а когда он отводил от холмов глаза, беспокойство только усиливалось. Услышав детские голоса, он втиснулся в красный уголок, тот самый гибрид школы и детского сада, где обучался и где сейчас по случаю лета сидели лишь двух и трех лет малыши: бросали кубики. Тишина. Грубо сколоченные школьные парты пустовали. Башилов сел за одну из них — за ту, где он решал задачу про пункт А и про пункт Б, когда раздались крики. Он уткнул тогда голову в тетрадь, а крики продолжались. Он помнил, как он рванулся, пихая на ходу в холщовую сумку школьные принадлежности, и как на него, выскочившего с сумкой, сразу же закричали: «Почему он тут? Зачем он?.. Уведите его!» Мальчика стали уводить, потащили, прихватив за плечи так грубо, что холщовая сумка взметнулась. Башилов-мальчик ронял учебники, тетрадки, сыпались карандаши, он ползал, подымал, а его гасили за плечи. Уводя, они еще и зажимали ему лицо, закрывали глаза, хотя, инстинктивно внявший беде и испугавшийся, он и без того не смотрел в стороны, а только в землю, в землю, где собирал руками потерянное, собирал, совал в сумку. Их пронесли в десяти шагах. Отец обгорел очень сильно, мать меньше; но ему и мать не показали.

Вечером пришла отработавшая смена, и вечер был обыден, и они уже не были великанами в робах, а он не был мальчиком: взрослый человек, автор фортепианной сонаты, которую очень скоро будут почтительно называть Первой, Башилов стоял в сереньком простом пиджаке и смотрел, как они приближаются, как проходят мимо. Шли по трое, по двое, но только через полчаса, когда они помылись и сели за эти столы, он увидел их вблизи — помывшиеся и в других рубашках, аварийщики расселись под кленами, где им уступили часть мест, а вокруг сразу захопотали; была им и бутылка перед едой; они закурили, задымили. Башилов был среди них гость. «Это Георгий. Это он уже совсем выучился... Музыкант уже», — говорили они друг другу про него одобрительно. А он отвечал с готовностью, и это было как повторение, потому что говорили они теми же словами, какими только что говорили с ним и про него старухи. «Ну как жизнь в Москве, Георгий?» — спрашивали они. Они спрашивали про фильмы. И про метро. И про членов правительства. Тогдашних лет разговоры. А он улыбался. Он отвечал.

А те, что подросли в его отсутствие, сидели за скобленным столом неохотно, недолго: младое племя. Едва пожав руку и медьком на «музыканта» глянув, они уходили. Зато старые знакомцы, старички и дядьки, хотя и сильно поредевшие, кто сгорел, кто умер, сидели за до-

щатыми столами в точности как прежде и, медлительные, говорили о Сережке Короле — глупость, блажь, озорство, а ведь был человек — и нету, а для него, для Георгия, он был, конечно, Сергей Викторович, покойной, крепкий еще мужик, — разве не помнишь? Так говорили и спрашивали они.

Считалось, что Сергей Викторович Король, разбившийся, мог бы и выжить, однако вот в больнице, в городе, он сильно затосковал. Возможно, что после травмы у него что-то случилось с мозгами; в больнице он днем кричал, безобразничал, а ночью, затосковавший, решил сбежать: вылез из окна. Он был в бинтах, он был стянутый бинтами и плохо видевший. Но вот с третьего или с четвертого этажа упал Сергей Викторович Король? Городская больница была в четыре этажа, нет, нет, больница в три этажа, возразил Чукреев, и тогда они немного поспорили, медлительные и раздумчивые: с четвертого, мол, этажа это понятно, а можно ли человеку разбиться с третьего? Они редко бывали в городе, они не помнили, как выглядит больница. Оказывается, упав, Сергей Викторович Король умер не сразу — его сращивали, резали, шивали, его паковали в гипс, разгипсовывали, опять резали, и лишь спустя месяц он еле-еле помер, задал работы, крепкий был!.. Они продолжали обсуждать, когда сиповатый Ахтынский приволок гармонику. Сильно постаревший и тощий, с красотой, выродившейся в длинный удивленный нос, Ахтынский приволок из дома — из чего? — ту самую гармонику, тоже постаревшую, и держал ее на коленях. Ахтынский уж давно не пел. Он терпеливо ждал минуту, когда гость сыграет, не теребил, но оказавшийся до поры среди женщин, приотстал от общего разговора о выпрыгнувшем Короле. Женщины спрашивали, дергали, и он негромко сипел им, что сейчас Георгий сыграет, а мы ж с ним в поезде вместе ехали, а какая толпища народу в Москве, но мы с ним пробилась, а какое пиво!.. — доносилось до молодого композитора сиплое бубнение. А аварийщики говорили о последнем пожаре.

Аварийщики спели *Выходили двое*, затем *Напылили куры*, затем *Чистоган*, затем долгую и бесконечную *Жизнь прошла* — на ней они выдохлись, устали, но затем они пили, они ели, они пели еще, все смешалось, рюмки, стопки, полустаканы, и совсем не скоро подошла та минута, когда Георгий Башилов, словно спохватившийся, отметил, что самые удававшиеся ему в детском исполнении на гармонике песни, скажем *Конь твой* и *Осень, осень*, они и правда не поют. Он в ту минуту сидел, подавшись вперед и поедая кружки жареной колбасы, а отметил мельком — кажется, сам он и попросил спеть *Коня*: кто-то начал, но не смог. Было удивительно, но старые аварийщики не пели: они не пели, не помнили, словно бы песню в их памяти стерли и вытоптали, как стирают подошвами и вытаптывают траву у входа в дом. «Да затягивай же!» — кричали женщины на мужчин, и кто-то попробовал, но вновь прервались. В тишине стало слышно, как засипел, тшась, Ахтынский. Раздался смех, и тогда-то Ахтынский протянул гармонику — давай, мол, музыкант, давай! Гармонику передавали из рук в руки, ее передали через стол, а потом Георгию — он взял. Какая ж она была легкая. И какая тяжелая была в ходу!.. Он улыбнулся: давно, мол, не держал в руках. Давно не пробовал. Он начал с забытого ими *Коня*, но и с сопровождением *Коня* не подхватили, и опять женщины закричали: «Затягивай!..» — но опять впустую: это была песня, которую уже не пели. А музыка просилась теперь с такой силой, словно бралась объяснить в людях все и сразу, хотя объяснить не могла.

Сменив тональность, Башилов сращивал мелодию песни к довольной далекой музыкальной темой. Он перешел вдруг на куплетный строй, отчего родился забирающий шлягерный мотив; шлягер возник быстро, мелькнул и умер, но Башилов еще раз вернулся в вариации и скользнул по нему, как бы дразня. «Сильно! Сильно!..» — закричали

они, чуткие, но он вновь свернул и ушел в едва ли узнаваемые ими глубины. Держась сонатного принципа, он обыграл мелодийку Коня не спеша, дал столкновение и развитие, после чего разработка сама собой подарила несколько удивительных всплесков. Он улыбался. Клены стояли не шевелясь. В нескольких шагах слева слушали гармонику Галка Сизова и болезненная ее мамаша — Галка мигнула: освобожусь, мол, от мамы и подойду, играй.

Он играл и поверх гармоник смотрел на бледно-желтый факелок завода, где вяло сторали отработанные газы.

Было как раньше; и, как раньше, пение величаво затормозилось, когда зади замычал дурачок Васик, на которого тотчас прикрикнули. Но он уже попал в поле зрения, и Башилов успел увидеть лицо своего одногодка: безусое, детское лицо слабоумного. Как и раньше, Васик страдал, боясь, что прогонят, и потому, остановившийся в пяти шагах, застыл там и немо шевелил губами: пел. Когда принялись вновь за еду, он сел наконец за стол, уже не прогоняемый. Ему придвинули горячей картошки. Башилов погладил Васику по голове, тот расплылся в улыбку, а кругом слышно было движение по столу тарелок, стук ножа.

«Ты разве не замечал?» «Что?..» И тогда же, в застолье, он не удержался, *вытоптанность* песни поразила, а пьяному нет кощунства, как нет запрета, чтобы убедиться вполне и проверить. Когда после обильной выпивки он вновь заиграл, хмель куда острее нацелил его игру. Умышленного или, скажем, показательного эксперимента не было, а все же пьяный про себя знает, и пальцы музыканта знали, что он тогда играл, хотя бы и на пыльной, дрянной, старой гармошке. Он играл *Венули с полудня*, звавшуюся также *Венули ветры*, знакомую и уже певшуюся сегодня в застолье песню,— он играл ее прячась, выставив совсем уж простеньким напевом, вроде как отложит сейчас гармонику да и выпьет стопку, а там еще стопку, а вы, подхватившие, пойте, пойте! Однако с ленцой наиграв тему, Башилов ее не бросил: это было как бы фортепианное вступление, когда виолончель или, скажем, альт молчит, а пианист вырывается несколько вперед. Явив форму, он уже второй вариацией вдруг придал старой песне задора и жизни, буквально растворив мелодию в потоке триолей. Он звенел, он баловался, он видел, что слушают уже с удивлением, отчего еще и добавил звонкости, в то время как басы нарочито и несколько иронично притоптывали за жаворонковой ладовой спешкой. Третий взлет он сопроводил пышными и чуть холодноватыми фигурациями а-ля фортепиано: немножко роскоши не помешает. И лишь в четвертой, в минорной вариации он дал им, слушавшим, впасть в непосредственное чувство: оживив тревожную ноту, скрытую в песенной теме, он без оттягивания, сразу и с маху выпустил мелодию на свободу, давая ей поплакаться, а им поплакать. Нет, криков восторга не было. Он и не ждал криков. Они замерли. Притихшие, они продолжали есть помидоры, яйца, хлеб, двигая руками замедленно, как расслабленные: мелодия с ее рыданиями сидела уже в самом их нутре; две женщины беззвучно плакали. И конечно, никто из них не мог бы сейчас подхватить или даже просто подпеть эту песню. Они не смели. Хмельной Башилов еще и *прошелся по мелодии*, потоптался на ней, а затем, ясно и широко оповещая об убиенной песне, завершил светлой лаконичной кодой.

Меж первой и второй вариациями у них все же была возможность, когда возник крохотный просвет, промельк, соломинка, за которую могли бы схватиться: в тот особенный миг *отрыва* показалось удивительным, что итогом всей этой музыки, если не считать саму музыку, явился легкий мотив, мотивчик, который захмелевший Башилов и стал вдруг наигрывать двумя пальцами, отчего их глаза оживились. Они как бы воспряли. И конечно, они бы запели, но он не дал. Веро-

ятно, так бывало и в детстве: он выхватывал глубинную народную мелодию, брал из куста, мелодии не живут в одиночку, брал и выпячивал, вынимал ее нутро на обозрение всем, а потом доводил до такого блеска, что им не одолеть, не справиться — открыть рот и закрыть. Их голоса как бы угасали один за другим. Они смолкали. И раз от разу переходили на песню, которую он еще не играл. Конечно, иногда они смирялись неохотно и пробовали, сопротивляясь, петь с ним в параллель. Башилову было восемь, кажется, лет. Но мальчик уж тогда был нацелен. Инстинктом, пальцами, нежной кожей щеки он уже верно чувствовал опасность, когда уступить им значило быть лично задушенным, и оттого-то, сталкивая меж собой голоса женщин и вроде бы хитря, как хитрят дети, мальчик сам переигрывал и заигрывал вторы. Мужчины молчали, ожидая. Женщины сбились. А Башилов-мальчик все дурачился на своей певучей гармонике, и как затягивание времени, как продление баловства возникло подспорье мелодии — тогдашние детские его вариации, хотя бы и робко, ребячески, но они засверкали, заискрились, тесня и не давая женским голосам ни пяди, ни кусочка музыкального пространства, на котором песня могла бы заново выкрепнуть и выжить. Он уже в детстве забивал их пение. «Ты разве не замечал?» — спросила Галка тогда, у озера, а он переспросил: «Что?..»

Казалось, поселок отпускает легко, и потому тихо уйти было здесь проще простого: только за дом, а уж дальше никого не встретишь. Они пошли в ту сторону, где горы — горы были невысоки, из долин пахло влажной травой. Он скрывал, что женат, и когда Галка спросила, он ответил ей:

— Нет.

— А вроде сказали — женился...

По неясной какой-то причине он упорно скрывал первый год, скрывал второй и только на третий, наконец осмелев, стал признаваться сторонним людям, что женат. Возможно, это был безотчетный страх перед поселком: страх сознаться в личном. Галке, женат он или не женат, было не так уж важно — она не строила планов, и он это знал. Сидя в ковыле, они все смеялись тому, что руки аварийщицы оказывались ничуть не слабее рук музыканта, хотя у него были достаточно сильные руки. Пахло степью. Жить казалось просто, как траве расти, а ковылю выпрыгивать над травой и покачиваться. И сумерки были легки. Они возвращались усталые — медленно шли, удивляясь, как далеко забрели. Поселок обладал особенностью: сколько бы мало ни ушел от него, казалось, ушел далеко.

— Уеду я, — сообщила Галка. — Скучно здесь становится...

Он спросил — куда?

— Посмотрим.

У Чукреевых его ждала та же опрятная комната. Постелено ему было чисто и у открытого окна — через окно, припозднившийся, он и влез. В чистоте он чувствовал себя, как пух в воздухе. Чукреевы были без детей: сын Андрейка, одногодок Георгия, шести лет от роду был убит молнией, когда шел с Башиловым-мальчиком рядом и когда в долинах невысоких гор было полным-полно тюльпанов. Тогда он не увидел молнии и, кажется, даже не услышал, а Андрейка просто споткнулся, упал, лицо у него стало серое. Детей у Чукреевых больше не было, и любили они Башилова. переместив с сына частицу любви на того, кто шел рядом во время удара беззвучной молнии... Завтра Башилову было уезжать, он лежал в чистой постели и у окна, усталые ноги гудели, он лежал и улыбался: родина.

«Конечно, ты ляжешь у нас. Слов нет!» — сказал Чукреев в первый же день и в первый же час, когда Башилов-музыкант приехал.

И жена Чукреева тогда же сказала: «Ну ясно».

Боялся взрыва снизу, а удара сверху, — и повторение этих сложившихся слов не было пустым, так как к этим словам и картина была, житейская картинка, почти что факт. В какой-то мере это уже однажды было, пояснял он. Был взрыв на том самом заводе, когда шел к поселку, шел мимо, и после взрыва взлетевшая доска вдруг упала рядом, в шаге, с грохотом; эта рядом, а следующая доска попадет точно, то есть могла же она попасть и ударить в висок, и, стало быть, вот он, удар сверху, от которого он, музыкант, погибнет немедленно. И немедленно же в замену ему закричат дети, маленькие или даже новорожденные, красные, разинутые, крохотные рты. Они закричат, а воображение, разумеется, дорисует, что это уже не просто писки и крики, а хор, они поют, да, совсем малые, да, в пеленках, да, новорожденные с красными крохотными разинутыми ртами, они поют, и получается, что он, камерный музыкант, искупил; получается, что он не боится, а хочет этого удара сверху, удара доской, как бы беззвучной молнии, чтобы упасть как споткнуться и зарыться серым лицом в землю...

Сын Башилова, молодой инженер, довольно красивый и, разумеется, заехавший перед Новым годом к родителям, чтобы их поздравить и поклянчить денег, рассказывал, что воображение отца не ограничивается поющими младенцами, — а кстати, нет ли там прокравшихся в подкорку и потихоньку поющих ангелов? Он рассказывал, что возле дома и на улице было тихо, совсем тихо, но начинающему стареть композитору показалось, что на улице только что пели. Стареееое воображение, увы, скачет как хочет.

— Там только что пели песню, да, да, я слышал: там проходили люди, совсем простые люди, маляры, кажется, и пели!.. — Настаивая на своем, композитор Башилов уже сильно нервничал. Дергаясь по квартире туда и сюда, он наконец подходил к окну в своем кабинете. Он осторожно открывал окно и выставлял голову. Он стоял и вслушивался.

Сын тем временем тоже нервничал; сын, который приехал поклянчить деликатно денег и ждал под просьбу удобной минуты, теперь уже разъяренный, взвинченный выскакивал на лестничную клетку и стучал к тем соседям, что любят во всякий народный праздник широко погулять.

— Эй вы! Опять у вас кто-то орал?!

— Никто не орал.

— Что?

А из-за двери вновь: никто не орал, было тихо, клянусь тебе, мертвая тишина! И верно: тишина... тишь... и часы на руке тикают.

И тогда сын, молодой и довольно красивый инженер, возвращался, пил холодную воду и обнаруживал начинающего стареть отца в кабинете у приоткрытого окна. Отец выставлял в окно сильно поседевшую голову, вслушивался.

Сын подходил ближе и спрашивал:

— Ты что, отец?

— Ничего...

Сын трогал ладонью стены; кабинет был обит звукопоглощающей губкой. Композитор, что и понятно, хотел тишины.

Кабинет Башилова был мал, фортепиано умещалось с трудом, но, по счастью, имелись две глубокие ниши, в одной стояла дорогая проигрывающая система, в другой — фонотека, пластинки с классической музыкой. Небольшое кресло было креслом-качалкой, покачивалось оно мягко, а все же нет-нет и протирало ковер, за что жена не раз выговаривала, — и однако же он любил качаться именно на мягком ковре, а не на жестковатых паркетинах, которые в отместку иногда

неприятно похрустывали. Башилов любил сочинять в кресле. На коленях стопка бумаги, в руках пишущая ручка. Так он и сочинял — рисовал ноту за нотой и бесшумно покачивался. За фортепиано он лишь импровизировал ближе к ночи, усталый.

Когда шло постепенное и не очень-то легкое признание Башилова-композитора, отчасти ради этого признания Башилов-пианист много концертировал. Написанная музыка должна играть. И понятно, что сонаты для скрипки, а также обе для виолончели, из которых впоследствии особенно ценилась Вторая, исполнялись с кем-либо в паре прежде всего самим Башиловым; игрой убеждал он как скрипачей, так и виолончелистов, убеждал долго и настойчиво, пока сонаты не стали говорить сами за себя. Но и когда сонаты обрели жизнь, он исполнял их. Не числясь в ряду известных пианистов, Башилов все же несомненно обладал определенным исполнительским почерком. Ему было лет тридцать пять, не больше, когда однажды во время концертирования в Пскове в перерыве после первого отделения к нему подошел, точнее, подскочил некий человек.

— Здрасьте,— радостно пискнул он; небольшого роста, с резкими преждевременными морщинами, он был из тех, кто все повторяет *здрасьте* и вновь *здрасьте*, умиляясь и заглядывая в самые глаза: какой, мол, артист рядом.

Он умилялся, млея, а Башилов отметил, что руки его дрожат.

— Помните меня? — спрашивал он, но Башилов, конечно, не помнил, пока не было сказано, что это и есть Геннадий Кошелев, малоудачливый певец, притча во языцех в поселке. И конечно же, Кошелев тоже узнал пианиста не по лицу, узнал по фамилии, по афише.

— Такие вот наши судьбы. Вы уже большой музыкант, а я ничто, совсем ничто,— торопился сказать Кошелев, подбежавший, подскокивший в перерыве концерта, и Башилов ожидал, что он попросит сейчас, сию минуту денег.

Но он не попросил денег. Он попросил о разговоре, и Башилов подумал, что уж там-то, в разговоре, он их точно попросит, Башилов даже и взял с собой сколько-то, когда отправился поужинать; но вновь ошибся. Кошелев и в разговоре попросил о другом — он хотел петь в ресторане средней руки, в скромном ресторане, и это не прихоть, не временная блажь, а итог размышлений, это итог, и, значит, он нашел свой путь: малому кораблю малое плаванье. Он был бы счастлив петь в небольшом ресторане, да, да, счастлив, он при музыке, и ничего в жизни ему больше не надо, он именно что нашел свой путь. Но в том-то и закавыка, что жизнь сложна и что, пока нашел путь, он со всеми уже перессорился здесь, в небольшом Пскове. И потому хочет поменять псковское жилье на Подмосковье — нет, нет, он знает, что поменяться на Москву трудно, дорого, сложно! он бы и просить не стал! — он будет вполне счастлив в подмосковном ресторане, даже и в небольшом.

Он просил композитора и пианиста Башилова заехать в Одинцовский райисполком Московской области, где и замолвить слово, чтобы не были они слишком суровы и чтобы помогли обычному человеку по фамилии Кошелев с обменом и с пропиской. Там, в Одинцовском, нужно чуть-чуть подтолкнуть. Лучше всего прихватить с собой на полчаса какого-нибудь, скажем, чиновника, влиятельного дядьку из композиторского Союза, а уж дядька сам в лучших словах скажет о Башилове, а в связи с ним о Кошелеве...

Башилов пообещал; Башилов не только пообещал, но и все сделал, так как не сумел выбросить из головы маленького певца и его слов, сказанных тихо, просительно:

— Нас только двое из Аварийного. Кто же поможет мне, если не вы, Жора...

— Георгий,— поправил тогда Башилов машинально, хоть и не чувствовал прежнего своего имени.

— Да, да, конечно, Георгий — я и на афише видел: Георгий Башилов,— заторопился исправить тот.

А через год Кошелев, поменявшийся в Подмосковье, в знак благодарности пригласил Башилова в ресторан, в котором теперь пел: как водится, композитора хотели напоить, накормить, ублажить — Башилов же долго отказывался, кивая на занятость. Однако и тут щемящая память об Аварийном поселке пересилила, Башилов ответил согласием, выкроил время и посетил этот далекий загородный ресторан, кажется «Петушок». Против ожидания композитору там понравилось. С женой и сыном-школьником Башилов жил в каждодневных трудах, однообразно и, пожалуй, скучновато, пресно, а тут, расслабившийся, он посидел за убраным столиком, вкусно поел, а также и выпил. Гремящий лабудовый оркестрик и поющий Геннадий с галстук-бабочкой ему тоже, в общем, понравились, хотя не обошлось без привкуса пошлости, особенно же в процыганских этих объявлениях, видно вошедших у ресторанных людей в моду.

— Для нашего дорогого гостя, известного композитора Георгия Башилова исполняется песня *Ехал на ярмарку!* — выкрикивали с пятчковой эстрады, отчего слюна у гостя делалась во рту кисленькой и гнусной, однако оркестр гремел, Геннадий пел, а все новые и новые люди шли танцевать, толпа входила в экстаз; было шумно.

Выбравшийся из кислого самоощущения, Башилов увидел этих людей поближе: одни подпевали и веселились, другие танцевали, притихшие в объятиях, счастливые и музыкой и минутой. Он не обольщался. Он видел и тех, что совсем не вязали лыка, жестикулировали, мычали и даже плохонько выявить себя не могли, не умели, чем вдруг остро напомнили Башилову безголосого и страдающего дурачка Васи́ка. Один из них все лез в глаза; в конце он сполз со стула под стол и там, под столом, плакал. Про него забыли. Вокруг него были только ноги, мужские и женские. Эти вот горькие, застольные или даже подзастольные слезы хотя и были, разумеется, второго сорта, но ведь тоже слезы, тоже человеческие. И еще: как ни мало было в гремящей песне, как ни ничтожно мало, крупиночка ее, музыки, все же таилась; расплуснутая в угоду тексту, распятая, невнятно повторяющаяся на припеве и гоняемая туда-сюда, она все же жила, и не было это лишь голым ритмом акомпанемента, не было сплошным свинством. Башилов сидел за столиком, курил. Он уже ограничивал себя в куреве, это была *третья за вечер*. Башилов думал: «Музыка — это музыка, и разве я такой уж высоколобый или сноб?..» Он как бы пинал себя все усиливающимися пинками: а разве, мол, я не хочу написать песню или музыку к лирическому фильму? разве я не хочу *сделать тепло* простому человеку, который устал, наработался, настоялся в очередях и которому недосуг искать и находить изыск в моих сонатах и трио?.. Так или почти так думал тогда композитор.

Песни были написаны в течение полугода. Башилов не перешел в ряды приспособленцев фольклористского толка, не стал он, разумеется, и песенником, но несколько он написал; среди них были удачные.

Конечно же, истинные музыканты судачили в тот год о том, почему, порывая с традицией (что еще вчера была модой), Георгий Башилов вывел из нового своего квинтета сопранный саксофон, заменив его еще более традиционным фортепиано, да, музыканты судачили, спорили, восторгались, но куда большее число людей, неизмеримо большее, пусть даже совсем не музыкантов, восторженно приняло в тот год новую появившуюся песенку *Тополя меня помнят мальчишкой*. Эстрадники подхватили сразу же. Радио распевало *Тополя* беспрерывно, и уже студенты пели в электричках ее под гитару. Совесть да и просто на всякий случай Башилов загодя все же взял себе псевдоним.

Две из них, из песен, как знак земляческой привязанности и любви он подарил для первого исполнения Геннадью Кошелеву, когда же обе они произвели впечатление и, что называется, прозвучали, Геннадий с ними впервые в жизни попал на радио; он их там спел, записал, а единожды просочился даже и на голубой экран в специальную передачу о новых, растущих певцах: это было счастьем, нечаянным счастьем! Больше его никуда не приглашали, но Кошелев уж и тем был потрясен. Теперь он знал, что жизнь прошла не напрасно. Он твердо знал, что как бы ни опускался, у него до конца дней будет теперь что ответить знакомцам и знакомицам, тычущим в его сторону пальцем. Он долго не мог прийти в себя. Ошалевший, он беспрерывно в те дни звонил («Нет,— говорил ему Башилов,— не могу, никак не могу...»), зазывая композитора в ресторан, где его будут угощать каждый день и где каждый день ему будут петь песни, а если шлягерная музыка противна, он Георгия Башилова и тут вполне понимает: он приглашает Георгия Башилова в понедельник или, скажем, в среду, когда оркестр не работает и когда в ресторане совсем тихо — можно просто посидеть, покушать. Башилову приглашения стали в тягость; он и слышать не хотел про «Петушок».

За окнами тогда кропил дождь. После одиннадцати в пустом и полутемном ресторанном зале, при одной лишь несильной люстре, его угощали Геннадий и два его лабуха с гитарами и саксофоном, немножко пьяненькие и сильно счастливые гостем. Рядом с ними, крутясь, подсаживались и тоже пробовали хрипленько подпеть молоденькие официантки, иногда вдруг милые. С улицы в окна заглядывала, даже тарабанила какая-то молодая пара без зонта, умоляя, чтобы пустили внутрь. Пустые столики и емкая полутьма ресторана создавали настроение, время не двигалось, было тихо, и Геннадий, сидя за столом, пел совсем негромко.

Чуткий, он не надоедал, не лез с башиловскими, с теми песнями, и лишь в ряду прочих он как-то спел одну из них: спел вдохновенно. Башилов был под хмелем, спросил, знает ли Геннадий, как эта песня возникла. Расслабившийся, он повторил:

— Знаешь ли, откуда она?

— Конечно,— с готовностью ответил Геннадий. Он как бы выдернул из рук лабуха гитару, побренчал, а затем, аккомпанируя, чистым и без хрипа голосом пропел маршеобразное вступление Второй виолончельной сонаты. Он совсем неплохо выявил соотношение тональностей, а ведь они несли характер. А затем — что было куда более удивительно! — он пропел отдаленный прообраз этого вступления, мелодию поселка, которую Башилов отчасти уже и забыл.

— Молодчина! — похвалил Башилов.

Слово упрощает, и если Башилов говорил, что «использовал мелодию поселка», это не означало, что он и впрямь вплел некую мелодию в ткань музыки: речь шла не о некоем заглядывании в сборник поселковского мелоса, ни даже в память, речь шла о довольно сложных фольклорных усечениях, когда, репризно усиленная, вдруг возникла завораживающая, заклиная башиловская музыка; не без пышности в статьях писали, что музыке присуще то долгое раздумье, которое прежде всего мучительно, какому бы веку человек ни принадлежал.

— Молодчина!..

От похвалы просиявший и молниеносно опрокинувший в рот стопку, Геннадий запел теперь сохранные памятью поселковские голосовые ходы той же темы: он пел и явно наслаждался ускользящей, отмирающей полифонией — Башилов же, покуривая, думал о чуткой его музыкальности, о том, что голос простенький и несильный, а жаль. Башилов расслабился, выпил еще; кажется, он выпил много; и уже с подробностями он рассказал вновь о посещении поселка, в частности

о крикливой Василисе-старой, по мнению которой оба они, музыканты, сосут из родных мест соки.

— Это про меня ведьма кричала. Про меня.— Геннадий смеялся, а Башилов покачивал головой — не только, мол, про тебя.

Вспомнив больше, Башилов сказал:

— А знаешь, Гена, они перестали петь именно те песни, которые я хорошо играл... Удивительно?

И вновь Геннадий поразил: он ответил, что это совсем не удивительно, что вот сейчас, к примеру, он только что спел праоснову башиловской песни — и что же? — а то, что рядом с башиловской она как-то потускнела, постарела и петь ее как отдельную песню теперь, конечно, не хочется.

Башилов спросил, уже больше доверяя его музыкальности:

— Почему, Гена?

— Был бы певцом, сразу бы почувствовал.

— Я пел мальчиком...

— Написав песню, ты собрал с молока самые легкие сливки. Мужики и бабы начинают петь вроде бы свое, поют, но твоя-то удобнее для пения, мастерываете: она встает им поперек горла — сбивает, заворачивает в свое русло...

— И что же?

— Они или немеют, или поют твое...

Разговор прервался, так как Геннадия позвали попробовать шашлыки, да, в ночное время шашлыки уже второй раз готовились специально для гостя. Гость же (напомним!) неожиданно впал в мрачность: в сущности, Башилову было неприятно, что Геннадий так легко понял и тем более так легко и просто отнесся к тому, что болело, — когда выхватываешь из пьяных рук гитару, пой, но не поучай. Кругом Башилова в полумраке стояли пустые столы. Тихо... Музыка не подымается ступенькой выше, если заигрывает с формами, из которых ушла жизнь. Мысль Геннадия ясна и не без глубины, но распорядился он давней башиловской болью, как шашлыком, как девицами. Башилов недовольства не выказал, но слова маленького певца сделались той каплей, что точит и точит.

Он слышал их голоса — да, древесный уголь, да, привезенный!.. а глаза для чего? а чтобы мясо не сгорело, кропите водой!..

Известность Башилова в музыкальном мире к этому времени заметно выросла, давались авторские концерты, а уж камерные ансамбли за композитором следили неотрывно и уже в год написания спешили дать жизнь его сонатам и трио. И начавшееся расхищение его музык песенниками было также своеобразным признанием. Но ведь так или иначе его музыка шла к людям. Популяризация вовсе не презрена, а даже необходима, и Башилов, сын двухэтажных облупленных домишек, это вполне осознавал. Так было, так будет: более всего композиторы-песенники черпают из классики, но если современник чего-то стоит, как не взять у него. Он вспомнил: в поезде за чаем, когда он ехал в Киев, он тогда же, за чаем, исполнявшуюся по радио песню узнал и улыбнулся. Сложными ходами искусства он, Башилов, создал на основе поселковского мелоса квинтетное скерцо, из которого в свою очередь предпримчивый и талантливый песенник сотворил свой маленький шедевр. Песня и впрямь была неплоха, и в поселке грузную, глубинную песню-праматерь, надо полагать, петь больше не станут, зато начнут петь именно эти вот куплеты песенника; круг замкнулся. Башилов давным-давно не играет на гармонике, он больше не сочиняет песен, но его музыка все равно бьет и бьет по поселку.

— Я поеду, пора.

— Геннадий сейчас же придет...

Но гость с неожиданной посреди ночи твердостью повторил, что поздно, что ему пора, и, не дождавшись вторых шашлыков, ушел.

Когда несколько лет спустя Башилов решил навестить поселок, он предвидел, что первородных песен уже не услышит, и сказал жене: «Еду на песенные руины», — а она: «Скучно не будет?» Он не сразу ответил, думая как раз о музыке, выпорхнувшей из его квинтета и опосредованно, через эстрадников и радио, несомненно уже добравшейся туда. Ласковый и чувственный шлягер уже зазвенел, зазвучал в двухэтажных домишках, расположенных буквой «П», зазвучал, и запомнился, и остался в ушах их надолго, иначе что это за шлягер. Сочинитель песен — это миллионное тиражирование, с которым не может тягаться живое пенье. Техника добралась, они не пели, а заводили пластинку, они врубали на всю громкость, после чего чужой и сладкий голос певца заливал пространство междомья.

«Скучно не будет?» — и тогда Башилов звал с собой жену, быть может, именно потому, что ехал на песенные руины. Ему стукнуло сорок, он был в самом соку и ехал показать ей *следы былого*. Они отправились на машине, отчего еще более их поездка с самого начала стала похожа на туристическую: в пути много фотографировали, осматривали, заодно же бросали своим приятелям открытки в каждом месте, где ни случился ночлег, — от столицы и до Урала на своих колесах!.. Едва появились отроги гор, Башилов уже рассказывал жене, как странны бывают эти горы зимой или в дождь: сточенные, смягченные в вершинах Уральские горы. Погода обещала быть устойчивой. За машиной хвостом тянулась жаркая белая пыль. (А песен, конечно, не будет.) Жена разглядывала, как ближе к югу горы делались плоскими и высились вовсе без гребней, холмы как холмы.

— А в долинах весной, конечно, тюльпаны! А воздух самый целебный!.. — восхищался Башилов, стараясь невольно восхищение не испытать, но передать ей. Лево́й рукой он удерживал руль, правой показывал. Отстраняясь рассказа ради от родства с местом, он был, в сущности, гидом, нет, нет, скучно не будет.

В трех домах по-прежнему шла жизнь, люди ходили, здоровались, выглядывали из окон.

А под кленами было опустевшее место — один скобленный дощатый стол исчез совсем, другой свалился набок, растеряв половину досок, и лишь третий, последний стол кое-как стоял, стар и трухляв.

— Здесь они пели, — говорил Башилов жене, неожиданно для себя продолжая держаться туристского тона, который и впрямь легче и быстрее давал смириться с уходом былого. Башилов словно бы знал все наперед: знал, что столы ветхи, что скамьи гнилы и что песен здесь больше не поют, но словно бы не ветхость и не отсутствие поселковского пения были сейчас главным, а та простецкая возрастная истина, что все проходит и уходит. Мудрость, но не горечь.

Башилов явно спешил показать жене, и было понятно, почему он спешит, не печальющийся, но словно бы спохватившийся, что и трухлявые-то они, эти столы и скамьи, не вечны, что и шаткие, прогнившие они тем уж хороши, что как-то устояли и стоят. Башилов трогал рукой — ведь стол, ведь стоит и ведь без обмана, есть чего коснуться ладонью, и ведь совсем скоро приедет, может быть, другой человек, придет, притащится, пыльный, но ни коснуться, ни показать ему будет нечего. Время от времени Башилов просил, чтобы и жена коснулась стола ладонью.

— Вернувшись с вахты и помывшись, вот здесь они садились... Огромные люди, они ели, они пили чай чашку за чашкой неторопливо и долго...

— Ты рассказывал, что на поминках пели, — тоже здесь?

— Здесь! Всё здесь! — И Башилов широко развел руками, приглашая жену представить себе, домыслить сидящих за столами, за длинными вот этими столами, там и тут людей. Он тотчас же и рассадил их. Он пояснил, что мальчик с гармоникой сидел обычно тут, а там

мужчины, а там женщины с высокими голосами. Покойник? — он переспросил. А покойник в это время был, разумеется, на кладбище. Ты думаешь, что поминки — это когда покойник на столе? Нет, нет, дорогая, поминки сразу же после похорон. Он, Башилов, с детства пел на поминках и спутать никак не может — ты уж извини. Нет, нет, факельщик — это из кино, никаких факельщиков у нас не бывает, у нас просто много пьют, много едят, ну и поют тоже.

Клены также состарились; при такой жаре их чахлая тень не защищала святого места. Но Башилов и Башилова не уходили — жена была под широкополой шляпой, а он держал над головой от солнцепека газету, другой рукой он взмахивал, поясняя свои слова, свои чувства. Их не разделило. Как бывает в доброй семье, утраченное одним утрачивает и другой; жена Люба на глазах теряла эти столы, эти скамьи и постаревшие клены с чахлой тенью.

А из дома, что слева, показалась старушка, шла к ним.

Острым глазом Башилов признал в ней тетку Чукрееву, правильнее было бы говорить «бабку Чукрееву», так сильно она постарела; все же это была она.

— Чьи будете?

— Баба Алина, а ведь вы не узнаете — это я, Георгий.

— Ой! — Она всплеснула руками.

Узнав, бабка Чукреева быстро-быстро заговорила, предлагая пройти к ней в дом.

— Ой, да какая ж у тебя жена! Ой, да прямо красавица!.. — причитала она и опять звала к себе в дом, но Башиловы не шли.

Они объяснили старушке, что они закоснелые путешественники и что приехали они на машине, как будто это снимало разом и гостеванье и вопрос о ночлеге. Они сказали, что совсем ненадолго, проездом. Старушка не поняла. Но кивнула. Будем ли, спросила она, пить чай — и кликнула.

Она еще раз кликнула высоким голосом, по-птичьи, после чего из дома выползла на солнцепек и подошла к кленам вторая старушка — с чайником в руках. Солнце ровно жгло и старушек, и чахлые клены, и горы вдали.

— Но чай здесь все-таки пьют! — подмигнул Башилов жене.

Он все отмечал, такой наблюдательный. И когда бабуля Чукреева принесла на всех стаканы, Башилов, тут же воскликнув, отметил очевидное отсутствие размаха и упадок — четыре стакана, что за скудный чай?! — на что они, старушки, закивали, да, да, и с чаепитиями уж все кончается, жизнь кончается, чай тоже. Вдвоем-то они, старые, и чаевничают. Обе вздохнули. Обе сказали, что старики сгорели да померли, а ведь у молодых все по-своему, по-иному.

— Столы повалились, — сокрушался им в тон Башилов.

— Энтот вон пока не повалился, мы за него осторожно и садимся — с краешка...

С краешка все четверо и сели, жена Башилова обмахнула, прежде чем сесть, шаткую старую скамью от пыли. Чай пили медленно. Чай был вприкуску.

Пересекая междомье, изредка проходили поодаль обитатели домов, жильцы, сильно обновившиеся временем, незнакомые; или совсем молодые; некоторые поднимали на приезжих глаза. А бабка Чукреева, бабка Алина, все рассказывала — вдвоем, мол, пьем чай, также вдвоем и песню иной раз, старушечьи песни слушать слушают, но только уж никто не подтянет. Чай вдвоем, песни вдвоем... Старухи пустились вспоминать о том, что за люди были в прошлом, а Башилов, возбуждаясь все больше, словно бы подкидывал и подкидывал старухам имена:

— А Король?.. А Ахтынский, какой же силач, какой же мужик был!

— Помер,— кивали старухи; обе они не знали, зачем он явился вспоминать столько лет спустя, но знали, что, стало быть, такое нужно: явиться... Припоминая, они теперь взаимно подстегивали друг друга забытыми именами, а башиловская Люба слушала их восклицания с блуждающей рассеянной улыбкой.

Обернувшись к жене, тронув ее за локоть, Башилов шумно вздохнул:

— Да-а, не застала... не повезло тебе.

И старухи понимающе закивали — да уж, не застала, времечко-то *идеть и идеть*.

Стариков совсем мало, сообщили они, а Галка Сизова вышла за муж и куда-то уехала; и она тоже, подумал Башилов. Он допил чай. Его вдруг поразило, что без изъятия и пропусков уже все здесь было осмотрено — так много, а так оказалось мало!

Он даже смутился отчасти. Он подумал, что жена, вероятно, тем более уже давно скучает: горы невысоки, междомье, чахлые клены да две старухи за чаем — что еще тут смотреть?.. Жена Люба как раз и взглянула на Башилова, нет, нет, чуткая, она ни в коем случае не поспешила сама и не поторопила его, не встала из-за стола. Она только взглянула — помоги, мол, и подскажи, как и что полагается делать дальше, если *все осмотрено*... Башилов и сам был удивлен не меньше: он считал, что здесь всего было так много. Он не понимал, каким образом оно целиком уложилось в час-полтора времени.

— Эй! — крикнула бабка Чукреева.

Из левого дома на солнцепек вышел старик Чукреев, тот, что в прошлый приезд, почти двадцать лет назад, стелил Башилову постель и укладывал его спать как родного. Башилов встрепенулся. Башилов немедленно встал и уже заранее улыбался встрече, но бабка Алина тут же, и притом решительно, предостерегла — не ходи, мол, за ним и не трогай.

— Почему?..

— Не надо.

Башилову дали еще чашку чая. Оказалось, что старый Чукряй впадает в детство.

— И нервный очень,— предостерегла бабка Алина,— а в эти дни прямо-таки кусается, подлый, если его тронешь...

Стелили постель, ставили на стол молоко, укладывали спать у открытого окна — в облике старика все это теперь проходило мимо и дальше, дальше...

В некотором раздумье, не поехать ли, не пуститься ли в обратный путь сейчас же, пока не сделалось тоскливо, Башилов стоял и трогал рукой ствол клена. Чаем он налил по самое горло. Жена Люба разговаривала со старухками.

Она разговаривала с ними оживленно и с некоторым интересом, но, конечно же, дай Башилов знак, она тут же изготовилась бы с ними проститься. Выискивая хоть что-то, Башилов прошагал к дальнему поваленному столу и присел на его старые доски: тут он сидел мальчиком и пел. Башилов сделал голову чуть выше и чуть завалил набок, как делают все мальчики в детстве. Небо было голубое, без единой морщинки облака. Он смотрел на пригорок-холм, смотрел на степную траву — что-то высвобождалось в душе, но высвобождалось тускло, немо.

По мысли же, куда ни воткни взгляд, должна была возникать музыка, пространство должно было легко и само собой отзываться. Уподобляясь, он не только заваливал голову набок, но и щурил глаза, чтобы они были меньше, моложе: вот холмы, трава, вот сейчас должен вступить мужской хор, потом женщины, а тогда и взовьется над ними всеми голос мальчика. Башилов всматривался, он как бы цеплялся за

шероховатости пространства, взывал, но перед ним расстилались онемевшие холмики. Он только и слышал, как стучит в висках.

— Георгий, ты что там? — позвала жена.

Она сидела в десяти шагах за ветхим, единственным здесь столом. Теперь было видно, что ей скучно со старухами.

— Сейчас...

Он смотрел туда, где сходилось небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия жила в Башилове постоянно. В больших городах и в малых, в Бухаре и в Киеве, стоило закрыть глаза, линия холмов рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, волнистая эта линия плодоносила именно в воспоминаниях и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность уже ничего не рождала. Она была выпита, как бывает выпита вода, водица, которой и было-то немного. Духовная пыльца облетела тогда еще и как бы переселилась, перешла в мальчика Жору, где и жила, объявляясь в музыке и музыкой, — сами же холмы, и рисунок горизонта, и дорога, и темные купы шиповника музыку больше не рождали. «Все высосал...» — подумал Башилов; ему было жаль и не жаль этот онемевший пейзаж.

— Георгий! — позвала жена.

Башилов встал с досок. Отряхнулся — да, да, он готов ехать. Когда он встал, доски старчески скрипнули.

Они оба были готовы ехать, но задержались еще, так как на заводской территории вдруг начался пожар, не самый большой, а все же настоящий аварийный пожар, остро напомнивший детство. Огонь и вода опять стали значащими, время скакнуло для Башилова вспять, а жена Люба смогла увидеть то, о чем не раз слышала. Их и здесь не разделило. Они досмотрели до конца — Люба взволновалась, сделалась очень возбужденной, а было уже поздно, темно. Составив из сидений плоскость, они заночевали в машине. И ранним утром уехали.

5

Что он там успел, что высосал-выпил, два-три глотка? Но тогда шлягеры — это же насосы, откачивают сотнями кубов и разрушают, корежат, богатеют, держат голову высоко, подменяя собой суть и себя же невольно за суть принимая. Мы хоть мучимся своей долей вины... Глаза знающего сами собой смотрели туда, где вертикальные линии труб оттенялись длинным строением, одноэтажным, вытянутым, с металлической серебристой крышей: там начинались пожары. Считалось, что раз в год возле компрессоров воздушная струя своим напором ударяла мелкие камешки друг о друга, высекая искру.

— Смотри! — говорил Башилов жене. Она не понимала.

— Смотри! Смотри! — тыкал он пальцем: в одном из окон этого длинного одноэтажного строения выбивались тонкие струйки пара, что и было началом. Струйки то пшикали, то медленно курились, вроде бы невинные, восходящие к небу струйки. Фиу-фиу-фиу-фиу-фиу.

— Куда же смотреть?

Люба только и видела двоих мужчин в касках и в ватниках, тянувших белые шланги. Казалось, они были не на месте, казалось, они с шлангами топтались впустую и не замечали этих нервных струек белого дыма, похожего на пар. Струйки тем временем сгущались, стали клубиться, и одно окно в строении вдруг глухо лопнуло, после чего взамен белого пара оттуда вырвались черные угольные клубы дыма, а с ними целый рой искр.

— Ой!.. — вскрикнула жена, и теперь она знала, куда смотреть.

Зазвенело еще одно окно, но звук был совсем иной, так как стекло окна выбили изнутри. Оттуда высунулась башка и заорала:

«Топор!..» — и опять заорала, и почти сразу подала туда топор метнувшаяся на крик женщина в робе. Женщины в робах только тут и стали заметны. Они сидели на скамеечке рядом с готовым взлететь на воздух вытнутым серебристым строением. Они сидели лицами к пожару, затылками к Башилову и его жене. Их было шесть. Они сидели и как бы ждали минуты своего участия — подать, помочь.

Пламя взметнулось, и, перекрывая звуки лопающихся стекол, возник характерный рокочущий звук — пламя скрылось, затем взметнулось вновь. Огромное, оно как бы встало на дыбы. Жена не знала, но Башилов знал, что из растрескавшихся труб вылились лужи нефтяных полупродуктов и огонь добрался до них. *Ого, полыхает!.. Это левой! И вон горит! И вон!* — А кто ж ему мешает, когда ветер да сушь! — *Ого, как пошло! Как полыхнуло! Глянь-ка, уж и завода не видно!* — завод было видно, но в голове Башилова звучали крики прежних лет, спрессовавшиеся в одно — возбужденные мальчишеские возгласы, а также всхлипы малосильных и не участвовавших старух, стоявших вот на этом самом пригорке: голоса прошлых пожаров. Когда высота пламени делалась сравнимой с высотой труб, казалось, весь завод и впрямь сейчас взлетит, однако отчасти то был оптический обман: пламя было впереди и все собой закрывало.

Башилов оглянулся: обе старушки да он сам с женой — только они и смотрели.

— Смотри! Смотри! — Теперь жена дергала Башилова за рукав: ей стали понятны те двое, что суетились с шлангами сзади строения.

Топоча сапожницами, яростно мужики кинулись с шлангами к боковой линии огня: направив медные сверкающие патрубки, они разом вонзили две струи воды, смешанной со спецпенной, — и, почти вскрикнув от боли, пламя выдало белые пышные клубы. Оба орали. Через жуткий гуд пламени доносились их жуткие матерные слова, которые сейчас совсем не удивляли, — слова были на точном своем месте. Женщины поднялись. Теперь стало видно, что женщины вовсе не сидели на скамеечке — они сидя тянули, протягивали, продергивали застревавшие шланги. Теперь они тянули стоя. Женщины раскачивались и на рывке разом ухали.

Послышался грохот: перегревшийся, взлетел небольшой резервуар, крытый и от других резервуаров, к счастью, отдельный. Он взлетел, и доски его мостка, кувыркаясь, тоже взлетели под небо, — всегда было зрелищно, однажды Башилов видел, как вместе с госками взлетел кот банальной тигровой расцветки. Кот кувыркался, а потом уж не кувыркался, а просто парил — распластавшийся, вытянувший лапы и воющий в воздухе, как сирена.

— Не веришь, — сказал Башилов жене. — Вот туда взлетел!

Когда Башилов коснулся ее плеча, она вздрогнула.

Из окна, где пожар начался, теперь беспрестанно вырывались багровые клубы: в том и дело, что одноэтажное серебристое строение само по себе не горело, лишь выплескивая из задних своих окон на землю разбегающийся огонь. Горело внутри. Там, в огне, пробивались мужчины; погасить не сумев, они сумели добраться до ворот и отперли строение изнутри. Аварийные ворота были довольно широки. В них, прихватив топоры, не мешкая устремились женщины. С закутанными в тряпье головами, похожие издали на кукол домашнего изготовления, женщины принялись рубить перегородки, а оттуда, где было не продохнуть от дыма, лихорадочно работая топорами, двигались им навстречу мужчины. Мужчины задыхались, но наконец пробились. Один из них выскочил из ворот — черный, дымящийся, он заорал на женщин, *деревянное вон!* — после чего те послушно побросали топоры и баграми, длинными баграми, держась по двое-трое за багор, вскрикивая от натуги, выволакивали деревянные перегородки наружу. Женщины отгаскивали длинные горящие брусочки на траву, где и бросали поодаль, а затем вновь устремлялись в ворота и

вновь захватывали то, что цепляли им на багры там, в огне, черные мужчины. Отпылав, бруски на мокрой траве мало-помалу гасли. Бруски превращались в некрасивые, убогие в своей обгорелости дровяшки.

Менее мощная, но более опасная часть пожара была там, где пламя выплескивалось из окон здания на заднюю сторону и где огонь с деревянных ящиков мгновенно перекинулся на разлитые лужи масел и отходов. Те двое в касках и с шлангами, стоя насмерть, уже совсем близко от газгольдера не давали ни пройти, ни подобраться огню, который пер и пер, сжирая по пути лужи масел и от лужи к луже взметывалась. Но и здесь уже означивался перелом. К звукам добавился ритмичный клекот — заработал насос: пена вздувалась, покрывая пламя и одевая его в белую рубашку.

Лишенный дерева, огонь внутри строения затухал. Но в самой правой части, прежде чем погаснуть, пожар на миг все же взял свое: клубы пара и дыма смешались и правая часть крыши строения вдруг снялась, раскрылась, взлетела, после чего рванувшееся к небу целое облако искр и огня означило взлет пожара, но и одновременно его конец. Пожар кончился разом с этим своим мощным последним вспыхом. Возникла понятная длительная тишина, в которой потухшее строение стояло само по себе, смотрело пустыми глазницами окон. Тихие и несильные дымки тянулись оттуда.

Жертв не было. Грузовая, стоявшая там наготове, ушла в город пустой. Смеркалось.

Завод был обнесен невысокой стеной, в ограде была дыра, а из дыры с сильным напором бежал белый мутный ручей. Это бежала вода, погасившая пламя. Башилов пояснял жене, что вода будет течь еще долго: всю ночь. Но и иссякнув, вода оставит влажный промытый белый след, на котором не растет трава.

После своего авторского концерта в Вене Башилов остановился у композитора С.— он прожил у С. три дня. Утратив в силе музыкального воображения, венцы тем не менее остались одними из самых тонких ценителей музыки, что в полной мере относилось и к С., талантливому и несколько меланхоличному продолжателю традиции Малера.

Когда после обеда женщины поехали посмотреть Вену и сделать покупки, Башилов и С. сначала покуривали, затем стали немного музицировать. Башилова тогда охватила идея маленького эксперимента, своеобразной обкатки новой вещи: был закончен квартет и хотелось проверить музыку на чутком чужеземце. Первая, вторая и четвертая части квартета были написаны достаточно мощно, третья же до их силы не дотягивала, и, подстраховываясь, Башилов ввел в третью часть старинные и взаимно перекликающиеся темы Австрийского поселка — речь не о мелодии, скорее о праснове, о том, что Башилову удалось вычленив, спускаясь в музыку в направлении ощущаемого им примитива. Тогда же возникло общее для всех частей и как бы ритуальное начало; возник внеличный, непреложный, стоящий над человеком и властно его увлекающий мелос: квартет был готов. Отчасти с улыбкой и отчасти всерьез Башилов хотел, чтобы С. выбрал на свой вкус лучшее. Точнее, вопрос стоял так: какая часть наислабейшая и какую можно было бы в квартете пожертвовать, ибо квартет сейчас, несомненно, растянут и несколько неустойчив.

Фортепиано, конечно же, не передаст звучания струнных, но вопрос был ясен, и Башилов сел к прекрасному роялю в огромном кабинете С. с окнами на нешумную площадь. Башилов играл несколько вяло. Эффект же был неожиданным: едва прослушав, венец немедленно указал на третью, на поселковскую часть, но не как на слабую,

а как на лучшую. Венец взволновался. Венец даже вскрикивал от восторга. Импульсивный, он сказал, что ведь у них *есть время, пока нет жен*: он сейчас же звонит своим приятелям и они квартет сыграют, если квартет записан.

— Вчерне записан. — И Башилов признался: — Но я и со второй скрипкой не справлюсь.

— Одну минуту, — сказал венец.

Его приятели приехали быстро, квартет был сыгран — и венские музыканты, сыгравшие музыку впервые, шумно пили вино и говорили о несравненной третьей части.

— Это музыка, западающая в душу! Западающая! Западающая! — повторял толстяк виолончелист.

Башилову было лестно. Но кто-то из них опять же в похвалу сказал: «...нутро!» — или он сказал: «...глубина!» — и капля старого яда дала себя знать без промедления. Башилов сник: да, всего лишь случай, да, обкатка, а в сущности, радостный пустячок, но и они, случай, обкатка, пустячок, лишний раз подтвердили, что на поверку никакой особенной музыки в нем, в Башилове, нет и не было и что он лишь чувственная пьявка, перекачивающая поселковский мелос. Он куст, все более пышный и зеленеющий, по мере того как скудеет почва. Куст, который вольно или невольно иссушает ее. Неужели так? Башилов сделался красен, обмяк лицом.

Возможно, в голову ударило незнакомое дунайское вино — Башилов разговорился, он вдруг рассказал, откуда и как возник переклик музыкальных тем третьей части. Он рассказал, что с поселком существует, кажется, определенная и по-своему трагическая связь и что там этой замечательной музыкальной темы, увя, больше нет, так как она *есть здесь*. Он как бы признался. Он опустил голову. Но они ничего не поняли. Волнуясь, Башилов пустился тогда в подробности: рассказал о детстве в Аварийном, о скобленных столах и даже о выкриках спятившей Василисы-старой, интуитивно прозревшей, что музыкальный рост Башилова, творческий его вырост, высасывая, сводит на нет музыку поселка. Рассказ венцы выслушали с чрезвычайным вниманием. У них заблестели глаза, они оживились. Они совершенно ничего не поняли.

— Какая поэтическая легенда! — воскликнули они.

— Вы, Георгий, поэт! — объявил С. с бокалом в руках.

Смущенный непониманием, Башилов стал объяснять, что речь вовсе не о легенде: как-никак он оттуда родом и песенное обнищание видел сам, видел последовательно, от поездки к поездке, и, поверьте, лучше б не видеть, не знать — он сказал именно о мучительности этого знания для всякого художника, о гнете, о тяжести, голос его дрожал, венские же музыканты смотрели на него любя, сочувствуя, но не понимая. Они молчали. Кто-то из них тихо произнес:

— Метафизика...

Пришли жены, и Люба, увидев, какой он красный, и сообразив, о чем речь, тут же забыла о покупках и вклинилась в трудный разговор: «Да, да, вы правы, Георгий — поэт! Что касается поселка, Георгий большой, большой поэт!..» — жаль только, что Люба говорила на немецком второй раз в жизни, а Башилов был уже сильно не в духе, чтобы ее речь поправлять. Башилов молчал. А Люба, сбиваясь в словах, теперь настаивала, что музыкант Башилов уже в грудном возрасте видел пожары, такие полыхающие и свирепые пожары. На плохом немецком она говорила об аварийщиках, о взлетающих резервуарах, об обгоревших людях, и очень скоро венцы решили, что композитор родился, а также провел детские годы на линии фронта, вблизи передовой. Они сделали скорбные лица. Когда Люба закончила, толстяк виолончелист сказал, что война — это *несчастье, большое несчастье*.

Судьба общая, и его, башиловские, мученья даже не мера его вины и, уж конечно, не попытка свалить на песенников, которые столкрат разрушают не ведая. И может, не сама судьба, а уж следствие судьбы, что музыка распалась на Башиловых и песенников. Что считается! Когда возвращались, Люба к ночи уже крепко спала, а Башилов вышел покурить в проход вагона, где с некоторых пор ему, много ездившему, так хорошо думалось. Постукивание скорых колес, дерганье на стрелках, но еще больше полуразмытые во тьме ночные полустанки с их суровой обыденностью и запахом шпал стали для Башилова некоторым замещением Аварийного поселка. Он стоял у окна. Это не было изощренностью, это было связующей ниткой. А бессонница в поезде и некоторая толика необъяснимой ночной тревоги вполне сопрягались со складом башиловского мышления: в тот раз не прошло и получаса его одиночества, как явилась замечательная мысль. Да, четвертую часть квартета он вовсе отбросит, третью же, поселковскую, усилит и углубит еще больше — горечь горечью, а музыка музыкой. Пусть квартет станет трехчастным, что ж делать! Третья, а не иная часть выросла в сильнейшую, и было ясно, что на ней, на мощной, и надо кончать.

Как-то исполняя с Гуциным свою скрипичную сонату, Башилов своеобразно ощутил зал: вдруг показалось, что в концерте присутствует кто-то из поселковских. Было это почти невероятно; камерный концерт, притом современный, довольно сложный, да еще и в Ленинграде, но и при всей невероятности взволновался Башилов необыкновенно. Пусть случайно, пусть билет был дан им в нагрузку, ну мало ли какими судьбами, но они здесь, здесь, они же так музыкальны — вот что забилося в башиловском возбужденном сознании. Зал затаенно слушал. Скрипка вела партию, а Башилов поддакивал ей нарастающими аккордами и, готовый перейти к сольным пассажирам, все думал — вон там, в средних рядах, он или она наверняка там.

Следующая вещь была также его собственная, соната для фортепиано, Башилов несколько поспокойнел и играл, размышляя, что, может быть, не сам аварийщик, но, может быть, кто из детей его, выросший, приехавший или даже переехавший в Ленинград жить, пришел сегодня в концерт. Они так музыкальны, что и подхлестывало, и будто бы поспокойневшая душа Башилова вдруг выдала чувственный всплеск, который не столько окрасил по-новому мелодию, сколько придал ей неравновесие, опасный и почти виртуозный взлет. Руки музыканта заработали с предельной нагрузкой. Именно спасая вещь и сам спасаясь, Башилов сделал непредсказуемое: ввел, чтобы уравновесить, новую тему и, оттеняя, гармонизировал разработку на ходу, после чего соната приобрела еще одно небольшое анданте, а Башилов — славу своеобразного исполнителя.

— Ты, брат, как джазист, импровизируешь! — сказал Кеша Гуцин, который сонату знал и когда-то перекладывал ее финал для скрипки.

— Нечаянно, — смеялся Башилов.

— Буду бояться с тобой играть, — качал головой скрипач. — Ей-богу, джазист!

И чем более мерещился стареющему Башилову удар сверху, взлетевшая и кувыркающаяся в воздухе доска, которая падает, падает, падает и наконец ударяет его в голову, в висок, тем более подтверждалось его чувство вины; он винил и винил себя, но это не значило, что винил только себя. Жена композитора рассказывала, что он не вылезал из кресла-качалки, но вдруг стал по субботам и воскресеньям держать окно в кабинете своем открытым. *Им лишь бы повторы,* — говорил он раздраженно. Он говорил, что им нужно

упрощение, примитив, это было всегда и всюду. Фуга в церкви и танец на улице, а значит, всегда, даже и в церкви, они хотели повторяющегося вдалбливания, едва лишь отрывались от праматери музыки. От века к веку куплеты в театрах, марши на похоронах, танцы в парках и как ослепительная белая вершина вдалбливающего развития — нынешний всемирный шлягер: им нужны повторы, повторы, повторы...

Окно было тем не менее открыто.

— Опять! Каждое воскресенье я простужена, прикрой же окно,— говорила жена Люба,— если даже и запоят что-то, это будет пьяная жуть и такая банальщина, что первый же возмутишься...

— Если будет банальщина, я прикрою.

— О господи,— говорила жена.

Сгущались сумерки, окно оставалось открытым, и Башилов хорошо укрывался, когда ложился спать. В темноте стены сначала исчезали, а затем пропадали совсем. Мир становился беспредметен. Люба с мужем не спорила — быть может, засыпая, он все еще ждал, что под окнами запоят, а быть может, ему казалось возле темного раскрытого окна, что весь мир вокруг — это его поселок.

Ночью делалось слишком холодно. Жена Люба просыпалась; поевиваясь и дрожа, она проходила к нему в кабинет и прикрывала окно.

6

Башилов приболел, и чувство вины достало его снова. Он тогда отравился в ресторане вареными раками, жестоко промучался, но хотя рвоты и тошноты остались наконец позади, Башилов был все еще плох и лежал в постели при подсказывающей внезапно температуре. Остаточная интоксикация преследовала приступами: слышались то ночные шаги, то вдруг собачий лай. К ночи обрушивался жар, а жизнь казалась малонадежной, висящей на волоске. И Башилов вновь решил, что виноват перед поселком. И что он лишь играл в прятки с совестью, но не спрятался. Опыт не утешал своей общностью, и рискованная мысль, что композиторы прошлого также черпали и также истощали лоно, не облегчала ноши. А счет продолжался, счет давил, и как же было оплачивать, если из собственно сочиненных Башиловым первой и второй частей нового квартета песенники не взяли ни ноты — хитрецы, какой нюх! Зато из энергической фатальной темы, что в третьей части, разными и незнакомыми Башилову людьми были сработаны искристые жизнерадостные песни одна за другой, не менее семи штук; песни были талантливы, нравились, и уже год за годом вся эта веселуха звучала с эстрады, по радио — и возвратным обычным путем глушила и добывала поселковскую стихию музыки. Из угла надвигалась картина-сюр. Песенники были теперь единым и многоголым живым существом — головы их раскачивались, пели гаммы, а ночь тянулась как бесконечная. Башилов мучался. Жар не покидал.

Он не понимал, где он; думал, что он в поезде и что едет туда, в поселок,— больной, он подымался с постели и в темноте пытался подойти к окну. Он пошатывался. От жара шум в голове уплотнялся в тихое постукивание, и возникал стук колес, темень за окном походила на ту темень, что за вагонными окнами, когда поздней ночью раздергиваешь белые занавески, а поезд на полном ходу.

Среди ночи, перемежаясь с мыслями о смерти, зародилось понимание, что он в долгу перед людьми поселка: он взял общее, взял — и, значит, надо вернуть. Но как? Возможно, что в самых разных **возвратных** движениях художников, в том числе и в толстовском опрощении и **возврате к земле**, тоже была тягучая нота задолженности.

был долг, за которым скрыта боль. Он едва не задохнулся от откровения. Такая мысль не должна была приходиться к нему. Музыка слишком автономна, и всякая острая мысль уже и рождается вместе и заодно с другой мыслью, уравновешивающей, смягчающей первую. Так что он, музыкант, захвачен именно от внезапности, он болен, он горит. Башилову вдруг казалось, что он поступит очень верно, если поедет в Аварийный и разыщет там мальчиков и девочек с музыкальным слухом, с возможностями развиваться.

Сознание оживилось: чтобы заниматься с детьми, он несколько раз в году будет приезжать к ним, а в его отсутствие в Аварийном, хотя бы помалу, с ними будет заниматься бабка Алина, бабка Чукреева, у нее такой слух! Горы будут стоять, а трава взбираться на горы. Башилов востепенел, он даже и сел в постели. Ведь у бабки и слух, и песни, и закваска старинного многоголосия — вот и недостающее звено, что сцепит его умозрительную совестливую идею с реальностью, бабка Алина, она! — можно ее уговорить, убедить, упрямую, можно, в конце концов, привезти ей подарков; Башилов лежал в жару, потел, лихорадочно говорил, все более и более обогащая замысел подробностями.

— Я хотел бы, — объяснял он жене Любе, — чтобы там жили своей обычной жизнью и плюс занимались старым многоголосием. Пусть поют с детства. Даже и небольшого детского хора будет достаточно. Поселок невелик — возникнет микроклимат... Люба! Они бы подрастали и пели бы, как пели из века в век...

— Конечно, — говорила жена Люба.

— А бок о бок с поющими детьми жили бы взрослые.

— Конечно.

— Я должен вернуть долг поселку — ты слышишь?

— Конечно, — говорила жена Люба возле его постели ночью.

Она понимала, что он болен, что он в жару и что мысли его поправятся, как только поправится он сам. Стоило ли сейчас переживать? Да и пусть бы, в конце концов, он съездил в поселок. После такой поездки Башилов возвращался невеселый, огорченный, даже и потерянный, но, видно, раз в десять лет эта поездка, эта огорченность и эта потерянность были ему необходимы. Люба была умная женщина. Люба была умная жена. Она понимала, что если муж хочет куда-то уехать, пусть едет — главное, чтобы он там не простудился.

Вяздоровев, Башилов едва дождался лета — наиболее благоприятного времени для поездки.

Хотелось побыстрее, и оттого ехал он невыносимо долго, дважды ночуя в мотелях и почитывая перед сном беллетристические книги, какие обычно читал в поездках. Но и читалось плохо. Когда же он пересек Волгу у Сызрани и впрямую, километр за километром стал приближаться к Уральским горам, он и вовсе занервничал. Дороги стали неважные, мотель Башилов уже не искал, ночевал в машине, а скапливающееся недовольство вдруг оборачивалось вновь против самого себя. Он все повторял, что едет туда слишком поздно.

Когда болел, думалось, легко. Зато теперь, за рулем, Башилову казалось, что в машине он едет напрасно и что надо было ему, пожалуй, приехать простым смертным, в поезде, и чтобы добирался он до поселка пеш и прост, усталый человек, а не турист, чтобы плечи устали, ноги устали, чаю хочется, человек, отчего и пыль на нем человеческая — не туристская пыль. Он нервничал. Уже в пути был знак, Башилова остро покалывало предчувствие неудачи: вдруг терялись, исчезали слова, так правильно, так честно, так совестливо заготовленные. Была отвратительная минута, когда он уже предвидел, как пройдет эти три дома, что буквой «П», как отправится к гаражам и выйдет наконец на разговор с внучатым племянником Чукреевых и как тот напрочь его не поймет, даже и вскрикнет:

— Детей в хор?! Еще чего!

Башилов переспросит — разве плохо детям учиться музыке?

— А зачем? — в свою очередь переспросит тот, и так легко, так быстро все кончится — и слова распадутся. И подтвердится, что Башилов в ту ночь приболел, был в жару, а планы строил как бы воздушные и возрасту своему не соответствующие. Он даже обиду предвидел, когда в довершение внучатый племянш Чукреевых вдруг посмотрит на Башилова вприщур, как на хитрого человечка из столицы, который неясно каким образом, но, конечно же, хочет обделать дельце и нагреть на том свои тонкие музыкальные руки.

Однако дорога — это дорога, и когда Башилов ехал туда, еще только подбираясь к Уралу, был и другой знак, была замечательная минута: придерживая руль, он катил не по асфальту, а утопая в белой пыли, в той самой, в которой когда-то тащились первобытные полуторки, а еще прежде возы, и, быть может, прапрадед Башилова заигрывал с его прапрабабкой, перекликаясь на медленно ползущих высоких возах, а пыль внизу клубилась. Отклик на прошлое окрылил. И сам собой пустился Башилов в представления, обычные, когда человеку за пятьдесят и когда, пройдя зенит, собственное «я» малопомалу растворяется во всеобщей людской судьбе, а горечь неизбежной смерти исчезает. Сбавив скорость, он прищурил глаза, минута была прекрасной: ему удалось представить на изгибе дороги те высокие возы, женщин в белых платках и даже торчащие вилы с отполированными светлыми черенками. Он увидел жаркий-жаркий полдень, и шмелей, гудящих над возами, и прапрабабку, лужающую неторопливо семечки. Композитор сладостно млея, мягко держа руль и правя по пыльной дороге.

Столов не было; на их месте в земле торчали остатки опорных столбиков, гнилых, не достававших Башилову и до колена. От скамей тоже осталось мало: из шести уцелела одна, притом была полуповалена и одним концом лежала прямо на земле. Был и бурьян. Клены вконец состарились, Башилов стоял около и курил.

Когда, пересекая междомье, незнакомые две женщины вышли развешивать белье и одна из них прошла мимо и совсем близко от Башилова, он не удержался, он поздоровался и спросил, дома ли сейчас бабка Алина, то бишь бабка Чукреева.

— Кто это? — Женщина не знала.

Распросив и сколько-то подумав, она припомнила, что бабка Алина уже пять лет как померла; она помедлила и припомнила больше — бабка померла, но дед еще жив, дед еще и на завод ходит, помогает. Сейчас он с вахтой... И только тут женщина поинтересовалась, с кем она говорит.

— Я здесь вырос...

И Башилов коротко рассказал о себе, но женщина была из приехавших в поселок всего только *двадцать лет назад*, из давно уж прижившихся здесь, однако же не из старожилов: Башилова она не знала, не помнила. Так, слышала что-то. Она подняла таз с бельем. Она не пригласила Башилова выпить чаю, не пригласила и просто посидеть под крышей. Она только повторила, что старик Чукреев скоро придет вместе с вахтой.

— Спасибо, — сказал Башилов.

Здесь встал бурьян, а основная тропа шла по междомью стороной — на расстоянии, и старика Чукреева он признал лишь потому, что ждал; дед отпустил белую бороду. Вахта прошла — Чукреев шел среди последних; Башилов окликнул:

— Семен Иванович...

Башилов назвался, и совершенно неожиданно дед Чукреев, подвижный и весь живой, сразу сказал — да, да, Георгий, замечательно, что приехал, конечно, помню, видишь, какая у старика память! И до-

бавил — сейчас, мол, заводскую грязь смою слегка да и спущусь: поговорим!.. И как-то странно, как-то слишком легко и быстро узнал он Башилова — может, не узнал? Он назвал имя Башилова с той легкостью, с какой называют, расставшись вчера или позавчера. Башилов сидел и ждал в некотором недоумении; он ждал недолго: уже через три-четыре минуты тот появился вновь.

Дед присел на корточки, а приезжий композитор сидел на том самом обломке единственной скамьи; когда же Башилов предложил сигарету, старый Чукряй легко ответил, что курит свои, нет-нет, он всегда свои — и правда, вынул сигареты. И задымил.

— Может, заночевать надо?— спросил почти сразу Чукреев.— И пожалуйста! Хозяйка у меня померла, места много.

— Я посплю в машине: привычный...

Отчасти Башилов уже заколебался, спать ли в машине (улыбнулся — вспомнил беленую комнатку, где спал в детстве).

— Как хочешь,— продолжал старик Чукреев.— А то пожалуйста. И беру я по-божески: полтинник.

— Полтинник?— Башилов поднял глаза.

— Да. В городе-то рупь за койку берут.— Он цепко и просто смотрел на композитора.

Башилов даже рассмеялся, фыркнул:

— Да узнал ли ты меня толком, дедуля? Я ведь Башилов, Жора Башилов.

— Ну правильно,— живо согласился дед Чукреев,— я и подумал: может, Георгий заночевать захочет.

Башилов медленно и как бы размышляя произнес:

— Я жил здесь когда-то. Я рос здесь когда-то.

На что дед Чукреев покачал головой:

— А это все равно.

И повторил: полтинник за ночь — это по-божески...

Докурив, дед выбросил окурок и ушел. Нет, это было удивительно, как быстро он ушел, такой шустрый, улыбочивый, такой деловой старик. Башилов не рассердился. Башилов тоже теперь улыбался и удивленной и прощающей улыбкой. Башилов продолжал сидеть на обломке скамьи; дед выкурил сигарету куда быстрее его.

Возможно, дед Чукреев все же счел, что слишком сухо переговорил и расстался с тем самым Жоркой Башиловым, которого когда-то порол крапивой. Дед высунулся из окна и крикнул:

— Если чего надо, к внучатому сходи!.. Он там — у сарайчиков!

Крикнул и исчез. А Жорка Башилов, которому было за пятьдесят и который уже был сильно сед, сидел и курил. Было тепло. Несколько мелких облаков не портили высокого неба.

Внучатый значило внучатый племян, племянник. Башилов пытался вспомнить лицо или хотя бы вычислить, кто бы это мог быть, но память ничего не сохранила. Докурив, Башилов отправился к сараям: сараи с некоторым даже размахом были переоборудованы в гаражи, народ был там. Стояли там три, кажется, машины, мотоциклы с колясками — намечалась и стоянка. Все это было отчетливо видно на солнце. «Разжился аварийщик!»— подумал Башилов не без местнической гордости. Но приостановился. Неудачная минута могла обернуться неудачей всего замысла. Предчувствие кольнуло, но ведь есть встречи, которые зреют задолго и которые не обойти; и более того, понять которые можно только в том случае, если идешь на их поводу до конца.

Мужчина был лет тридцати или побольше, и, разумеется, Башилова он не знал. Крепкий, ладный, он возился с мотоциклом: правил помятое колесо, а то вдруг склонялся над мотором, который обдавал все вокруг резкими звуками и едким белесым выхлопным дымом.

Сначала Башилов деликатно постоял в стороне. Потом сел на бревно: наблюдал.

Молодой мужчина как раз закурил, и Башилов, уняв некоторое волнение, подсел к нему ближе, прикурил, после чего неторопливо и как бы даже меланхолично стал рассказывать, что он, Башилов, здесь жил и бегал мальчишкой, но что теперь он музыкант, что вспомнил о родном поселке и вот приехал.

— Хорошо-о,— уважительно сказал внучатый.— Родные места посетить хорошо.

Он глянул на свой мотоцикл: не продолжить ли работу? Он поддакивал, он кивал, но при всем том в поддакивающей интонации голоса что-то настораживало, да и взгляд его был отнюдь не меланхоличный: мол, знаю, что приехать в родные места хорошо и приятно, но на самом-то деле ты и правда за этим и с этим сюда приехал?

— Я ведь музыкант...

— Так, так,— поддакивал тот.

— Я музыкант,— повторил Башилов и, уже нацеливаясь в суть, заговорил о музыке, о песнях, которые здесь пели, когда он, Башилов, был мальчиком. И ведь как пели, и ведь он тоже с ними пел, маленький мальчик. Волнение прорвалось — он заговорил быстро, он рассказал о длинных дощатых столах, о старинных распевах. Отсюда смотреть — дома были как прежние! Возможно, он слишком увлекся.

Сначала внучатый племянник прислушивался, не часто, но с вниманием поддакивал и кивал. Но вот он заскучал, завял и, скосив глаз, смотрел на красный рейсовый автобус, что подходил все ближе и в полста шагах от них затормозил возле крытой остановки. Из автобуса выходили люди с покупками; они несли в руках коробки с обувью, свертки, авоськи, где просвечивали апельсины, о которых в поселке раньше и слыхом не слыхали,— да ведь и автобуса рейсового не было. Башилов не спешил судить относительную сытость: было бы слишком просто. Автобус развернулся и ушел. Люди проходили мимо, и с некоторыми из них внучатый племянник Чукреева перекинулся ленивым приветственным словцом.

Дождавшись внимания, Башилов продолжил:

— С музыкой в поселке сейчас плохо, совсем плохо. Не поют ведь...

— Как не поют?

— Не поют.

И Башилов пояснил, что он вовсе не упрекает. Более того: он готов говорить о своей вине, именно о своей, которую можно понимать и означить хотя бы как *вину отсутствия*, вину неучастия,— он слотнул ком; он пересилил трудную паузу и, подступая с другой стороны, завершая, заговорил наконец о том, что в поселке растут дети, что дети к музыке чутки и что детский хор мог бы стать искуплением его, башиловского, долга. Если хотите, искуплением его вины, вины невольной, ибо если художник и высасывает соки из почвенного пласта, то явление это широкое и общее и нельзя процесс ставить в вину одному, отдельному человеку,— Башилов от волнения говорил сбивчиво. Он повторил про хор. И возможно, именно тут уставший от накручиваемых и наполовину непонятных словес внучатый племянник вскрикнул:

— Детей?.. В хор?

И засмеялся.

К их необычному разговору мало-помалу прислушивались тем временем другие аварийщики; они ремонтировали кто мотоцикл, кто машину или просто возились в гараже. Они вылезли поближе. Был общий перекур. И как же дружно все засмеялись, когда внучатый племяш подмигнул, а потом сострил, что приезжий, мол, человек

умный и потому не только детей, но, кажется, и старух поселковских надеется заманить, а то и загнать в хор. Они смеялись; а Башилов припомнил, как, подъезжая сюда, увидел кусты шиповника и как решил было, прощаясь, спрятать там, в колких кустах, машину, а с ней и свой туризм и чтобы пришел он к ним пеш и прост. Они смеялись, и им было не важно, пришел он или приехал. Они не понимали, о чем он говорит. А синее небо было недвижно. Ни облачка. Отсмеявшись и перекурив, они вновь влезли в сарайки-гаражи. «Дай мне насос», «Да потерпи. Самому пока нужен...» — голоса смолкали, и только слышались в голубом воздухе удары металла о металл. Внучатый племянш орудовал гаечным ключом, ловко и намертво затягивая коробку на мотоцикле. Он работал. Он насвистывал. Башилов все еще сидел на том бревне в двух шагах от него.

Неудача замысла была очевидна, но не затеять разговор вновь Башилов уже не мог: слова из него вышли, видно, не все, и, давно заготовленные, эти слова изнутри теперь давили. И уже не без настырности Башилов сказал — если бы, мол, кто-то захотел своего сына или дочку нацелить в музыку, он, Башилов, всегда к услугам, хотя бы и завтра, он готов заниматься.

Внучатый насвистывать перестал.

— Я бы приезжал часто, — настаивал Башилов, — я бы с радостью стал заниматься с ними, да, да, конечно, бесплатно.

Внучатый оглянулся на приезжего с вновь нарастающим подозрением:

— Чуть какую-то, дядя, городишь! Зачем это я в музыку отдам своего мальчика? Может, у него к музыке ничего — ни слуха, ни голоса...

— Но ведь в провинции так любят учить детей музыке.

— Ну уж нет!

Башилов настаивал:

— И дети учиться любят.

Внучатый усмехнулся — и вот тут его, внучатого, словно бы осенило, он вскрикнул:

— Музыка, музыка — заладил ты, дядя, одно и то же!

И уверенной, не сомневающейся рукой он включил транзистор — а вот, мол, тебе и музыка.

Было как в кино, как в грубом плохом фильме, где двое в полном соответствии с заданностью выясняют отношения, два философа в обычных неброских пиджаках. Тот, что гремел гаечным ключом, сказал: «Музыка, музыка — заладил одно и то же!» — сказал и потянулся рукой, чтобы включить под открытым небом транзистор, так что транзистор нашелся и именно здесь оказался очень кстати: возле сараев. Но так и было: транзисторный приемник находился внутри мотоцикла, который внучатый чинил, и вот как в грубом кино, в кинухе, где выяснение отношений, внучатый племянник протянул мозолистую руку и включил. И попал. И бархатистые звуки виолончели полились тоже как по заказу, не о погоде и не футбол, а виолончель, соната-арпеджио, соната для друга с его несуществующим инструментом, чтобы сочинить, а потом умереть. Здесь горы переходили в степь. Среди белых метелок ковыля тем прекраснее зазвучал Шуберт, и щемящее жало мелодии вонзалось в перепонки ушей тем больше, чем слаще. Но совпадение стало совсем полным. Внучатый вновь защелкал переключателем, как щелкают своим ключом в замке, открывая, а то и распахивая богатства. Он щелкнул, и на четвертой программе в разделе современной музыки зазвучал квартет Г. Башилова. Композитор несколько онемел, заслышав собственные такты. Вот теперь ответ состоялся.

— Вот музыка! Сколько хочешь музыки!..

С этим именно оттенком он и щелкнул переключателем — у нас, мол, все здесь есть, все имеем. И добавил:

— А через полчаса по «Маяку» покрасивее будет: песни!

Ответив заезжему гостю, так сказать, по высшему счету, внучатый племяш перешел в область психологии. Он неожиданно потемнел лицом и, вдруг озлившись, направил шаги к Башилову — композитор никак не ожидал этого. Нет, подойдя к создателю камерной музыки вплотную, он не взял его за грудки, как сделал бы представитель поселка, скажем, в том плохом кино, в кинухе, — нет, он выражал свое и личное мнение. Он только надвинулся и сказал грубо:

— Чего тебе надо?

Башилов молчал; не лезь к нам, занимайся сам своей музыкой — вот что было в потемневшем лице и в глазах внучатого племянника Чукреевых.

Внучатый племянник надвинулся еще и добавил:

— Вали отсюда!

И Башилов пошел, именно *пошел отсюда*. Башилов был так неожиданно обижен, сражен, оскорблен, возмущен — он онемел. Он встал, но ведь встав, надо куда-то идти, и вот он шел, шел, шел, сначала прямо, а потом к тому пригорку, за которым уже не было гор, а только ровный ковыль. Он шел твердо, а земля покачивалась. Звенел жаворонок. Не в том было дело, что перевалило Башилову за пятьдесят и сравнительно был он по-композиторски хил, в то время как тот, тридцатилетний, гляделся как молодой бык, был молод, крепок и с кулаками, — дело было в обиде. Тот крикнул — и Башилов пошел. И шаги его сухо шуршали. Он был настолько обижен, что забыл, что тут его детство, что тут его родина и что тут его мать-отец. (И что он тоже вправе сказать тому: вали отсюда!.. Эти и всякие другие правильные слова придут к нему позже. А сейчас изящное строение Башилова продолжало рассыпаться, обваливались потолки, рушились стены, раскачивались и падали колонны.) Он шел степью и вновь спрашивал жалким своим голосом, особенно жалким, когда голос воспроизведен уже в памяти: «Разве плохо детям учиться музыке?» «А зачем?» — в свою очередь переспрашивал тот и вновь смеялся, откровенно так смеялся, и вся сценка длилась вновь, так как Башилов по инерции всех просящих не уходил сразу, а продолжал о бабке Чукреевой, о бабке Алине: жаль, мол, что нет ее в живых. Он хоть как-то хотел продлить выдыхавшийся разговор, а племянник не без ядовитости крикнул:

— Вот тут приехал из Москвы больно хитрый мужик — он хочет из наших старух хор сделать!

И все засмеялись, это была уже насмешка, передергивал племяш. Сценка в памяти длилась, и чем больше, тем дольше длилась она возле тех сарайчиков, сараев, сараюшек, переоборудованных в гаражи, где все уже бросили чинить свои мотоциклы с колясками, прервались, вылезли на солнце. Краснолицые от загара, они покуривали и посмеивались: они смотрели на совершенно чужого им человека, притаившегося в самую жару и непонятно зачем, но уж конечно не от большого ума.

Он шел долго; ходьба не уняла боль.

Вероятно, Башилов не заметил, как повернул. Скругляя ковыльное пространство и помалу поворачивая, он уже возвращался; он только тогда сообразил, что идет вдоль заводской невысокой ограды, когда вдруг услышал тонкий, все нарастающий звук. Звук он узнал сразу. Раздался небольшой взрывок, затем взрыв посылнее. Фиу-фиу-фиу-фиу-фиу.

Звук нарастал; жаркая и знакомая с детства волна обволакивала окрестность, но Башилов не побежал, хотя ничего зазорного не было

ни в страхе в предожарную минуту, ни в бегстве прочь от заводской стены. Внятно слышался треск огня. Сверху хлестануло песком, затем упал лист фанеры, большой, квадратный, взлетевший на волне горячего воздуха. Пылающий с углов, спланировав, лист упал в трех шагах от Башилова, а уж затем грохнулась в шаге доска. И согрела вдруг мысль, что вот сейчас его, обобравшего поселковское пение, поселок же и убьет. Какой финал! И можно ли сердиться на эту череду взрывков снизу, как можно ли сердиться на ярость обобранных? Не здесь ли та сжатость, формульность упорно повторяющейся мелодической фразы, когда попевки сливаются с нагнетательными возможностями ритмического остинато? Башилов не хотел отчаяния. Его, музыканта, сейчас убьет рваным ли обломком трубы или взлетевшей доской в висок — он брыкнется на землю, на траву, в пыль, су-ча ногами, и в ту же секунду, в тот же самый миг поселок *незаметно и сам собой обретет вновь музыку*. Так родилась эта мысль насчет младенцев. Обновляя и обновляясь, новорожденные, что только-только из чрева, попискивают и орут необычно, резко, горласто и уже неся в себе музыку, — попискивают, плачут, вопят, орут, превращаясь и год от года согласовываясь в поющий хор. Новый и исполнский хор детей грянет в ту же секунду, едва он погибнет. Он пошел совсем медленно. Ему было страшно, но он думал: пусть убьет, если это поможет им. Он думал: «Пусть меня не будет». Глаза повлажнели. Он шел медленно, совсем медленно вдоль заводской невысокой стены, ожидая очередного сотрясения воздуха и возмездия. Он опустил голову. Однако главного взрыва, который обычно следовал за малыши, которого ждал Башилов и которого напряженно ждали окружающие холмы, не последовало.

Когда Башилов оглянулся, не было уже и огня. Стало понятно, что взрывной очаг блокирован и что пожара не будет. Вот и позади заводская стена. Башилов медленно шел к кленам.

В междомье Башилов направился к машине, сел и вырулил за пределы поселка.

Через час он остыл и поехал помедленнее, дорога — не асфальт, и машину стоило побережь. Заговорил опыт, опыт пятидесяти с лишним прожитых лет, в свете которых и пожар был всего лишь очередной пожар, и встреча с внучатым племянником Чукреевых, лишившаяся глубины, была бытовым столкновением, стычкой, не более того. Все виделось проще. Так вздорно и с обидой уехать!.. Башилову стало совестно: ведь общался с родными местами, ведь не простился.

Он развернул машину.

Это было мудро: вернуться. Темнотой не смущаясь, Башилов врулит в междомье и поставит уже привычно машину на прежнее место. Ему ведь, Башилову, никто не нужен. В сумерках со спокойным сердцем он выкурит сигарету на той полуупавшей последней скамье да и поедет. Так лучше.

Уже предвкушая, как он там будет курить, Башилов вспомнил о еде: он сбавил скорость до самой малой и, правя одной рукой, другой влезал в пакеты и вытаскивал свертки с бутербродами, вареные яйца, помидоры. Он ел, он не спешил. Закат поблек. Небо делалось из синего темным. Башилов также достал и термос — и тоже справился одной рукой. Он прихлебывал кофе, который по его просьбе сварили ему еще утром в Медногорске в ресторане. Кофе был горячий, его сварили за двести километров отсюда.

И наконец он сидел на полуупавшей скамье, на том ее конце, что еще кое-как подпирался столбом. Поселок спал. Ночь надвинулась густо и плотно, так что скамью Башилов отыскал чуть ли не ощупью.

Теперь он отключился: возникло прощанье и возник тот мягкий душевный покой, при котором не нужно ничего более, только сидеть не шевелясь и не спугнуть минуту. Он так и сидел. Не приедет он сюда больше, а прощанье это, конечно, и прощенье.

В надвинувшейся темноте Башилов услышал, как стучит сердце: появившийся месяц придавал ночи высокий тон. Месяц был на убыли, светлый. Башилов уже покурил и, расслабившийся, сидел без движения — возможно, он напевал, да, вполголоса, да, совсем негромко тянул, кажется, песню из запомнившихся в детстве, как вдруг в тишине расслышал осторожные и боязливые звуки — Башилову подпевали.

Если Башилов был седой мужчина, то Васик был совсем состарившийся, с реденькой белой бородкой; в белесом свете месяца он выглядел старичком. Башилов узнал слабоумного, и тот, сразу смолкший, узнал Башилова тоже. Вероятно, он узнал приезжего музыканта раньше — услышав, как тот напевает, он подошел, подкрался тихо и с мыслью, что какое-то время послушает, если Башилов его не прогонит.

Оба помолчали. Потом Васик очень робко попросил приезжего: — Ты ндой, ндой. (Ты пой, пой.)

Башилов ласково тронул его за плечо, и тот замычал, довольный; а когда приезжий, как в детстве, погладил его по голове, Васик сел около полуупавшей скамьи прямо на землю; он улыбался; он стал жаловаться:

— Дододые дют. Неня наньше нидода не диди. (Молодые бьют. Меня раньше никогда не били.)

Башилов еще раз погладил его по голове.

— Бедный.

— И ненен не дадут нидода... (И песен не поют никогда...)

— Сейчас споем. Только потихоньку, Васик...

Они негромко запели — и тихо-тихо мычал Васик, стараясь не сфальшивить. Они спели *Выходили двое*, затем *Венули с полудня*, затем *Чистоган*, а затем долгую и бесконечную *Жизнь прошла*. Эту песню они одолели до конца лишь потому, что Васик помнил ее и, невнятно мыча, наводил Башилова на слова; он начинал, а Башилов подхватывал. Звуки были ужасны, но дурачок хорошо знал, что петь надо тихо — из опыта длительной своей беды это было, вероятно, единственное, что он усвоил в жизни. Когда Башилов утомился, Васик продолжил петь один, но притих еще больше. Ночь млела. Месяц висел в небе ясный. Дурачок шумно высморкался, и, взглядевшись, Башилов увидел, что он плачет. Тягучим мычанием своим он и просил и как бы настаивал, последний певец, плохой и с ужасным голосом, но ведь он пел — и Башилов, впадая в запоздалый пафос, подумал, что не все потеряно. Васик придвинулся; сидел на земле, обхватив колени, в шаге от музыканта. Башилов сидел рядом на полуупавшей скамье. Они спели еще раз *Чистоган*, а потом *Венули с полудня*. Придвигалась к ним неслышно, сама собой Минута, когда темноту и тишину вдруг прорезал высокий чистый голос ребенка.

ИРИНА ВОЛОБУЕВА

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Настанет миг, когда грядущий век,
Свет взволновав величьем приближенья,
Войдет, как в дом свой входит человек,
В огромный мир морей, и гор, и рек,
В извечный мир любви, смертей, сражений..

Моя отчизна, сколько отдала
Ты сил и крови, преданна планете,
Чтоб новый век не приумножил зла,
Что накалило рознью добела
Страдальное двадцатое столетье.

* * *

Облака сгустились, рея,
В очертание горба.
... Говорят, что льды стареют,
Как обида, как судьба.

Обойду, нет, не сторонкой,
За версту твой путь, твой дом!
... Холодок был льдинкой тонкой,
Стал с годами старым льдом.

* * *

Когда погода летняя поспела,
Хмельно росой напилась трава,
Как небо пело, как прозрачно пело,
Как вторила, шумя, ему листва!

И в плавной пляске озеро блистало,
Звения, лучился солнца ореол!
... Не потому ль, что горе зарастало,
Как дерева пораненного ствол?..

ОЛЕГ ЖДАН

★

ДВА РАССКАЗА

Зимогор

Кличку Зимогор имел для своих шестидесяти лет самую неподходящую — Петух. То ли сыграло роль имя Петр, то ли слишком маленькая головка и бойцовская выправка, не изменившаяся и теперь, к старости, то ли петушинная натура — всегда готов был к перепалке, к схватке, то ли по причине его удивительного многоженства, а скорее из-за всего этого.

Кличка была давней, гложущей, она донеслась оттуда, из молодости, и теперь вспоминалась только при какой-либо конфликтной ситуации и, конечно, заглазно, но и не забывалась.

Обычный — или нормальный? — человек, почувствовав усталость, экономит силы, замедляет движения, а Зимогор будто двигатель, работающий вразнос, когда не хватает нагрузки, — чем дальше сутки, тем быстрее обороты. А к концу суток, когда другие начальники смен, как ночные совы, вращали очумевшими глазами по сторонам, Зимогор уж и вовсе не мог стоять на месте — сучил ногами, глядя на грузчиков, кидался помогать и так лаялся по телефонам, что даже свои не выдерживали, выходили из конторки. «Совсем дурной у вас этот начальник», — говорили шоферы на вывозке литья.

Исполнилось Зимогору, как упомянуто, все шестьдесят, но по глазам, голосу, по ногам, что носили его по заводу, — по всей натуре вряд ли можно дать больше сорока, а то и тридцати лет. Однако заглянуть в лицо к концу суток уже и страшновато: если заступал на смену легкий, свежий, выбритый, моложе молодых, то к следующему утру вся его старость и безмерная усталость, словно поднимаясь от рук, ног, от кишок и сердца, подступала к лицу, наливалась, трепетала, держалась из последних сил.

И настроение — соответственно. Если с утра охотно смеялся, не прочь был Зину Неглядову прижать в углу прилюдно (тех, кто помоложе, уже не решался), то к концу суток начисто терял такой интерес, одно оставалось на уме и языке: давай-давай-давай.

Понятно. О работе начальника смены судят по тоннажу за сутки. Если в первой или второй смене грузчики не вывезли три-четыре тонны, вывезут в третьей, а прозевал в третьей — будь здоров, получай от Сухоручко пламенный привет.

Впрочем, когда сдавал смену, выглядел опять же как петух, которого, однако, не пустили на насест, а всю ночь гоняли, чтоб сварить суп, — перья во все стороны, клекот, того и гляди клюнет в глаз. Но еще через полчаса, разогревшись под горячей водой, побрившись, заходил на минуту в конторку — моложе и веселей, чем сутки назад.

Откуда силы у человека берутся? — размышляла общественность. «Порода такая, — говорил, например, Степанович. — Я его батьку знал.

Какое дерево, такой и клин, какой батька, такой и сын». А Митя считал — от бабы. Взял за себя на двадцать лет моложе, так петушишься...

Однако странно выглядит цех после того, как сдашь смену. Все, как вчера, как час назад, гремит, грохочет, но что-то уже изменилось. Нечего тебе делать здесь — вот что. Еще час назад носился, пластался, вылезал из своей старой кожи, а тут — «иди, Никитович, иди, не мешай работать».

Гордой петушиной походкой отправлялся домой, если смена оказалась удачной. Ну а если неудачная — куриной.

Гул цеха затихал за спиной. Вот и кузнечный пересилил его. Вот и проходная.

За проходной — солнце и тишина. Другой мир!..

Двое свободных суток впереди.

Обычно ночная смена подчищала литье до последней детали, хоть шаром покати до девяти часов, а тут, пришедши на смену, Зимогор увидел под конвейером покраски тонн двадцать литья: корпус руля, редуктор, рукав — то, что дает основной тоннаж и вывозится в первую очередь.

— Что случилось? — спросил Сняжкова, у которого принимал смену.

— Погрузчик сломался.

Остальное Зимогору ясно было без слов: опухшие глаза, рубец на щеке, волосы дыбом — все говорило о железной нервной системе Сняжкова и здоровом сне. Погрузчик скорее всего вышел из строя в середине смены, а Сняжков вскочил со скамейки в гардеробе полчаса назад. Всегда дивился спокойствию этого человека: даже рабочим не скажет, где искать в случае какого-либо ЧП. Видно, везучим родился, до сих пор ничего не случилось. А вот пойдешь он, Зимогор, спать — стены рухнут или, по крайней мере, фермы. Какой сон! В конторке в пересменке вытянуть ноги на пятнадцать минут не в состоянии. Что это, натура или судьба, трудно сказать.

Тому, что осталось с ночной много литья, Зимогор отчасти возрадовался, отчасти взволновался. Возрадовался, что лишних, дармовых двадцать тонн перешло в его смену, взволновался потому, что не исключено — съели в механических цехах заготовки и сейчас грянет скандал.

И только подумал об этом, как ударили будто из засады в упор два прямых телефона: от Сухоручко, заместителя начальника цеха, и Чигирина, начальника производства завода. И Зимогор и Сняжков подпрыгнули на лавках от неожиданности, но трубки не брали: один считал, что сдал смену, другой — не принял. А телефоны звонили без перерывов, будто наверняка там знали, что они, начальники смен, здесь.

Первым не выдержал Зимогор, поднял трубку, соединявшую с Сухоручко.

— Где Сняжков? — крикнул тот и, не слушая ответа, выдал два раза кряду свое знаменитое на весь цех присловье, стимулирующий набор.

Присловьем, однако, этот горячий набор назвать трудно, это и было то главное, что он хотел Сняжкову сообщить, а как раз иные слова — номенклатура, цифры — казались присловьем...

Швырнул трубку на рычаг. Значит, худо дело, не приведи господь — сборка стоит, вот начнется концерт.

Сняжков тоже не выдержал, взял вторую трубку, прижал к уху плотнее, чтобы Зимогор не слышал, как Чигирин станет его поливать, но и слышать не надо было, достаточно взглянуть на разом посерьевшее, безгласное и безглазое лицо.

Ход дальнейших событий расписан по нотам. Через минуту боевым аллюром примчится Сухоручко и... Да, бедный будет сегодня

Синяков. Но через полчаса и он, Зимогор, будет бедный. А потому, увидев, что пришел самосвал, кинулся на улицу:

— В гараж!

Шофер поморщился: опять на смене Зимогор, опять покоя не будет.

В гараж Зимогор помчался потому, что автопогрузчики приезжали, как правило, с опозданием на двадцать — тридцать, а то и сорок минут. С утра обычно возить нечего, вот и распустились. Все, кроме Зимогора, смотрели на это сквозь пальцы, поскольку зависели от шоферов: откажется, например, ехать в цех сбыта — и не заставишь, хоть караул кричи. Путь на сбыт идет через железную дорогу — по технике безопасности автопогрузчики не имеют права пересекать ее. А на машине не повезешь. То есть можно повезти, но, во-первых, где она, лишняя машина, во-вторых, как погрузить, к примеру, картер на самосвал? То есть, опять же, можно погрузить, но где взять лишнего человека с удостоверением стропальщика, где автокран?..

Узнав у диспетчера, кто занаряжен в литейный цех, Зимогор ворвался в гараж с выражением полного отчаяния на лице, негодования, нетерпения и мольбы.

— Глянь, — услышал голос, — Зимогор на смене, ё-мое.

— Хлопцы! — завопил тотчас, заголосил, запричитал Зимогор. — Что ж вы, сукины дети, чтоб вас девки замучили, со мной делаете? Что ж вы, паразиты, чтоб вам сыто елось, себе думаете?.. Что ж вы... А ну заводи машины!

— Заправиться надо, — недовольно ответил один из шоферов. — Бензин на нуле.

— Какой бензин, какая заправка, черт вас всех возьми!.. — страшно закричал, но вполголоса, шапку с головы содрал, рванул себя за седые волосы. — Ничего не знаете?..

О, подействовало! Это «ничего» лучше всякой конкретности. Все было — пожар, потоп, народный контроль в цеху, а вот «ничего не знаете?» — это совсем иное. Такое может плохо кончиться.

И через минуту Зимогор катил в переднем погрузчике, продолжая стенать и костить жизнь, шоферов, светофоры, что недавно установили на перекрестках, и тот день, когда пришел на этот завод.

Оно и в самом деле — каждая минута дорога. Во-первых, надо еще загрузиться, во-вторых, не дай бог опоздать и оказаться в хвосте машин. Час может пройти, пока доберешься до разгрузки.

Когда влетел в цех, там уже заканчивался разбор ночной смены. Синяков, полностью выпотрошенный, стоял среди начальства серый, зеленый, красный, и что-то вроде воспоминания о счастливом прошлом или мечты о будущем мерцало на его округлом лице. Рабочие, оказавшиеся очевидцами экзекуции, переглядывались и посмеивались. Наверно, приметы улыбки на лице Синякова и адресовались им, рабочим. Стыдно все ж таки. А Сухоручко и Шерементов, начальник цеха, ни выражений, ни места не выбирают, там и выпороли, где нашли.

Враждебно поглядели и на Зимогора. Навалились бы и на него, да не за что, и ответ Зимогор такой выдаст, что до следующего Нового года будут вспоминать. Хотелось, ох как хотелось им пихнуть в спину: «Быстрее, быстрее!» Но грузчики уже разбирали завал, а Зимогор остужающе глядел: не суйтесь, утром скажете, если будет что сказать. Сейчас его время и дело.

Синяков — удивительный человек. Отпустили — сразу заулыбался, пятна сползли с лица.

— Вот им, — прижал к животу локоть.

Однако таилась все же тоска в уголках губ и глаз. Да и слишком широко, деревянно пошагал, отмахивая правой рукой — левая висела, как подраненное крыло.

Рабочие между тем набросали рукав в корыто, и погрузчик, покабани захрюкав и по-кабани же выставив клыки-лапы, выкатился из цеха. «Заглохнет...» — подумал Зимогор и приготовился ругаться.

Завод выпускал замечательные, пользующиеся спросом во многих странах тракторы, но обслуживающая техника была неверной, старенькой. А автопогрузчики и вовсе божья кара — без окон, дверцы на проволоке, без глушителей...

Нет, не заглох. Покатил, грёмоздко подпрыгивая на ямах. «Развалит груз, сукин сын!..» Нет, не развалил. Удачно завернул и скрылся в воротах механического цеха.

Все, одна прореха залатана.

— Заезжай! — гаркнул второму шоферу.

Грузчики принялись набрасывать в корыто редуктор, а Зимогор, повисев у них над душой минуту, взял дефицитную ведомость и пошел по участкам. Следовало изучить что, где, когда и сколько. Список дефицита, то есть мелочевки, был сегодня длинный, а в десять оперативка у начальника производства завода, придется отвечать, в какое время подадут заготовки и в каком количестве. Все по списку вроде наформовано, но одно дело, если какой-либо диск или пробка-единичка на отжиге, совсем другое, если на очистке. Разница на выходе может оказаться в целую смену. А то и вовсе сунут куда-либо в угол — ищи-свищи.

В половине десятого, когда по карте дефицита оставались несверенными три-четыре наименования, Зимогор увидел, что бежит к нему контролер покраски Грибова. Оказалось, разыскивает его Чигирин, начальник производства завода, что-то там с рукавом, и вообще все телефоны надрываются.

Трубка лежала на столе, и Зимогор повертел ее в руках, прежде чем ответить.

— Что у вас сегодня происходит? — своим невероятно тихим и спокойным голосом произнес Чигирин и умолк в ожидании ответа.

Такова была его манера: ставить общий вопрос и ждать конкретный ответ. Очень хорошо это действовало на подчиненных, сразу ясно, кто — кто.

Но Зимогор тоже ждал. Во-первых, не знал, чем вызвано неудовольствие, во-вторых... Терпеть не мог Чигирина. Сопляк, в сущности, вчерашний студент, а строит из себя директора.

Чигирин начальникам смены звонил редко, обыкновенно сразу выходил на начальника цеха или заместителя, и звонок означал, что ни Шерементова, ни Сухоручко не нашел, а терпение истощилось.

— Что молчите?

— Не понимаю вопроса, — ответил Зимогор.

— Не понимаете? — удивился. — Кто сегодня на смене? — поинтересовался еще спокойнее, будто не узнавал по голосу.

Зимогор почувствовал, что подступает к горлу то бешенство, что жило и билось в нем уже больше тридцати лет. И Чигирин, видно, это почувствовал, хоть делал вид, что не узнает Зимогора.

— Что ж... — сказал с неясной угрозой и уронил трубку.

Опустил свою и Зимогор. «Сдержался или нет?..» — думал, чувствуя свое тяжелое дыхание. Пошумливало в ушах, но это ничего, бывало хуже. Кажется, сдержался.

Грибова испуганно глядела на него.

Он вышел из конторки и направился в механический-два. Догадывался, что произошло: автопогрузчик попал в пробку.

Подтвердилось. В поезде стоял самосвал, бабы-грузчицы не топясь наваливали на него стружку крючьями, а следом ждал своей очереди разгружаться трактор с мелочевкой из кузнечного.

Зимогор заглянул к станочникам — в ящике было пусто. Хуже того, не было рукава и на третьей операции. Прикинул — раньше чем

через тридцать минут к станкам не добраться. Самое обидное — тридцати метров не дотянули, а объехать машину и трактор с прицепом нельзя. Завод строился после войны, когда-то цеха были просторными, но планы с того времени выросли вдвое, станков напихали куда только можно.

Станочники сидели рядом и дружно ржали, наблюдая, как бабы управляют с крючьями и стружкой.

Зимогор подошел к автопогрузчику.

— Плохо дело, студент,— просительно поглядел на грузчика.— Давай носить.

Этот студент вечно читал книжку, если выдавалась свободная минута,— учился то ли в техникуме, то ли в институте. Рад небось, что попал в хвост машин, однако послушно завернул книжку в газету, надел рукавицы.

Тяжко, каждый рукав пятьдесят килограммов. Восемьдесят заготовок в корыте. Да тридцать метров до станков.

Станочники враз повернули головы: и здесь нашли что-то смешное. Дескать, крепкий, однако, дед этот Зимогор.

Студент приспособился: поднял кусок проволоки, сделал крючок и тащит волоком заготовки по масляным плитам, а Зимогор от злости и ненависти таскал на животе. Смотрите, мол, смейтесь.

Попыхтел минут десять и тоже сделал крюк. «Всё, все, все,— думал, упираясь, оскальзываясь на чугунном полу.— До отпуска доработаю, и все. Хватит, шестьдесят лет».

На оперативку к начальнику производства завода Зимогор пришел мокрый какмышь.

Стояла шелестящая, опасливая тишина. Держался Чигирин начальственно не по чину, подражал в повадках — от голоса до походки — директору завода Крумаку, тяжело глядел, презрительно слушал. Пожалуй, все это у него даже лучше, чем у директора, получалось. А начальники смен — хоть и говорили меж собой, что ерундовский он человек, даже родная жонка полощет как хочет,— побаивались Чигирина больше директора. В силу того, что вел роль неточно, уверенности не чувствовал, мог для остротки и самосохранения выдать по первое число. Власти для этого вполне хватало.

Когда вошел Зимогор, на лице Чигирина мелькнуло удовлетворение — видно, донесли уже, что Зимогор таскает рукав на пупе. Однако ничего не сказал: молчание успешнее поддерживает авторитет, чем слово.

Оперативка длилась недолго. Чигирин называл номер цеха, начальники смен поднимались и называли номера деталей, узлов и заготовок, которые могли создать узкое место, а начальники смен цехов-заготовителей — литейных, прессового, кузнечного — отвечали, когда и сколько будет поставлено.

Ответил и Зимогор, когда пришла очередь. Правда, несколько последних по карте заготовок назвал наобум — не успел проверить наличие,— но сutki только еще начинались, а кроме того, если механический цех требовал заготовку в первой смене, значит, потребуется во второй, если во второй, значит, терпит до третьей. Условия этой игры в вопросы и ответы известны были и понятны каждому. Всем хотелось поскорее уйти отсюда и потом уже неясности утрясать по телефонам меж собой. Понимал это и Чигирин, но ему важно провести оперативку без сучка и задоринки, пометить информацию, чтоб застраховаться и при случае выдать кому сколько положено, сколько подскажет характер ЧП.

Все здесь знали друг друга давно, знали, кому и насколько верить, кто отвечает наобум, а кто точно; каждый делал в уме соответствующую поправку на информацию, на чрезвычайный случай. Знали, к примеру: если Зимогор обещает заготовку к середине смены, то уж к кон-

цу подаст обязательно, а Синяков если говорит «в третьей», это уж точно — не знает о заготовке ничего. Уточнять и вообще задавать любые дополнительные вопросы было не принято, Чигирин тут же осадит: «Вам ответили? Садитесь».

Новым был только один человек — начальник смены механического-три Антонюк, молодой, тоже чем-то неуловимо напоминающий директора завода мужик. Скорее всего опять же голосом, строгостью, манерой кисло глядеть. Точнее — напоминал Чигирина, когда тот изображал Крумака. Он, Антонюк, заявил на вторую смену пробку-единичку. Гадкая деталь, вечно проблемы. Маленькая, для тоннажа невыгодная, возни много. В карте дефицита ее не было.

— Ладно, — ответил, — погляжу.

До Антонюка начальником смены работал Федя Кирьянов, друг. «Ой хорошо! — твердит при каждой встрече. — Зачем я, старый дурак, работал до сих пор?» Был старше Федя года на два-три.

«Может, не ждать тот отпуск, бросить?» — размышлял Зимогор. Давно бросил бы, если б не Клава, не Ленка, не сыновья.

«Шел бы ты на заслуженный отдых, Никитович, — сказал однажды Сухоручко. — Интерес тебе носить по заводу... Сколько можно работать? Что ты видел, кроме своего цеха? Пора отдохнуть, поездить, мир поглядеть...» Говорил Сухоручко сочувственно, улыбался, но Зимогор подозрительно поглядел на него. Нашелся добряк.

Когда Зимогор вернулся в свою конторку, Грибова сказала:

— Никитович, вам сын звонил. Кажется, Степан.

Контролеры, если делать нечего, собираются где-либо в уголке, парят сечку из начальства, соседей, мужей, и только Грибова одиноко сидит в конторке — глуховата и потому участия не принимает.

— Давно?

— А? — наставила ладонь.

Кричать на ухо неохота, и уточнять не стал.

Сыновей у него было трое, а еще дочка Клава — все от разных женщин.

Двое сыновей и Клава работали на заводе, третий сын, Володька, больше пятнадцати лет назад ушел из дому и с тех пор не писал, не приезжал. Ладно, если живой, с его натурой все может быть.

Матери их... Двух уже не было на этом свете, одна работает на заводе, на стержневом участке цеха, одна, Маша, мать Володьки, неизвестно где...

Было в его жизни еще несколько женщин, но как их назвать — жены, сожительницы, полюбовницы? — Зимогор сам не знал. Из-за них и не сложилась судьба, если бы не они, тот же Сухоручко или Чигирин ходили бы сейчас перед ним, втянув живот.

Женами Зимогор считал только тех, которые родили ему детей. Теперь Зимогор жил с молодой женщиной — сидела дома квашней, натошак, как говорится, не обойдешь. Хорошо бы и с ней развестись, да поздно, неохота людей смешить. С ней и помирать придется. Хорошо хоть от нее детей нет.

— Ты звонил, Степка?

— Не, батя, — ответил обрадованно сын. — Я, батя, только собирался тебе позвонить...

— Что надо?

Степка молчал.

— Денег?

Опять, значит, гульнул сын, нечего домой с полочки нести, боится, как бы жонка не выгнала. Унаследовали от него оба хлопца слабость к женщинам, ладно бы — красивых девок водили, так нет, какою зацепят, та и хороша. Счастье, что жонки терпеливые попались, особенно Тоня, золото человек. Зимогор и ей с полочки всегда заносил червонец-другой — внучке, мол. Степка работал дежурным слесарем,

зарабатывал мало — тариф, а на станок не хотел — лень. Внучке, Танюшке, семь лет исполнилось, в школу пошла, деду после каждой пятёрки звонит, не дай бог останется без отца.

— Сколько тебе?

— Дак... сколько...

— Приходи завтра, дам червонца два.

— Мало, батя...

— Три дам.

— Ух, батя... Ты у меня человек!

Ясно, человек. Сын все ж.

— Ты со мной в Долговичи не съездишь?

В Долговичах работал председателем колхоза старый приятель Зимогора. Каждую осень запасался у него капустой и прочими овощами.

— Когда, батя?

— Завтра.

— Завтра?.. Не, не получится, батя,— замямлил.— Завтра я...

Вот охоты к работе Степка не унаследовал. Ладно, бог с ним, обойдется и без него.

Выходит, звонил Павел.

Работал Павел расточником в механическом-один, к телефону его приглашать никто не пойдет, и Зимогор решил — попозже, когда станет спокойней в цеху, заглянуть, узнать, что произошло.

А пока побежал на формовку выяснить, что и когда собираются формовать, оттуда на стержневой — к бывшей своей жене Фане.

Ох, Фаня.

Все, что было с другими женщинами, вылетело из дырявой головы, выветрилось из души, а все, что было с ней, сохранилось. Похоже, душа не что иное, как глухая копилка, упадет в которую взгляд или слово — и все, не достанешь, не выбросишь, носи до конца жизни. Трепещет, как тридцать лет назад.

Вот она. В красном платочке, туго завязанном на лбу по старой цеховой моде, с рожками, в широковатом комбинезоне, поворотливая, небольшенькая. Поглядеть на нее — женщина как все. А на самом деле — иная. И еще: сегодня посмотришь — она моложе, чем вчера, завтра — моложе, чем сегодня... Что ей сказать?

— Тебе капуста нужна?

Зимогор выписывал овощи не только для себя, но и для сыновей с невестками, дочки, для всех своих горемычных жен и любовниц, с которыми когда-либо — хоть год, хоть полгода — жил вместе... Вскоре после того, как уходил от своих женщин, становилось невыносимо жаль их, хоть возвращайся.

Так вот и с Фаней. Фаня была у него третья, с ней они родили Степку.

— Надо, Никитович,— обрадовалась Фаня.— А я думала, ты про меня забыл...

«Забыл! — молча отозвался Зимогор.— Тебя забудешь...»

— Килограммов бы пятьдесят, Никитович... И картошки мешок. Много, а? — рассмеялась.

Что же все-таки такое исходило от нее, излучалось всю жизнь? Что сказать, чтоб еще минуту погреться?

— Морковки?

— Морковки,— согласилась.— Денег дать?

Денег! Какие деньги...

Денег не брал даже у других, не то что у нее. Махнул рукой, пошел дальше. Скорее сам бы с голоду помер, чем взял у женщины деньги.

У двери оглянулся — Фаня глядела вслед и улыбалась. Что там у нее, почему улыбается всегда? Почему тогда не улыбалась?

Нырнул в боковую дверь и оказался у модельщиков. Здесь ему делать нечего, так, для порядка заглянул.

Хороший участок. Тихо, чисто, никаких проблем. Вот где жизнь. За две недели можно помереть со скуки. Как в тюрьме. Правда, на тот момент у модельщиков было весело: собрались группой и ржали, как на лугу. Интересно бы приостановиться, да подмывало уже изнутри: как там, на вывозке? может, опять что-нибудь?

И Зимогор помчался назад.

Фаня была его третья жена, а вторая... Впрочем, о второй позже. И была она похожа на первую, Аню, как две капли воды.

Аня погибла тридцать лет назад, при освобождении города. У Фани годом раньше погиб муж.

Не только была похожа — превосходила ее. И красивее была, и моложе, и ласковее. Терпеливее. Зимогор в это время прикладываясь начал было к стаканчику — ни словом, ни взглядом не укоряла ни вечером, когда под ручки приводили домой, ни утром, когда просыпался. Пела вполголоса печальные песни на кухне или молчала. И однажды он, взяв дочь за руку, пошел к той, что умела говорить и смеяться.

Через полгода увидел Фаню — несла впереди себя огромный живот. Но было поздно: новая жена, Катерина, тоже носила живот, хоть и поменьше...

Никаких происшествий, слава богу, не было. Завал литья грузчики разобрали, покрасочный конвейер загружен плотно, телефоны молчали. Можно бы и посидеть спокойно, но сидеть впрок, если не чувствуешь усталости, а, наоборот, одну только энергию, нелепо. Прежде, чтоб избавиться от этой лишней, избыточной энергии, он помогал грузить хлопцам, однако вот уже лет пять как стал экономнее. Все-таки две смены впереди.

— Вам опять сын звонил, — сказала Грибова из угла конторки.

Грибова была так тиха и так постоянно сидела в одном и том же углу конторки, что ее не замечали. Зимогор, погрузившийся было в воспоминания, вздрогнул.

Хорош стал, однако. Бывало, выстрели над ухом — только поморщится. Ну, выстрелы выстрелами, а вот ахнет, бывало, Стеша скорოდками над головой — один глаз откроет. Еще раз ахнет — спит.

Выходит, звонил Павел.

— А еще Сухоручко вас спрашивал.

— Что ему?

— А? — наклонилась.

Поговори с ней. Но по телефону слышит.

Впрочем, Сухоручко перебьется, решил Зимогор. Разговаривать с ним не было никакой охоты. Не нравилось Зимогору последнее время выражение его лица. Что-то унылое и неуверенное возникало при каждой встрече.

И он пошел в механический-один поглядеть Павла, договориться вместе съездить в Долговичи, а заодно поглядеть, что творится на участке корпуса руля. В предыдущей смене корпусов завезли мало, около сотни штук, и в этой занаряжена сотня, хоть обычно съедали по полторы-две. Разве сутки назад завезли вдвое больше?

К Павлу надо было заглянуть еще и потому, что давно не виделись. Две недели назад к Зимогору подошла Лида, жена Павла, сказала: «Хватит, Петр Никитович. Я больше не могу с ним жить».

Неважная жена попалась Павлу, зла и крута, но и он хорош, гусь. Невелик грех сходить в гости к другой женщине, но хоть среди ночи надо являться домой. Бес с ними, с Лидкой, с Павлом, они устроятся, — внука жалко, Петушка, Петьку. Она, Лидка, по слухам, тоже погули-

вает, вот и отдали бы Петушка деду, а сами гуляли, пока глаза не вылезут,— так нет, дедам внуков не отдают.

Обо всем этом и поговорили они с Павлом две недели назад. «Ты, батя, на себя посмотри. Не тебе учить жить».

Разные все ж получились хлопцы. Степка ласковый, добрый, только носом шмыгает, если ему мораль читают, а Павел сразу — «не тебе учить». Степка, если и гульнет, покается, а Павел тяжел характером. Хочет и гульнуть, и чтоб своя жонка вместе с ним радовалась.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б не Тоня, жена Степки. Она пошла к Лиде, сказала: «Или не знала, за кого шла? Это ж Зимогоры, порода такая. Я своего сама отправляю к бабам. Они ж сатанеют, когда дома сидят. Или у тебя детей нет?» Отхлобыстали в два языка их породу, и Лида на время успокоилась. Надолго ли?

«Скучно мне, батя! — говорил Павел. — Скучно!..»

Ох, Петя-Петушок, все, видно, у тебя впереди.

Не без опаски приближался к его станку.

На счастье, Павел был весел. Увидел отца, не торопясь вытер ветошью руки, крепко ударил в ладонь.

— Здоров, батя! Учить пришел?

Зимогор виновато и миролюбиво хохотнул.

— Чего тебя учить? Сам умный. Ты чего звонил?

— Я? Я не звонил.

«Вот тебе и на,— подумал Зимогор.— Надо поинтересоваться, каким ухом слушала телефон. Глуха, кажется, на левое. Не левша ли ее Матвей, не поднес ли в правое для равновесия?»

Стояли у станка, говорить было не о чем, но с удовольствием глядели друг на друга. Павлу некоторое время назад поставили полуавтоматический станок из ГДР, красивый, чистенький, но работал на старом, отечественном.

— Как немец? — поинтересовался Зимогор.

— Да ну... к свиньям. На моем привычнее.

«И баб тоже к свиньям»,— подумал Зимогор. Сын — вот надежда. И если б не Петушок...

— Как Петушок?

— Два кола вчера из школы принес,— весело ответил Павел.— Сегодня принесет — драть буду.

— Не надо,— малодушно сказал Зимогор.— Выровняется.

Ходил внук во второй класс и учился из рук вон плохо. И то сказать — ни мать, ни отец не обращали на его учебу никакого внимания. Отправляли в школу, даже не спросив, как сделал уроки.

Ладно, на заводе место всегда найдется. Здоров, и слава богу.

— Ну а ты как? Все бегаешь?

— А что мне еще делать?

— Шел бы на пенсию.

Что это они — и свои и чужие — на пенсию его отправляют? Вроде не горбится.

— Я на пенсию вместе с тобой пойду.

Посмеялись.

— Ты со мной в Долговичи не съездишь?

— Можно, батя...

Любой труд не труд для Павла. У Степки в доме на табуретку сесть страшно, все краны, окна, двери скрипят, текут, боатаются, у Павла — порядок.

Простившись с сыном, Зимогор уже совсем весело заглянул на участок обработки корпуса руля.

Начальником смены в механическом-один работал старый знакомый, Антон Евтихович, удивительный человек. Молчит до последней минуты, а потом поднимает истошный крик на весь завод. Готов себе схлопотать две шишки на лоб, только чтоб и еще кому-то хоть одну. Даже и недоволен, если заготовок достаточно, если все хорошо.

Построили ему вместо обычной конторки стеклянную будку над цехом — и этим недоволен. Сидел там, как старый карась в аквариуме, скучно глядел по сторонам. Увидел Зимогора и вовсе отвернулся. Но Зимогор успел подмигнуть и погладить себя по животу, что на заводском языке означало — молодец, хорошо сидишь, хорошо живешь, выглядишь как король.

Корпусов руля стояла гора. Спокойно отправился в свой цех. Кто ж все-таки звонил, что за чепуха?

Выйдя на улицу, Зимогор увидел, что у ворот цеха стоят оба погрузчика и трактор с прицепом. Сразу припустил бегом. Что они там, едят их мухи с комарами, думают себе? Не выносил вида пустующих машин, незанятых людей.

Влетел в ворота — так и есть. Съемщики кидают заготовки на землю, а грузчики с шоферами режутся в шашки.

— Хлопцы! — завопил Зимогор. — Груза идут!

— Ну и пускай идут, — ответил один из грузчиков, Туркин, даже не подняв глаз от самодельной доски.

У Зимогора язык застрял от возмущения.

— Загоняй машину! — закричал шоферу. — Я сам складывать буду!

— Тебя, Никитович, — спокойно сказал Туркин, — когда на Чижовку повезут под музыку, ты и по дороге будешь ногами сучить: скорей!..

— Я сейчас ваши шашки...

— Ну-ну! — взревели хором.

Шашки — гайки и шайбочки — очередная напасть, эпидемия, охватившая цех в последнюю неделю. Играли до работы, во время работы, после работы, а шоферы и грузчики так сдетинились, что двигали гайки и шайбочки прямо в машине на ходу, развозя по цехам заготовки.

Однако не только в шашках дело. Противная смена. Грузчики двух других смен ставят машину под конвейер и сбрасывают заготовки совместно со съемщиками, а в этой больно умны: поставят погрузчик, а сами в шашки. Съемщикам обидно, да и проще бросать литье на землю, чем укладывать в корыта — поссорились. Теперь делают двойную работу.

— Загоняй!

Лениво поднялись.

Ну и сердце стало, однако, от всякой чепухи в горло кидается.

Туркин все ж поступил по-своему: грузить начал не с ленты, а с земли, хоть самому тяжелее вдвое. Та же логика, что у Евтиховича: пусть мне хуже, но и тебе не лучше.

Плюнул, пошел прочь, чтоб не рвать нервы, без того одни клочья остались.

Совсем иное дело — смена, в которой Гриша Ходосов, Митя, Степанович. Ни одной детали под лентой не увидишь.

Грибова писала мелом на покрашенных заготовках букву «Г», что означало «годное», ставила штампик. Даже и здесь, у конвейера, становилась так, чтоб никому не мозолить глаза, чтоб никто к ней не обратился.

— Кто, говоришь, мне звонил? — сердито прокричал ей на ухо, изживая досаду на грузчиков.

— Сын, Никитович, сын.

— Не звонил он мне!

Уловила раздражение в голосе, испуганно заморгала.

Ну и смена. Кто ленивый, а кто глухой.

И вдруг конвейер остановился.

— Что случилось? — кинулся вдоль ленты.

— Обед!

— Какой обед?

Глянул на часы — в самом деле обед. А что вас с вашим обедом... Но тут выдалась радость: внук пришел, сын Клавы.

— Здоров, дед,— сказал.— Мамка на обед зовет. Пойдем?

Есть не хотелось, обедал Зимогор позже, когда слынут очереди в столовых, но тут — ого, обед с внуком и дочкой!

— Пойдем!

Оглянулся: все видят, что внук пришел? Все. Вот то-то.

Пошли к бухгалтерии транспортного цеха. Зимогор обнял Кольку за плечи, спросил:

— Ну как?

— Нормально,— ответил внук и, стрельнув глазами по сторонам, надал шагу, ушел от руки. Нужны ему такие нежности.

Зимогор улыбался. Эйшь, байстрюк.

Колька работал первый месяц. Зимогор хотел и мог устроить его в гальванический цех — и чисто, и тихо, и работа полегче,— но парень заупрямился: на передовую, и все тут. Ладно, вот тебе передовая: поставили на конвейер в мех-четыре закручивать гайки на маслобаке. А ни ростом, ни силой парень пока не вышел, как ни старается — при испытании масло фонтаном. Испытатель Якимчук, злой, матерый мужик,— матом. Чуть не со слезами приходил Колька первые дни домой.

Ничего, пусть хлебнет. В жизни все надо попробовать, слезы тоже. А с начальником гальванического он уже договорился: как только освободится место, возьмет.

— Как ты сегодня его? — спросил Зимогор, имея в виду испытателя Якимчука.— Помыл?

— Помыл,— усмехнулся Колька.

«Славный парень»,— подумал Зимогор. Жаль, отца нет. Так и не призналась Клава, от кого малый, чей. «От бога»,— ответила. Гордая она у него. И верно: от бога. Учился средне, но и обед сварит, и полы помое, и словом мать не обидит. Да и какая разница — от кого? Вот он идет, хороший человек, чему-то радуется про себя, чему-то улыбается — живет не тужит.

Клава уже ждала их, чайник закипал на табуретке, а еды разложила столько, что вчетвером не съесть.

— Чтой-то ты как на праздник?

— На хорошее мясо напала,— ответила довольная, что оценил отец.— Набрала отча жадности, теперь пропадает.

Толстеть начала Клава, и фигура потяжелела, а лицо, наоборот, омолодилось, разгладилось. Улыбка у нее всегда была ласковая, а теперь — так бы и глядел на нее. Красивая женщина, а семейной жизни нет. Ходил к ней один инженер, все говорил — вот-вот разведется, дескать, уже и заявление подал, уже и то, и другое, и так-сяк, пока не сказала Клава: «Когда разведешься, тогда придешь». Потом журналист из заводской многотиражки — веселый, маленький, с красным носом,— сама не решилась. Но уже лет пять как перестала говорить об этом с отцом.

— Я за капустой с Павликом собираюсь. Сколько тебе?

— Кочанов тридцать, папа, если хорошая...

— Зачем столько?

Таинственно улыбнулась:

— Надо...

Говорили о том о сем и оба глядели на Кольку — рвал зубами куриную ногу, держал наготове кусок пирога с мясом, а глазами шарил уже чего повкуснее. Выголодался, как жеребенок на воле. Но и некая дополнительная нежность таилась в лице дочери.

— Я пошел,— объявил Колька с набитым ртом.

— Чаю, сынок.

Махнул пренебрежительно, скрылся. Значит, появились друзья, там ему интересней.

Клава налила чай отцу, себе и вдруг сказала:

— Я замуж выхожу, папа.

Чуть не поперхнулся Зимогор. Вот что, оказывается, таилось.

— Кто?

— Ты не знаешь.

Улыбнулась — и стало ясно, как ждала она этого часа, как устала от одиночества, как счастлива теперь. Что ж, мужику одному жить тоскливо, а каково женщине?

— Не пьет?

Покачала головой.

— Хороший.

— Колька его видел?

Без слов значительно кивнула.

— Разводной?

Само собой. Где найдешь в таком возрасте хорошего человека — и холостяка?

Пришли с обеда другие женщины-бухгалтеры, и разговор пришлось прекратить.

Вышел на улицу и вдруг подумал, что те же слова она говорила, такая же была счастливая и тогда — с инженером, потом с журналистом. «Гос-по-ди! — взмолился, глянув на осеннее солнце. — Да помоги же ты ей наконец! Что ты себе думаешь?!»

Хороший выдался день. Тепло, тихо и есть надежда, что так будет всегда.

По дефициту осложнений вроде бы не предвиделось. Механический-один заказал триста дисков, механический-два двести пятьдесят стаканов, мех-три триста отводок, мех-четыре пятьсот малых ступиц и так далее. Диски уже находились в печах на отжиге, стаканы на обточке, отводка на очистке. По иным наименованиям тоже, кажется, порядок.

Не обходилось, конечно, без мелких неприятностей: крановщица отказалась работать с новым стропальщиком — не имел удостоверения на право работать под краном; гидропресс выходил из строя — пришлось стоять над душой у ремонтников; на стержневой участок не завезли крепитель — пришлось лаяться по телефону, искать машину. Но все это будни, без таких происшествий не обходится ни одна смена. Да и мастера на каждом участке — все это их забота и дело, он, Зимогор, вмещивался от дурного своего нетерпения.

А когда все наладилось и он вернулся в конторку, Грибова опять сказала обиженно:

— Вы как хотите, Никитович, а сын ваш опять звонил...

Зимогор рассмеялся.

А может, и разыгрывают его хлопцы, с них станет, не первый раз. В прошлом году как-то позвонили вдвоем: «Беда, батя, скорей к нам». Пока добежал — кишки от страха перекрутились. А добежал — стоят у подъезда, копейки считают. «Какая беда?» «До бутылки не хватает, батя, а магазин закрывается». Он им дал и сверху добавил. Стоят смеются. А с другой стороны — хорошо. Не с кем попадая пьют, а брат с братом. Не у кого зря просят, а у родного отца.

И тут-то явилась Стеша — вовремя и кстати, как всегда. Сунула голову в конторку и, не входя, начала:

— Фаньке ты капусту везешь, байстрюкам своим везешь, никого не забыл, всем надо, только мне ничего не надо, я и так обойдусь... А сколько здоровья у меня отнял — это ты забыл! Сколько нервов выкрутил — этого знать не знаешь... Сколько я тебе добра сделала — этого в голове не удержишь! Сколько денег на твоих байстрюков переверела — не считал! Сколько...

Со Стешей Зимогор уже двадцать лет жил на одной площадке, квартиры располагались дверь в дверь.

Что его тогда потянуло к ней? Ясно что — горе горькое. Умерла Катя, его жена, с которой родили Павла. Бывало, Стеша и с ней резалась каждое воскресенье, но как заболела Катя, притихла, забрала Клаву и Павлика — кормила, поила, за Катей стирала, обхаживала. Так и продолжали жить, похоронив Катю.

Жили каждый в своей квартире, еду отдельно готовили, кроме разве что праздников и воскресений, но ведь и не просто соседка, хотя любовницей не назовешь: сколько жили, столько ругались. Чего ругались? А нравилось ругаться. Никогда в жизни — ни до Стешы, ни после — Зимогор такого не испытывал. Как просыпались утром, так и начинали. Он слово — она десять, он два — она двадцать два. С работы неслись бегом, чтоб поскорее сцепиться.

Имелась и еще причина, кроме постылых характеров, — дети: сегодня Зимогоры лупили Стешиных, завтра Стешины — его. А когда привез старшего сына, Володьку, тут соотношение изменилось в пользу Зимогоров...

Очень непросто получалось все...

— Уйди! — крикнул Зимогор.

Слава богу, в конторке и близости никого не было. Но Стеша уже оглядывалась, собирая народ, призывая свидетелей, ей чем больше людей, тем лучше, в толпе она как рыба в воде.

— Сейчас уйду. Бегом побегу! Испугал!.. Хоть бы zenки свои отвернул бесстыжие! Хоть бы совесть поимел раз в жизни, хоть бы...

— Что тебе надо, Стешка? — взмолился Зимогор.

— Что надо! Что надо! Бесстыжий! Язык у него поворачивается спрашивать! Отравил мне жизнь и...

— Да привезу я тебе капусты, привезу!

— Привезет! Как в прошлом году привез!.. Десять кочанов кинул — ешь, Стешка, хоть задушишься!

— Всем я по десять привез в прошлом году!

— Я и говорю — жадина! Десять кочанов!.. Чтoб тридцать привез самое малое. И картошки мешок!

— Иди с глаз. Привезу.

Комедия. Хотел просунуться в дверь, а она не выпускает.

— Не нравится правду слушать? Эйшь, распыхтелся! Слушай, слушай...

Наконец вырвался Зимогор, кинулся от людей и от Стешы в ворота.

— Морковки привези, чучело!

Три раза обегал вокруг цеха, пока успокоился и отплевался. Вот уж чума болотная! Пять лет после того, как совсем разругался с ней, бобылем ходил, боялся жениться. А когда привел наконец Лену — уж чего только Стеша не говорила о нем, куда не писала — в партком, в завком, директору, в газету: не могла простить, что взял женщину моложе на двадцать лет. До сих пор с Ленкой не здороваются, встретятся — голову отвернет, а потом будто сама себе коротенькое такое словцо скажет, на которое все женщины обижаются...

Он бы, конечно, привез ей капусты, просто не хотел лишний раз встречаться. И от кого, интересно, узнала? Скорей всего от Павлика, работала уборщицей в том же цеху, а потом побежала к Фаньке.

Не без опаски вернулся в цех. Не ждет ли, собрав народ?

— Вас опять Сухоручко искал, — сказала Грибова.

Интересно сегодня получается. Кто-то звонит, кто-то ходит следом. Не очень-то, видно, ищут, раз не могут найти.

Заглянул в план-карты — как там с редуктором и рукавом? Порядок. По триста штук завезли. А сейчас он еще штук двести подбросит, все проходы рукавом завалит, взвоят они у него.

Бабы тоже исправно развозили мелочевку по цехам. Не видно было только шестьдесят второй диск, скорее всего в сушильной камере после покраски, ничего, скоро пойдет.

И тут увидел Сухоручко.

Странное дело: полдня искал, а нашел — отвернулся и к выходу. Скатертью дорога. Найдет, если понадобится.

Смена благополучно шла к концу. Опять, конечно, время от времени что-то случалось: эпрон останавливался, давление в пневмотрубах падало, температура сушильной камеры прыгала... Терпимо. В первой смене неполадки устраняются быстро. Не то что в ночной, третьей...

Впрочем, Зимогор давно нашел выход — звонит среди ночи начальнику соответствующего участка или службы: «Выспался? Пора на работу». Пробовали они отключать телефоны на ночь — себе дороже: Зимогор на машине приедет и колотит, пока весь дом не поднимет. Пробовали на производственных совещаниях бунтовать: «Война, Никитович, тридцать лет назад кончилась. Ты теперь начальник смены, а не комбриг». Петухов, механик цеха, сказал на прошлой неделе: «Тебе начальником тюрьмы работать, а не смены. Тебе надзирателем быть». За это на очередном дежурстве Зимогор его два раза поднял. «Когда Зимогор на смене, хоть спать не ложись».

«Самому надо выходить из положения, — сказал Сухоручко (он и Петухов — соседи, друзья). — Ночью люди должны отдыхать». «Жив будет, — ответил Зимогор. — Не переработался». «Шел бы ты на пенсию, Никитович. Ты свое государству отдал». «Вот вам, — ответил мысленно. — И тебе, и твоему другу, и всем, кто хочет меня из цеха выжить». Многим он, Зимогор, как рыба кость.

Любопытства ради сбегал под конец смены в механический-два. Рукава навалили столько, что расточника не было видно. Вот он, выскочил как сумасшедший.

— Одурел, дед? — закричал. — Что ты делаешь?.. Ты... Я...

Зимогор захихикал: «Кушай, внучек, с маслом».

Посчитал примерный тоннаж и направился к Сухоручко отчитаться и узнать, что будет формироваться во второй и третьей.

Сухоручко, чем-то крепко расстроенный, стоял лицом к окну и не обернулся на голос. Здесь же сидел и Шерементов — тоже не поднял головы.

— Отчет, — сказал Зимогор, положил листок на стол.

Оба начальника кивнули: дескать, позже поглядим. Дело хозяйское. Взял листок с заданием на вторую и третью смены.

— Вы меня искали? — обратился к Сухоручко.

— Завтра поговорим.

Завтра так завтра. Хозяин-барин.

Сообразил: конец месяца, день ПДПС — постоянно действующего производственного совещания. Видно, ввалили обоим по первое число. Ничего, ноги будут быстрее переставлять.

Только началась вторая смена, как тихо, обыкновенно тренькнул телефон. Зимогор снял трубку и услышал далекий голос:

— Здоров, батя.

— Здоров, — равнодушно ответил и догадался: мастер из механического-один, диски кончились.

— Не узнаешь, что ли?.. Это я, Володька.

Володька? — не знал по имени до сих пор. Володька так Володька. Однако на «ты» не обращался до сих пор.

— Что тебе, Володька? — спросил недовольно. — Диски?

— Тебя надо, батя. Пятый раз звоню.

И вдруг встрепенулся Зимогор. Начал подниматься с трубкой в руке.

— Ты что, батя, не узнаешь или не веришь?

Узнал голос. Он, конечно, он, вот и усмешечка его донеслась.

— Где ты?!

— С проходной звоню.

Кинул трубку мимо аппарата и вон к машине, а машины нет и погрузчика даже нет, ах, сволочи, и во второй смене не чешутся, — и бегом.

Триста метров до проходной, не много, если тебе двадцать лет, а если в три раза больше?.. Если одну смену как-никак отработал, если не видел его, Володьку — сколько? лет пятнадцать — да и не надеялся уже увидеть, забывать начал голос, лицо, если...

Вот, вот она, проходная, табло электрическое, шестнадцать часов двадцать одна минута, никелированная вертушка, осеннее солнце в глаза, безлюдье за проходной, цветы на клумбах...

Он? Этот мужчина?

Оказывается, не все знал о себе Зимогор. Не знал, например, что так стар, иначе не бежал бы сломя голову, не знал, что слаб, — не повис бы мешком с овсом. Не знал, что дорог ему Володька, иначе не отпустил бы в тот далекий уже день и вечер, а стал у двери и...

Этот мужчина схватил его под мышки, и они тяжело затоптались, наступая друг другу на ноги.

— Ты что, батя, ты что?.. Держись за меня, держись... Ну? Давай сядем...

Но где сядешь? Не парк культуры и отдыха, асфальт да каменные стены перед проходной. К стене и потянул Зимогор Володьку. А когда привалился в углу и отдышался, вдруг рассмеялся тихо над самим собой, над неожиданно обнаружившейся немощью и этим еще больше испугал сына. Он уже ни о чем не спрашивал, а только крепко держал Зимогора под мышки.

— Да отпусти, — сказал Зимогор хрипло. — Не упаду.

Кровь уже возвращалась к лицу.

— Ну, батя, чтоб ты сто лет жил, — сказал, вроде как выругался Володька. — Перепугал меня.

— Что ж такой пугливый? — усмехнулся Зимогор, собираясь оторваться от стены, но не решаясь.

— Не пугливый я, батя. Пуганый.

Ничего, даже не качнуло. Сын на всякий случай держал под руку и подозрительно поглядывал сбоку.

Они пошли по предзаводской площади туда, где светилась березовая рощица на опушке когдатошнего леса. До сих пор, если пробежать рощицу ранним утром из конца в конец, можно набрать шапку грибов. Когда-то в этом лесу легко было заплутать, и голоса сыновей звучали испуганно и обиженно: «Батя-а!.. Ты где?..» Лишь только Володька не подавал голоса.

Теперь здесь росли цветочки и стояли скамейки. С одной стороны завод, с другой — город.

Сели на скамейку, и как заново родившимся почувствовал себя Зимогор.

— Ну как, батя? Ничего?

— Я — ничего! — тряхнул вечным хохолком на макушке, как пегух гребнем. — А ты?

— Ладно, — сказал сын. — Забудем.

Достал пачку сигарет, протянул отцу. «Э-э...» — ответил себе Зимогор. Неважные сигареты курил сын. Выглядел он старше своего возраста. Степка и Павлик немногим моложе, но оба они, Степка в особенности, пацаны, хлопцы, а Володька...

— Заматерел, сын, — сказал Зимогор.

— Есть маленько. — И усмехнулся.

Совсем не показывал на такого крепкого, жилистого мужика, когда уходил из дому.

Похоже, не праздной жизнью балуется сын. Из тех, кто никогда в пристяжке, а вечно в оглоблях бежит. Так же, как и он сам, Зимогор.

— Не ждал меня?

И сразу усмехнулся согласно: правильно, чего меня ждать? Не надо. Повел вокруг себя головой.

— Изменилось все.

— Помнишь?

— А как же. Хорошее было время.

Да, хорошее. Да и отыщется ли хоть минута в жизни, на которую оглянуться — и проклясть? Нет такой. Даже война.

— Откуда ты?

Махнул рукой вместо ответа: мол, позже поговорим. Брови широкие, руки трудящие, взгляд не прямой, а с усмешечкой, вбок. Хотите — любите, хотите — нет. С раннего детства оставшийся взгляд.

Они жили с Машей здесь, на поселке, у колхозного рынка, снимали комнату у одинокой старухи в частном доме, ходили по дому в ватниках — вечно дрыгли, и весной и осенью холодно было у них. Зимогор заглядывал раз в неделю, приносил сотню-полсотни — ничтожные по тем временам деньги, кусок сала — жива еще была старуха мать в деревне, привозил возок дров: плашка — рубль. Маша ахала, принимала все с радостью, суежилась хозяйка, только Володька вопросительно поглядывал вместо угла, не понимая, почему этот человек — отец. Ему Зимогор вместо игрушек приносил гайки, болты и шайбы с завода, какие-нибудь шестеренки, подшипники, лампочки, бляшки (о, это его интересовало, этого он не видывал), но стоило Зимогору заговорить — забывал о болтах и гайках, вопросительно глядел в упор: что надо ему от него?..

Маша была партизанская невеста и жена Зимогора. Недолгой была любовь: в сорок втором встретились, а в сорок третьем отправил ее самолетом рожать на Большую землю.

Маша была еврейка. Накануне войны она приехала из Иркутска погостить к родственникам и попала в гетто. Бежала, год скрывалась в белорусских деревнях и наконец прибилась к отряду Зимогора.

После войны приехала, узнав, что Зимогор жив, но он уже жил с Катериной, Клавой и Павликом.

Маша устроилась уборщицей на колхозном рынке, крикливые торговки привечали голодного мальчика, здесь ему было и сытно и весело, но стоило появиться Зимогору в торговых рядах — прятался, затаенно поглядывал на него: и сюда пришел, почему? — на мать: отряхивается, улыбается, стыдливо прячет метлу.

Зимогор покупал ему летом ягод, осенью орехов, зимой семечек, а Володька, осторожно принимая кулек, никогда не раскрывал, не начинал есть при нем. «Не признаешь меня, Володька?» — тихо спрашивал Зимогор, сидя на корточках перед сыном. Не отвечал, глядел вбок.

И Маша, и Фаня, и Катерина знали друг друга в лицо — поселок в ту пору был невелик, — но в обсуждения не вступали, кивали при встрече да проходили мимо. И что вступать? Никто ничего не требовал ни друг от друга, ни от Зимогора, жили — помалкивали, раз уж так соединила жизнь.

«Поеду я, — сказала однажды Маша. — Обратно поеду». «А что там?» — спросил Зимогор. «Не знаю. — И впервые заплакала при нем. — Может, легче будет». Жалко было Машу, жалко Володьку, но промолчал, потому как, если уедут, легче станет ему.

И когда помогал собраться в дальний путь, когда вручил ей билет, когда разрыдалась она на людном перроне, а Володька бил его по ноге — молчал; когда вернулся домой, к Катерине и Павлику, молчал, пока не пришла телеграмма из Иркутска: «Приехали. Спасибо за все». Тут уж отговорился за все эти дни. Рассказал Кате, какая она, Маша, была, Павлику — какой славный малец Володька, все всем, словно очищался, чтоб начать новую жизнь. И Катя согласно внимала его словам.

Она уже начинала болеть.

Несколько раз посылал деньги, но все реже и меньше... Маша и Володька уходили все дальше, все глубже встали в прошлое, туманились там, размывались — вот уж почти и не существовало их. Но почему-то никак не удавалось начать новую жизнь...

— Что молчишь? — бодро сказал Зимогор. — Рассказывай.

Однако Володька поморщился.

— О чем, батя?

И не вопрос это был, ответ.

Несколько лет спустя, когда Зимогор начал жить со Стешей, пришло от Маши отчаявшееся письмо: вышла замуж, родила дочь, а сын пропадает, отбился от рук. Забери, если можешь.

Поехал в Иркутск, забрал.

Уж сколько и как лупил Володьку — неохота вспоминать. В поезде, по дороге начал лупить.

В четырнадцать лет Володька удрал из дому — поймали в Мурманске. Через полгода опять сбежал — взяли под Карагандой. А получив паспорт, уже не сбежал, спокойно собрался и ушел, не сказав куда.

И вот сегодняшний день.

— А я думал, совсем оглохла Грибова, — сказал вдруг.

— Кто это?

— Да там одна... Контролер.

Очень интересно было Володьке про Грибову. Такая вот штука — с сыном не о чем говорить.

— Ты до утра работаешь?.. Не повезло. Я проездом, батя.

— Проездом?

— Утром в восемь ноль-ноль — ту-ту.

Вот и сквознячком потянуло от сына. Да и кто он ему, Зимогор? Что сделал для него, кроме как выпустил на белый свет? С чего почудилось, что будет перемена в жизни? Не будет, прошло время. Уедет утром Володька, и все пойдет как обычно.

— Что ж проездом?

— Надо, отец...

Подумалось — встанет сейчас Володька и, как тогда, пятнадцать лет назад, не оглянувшись, пойдет.

— Что мать?

— Да нету матери, — ответил с досадой. О чем-то ином хотелось ему говорить. — Три года как нет ее.

Вот как, Маша. Вот эдак.

Она перестала писать Зимогору, когда Володька ушел. Такая вот получилась жизнь.

— Ну что, батя, тебе, наверно, пора?

Договорились так: Зимогор попытается с кем-либо подменитьсь, а не получится — приедет, когда смена определится, на пару часов. Володька будет у Клавы.

— Хочу на сестру поглядеть, — сказал на прощанье. — Может, и братцы придут...

Когда-то они хорошо дружили с Клавой. Да и Степка с Павликом глядели на старшего брата, раскрыв рот.

У проходной Зимогор оглянулся, увидел одинокую фигуру на безлюдной солнечной площади и не узнал его со спины.

Подменитьсь Зимогору не удалось. Позвонил Синякову — «ты что? — возмутился. — Я только в себя пришел, я в баню собрался, вечером кума из деревни приезжает и вообще». Позвонил другому — дома нет.

Понятно: кому интересно выходить в чужую смену? В своей всех начальников смен не только в лицо знаешь, но и по имени, а когда потребуется, и по отчеству, изучил повадки-привычки, а в чужой... Все то, да другое.

Приуныл Зимогор.

Однако через час-другой мысли и настроение начали меняться: приехал все ж таки Володька. Пускай на день, ночь, но приехал. Значит, не чужой он ему человек. И вспоминалось иное: как по грибы ходили — Володька больше всех приносил, как бегали вчетвером — Степку и Павлика брали — ловить рыбу на тощую городскую речку, и вдруг становился Володька ласковым и послушным, терся у ног, как заскучавший в одиночестве кот. Скоро, понятно, опять поднимал шерсть дыбом, но ведь и такое — хорошее — было.

Не мог он, Зимогор, разорваться между четырьмя детьми.

И наконец так развспоминался, что не знал, как дожидаться вечера, когда смена определится, начальство разоидется и можно удрать с завода на часок-другой. Ехать решил сразу после ужина, в восемь часов.

Однако существует, наверно, все же этот закон — подлости. После ужина позвонил Антонюк, начальник смены механического-три и голосом Чигирина — Крумака спросил:

— Петр Никитович, что у вас с заготовкой 00-1?

Заготовка 00-1 — та самая пробка, что причиняла столько неприятностей начальникам смен.

— На оперативке вы обещали подать к восьми.

— Да что вы там, жрете ее? Вчера завезли пятьсот штук!

— Не знаю. Пробки нет.

Антонюк новый человек, хитрить и требовать впрок еще не научился, значит, пробки в самом деле нет.

Зимогор понесся в термическое отделение — так и есть. Стоит в уголке полная корзиночка, штук пятьсот. Слава богу, хоть отожгли. Однако пробку на покраску вдруг не подашь, ее надо готовить: выровнять усы, выковырять пригар. Работа крайне невыгодная — копейки, и выполняют ее почасовики-легкотрудники, чаще всего беременные женщины, но все беременные в первой смене, кто будет этим заниматься сейчас? Мастер первой смены виновен. Видно, заглянул в карту, увидел, что в предыдущие сутки сдали пятьсот штук, и затаился. Таких работ в цехе много, беременные нарасхват. А тут позволила Клава, сказала, что все — и Володька, и Степка, и Павел — собрались у нее, сидят за столом, ждут.

— Я скоро, — ответил Зимогор. — Самое позднее через час...

Но пока ругался с мастером, искал вместе с ним какую-либо женщину ковырять пробки, пока подали пробку на покраску — прошло два. А когда совсем уж собрался ехать, сел в машину — вылетел из ворот Кондратюк, мастер стержневого участка, и кинулся под колеса.

— Никитович! — заорал. — Лента порвалась!..

Оказалось, что лента подвесного конвейера стоит уже тридцать минут, воюют с ней двое ремонтников, а натянуть не могут.

— Что ж ты раньше молчал?

— А чем ты можешь? — оскалился.

Вопросы и у одного и у другого резонные. По положению обо всех чрезвычайных происшествиях мастера обязаны немедленно сообщать начальнику смены, но сообщали редко, старались обходиться своими силами. Да и как отделить чрезвычайное от нечрезвычайного? Соединить лопнувшее звено — десять минут работы, что тут чрезвычайного? Кто ж знал, что за первым звеном лопнет второе, за вторым третье — попался, видно, изношенный участок...

У ремонтников уже текло за ушами.

— Людей надо, — сказали Зимогору. — Веревкой натягивать будем.

Хорошо тянуть ленту в выходной день, когда она без груза, а в будний — на каждом крюке по стержню...

Зимогор снял хлопцев с других участков, зацепили веревку за ленту, взялись тянуть. Тянут-потянут — рядом звено порвется. Весь участок собрался — кто поглазеть, кто помочь. «Взяли! — кричали всем цехом — Еще раз... взяли!..»

Рабочим что, для них все это бесплатный концерт, цирк, вот для Зимогора и ремонтников... Наматерились всласть. Впрочем, ремонтники тоже развеселились. Порвется звено — с торжеством глядят на Зимогора. Каково, дескать? Можно работать с такой техникой, с таким старьем?

Наконец, когда Зимогор совсем уж собрался гнать машину за Петуховым, главным механиком, удалось застопорить ленту.

Однако долго еще стояли, задрав головы: порвется или нет? Не порвалась...

Час ушел на ремонт. Это уже плохо. Ну а больше происшествий не было.

Вот разве в начале следующей смены шофер отказался везти мусор на свалку: не имел пропуска с выездом за пределы завода. Пришлось опять выяснять отношения с гаражом, менять машину...

Только в первом часу ночи — сыновья звонили еще несколько раз — Зимогор вздохнул с облегчением и махнул с завода...

Клава жила в однокомнатной квартире на заводском поселке. Зимогор, соскочив с машины, задрал голову и сразу забыл обо всех хлопотах и заботах, что терзали его на заводе: горит окошко.

Ждут!

Они вышли встречать его гурьбой, а поскольку были навеселе, обнимали на пороге, хлопали по спине, хоть обычно к таким нежностям не обращались. Разомлели от вина, встречи, от братской своей компании. «Ну батя,— приговаривали.— Ну передовик, ну работничек... На медаль тянешь, не меньше».

А еще навстречу из-за стола поднялся незнакомый мужчина, немолодой, матерый, с крепкой ладонью, и по тому, как насторожилась дочь, Зимогор понял — он. Что ж, человек — на первый, по крайней мере, взгляд — серьезный, жизнь повидавший, пожалуй, только суровый с лица больше меры, но и то сказать — не на веселье держится мир. Тот, последний, из многотиражки, такой был говорун, весельчак... С первого дня на «ты», «батя» стал называть, Клаву при нем обнимал, Кольку на диване валял, а прощались — вышел следом и попросил два рубля...

Дочка постаралась: стол ломился от еды. Клава молодец, хозяйка, всегда у нее полная чаша, за десять минут соберет на стол — хоть свадьбу играй. Мебля, правда, у дочки неважнецкая, все из комиссионки, что внизу, под домом, бережет девка копейку — и то сказать: кто ей поможет, если что?

Сел так, чтоб видеть всех сразу, — эх, хорошо!

— Ну что, отец? — сказал Павел. — Штрафную?

Степка наполнил рюмку, но Зимогор пить не стал, лишь только пригубил за компанию. На работу через час-полтора, да и возраст не тот, какие штрафные... Боковым зрением следил, как Володька станет пить — много говорит о человеке эта манера... Но и Володька только пригубил. Сидел он в середине стола добрый, успокоенный, ласково переводил взгляд с сестры на братьев, с братьев на отца. Слава богу!

В те несколько лет, что Володька прожил у него, хлопцы хорошо дружили между собой. Еще бы — старший брат, странный, таинственный, молчаливо сносящий ежевечерние порки, невесть откуда привезенный и дважды невесть куда убежавший. Павлик особенно привязался к нему, в пору было отваживать брата от брата. И внешне и по натуре походил на него — тоже молчаливый, упрямый. Будто от одной матери. Били его ребята с Промышленной улицы, да и свои, стахановские, били, а появился Володька — задумались, зауважали...

Похоже, и он когда-то собирался в прочки, да моложе Володьки, смелости не хватило.

Учился, как и Володька, плохо. Но вот загадка: Степка был способнее, да лень-матушка, как говорится, вперед него родилась, до ин-

ститута или техникума не дотянул, в училище не захотел, работает дежурным слесарем — сто двадцать рублей на руки; Павлика с криком-боем выправляли в школу — портрет на Доске почета висит, в партию приглашают вступить.

Степка тоже собирается в партию, любит выступать на собраниях, в начальство, на общественную работу метит. Дело хорошее... Ну а если черкнет Тонька в партком насчет морального облика? Что тогда? «Вы сперва с жонками разберитесь», — сказал Зимогор. Это вам сейчас маслом мажут, а вступите — дегтем.

Ребята время от времени поднимали рюмки — молодцы, пить умеют, не торопятся, не погоняют. Зимогор за компанию прихлебывал и мало-помалу потерял ощущение времени. Только где-то далеко в груди постанывало, напоминающая о заводе и смене. Ничего. Смена у грузчиков хорошая — Гриша, Митя, Степанович, Зина, — сработают, обойдутся.

Хорошо сидят ребята, хорошо глядят. Но чувствовал Зимогор не покой, а ту застарелую и непреходящую вину перед ними: так много напутал, так мало сделал для них. И как было бы хорошо, если б ничего этого не было, если б сидела сейчас за хозяйку не дочка Клава, а Аня или Фаня, Катерина, Маша, и стерегли бы невестки мужей за столом, и внуки возились в углу.

Интересно, как они — Павел, Степка, Володька — оценивают его бестолковую жизнь?.. Почему получилось так? В чем личная его вина? Есть же она, есть... Нельзя было уходить от Фани? Ясно, нельзя. Но как было глядеть на нее сзади, сбоку — и никогда в глаза? Как ложиться рядом, если прижималась к стене, как слушать эти бесконечные песни без слов? Она, Фаня, тоже виновна. «Зачем пошла за меня?» «Не знаю...»

Теперь-то ясно, ничего нельзя изменить. Но что бы это сделать наконец такое, чтоб вспоминали добрым словом, нет, не люди уже — они, сыновья, Клава? Денег бы дать — денег нет, наследство оставить — добра нет...

Хотя вроде им ничего от него и не надо. То-то и оно, что — ничего. Пожалуй, в чем-то и проще было тогда, когда они, Степка и Павлик, родились один за другим.

Степка с рождения начал сильно болеть, помочь Фане было некому, побегал тогда Зимогор на два дома. Счастье, что Катерина раньше его все понимала. Был период — и дневал и ночевал у Фани, ни слова Катя не сказала в укор. Рассказать кому — не поверят, что жил такой человек на земле.

Когда Зимогор окончательно разругался со Стешей, что-то еще могло образоваться в жизни. Но как было позвать Фаню на троих с Володькой детей? Не решился. А там Фаня нашла себе какого-то примака...

Как, однако, выкручивает людям руки жизнь. Совсем она другая, чем думалось, если поглядеть оттуда, из молодости...

Ну а если с другого, с этого уже конца? Что-то все ж получилось? Не даром же ел хлеб и пил воду? Не проклиняют же его люди? Теперь уж одна задача: дотянуть пристойно. Чтоб когда ляжется навзничь, они сказали: напугал Зимогор, накрутил, но ничего, выкарабкался. Можно и так жить.

Эх, поглядеть бы, как Танюшка, Петушок, Колька устроятся. Вот для кого должно хватить и тепла и добра.

А незнакомый этот мужчина — как его? Андрей? Сергей? — какую он прожил жизнь? Что привело сюда, какая судьба?.. Пьет умеренно, сидит крепко, понравиться никому не спешит. Может, цену себе знает, а может, в грош не ставит других. Будущее покажет. Дочку жалко, однако. Сорок лет девке — все сама по себе, одна.

Сколько у нее мачех было — стыдно людям признаться, но со всеми ладила, все они: Клавушка-доченька, Клазушка-детка... Стешка даже удочерить хотела — это Стешка-то, у которой зубы на языке, а жало как у подкожной змеи.

Правда, нынешнюю, Лену, Клава не жалует — считай, ровесницы они. «Как там твоя дармоедка?» — интересуется иногда. «А!..» — хохочет Зимогор. А что остается кроме как хохотать? Сядет Ленка за стол — кастрюлю картошки в сало со шкварками вымакает. Встанет из-за стола — опять жует, даже пилит его с куском во рту. «Болезнь у меня такая», — жалуется людям. Из-за этой «болезни» и работать бросила, как за Зимогора вышла, сиднем сидит, лечится хлебом с салом.

Ласковая у него дочка, хорошая. Только молчаливая от жизни по чужим домам.

Он нашел ее через несколько дней после освобождения города, у чужих людей, когда уже и не надеялся найти. Заикаться начала после той бомбежки и смерти матери, до сих пор заикается, если обидеть ее, а первые месяцы — понять нельзя, что говорит, плачет. И она, видно, не надеялась — так прилепилась к нему, что утром просталась, будто еще на одну войну. Он и начальником смены пошел из-за нее, предлагали посты повыше, но — сутки так-сяк, а потом двое с ней.

Помаленьку успокоилась, речь выровнялась, а когда родила Кольку — и вовсе прошло. Только и осталось что боязнь говорить при чужих людях или, например, потребовать что-либо себе. Даже эту однокомнатную квартиру он, Зимогор, выкричал для нее в завкоме как матери-одиночке.

Ничего. Вон какая женщина. Где стоит, там и свет. Не может не повезти ей в конце концов. Непременно повезет.

Она посмотрела на него и улыбнулась, будто спросила: «Загрустил, отец? Не надо...»

Какая грусть? Чего это ему грустить?

Степка и Павлик разгулялись, о чем-то шептались меж собой, скорее всего — кому бежать к таксистам за водкой, а лицо Володьки было беспомощным и нежным. Что-то похожее он видел на лице Маши, когда оставались одни.

О многом хотелось спросить Зимогору, но чувствовал — не время, нельзя. Пятнадцать лет — огромный срок в жизни молодого человека, что кроме разочарований, принесли ему они? Какой была главная надежда и куда его завела?

У него самого никогда не было никаких особых надежд. Но он человек другого века, пришлось жить как получалось, необходимость тащила его по прожитым годам, сегодняшний, а не завтрашний день был главным. Завтрашний — это для новых поколений, иных людей. С какого-то неопределенного времени, скорее всего с военных лет, прошлое, а не будущее потащило его по жизни, сторожило неусыпно все эти годы, жило не позади, а рядом, а то и впереди его. А может, это и вообще свойство прошлого — какой бы путаной и долгой ни оказалась жизнь.

— Что ж не написал ни разу? — вырвалось у Зимогора. — Я уж думал — живой ты или неживой?

— Живой, батя. Я твоей породы, быстро не сдаюсь.

Однако немало надо было перенести с того дня, когда, не прощаясь, закрыл за собой дверь, до этих спокойных слов.

— Расскажи, как жил!

Братья, Клава прислушались: видно, и они задавали этот вопрос.

— Всяко, батя. Что было, то прошло.

Нет, не хотел говорить или вспоминать.

— Куда ж едешь?

Рассмеялся.

— Секрет!.. Какая разница, отец? Повидались, и ладно. Я теперь каждый год приезжать буду. Следующий раз все расскажу. — И вдруг изменилось лицо Володьки — то ли хмель отступил, то ли прошлое хлынуло. — Я тебя, отец, вспоминал... И вас, братцы. И тебя, Клава...

А Зимогор, глядя на него, вдруг подумал, что нет у парня семьи, своего дома, не часто выпадают ему такие встречи, что намучался он за свои тридцать с небольшим не меньше, чем Зимогор за свои шестьдесят. Что едет он, не ведая куда, в белый свет, и не только лишь повидаться приехал, а с тайной надеждой, в которой самому себе от того неизживаемого упрямства и гордости не хотел признаться, потому и билет купил, а может, нет у него никакого билета...

Черт ее возьми, эту неудавшуюся жизнь.

И Зимогор решил попытаться задержать его на день-два, на неделю, а там — там видно будет. Может, и совсем останется у него. Ну а если Ленка, теперешняя жена, скуголить начнет — Ленку из дома вон. Хватит, сколько можно терпеть.

— Куда тебе ехать? — сказал ослабевшим голосом. — Оставайся с нами...

Степан и Павел как по команде обернулись к Володьке.

— В самом деле! — удивились неожиданно простому решению всех проблем. — Оставайся, Володька!.. Куда? Зачем?..

И так заулыбался в ответ старший сын, что стало ясно: ждал этих слов. Боялся, что не произнесут их. Ради этой минуты приехал сюда. Слушал нетрезвые голоса, поворачивался от одного к другому, как озябший у неожиданного костерка.

— Что молчишь?.. На работу вместе будем ходить!

Долго ждал этих слов — долго и не отвечал. Но отступила слабость, отогрелся, вытеснил безвольную улыбку с лица.

— Нет, братцы.. Нет. В восемь ноль-ноль.. А может, ты со мной? — обернулся к отцу. — Сколько можно работать? Что ты видел, кроме своего цеха? Пора отдохнуть, поездить, мир поглядеть!

И Зимогор рассмеялся: вот был бы номер. Раз — и нет его здесь. Что ему, трудовая книжка нужна?

Ох и покричала бы вслед Ленка, поняла бы наконец, каково было за его спиной. Вспомнила бы свои слова: «Дурацкая твоя жизнь!» Не дурацкая. Замечательная была жизнь.

И они, на заводе, — Шерементов, Сухоручко, может быть, даже Чигирин...

И вдруг Зимогор вспомнил, как искал его Сухоручко, как пошел, найдя, в другую сторону, и понял, что он хотел сказать. То, что однажды уже сказал: «Шел бы ты на заслуженный отдых, Никитович. Интерес тебе носиться по заводу.. Сколько можно работать? Что ты видел, кроме своего цеха? Пора отдохнуть, поездить, мир поглядеть». Человек на твое место есть.

Или нет — сперва человека этого вспомнил, Сухоручко потом. «Мне, Никитович, на твое место предлагали. А я говорю: «Зимогор, может, опять жениться собирается, а вы его на пенсию отправляете. Кто молодую жонку будет кормить?»...»

Воробей — вот этот человек!

Взглянул на часы и похолодел: шел четвертый час ночи.

Кинулся к телефону, и громкий голос сразу ответил: «Алло?»

Бросил трубку — и к двери.

То был голос Сухоручко.

Машина стояла у подъезда, шофер спал.

— Поехали, — глухо сказал Зимогор.

Поразила тишина и темнота цеха.

Он вышел из машины и увидел группку людей у ворот. То были Шерементов, Сухоручко, Петухов, главный энергетик завода Савельев... Всех не разглядел. Здесь же был и Чигирин.

— А вот и начальник смены,— услышал насмешливый голос. — Вы где были, Петр Никитович?

— Где был, там уж нет,— ответил и шагнул в темноту цеха.

В цеху, переключаясь, освещивая переносками, работали электрики. Их было много, частью незнакомые, видно, со всего завода.

Обрубщики, наждачники, очистники ходили по цеху, посмеиваясь, громко переговариваясь, где-то визжали девицы — тискали их, пользуясь темнотой.

Два часа назад произошла авария: из-за короткого замыкания в сушильной камере вспыхнул бенгальским огнем шинный электропровод. Пожар погасили быстро, но корпус остался без энергии.

Уже останавливались станки и конвейеры в механических цехах.

Под угрозой находилась и сборка, главный конвейер.

Была суббота и последний день месяца. План по всему заводу гремел.

Энергию под визг, крики «ура», рев пневмозубил дали в пять утра. Засидевшиеся рабочие кинулись к молоткам, наждакам, барабанам, грузчики прямо с конвейера хватали литье, но спасти смену было уже нельзя.

Начальство потопталось еще полчаса и начало расходиться.

Когда проходили мимо одиноко стоявшего Зимогора, Чигирин приостановился.

— Что стоишь, Никитович? — сказал незнакомым, несколько не похожим на директорский голосом. — Готовь объяснительную. В понедельник поговорим. — И пошагал походкой, опять же несколько не напоминающей походку директора.

Видно, на этот раз и голос и походка были свои.

— Ох и подсыплет он тебе, Никитович, в понедельник... — сказал Сухоручко и торопливо пошагал следом.

Не Чигирин боялся Зимогор, не выговора или увольнения.

Позора — вот чего не мог перенести.

Но пока не чувствовал и позора.

Впервые за тридцать лет работы в цеху безучастно глядел, как въезжают и выезжают машины, как грузчики вывозят литье.

Равнодушие поразило его.

Не имела больше значения ни прошедшая, ни предстоящая жизнь.

Люди не досаждали ему вопросами.

К семи лента покрасочной камеры остановилась, цех замер. Зимогор подписал шоферам путевки и остался один.

Тишина в цеху казалась противоестественной — только шипел воздух в пневмотрубах и доносились голоса ремонтников, заступавших на смену.

Не помывшись под душем, медленно пошел к проходной.

Увидел электрическое табло времени над проходной и подумал, что можно еще успеть на вокзал проститься с сыном.

Очень хотелось его увидеть.

А еще хотелось добраться до рощицы за заводом, что осталась на месте бывшего леса, в котором он с сыновьями в невероятном уже прошлом собирал грибы, где они торжествующе кричали и танцевали над каждым боровиком, а потом поровну — на три дома — делили добычу, хотелось дойти до старых сосен с отмирающими верхушками, где они вчетвером, впятером завтракали хлебом с салом, где он прожил свои, может быть, самые счастливые часы, и снова увидеть и услышать их всех — одному десять, второму пятнадцать, третьему и четвертому семь, а ему самому — сорок или тридцать пять лет.

И увидел.

За проходной, на безлюдной в этот час площади, у края огромной заводской клумбы, где обыкновенно парни дожидались после смены девчат, жены мужей, виднелись три силуэта. И Зимогор, хоть давно уже был подслеповат, сразу узнал их. Это были они, его сыновья Павел, Степан и она, Клава, его дочь.

Грохот завода остался позади. Надвигался гул города.

Конец недели

Ночная смена оставила неисправным тельфер, которым вешали на конвейер покраски крупное литье, и пока Антон Воробей бегал за электриками, а потом стоял у них над душой, оперативка началась. Открыл дверь кабинета начальника цеха с надеждой пристроиться у входа незамеченным, но, как на грех, в кабинете растеклось тяжелое молчание, места у двери не оказалось и пришлось топтать по ковру прямо к столу.

Все присутствующие — человек двадцать мастеров, начальников служб и участков — с любопытством ждали, чем поприветствует его Шерементов за опоздание. Но Шерементов, начальник цеха, не повернул от окна головы. Что он там выглядывал каждый день — загадка. Ничего из окна, кроме цеховой столовой, не видно. Разве что неясные очертания белых халатов поварих и посудниц?

Тишина была знакомая и означала, что все выговорились, а сейчас заговорит он, Шерементов. К воплям и тычкам Сухоручко, заместителя по производству, давно привыкли, научились пропускать мимо ушей, огрызались или безадресно посмеивались, но когда поднимался вежливый и жестокий Шерементов с подергивающимися губами, мухи переставали жужжать.

За прошедшие сутки цех недобрал двадцать тонн годного литья, и не было среди покорно ожидающих обвинительного заключения человека, который сказал бы: «Не виновен». Воробей тоже чувствовал себя неуютно.

Вчера утром вышел из строя электромотор принудительной вентиляции, всю смену над участком висела земляная и наждачная пыль, и многие рабочие недобрали до нормы. Вроде не его вина, электромоторы — дело энергетика, но, как известно, важна не причина, а результат.

Однако начальник цеха не шевелился, будто вовсе не собирался говорить.

— Ну что ж... — вдруг усмехнулся Сухоручко. — Дадим слово опоздавшему или как?

— Дадим, дадим!.. — зашевелились мастера. — Пусть скажет.

Неясное, однако, произошло шевеление — будто перед застольным тостом. «Вот мормоны, — подумал Воробей. — Обрадовались. Откупиться хотят. Ладно, сейчас я кое-кому...»

Он поднялся, откашлялся и почувствовал, как мышцы лица против воли принимают виноватое выражение. Знать бы, кто и о чем говорил до него, кого обвиняли и кто оправдывался, но ведь не спросишь...

— Вентиляцию надо ремонтировать!

Хотел для убедительности сообщить, сколько наждачницы наточили заготовок до того, как сломался электромотор, и сколько после, но все дружно засмеялись. Особенно радостно Монышев, мастер участка очистки.

— Чего ржешь? — сказал ему Воробей. — Твоих мужиков хоть из ворот обдувает, а мои бабы...

Засмеялись еще веселей. Обычно Шерементов и Сухоручко пресекали смешки, но тут и они улыбались, с удовольствием глядели на

него. Только старший мастер Тимофей Иванович Гурзо беспокойно покусывал свою трубочку — не любил, когда кто-либо из подчиненных попадал впросак.

Да еще Зимогор не смеялся. Этот одним и тем же мучился на оперативках: «Вы тут ржете, языками молотите, а там может...» Мало ли что может случиться за тридцать минут!

Воробей тупо уставился на мастеров.

— Мы, Антон, о дополнительной смене говорим,— сказал Гурзо. — На завтрашний день.

— А-а,— уразумел Воробей и сел. — Ясно. Приду.

— Он придет,— сообщил всем Сухоручко, будто перевел с немецкого. — Спасибо!

Опять рассмеялись. И ведь смешного не было ничего. И так всегда: самая заваливающая шутка, которую не заметил бы в другом месте, на оперативках вызывала дурацкий хохот.

Собственно, зловредным смех не был. Радовались не тому, что кто-то оказался глупей, а что произошла разрядка. Слишком много дополнительных смен было в последние месяцы, мастера начали роптать, сегодня, видно, тоже напряженным получился разговор, и вот — Сухоручко разрядил атмосферу за счет опоздавшего. Настроение на производстве — личное дело каждого, но поскольку речь о дополнительной смене, полезно, чтобы оно было хорошим.

И опять Монышев возрадовался больше других и глядел при этом в лицо ясным взглядом. Так всегда: чем крепче разносили на оперативках его, Воробья, тем сильнее радовался он, Монышев. То же, понятно, не в зловредности дело, а в надежде, что чем больше достанется одному, тем меньше останется другому: ругательский энтузиазм не бесконечен даже у Сухоручко... Кроме того, у них были особые счета — именно с участка Монышева поступает литье к Воробью, и на оперативках Воробей не забывал сказать какое: хоть снова в барабаны чистить загружай.

Промах Воробья был в том, что ответил за себя, а не за участок. Должен был сообщить, сколько примерно выйдет на работу людей, какой наберут тоннаж.

Смех уравнивает начальника с подчиненным, и Сухоручко нахмурился: от смеха до ропота один шаг. Демократия демократией, а план выполнять надо.

— Списки подать к двум часам,— сказал он и закончил оперативку.

Мастера затолпились у выхода, подталкивая друг друга коленками, напирая на передних, как дети, весело поглядывая на Воробья: «Так что твои бабы? Запылились?.. Ты бы помыл которую. И тебе хорошо и производству». Защититься можно было лишь тем же приемом: «Я бы помыл, только из-за этого плана... Свою жонку и то помыть некогда».

Жена Воробья была завидная женщина, все знали ее, и юмор у мастеров погас.

После цеховой оперативки старший мастер Тимофей Иванович Гурзо собрал своих мастеров на трехминутку.

— Начинайте с утра,— сказал он. — Люди все вышли?

— У меня Соломенко отпросился,— сказал Воробей. — Сын из армии приезжает.

Соломенко — подсобник, невелика беда.

— Ты обрубщиков смотри,— сказал Тимофей Иванович.

Понятно. Обрубщики — главная сила на участке. И самая большая задача.

— Дополнительная по всему заводу, так что и грузчиков не прозевай... Монышев,— чуть заметно повысил голос,— чтоб барабаны работали как часы.

В прошлый раз Монышев подвел: из десяти очистников пришли двое.

Не дай бог на дополнительной смене оставить людей без работы. Мужики — ладно, а бабы устроят концерт.

— И ты, Колосов...

Колосов — мастер термического участка, ему проще всего. Работа не пыльная, придут. Однако вид у Колосова самый недовольный.

— Не могли хотя бы вчера сказать.

Обо всем этом говорилось уже на оперативке, но Колосов в вечерний техникум поступил на старости лет — не может не поворчать. Когда уйдет на пенсию Тимофей Иванович, скорее всего он займет его место.

Держится, как полковник в отставке.

— С завкомом договорились? А то прошлый раз...

Прошлый раз договоренности с завкомом не было, нагрянула комиссия и отменила смену. Попало начальству с двух сторон, особенно от рабочих.

— Договорились. По пятерке на человека после работы. Отгулов не обещаю. Все... — Тимофей Иванович жадно пососал потухшую трубку, поискал спички в одном кармане, в другом, третьем и вдруг забил руками, как старыми крыльями: нет спичек. Минуты не мог без трубки, даже на оперативках Шерементов разрешил ему курить.

Воробей протянул ему спички. Глотнув дымка, Гурзо с облегчением спросил:

— Ты чего опоздал?

— Тельфер не работал.

Давняя приязнь объединяла их, хоть были разного возраста. Благодаря ему он, Воробей, и мастером стал. «Сколько у тебя классов?» — спросил Гурзо несколько лет назад. «Десять».

«Учиться надо, браток».

Работал Тимофей Иванович последний год: исполнилось шестьдесят. И без того перешагнул цеховой пенсионный возраст на десять лет.

— Давай, Антон, начинай.

Начинать, конечно, следовало с утра, но чрезмерно торопиться не следовало. С утра у многих людей неважное настроение — кто не выспался, кто в автобусе поругался, к кому родная жонка с вечера повернулась спиной. Не хочешь остаться при своих интересах — учитывай. Рабочий человек — свободный человек. Не понравится — сунет руки в карманы: «Иди-ка ты, Воробей, знаешь куда?..» И пойдемь. А что делать, если ума, как следует вести разговор, не хватило? Сам простоял за подвесным наждаком десять лет, знает не с чужих слов.

Не все, разумеется, так безвыходно. Есть у каждого мастера свои люди, есть должники. Одному брак не показал в ведомости, другому невольничью премию выписал, третьего с работы отпустил на денек в деревню, четвертый просто не против заработать лишнюю пятерку-две.

Но с обрубщиками — так. Обрубщики — ребята молодые, свободные, зарабатывают хорошо, и никакие долги их не тянут, с ними говорить что по проволоке ходить. Это твое, мастера, состояние никого не интересует, а настроение тех, кто ниже тебя и выше, — ого.

Хитрить и сваливать вину на начальство повыше и вообще пытаться облегчить себе жизнь — тоже безнадежное дело. Во-первых, дураков среди рабочих ничуть не больше, чем среди мастеров или инженеров, во-вторых, всякие хитрости оборачиваются против хитреца. Совершенно ясно, например, почему — не первый раз — провалил смену Монышев. «Так и так, хлопцы, — говорит с рабочими. — Опять начальство дополнительную смену устраивает, так их и раз-

этак, туда-сюда и обратно. Сами руки в брюки, а мы пашем. За что деньги получают? Институты покончили, а работать не научились. Моя бы воля, я... всех метлой. Выйдете?» «Выйдем...» Глядишь — ни кто не пришел. Поддавки — это не игра.

Он прошел по участку — работа шла нормально. Можно и начинать. С грузчиков. Разъедутся по цехам — лови их потом за хвост. Да и отношения хорошие установились с грузчиками. Пять раз менялись люди в цехе, но грузчики те же.

А подсознательно — с победы, а не с поражения хотелось начать нелегкий разговор.

— Ну, мужики, кто хочет заработать пятерочку? — спросил, входя в конторку начальника смены.

Как раз все были в сборе — Митя, Гриша, Степанович. И женщины здесь же. Достал замасленный блокнотик, в котором помечал выработку.

Когда-то завод показался ему адом, пеклом. Его прописали в общежитии, направили сюда, в обрубку, дали в руки пневматический молоток. Утром следующего дня он с кровавыми мозолями, испуганный и униженный пришел в конторку участка. «Дядька, — сказал, — не могу работать, руки болят...» Дядька — Тимофей Иванович Гурзо — взглянул на его ладони, поморщился: «Да, браток...» И повел сюда, к грузчикам. «Принимайте помощника...» Оглядели Антона — парень как парень. Увидели руки — «о матка боска, погляди на него!..». Это Зина была, Неглядова. Толстушка, кубышка, девушка немногим старше его. «Еще один явился городского счастья хлебать!..» Сама она уже пригубила. Сидела как ослепшая перед работой и в обеденный перерыв.

Медпункта в цеху не было. Зинаида разодрала какую-то хустилку, перевязала изуродованную ладонь. А Гриша Ходосов сбегал в раздевалку, принес пару новых рукавиц. «Мягкие», — застенчиво произнес он.

Вчера это было, вчера.

Отсюда Воробей ушел в армию, сюда и вернулся, правда уже не к грузчикам, а на подвесной наждак. Но долго еще опасно косился на пневматические молотки.

Вчера.

Вера, Егорка, двухкомнатная квартира хозспособом, школа мастеров — и вот сегодняшний день.

Вышел из конторки начальника смены с хорошим настроением: эти не подведут. Отказалась только Катерина: не с кем оставить сына, а в детском садике выходной.

Пора было двигать к обрубщикам.

Однако, подойдя к рольгангам, увидел, что ребята разделись до пояса и так колотят, что искры летят из-под зубил.

— Р-р-работай, Сонька! — азартно кричал Малюгин контролеру, незамужней молодящейся «сороковке», что стояла рядом и наслаждалась их молодостью и наготой.

Контролеру стоять над душой вовсе не обязательно, приемка происходит партиями, но нет, не отходит Соня. Перманент, газовая косынка, нос сливой. Баба противная, сварливая и скандальная, но и ей, невезучей, нужна любовь. Что ж, может, и имеет когда-либо успех. Ребята молодые, жадные, никто, кроме Малюгина, не женат.

— Эх, малокровные!..

Самое время поговорить с ними, да побоялся сбить темп. Пускай поработают еще полчаса. Пошел на выбивку.

Здесь работал тоже совсем молодой парнишка, Витя Круговой. Работа тяжелая — как из скорострельной пушки лупит станок-нокаут, но прокаленная земля высыпаться из отливок не хочет, надо добавлять кувалдой. Рабочий день на выбивке шесть часов, но все равно никто больше полугода не выдерживает. Так и существует выбивка:

то одного переведут на месяц, то другого, то найдется какой-либо новичок. Витя — парень славный, послушный, жаль, однако, не выполняет норму, физически слабоват. Приходилось, когда напирала лядта, посылать кого-либо на подмогу, а то и самому становиться рядом и добавлять кувалдой с другой стороны.

Кивнул Вите. Выключил станок. Показал, чтобы вытащил вату из ушей.

— Витек... — Обнял за плечи парня, повлек к воротам — на чистом воздухе доверительней разговор. — У тебя какие планы на субботу?

— Субботу?.. — Приостановился, растерянным стало лицо. Догадался, не первый раз. Такие уроки усваиваются быстро.

Славный парень. Планы на субботу у него, конечно, были и есть. Ну если не планы — надежды. Отоспаться, на озеро съездить с приятелями, на девчат поглазеть. Но как скажешь о таких планах? А соврать не умеет. Расстроился, смотрит в землю.

— Надо бы поработать, Витек, часиков пять. А может, меньше, там видно будет. Дополнительная смена по всему заводу... А? Я тебе на той неделе отгул дам.

Дополнительные смены случались и в те времена, когда он сам начинал работать. Прекрасно помнил, как ждал того воскресенья и как не хотелось идти на завод. Это теперь два выходных в неделю, а тогда — одно, неизменное воскресенье, золотой денек. Чем-то похож был Витя на него в молодости. Так же ковырял землю ногой, когда Тимофей Иванович подходил: «Надо поработать завтра, Антон».

— Эй! — подтолкнул плечом загрустившего парня. — Ты что? И Витя вдруг улыбнулся, хорошо посмотрел на него:

— Ладно, приду.

«Золотой парень. Вот он уже и доволен, что может сделать приятное. Когда-нибудь в ночной на две смены отпущу его...»

Возвращаясь с выбивки, опять остановился у рольганга обрубщиков. Теперь работали двое — Малюгин и Кропотов, а остальные стояли рядом и орал, как на футболе. Понятно: соревнование. Малюгин работает давно, ему уже за тридцать, лучший обрубщик в цеху, а Кропотов в прошлом году из армии, но работа у него пошла сразу — ловок, крепок, режет чугун зубилом, как дерево долотом. Ничего не скажешь, тоже завидный обрубщик, только слишком уж независим, насмешлив, на всех ему наплевать. Посмеивается над инженерами — «мафиози» называет их, над мастерами — «эй, участковый!», над девчатами, что бегают мимо них в туалет. («Рыжая! Замуж хочешь?»), над Малюгиным — за плохие сигареты, дешевое вино, за жадность к деньгам и большую семью (трое детей), едва не каждое утро спрашивает: «Ну как? Четвертого смастерил?» Малюгин огрызается, ответить как следует не умеет, другой природы человек. Каждый день Кропотов втравливает его в какое-либо соревнование — не с молотком, так на руку (кто кого к столу прижмет) или на палец (кто кого перетянет), — и всегда Малюгин проигрывает и обижается. Однажды, чтобы отомстить за Малюгина, Воробей сам ввязался в перетягивание и тоже проиграл, как пацан. Куда уж им обоим против Кропотова.

Вот и сейчас Малюгин вдруг швырнул молоток на рольганг и пошел к автомату с газированной водой. Кропотов рассмеялся.

— Пить надо меньше! — крикнул вслед.

Контролер Соня тоже рассмеялась, обласкала взглядом крутые плечи. Что ей Малюгин? Кропотов — это да.

Воробей Кропотова недолго любил. Но на субботу заполучить его надо... Однако прозевал момент, Малюгин теперь не в духе, может отказаться. А без Малюгина с ними говорить нельзя: как-никак бригадир. Придется повременить.

И Воробей направился к наждачницам.

Наждачницы особенного тоннажа не дают — мелочевка. Но поскольку смена организуется по всему заводу, значит, надо и их. Из-за какой-нибудь стойки валика или отводки может застопориться сборка. Это не игрушки. Сам будешь точить, в зубах носить. Да и лишние три-четыре тонны к плану — дело.

Наждачниц пятеро. Женщины семейные, старательные, деньги нужны всем — ни на минуту не угасают пучки искр из-под наждаков. Но что касается субботы — тут все сложнее. Мужчина может хоть двое суток рыбу ловить, семейное благополучие не дрогнет. Женщина... По себе знает. Вроде и помогает своей жене, не сидит сиднем за столом во дворе, где мужики хлещут ладонями, а поехала она в деревню — за две недели такой порядок навел, что самому тошно. В воскресенье приедет. Надо хоть полы подмести, тряпкой по углам протянуть...

Станки стоят в один ряд, но говорить следует с каждой в отдельности. С женщинами компанией такой вопрос не решается.

Первой от прохода работала Тамара Огородова, по прозвищу Томтя, к ней и шагнул прежде других. Незамужняя, но несемейной не назовешь: четыре сестры в доме, она пятая, старшая из всех. Две, правда, уже работают, но какие-то проблемы — слышал стороной — у них есть: то ли воюют друг с другом, то ли кто-то вышел замуж, развелся, то ли что-то еще. Два человека в доме — уже проблема, а пять... Ого.

Бригада наждачниц довольно дружная, только Климиха иной раз затевает скандалы, если, к примеру, кому-то попадала лишняя бадья шестьдесят пятой крышки — выгодной заготовки, а ей лишняя бадья сорок второго стакана — невыгодного. Томтя очень просто погасила свару — переставляла тельфером бадью: «Ешь!» Ну а другие... «Что вы, бабы? — приходилось вмешиваться мастеру. — Клим из дому ее прогонит, если на бормотуху не заработает». Клим — известный пропойца в цехе. Впрочем, и Климиха не прочь тяпнуть стакан. «С пьяницей живешь — разве не разопьешься?» — оправдывалась она.

Однако вот случай, когда и такая слабость или болезнь на руку производству, пятерка плюс выработка для Климихи — ого. Тут ясно все.

А с Томтей не ясно. Ей деньги нужны, судя по всему, не меньше, чем Климихе или другим, но сверхурочно работать чаще всего отказывается. Какие-то дела.

— Что, Томтя, не выйдешь завтра в первую смену работать?

Улыбнулась, покачала головой:

— Нет, Михайлович.

Красивая, дьявол ее возьми. Может, на чей вкус и толстовата, а на его — в самый раз. «Могла бы и Антоном меня звать, а не Михайловичем, — сказал однажды. — Не такой я старый». Рассмеялась. «Знаю я вас, мужчин, — ответила. — Сперва за пуговку, потом за резинку».

Видная женщина Вера, его жена, не променял бы ее даже на двух сразу, но жаль все-таки, что у человека одна жизнь... Недаром этот технолог Белкин, алиментщик несчастный, крутится у наждаков, чтобы ему на ровном месте споткнуться. Да и не он один...

— Понимаешь, Томтя, смена по всему заводу организуется... Не знаю, как на сборке, а у нас отставание двадцать тонн. А завтра последний день месяца.

Опять улыбнулась — сочувственно, будто Воробей на любовь намекал.

— Или у тебя свидание завтра утром?

— Свидание сегодня вечером, — ответила. — Утром прощание.

И не понять, в шутку говорит или всерьез.

А может, и выбегал что-либо Белкин? Или этот Солодилов Юрий

Юревич из техбюро, забодай его козел? Уж этому совсем делать нечего на участке — нет, приходит...

— Ладно,— сдался Воробей: — Гуляй.

Шагнул к Климихе.

— Здоров, тетка,— сказал. — На бормотуху еще не наколотила?

— У тебя наколотишь! — сразу закричала Климиха. — Всю смену стакан идет! Заразы! Чтоб вам...

И пошла-поехала. Будто с нее лыко дерут черти. Воробей, посмеиваясь, поглядывал вокруг себя, дал ей выговориться. То была своего рода тактика — раздраконить Климиху и тем развеселить остальных.

— Выходи завтра в первую смену,— сказал, когда Климиха исчерпалась. — Отгул дам.

— Иди-ка ты, Воробей, со своим отгулом знаешь куда?

— Ну?

Сказала.

Девчата — кто рассмеялся, кто покачал головой.

— Пятерку после работы — приду.

Что и требовалось доказать. Есть голубушка!

— Будет тебе пятерка.

Шагнул к другим.

— Как она меня, а? Что наждаком. Представляю, как она с Клима заусенцы снимает.

Теперь можно было говорить со всеми тремя. Чувствовал, скандал с Климихой в его пользу.

Так и получилось. Из пяти наждачниц выйдут четверо. Это хорошо.

Мостовой кран медленно катил над цехом, и Воробей пошел следом, покуривая и гипнотизируя взглядом крановщицу Зося. Когда-то Зося работала у него подвѣсчицей, но уже лет пять как окончила курсы и взобралась на кран. Первая матерщинница была в цеху — куда Климихе! — только Сухоручко мог бы против нее выстоять, а теперь кричи не кричи, там, под крышей, никто не услышит. Можно, конечно, спуститься вниз на землю, но пока причалишь к площадке да слезешь... Лучше уж промолчать.

Нет, не отзывалась на гипноз. Ездил в зад-вперед, переставляя бадьи, раздраженно позванивала стропальщикам.

Удивительно все-таки: не успеют мастера вернуться с оперативки, рабочие уже знают, о чем шла речь и о чем будет здесь разговор. А сердится Зося потому, что понимает: без крана никак нельзя, придется выйти на смену, хочешь или не хочешь, есть личные планы на завтра или нет.

Наконец не выдержала, выставилась на Воробья: чего тебе? Воробей усмехнулся, положил голову на ладонь и показал один палец, то есть «завтра в первую смену». В ответ Зося сорвала рукавицу и сунула ему фигу, да не просто сунула, а перевесилась с крана до пояса, вот-вот грохнется оземь. Воробей засмеялся и пошел дальше. Не было случая, чтоб она отказалась.

Из-за шума в цеху, а еще потому, что работало много глухонемых, язык жестов был хорошо развит и всем понятен. Постучать кулаком о кулак — работать, ребром ладони по боку — бездельничать, по животу — обедать. Погоны на плечах — начальник, высокая грудь — женщина, две ладони — дитя. И тому подобное. «Хорошо работаешь. Денег будет полный карман» — тут все просто. Мысль равна словесному выражению, словесное — жесту. «Лентяй, попадет тебе от мастера» — сложнее. Чаще всего — погоны и движение, имитирующее насилие над женщиной. Добрая мысль — добрый жест, злая — вдвое грубей и злей.

В смене Воробья тоже работали двое глухонемых: один на пескоструйке — Степан Толкачев, второй на пресс-Брюнеле, установке для определения твердости металла, — Сережа Кильчак. Оба были молоды, трудолюбивы, окончили школу глухонемых и хорошо считывали слова с губ. Не только не отказались выйти в субботу — обрадовались. Хотя, пожалуй, радость относилась не столько к работе, сколько к минуте общения. Просьба мастера подтверждала их равноправие в цеху и полезность.

У Сережи Кильчака Воробей год назад был на свадьбе. Не хотелось поначалу идти... Все же, думалось, люди ненормальные, с порушенной психикой, дьявол их знает. На смене три-четыре человека, а как соберутся все вместе?..

Оказалось, свадьба как свадьба: и пили, и танцевали, и «горько» кричали, посуду на счастье били, как все и везде. Все учились, знали простые обычаи, большинство умело и говорить. Воробей, выпив рюмку, освоился и даже произнес тост — сказал, что Сережа хорошо работает и его уважают в цехе, — все понимали, улыбались, подходили с рюмкой чокаться за счастье молодых.

Недавно у Сережи родилась дочь. «Слышит» — первое, что сообщил Сергей всем.

Дальше откладывать было нельзя, и Воробей направился к рольгангам обрубщиков.

Они ковырялись в блоках неохотно, стук молотков был короток и вял.

Что ж, подходящий момент упустил — придется вести разговор в неподходящий.

Они заметили его издали и положили молотки.

— Как, хлопцы, идет работа?

Кто головой повел, кто пожал плечами: идет помалу.

Может, состояние их было следствием размолвки между Малюгиным и Кропотовым, а может, просто устали: у Сережи Кильчака Воробей узнал, что блок идет твердый, лунка от прессы четыре и пять десятых миллиметра, то есть на пределе допустимого, очень трудно такой рубить. Но об этом лучше помалкивать, пока сами не скажут. Да если и скажут, надо молчать. Помочь не может, разве что выругается по адресу шихтовиков.

— Когда это кончится, Антон? — спросил вдруг Малюгин. — Тебе самому не надоело?..

Значит, и эти знают. Плохо. Настроились друг от друга, каждый заготовил причину.

— График для кого составляется? Для начальства?

Кропотов и вовсе насмешливо глядел на Воробья: дескать, ко мне лучше не суйся. Два других начали пятиться, отступать подальше: мол, разговор идет с Малюгиным, их не касается.

Следовало срочно сменить тактику. Что ж, имелся у Воробья и на такой случай прием.

— График начальство составляет для начальства, — усмехнулся он. — А сознательный рабочий...

— Хватит, Антон, про сознание. Из-за того, что они не умеют работать...

И тогда Воробей нанес удар в спину:

— А ты что, умеешь?.. Видел я, как Кропотов дал тебе прикурить. И сейчас еще уши мокрые.

Малюгин даже заморгал белыми ресницами от такого предательства.

— Это ты мне, Антон?.. Ты что?..

Зато все остальные заулыбались, даже на лице Кропотова смягчилась, перестраиваясь, усмешка.

Эх, не Малюгина надо бы приносить в жертву, а его, этого красавчика, этого умника и чужака... Поздно, надо добивать.

— Это тебе не на перине воевать. Намнет жонку спросонья, а потом на начальство жалуется. Бедная баба!

— Это он бедный,— сказал Кропотов. — Ей на пользу идет.

Жена Малюгина была в два раза толще его самого.

Если одному Кропотову Малюгин не сумел ответить, то им двоим подавно. Плюнул безответно, схватил зубила, пошел к наждаку точить. Спиной стал, чтобы и не видеть пустых насмешников и горлохватов.

Теперь и вовсе поздно жалеть.

— Эйшь, как она его любит,— кивнул вслед. — Все ребра видны... Ты чего его загонял? — обратился он к Кропотову.

Кропотов хохотнул: дескать, надо, пусть знает.

Простая арифметика вела Воробья. Бригадир — Малюгин, но Кропотов — лидер. Согласится он — смена есть.

— Ну так что, хлопцы? — круто переменил тему. — Выйдем завтра?

Ребята из армии, должны ценить прямоту. И высокие слова обязаны понимать.

— Если честно, родина на вас смотрит. Ну если не родина, то завод — точно. А?..

Однако молчали. Кропотов непроницаемо глядел на него, двое других, Дашкевич и Монус, на Кропотова.

Нет, что-то не то сказал и не так.

— Цех двадцать тонн недобирает до плана,— добавил менее уверенно, но чувствуя — что-то надо добавить. Невыгодно сейчас молчать. — А?

— В прошлом месяце тоже говорили — двадцать,— усмехнулся Кропотов. — А потом оказалось — перевыполнили на пятьдесят.

— Нет, хлопцы, точно. До вчерашнего дня шли по графику, а вчера... С металлом задержка получилась.

Дашкевич и Монус пока молчали, но явно разделяли слова приятеля. Хорошая бригада, если все хорошо, а чуть похуже — и... Тот случай, когда Воробей предпочел бы послабей, но сговорчивей.

И тут лошадиная физиономия Монуса оскалилась:

— Понавешали на каждом углу: «НОТ!»... А мы до половины девятого без работы!

Да, порвалась лента в тоннеле, блоки пошли с опозданием на полчаса.

— Малюгин прав! Есть на заводе рабочий график или нет? Мы для кого работаем? Для государства или начальства?.. Хватит! Обойдутся без премии пару раз.

Обычно у Монуса слова не вытацишь, а тут на тебе, целый доклад. Значит, бригадное обсуждение уже состоялось.

Вся тактика полетела к чертям. Еще одного в жертву принести? Воробей умел окатить холодной водой горячих, но с кем работать?

— Ну, ты, Монус, если честно, для себя работаешь, а не для государства,— сказал мирно, требовалась минута для размышления. — Если бы все для государства работали, как ты, мы бы уже опять на быках пахали. Ты вроде Малюгина. Тот жонку обнимает и говорит: «Для государства стараюсь».

Дашкевич рассмеялся, и Воробей с надеждой поглядел на него.

— Верно, Леня?.. Старатель!

Но Леня Дашкевич уже смутился и виновато глядел на Кропотова.

— Нет, мастер,— Кропотов ответил за всех,— все решено. Сколько можно?.. Вот я на комсомольской конференции подсыплю кое-кому... Хватит.

Вот когда раскаялся Воробей, что предал Малюгина.

— До твоей конференции далеко, Семен, а план...

Нет, не то говорил, не то.

— Ничего, подождем. Государство переживет, даже и не заметит ваши двадцать тонн, а если начальство разгонят — тем лучше. Может, кого поумней пришлют.

— Почему на станкостроительном без авралов? — тихо спросил Леня Дашкевич. Славный парень, он бы, пожалуй, вышел, если б не Семен.

Да, такой атаки не ожидал Воробей. И что скажешь? Справедливые слова говорили ребята. Мастера в своем кругу не раз толковали о том же...

А в самом деле, почему на станкостроительном без авралов?

Этот станкостроительный мастерам как гвоздь в ботинке, нет-нет да и вопьется. Все у них лучше: и зарплата выше, и премии регулярно, и квартир больше... Перейти бы туда, да жаль, столько лет проработал. И не исключено, что у них, на станкостроительном, говорят обратное: вот там, на тракторном... Известное дело, в чужих руках слаще.

— Подожди, хлопцы... — заторопился Воробей, уже совсем не понимая, что же такое сказать, чтобы повернуть разговор.

— Все, мастер, все. Поговорили, хватит.

И они взялись за молотки.

Воробей постоял еще минуту и пошел по цеху.

Давно такого не было с ним. Но ведь должно было случиться, должно...

Что же делать? Двух человек на смену надо горько. Черт с ним, с цеховым планом, но если остановится главный конвейер...

Ох и попляшет на нем Сухоручко. Сухоручко — ладно, дело привычное, вот Шерементов... Начальник цеха ни разу еще не повысил голоса, но всегда казалось — вот-вот сорвется и... Унизительно будет и непоправимо. Впрочем, и это не страшно. Станет за наждак — будет жить спокойней. Рабочие позубоскалят день-другой — и забудется.

Перед Гурзо неловко.

Не хотел он, Шерементов, подписывать ему характеристику для школы мастеров. Тимофей Иванович уговорил. Знать бы вовремя, что не хотел! Ни за что не пошел бы в эту школу...

Он вышел за ворота, намереваясь пройтись вокруг цеха и поразмыслить, но увидел Монышева и Колосова — друзья, не разлить водой. Что-то они обсуждали, скорей всего куда поехать в воскресенье на рыбалку — оба рыбаки.

— Ну как?

Воробей неопределенно пожал плечами.

— А я уже договорился, — сказал Монышев. — Все выйдут.

Что очистникам и термистам! Их работа по сравнению с обрубкой курорт.

Колосов ничего не сказал, только посмотрел строго. Такой человек. Полковник.

Пошел назад в цех.

И тут, как на грех, попался на дороге Селих, подсобник. Ни в каком случае нельзя было к нему обращаться. Вообще тяжелый человек, а тут его напарник, Соломенко, не вышел, и сегодня Селих работал за двоих.

Даже рассмеялся от радости, когда Воробей обратился к нему. Вспомнил и телогрейку, которую он ему якобы не выписал зимой (не положена телогрейка подсобникам, хотя работать приходилось на сквозняках), и что ни одной премии в год не дал, и те три рубля, что списал с его зарплаты за брак — подсобники тоже давали брак, бой, но уследить и доказать это было трудно. И даже когда Воробей

плюнул и пошел от него, Селих следом пробежал еще несколько шагов, посылая в спину мат за матом.

— Крепко он тебя оттянул! — Это стропальщик Буртенков вышел навстречу.

Воробей махнул рукой:

— Ненормальный...

— А чего хотел?

— Работать некому завтра... Может, выйдешь?

И еще не ответил Буртенков, а Воробей понял: выйдет, для того и шел навстречу. Что-то ему надо, скорее всего отгул. Оставалось только ритуал соблюсти.

— Сам знаешь, в долгу не останусь.

— Та-ак... В субботу, говоришь?.. В четверг на той неделе отпустишь?

— Ясно, отпущу.

— Договорились, — обрадовался Буртенков. — Выхожу!

«Поспешил, — подосадовал на себя Воробей. — Не стоило обещать отгул. Буртенков мужик сговорчивый, вышел бы и без отгула. Ладно, там будет видно». Любые проблемы, что крылись в грядущих днях, казались просты.

Работал у него в смене маленький старичок Пахомыч. Когда-то, говорят, рубил, за наждаком стоял, позже отпросился в подсобники, теперь подметает и поливает из шланга проходы, площадки у рольгангов и станков. Этот только прослышит про дополнительную смену — напрашивается сам. Дома делать нечего, а лишняя пятерка не повредит.

Подошел и сейчас.

— Не нужен ли? — спросил робко.

— Ясно, нужен, — ответил Воробей. — Что за вопрос? Мы ж без тебя задохнемся, Пахомыч. Гляди не подведи.

Старик заулыбался, отошел довольный.

Славный дед. Хлопцы измываются над ним. На днях приходил жаловаться: кто-то в гардеробе завязал морским узлом его рубашку и штаны. Еще неделю назад насыпали ему в столовой в суп сахару, в компот соли, а когда рассерженный Пахомыч вскочил из-за стола, оказалось, что за ногу привязали стул. Вот такие шуточки у некоторых комсомольцев, будь его, Воробья, воля — лыко бы с них надрал.

Смена начинается в восемь, Пахомыч на работе в семь. Подметает, поливает — такое бы сознание молодым...

Время между тем шло.

Как быть с обрубщиками?.. Поговорить поодиночке? Нет, один на один можно говорить с Костей Малюгиным, а с остальными — напрасный труд. Да и Малюгин обижен, откажется...

До обеда оставалось несколько минут, неохотно вошел в конторку участка.

— Как дела? — Тимофей Иванович осторожно взглянул из-под очков.

— Плохо. С обрубщиками промахнулся. Говорят — хватит.

Тимофей Иванович покусал трубку, поразмышлял.

— И Малюгин?

Воробей промолчал, и морщины на лбу Гурзо немного разгладились. Понял, что не только в обрубщиках причина, но и в нем, Воробье. Не исключено, что этому горю можно помочь.

— Ладно... Сам поговорю.

Очки Тимофей Иванович, садясь за стол, надевал уже двадцать лет, но все не мог привыкнуть. Видно, казалось, что от неосторожного взгляда слетят — и вдребезги.

Было Гурзо лет сорок с небольшим, когда Воробей пришел на завод, но, похоже, все изменения в нем произошли прежде, до сорока — мало переменялся за эти годы. Все так же, сугулясь, ходил по

цеху, не обращая внимания на то, что происходит кругом, так же сосредоточен и замкнут — никакое красное слово или дурная выходка не тронет морщинистое лицо.

Когда-то Воробей недоумевал и обижался на него. Поздороваешься — не ответит, обратишься — воркнет что-то под нос и пойдет дальше. Что за человек?

Отслужив действительную, Антон вернулся в цех с надеждой на особую встречу. В самом деле, их воинская часть в полном составе махнула на одну из громких комсомольскихстроек — с подъемными, с музыкой, с песнями, едва ли не он один вернулся на свой завод. А Тимофей Иванович, осторожно надев очки, сказал: «А, Воробей... Попробуй-ка опять рубить». Преодолев разочарование и поразмыслив, Антон подивился уже тому, что Гурзо вспомнил фамилию. В самом деле, кто он ему?

За годы службы Антон развернулся в плечах и в силе не уступил бы сегодняшнему Кропотову. Однако опять не пошла у него обрубка. Через три месяца появились признаки профессиональной болезни — дрожали и стыли пальцы, — а на другую работу Гурзо не переводил. В те времена он был решителен. «К черту», — сказал себе.

Но хитер и многоопытен был Тимофей Иванович. Точно угадал минуту, когда Антон собрался увольняться, и перевел на подвесной наждак.

На наждаке тоже не сахар, но тут он познакомился с Верой, будущей своей женой... Был и еще период, когда затосковал Антон в городе, хоть все вроде устроилось в его жизни не хуже, чем у людей: и квартира имелась, и жена хорошая, и сын послушный. Лет пять назад это было и началось после одного из отпусков. Их разнесчастный колхоз вдруг начал набирать силу, строиться, люди оживились, а старый приятель, колхозный шофер, однажды сказал: «Был я в твоей обрубке... Тьфу!» Они сидели вчетвером на молодой травке на опушке леса, солнце садилось, птицы пели, женщины переговаривались на деревне, ручеек бормотал в двух шагах. Кусок сала лежал на газете, и в бутылке оставалось на доньшке. И, разлив остатки, ополоснув в ручейке стаканы, Воробей сказал: «Попадаю заявление. Через две недели буду здесь».

Однако через две недели не получилось, а там однажды Тимофей Иванович отозвал его в сторону и спросил: «У тебя сколько классов, Антон?» «Десять». «Надо учиться, браток».

И два года назад Воробей принял смену.

Теперь уже все кончено. Городской человек. Год назад вбил в ту родную землю последний крест. Дом заколотил: старый, покупателя не нашлось. Пускай стоит, может, когда с сыном съездит. Жена — мет, та в свою деревню, к своим старикам каждый праздник и выходной. Отец болен. Скоро, видно, придет и ее пора ставить кресты. Проклятушая все же эта жизнь.

Начался обеденный перерыв.

У входа в столовую на цеховой доске объявлений приколот листок: «Кто нашел часы «Победа», прошу передать в табельную». А ниже — другим почерком и карандашом — значилось: «Часы нашел, но не отдам». И подпись: «Воробей».

Несколько рабочих стояли у доски, посмеиваясь. Воробей тоже прочитал, пожал плечами. Как в бочку захохотал рядом подвесчик Грушак:

— Часы, мастер! Часы!

Понятно, его работа. Всегда носил в кармане мелок или карандаш. «Перегон» — написано на машине, Грушак добавляет: «Из ада в рай». «Убежище» — значит на подвале, Грушак домалевывает: «От начальства». «Добро пожаловать» — красуется на двери мужского туалета. На женском — «Переучет».

— Писатель...

— Часы, мастер! Часы!

Грушак высок ростом, толст и не вполне нормален. Однако как это он забыл о нем?

— Ты, писатель, чтоб завтра в первую смену вышел. Ясно?

Опять захохотал. Понял его слова как успех шутки. Хрен с ним и с его шуточками, главное — в работе безотказен, придет.

— Выйдешь — отдам часы.

Аж затрясся от удовольствия.

Лет пять назад, когда в цехе проводилась очередная кампания по страхованию жизни, застраховался и Грушак на тысячу рублей. А через несколько дней — ходить нормально не может, носится как угорелый: попал под машину на выходе из цеха, повредил голову. Три месяца провалялся в больнице. Пришел счастливый: «Ох повезло! Ни за что семьсот рублей страховки получил».

А и в самом деле повезло. Дурней, чем был, не стал, а по требованию цехкома перевели его с обрубки на легкую работу — съемщиком литья с сохранением прежнего заработка, — вот и начал толстеть, чувство юмора пробудилось.

Между прочим, мелькнуло в голове, если договориться с обрубщиками не удастся, выход есть: поставить с молотком Грушака и еще пару ребят. Нормы без привычки не сделают, но все ж... Основное — чтоб не остановилась сборка. Главный конвейер. Главный конвейер — пугало для мастеров: «Что вы себе думаете?! Хотите главный конвейер остановить?..» Каждый день слышат они эту фразу. Будто стоит ему остановиться — и все, рухнет миропорядок, наступит светопреставление.

Мастера на главном конвейере как сумасшедшие: «Что? Кто? Откуда?.. Давай-давай-давай!..» Да и рабочие. Понятно... На станке, если не успел, в обед время прихватишь или заработаешь меньше — дело личное, выбирай. Там не личное. Там — ого. Не конвейер, самое Время движется перед тобой неизменно, неустанно, днем и ночью с одной и той же скоростью — вперед, вперед! Попробуй не успеи. Ого!

Над головой огромное электрическое табло отсчитывает секунды. Телекамеры с двух сторон.

П л а н! П л а н!

Нет, не хотел бы работать на главном конвейере.

Странное дело: когда-то свой цех казался смрадным пеклом, теперь — лучшим из всех. Как только не называл его в молодости: «дымовуха», «душегубка», «яма», «котел». Теперь обидно, если те же слова повторяет кто-то из молодых.

В столовой Воробей расположился так, чтоб видеть обрубщиков.

Кропотов, Монус и Леня Дашкевич сели за один стол, Малюгин за другой. Малюгин в очереди не захотел стоять, купил бутылку кефира в буфете, пил из горлышка, рассеянно поглядывая по сторонам. Бригада его — наоборот, хлебали сосредоточенно, хотя обыкновенно тут, в столовой, веселились вовсю. Кропотов девчат задирал, Монус хохмил. Это он насыпал сахару и соли Пахомычу, он привязал старика к стулу.

Леня Дашкевич оглядывается на одну из раздатчиц, Тоню. Она ему, как обычно, двойную порцию гарнира ухнула, так что в очереди смеются — начинается у них любовь...

Интересно, что им, обрубщикам, скажет Гурзо? В конфликтных случаях он остается один на один с рабочими, без свидетелей. Так и с очистниками прошлый раз, когда они не вышли на дополнительную смену. Направлялись в конторку независимые и злые, вышли через пять минут как из бани. Посмеивались, головами покачивали: видно, до печенок Гурзо донял. А ведь и на оперативках не говорит больше десяти слов подряд... Что-то у него есть про запас.

Тошновато было на душе у Воробья. И не только в завтрашней смене дело. Посмеялся над Малюгиным, зная, что безответен, пихнул в спину, когда уже Кропотов унизил его. Прямо говоря, предал земляка.

Был Малюгин из соседней деревни. До завода знакомы не были, а выяснили однажды, что земляки,— так стало хорошо. Дружить не дружили, но и поговорить иной раз, называя имена общих знакомых или просто ближних лесов и речек, было отрадно...

Поедет теперь Малюгин в деревню, люди спросят: «Как там Воробей?» «Воробей? — удивится, что интересуются таким человеком.— Скотина». Именно таким чувствовал себя Воробей.

И не собирался ведь предавать. Наоборот, бесцеремонностью шуточки хотел подчеркнуть их землячество, близость, союзничество, хотел изобразить так — б у д т о б ы предают и обоим это понятно. Но не получилось, не вовремя. На больное место сыпанул.

Ребята поели, отнесли посуду на мойку, пошли к двери. А ведь обычно тут-то и начинался концерт. Садилась с ложками к девчатам: «Покорми, красавица, замуж возьму».

Видно, и у них скверно было на душе.

Гурзо поговорить с обрубщиками в тот день не пришлось.

Принимая после обеда партию блоков, Соня что-то сказала Малюгину, Малюгин — Соне, Соня — Кропотову, Кропотов подумал — и ей. Соня кинулась от них по цеху, но через минуту вернулась и как на метле пронеслась над блоками, тыча проволоочной указкой:

— Рубить... Рубить... Рубить!..

— Дура,— ответил на это Малюгин. — Как тебя земля носит?

А Кропотов добавил от себя.

Соня зарыдала, понеслась в конторку.

— Бросай молотки, хлопцы! — сказал Малюгин. — Будем разбираться...

И началось.

Пришли Гурзо, Сухоручко, начальник БТК Берковский — тихий, всегда озабоченный своим двойственным положением в цеху старик,— мастера со стержневого участка и шихтового двора.

Блоки и в самом деле оказались рублены хуже обычного: шел твердый чугун — тверже допустимого на несколько единиц.

Ходили от блока к блоку, толпились у пресс-Брюнеля. Что делать? Отдать в переплавку? Немалая роскошь в конце месяца, если уже утром отставание на двадцать тонн...

В конце концов Сухоручко и Берковский уединились, вышли за ворота цеха. А когда вернулись, шли быстро, и Сухоручко озабоченно посмотрел на Тимофея Ивановича: надо рубить,— а Берковский на Соню: надо принимать...

Вот такой выдался день.

А завтра ожидался потрудней...

...Нет, не в том дело, что их разнесчастный колхоз начал строиться и крепнуть, что солнце садилось, что птицы пели и переговаривались на деревне женщины. Не в том и что сидел среди старых приятелей, а на траве стояла опорожненная бутылка. Все это лыко в строку.

А в том, что однажды увидел себя посреди цеха и подумал: «Это я?..» В такой же непримечательный день.

Легко поднялся в то утро, шел на работу рядом с женой, за проходной простились и, не оглядываясь, пошагали каждый в свой цех. Прошло то время, когда оглядывался, бегал на свидания в обеден-

ный перерыв. Эта женщина сроднилась с ним. Никуда не денется ни он от нее, ни она. Пройдет восемь-девять часов — откроет ему дверь.

Легко взбежал в гардеробную на второй этаж, быстро переоделся и в цех. И полетели минуты, как обычно. Гремело, звенело, грохотало впереди, сзади, над головой. Обычный день.

И вдруг словно очнулся: «Это я?..»

Отпустил ручки наждака, содрал с лица защитные очки. Забыв выключить наждак, попятился, наткнулся на перевернутый ящик, сел. Абразивный круг бился о блок, высекал искры. Пыль и солнце столбом.

«Зачем я здесь?» Никогда в жизни не испытывал такой бессмысленной и необъяснимой тоски. Отчего она?

Подумал, сколько лет прожил, — поежился. Много. Сколько осталось?.. Не так уж мало.

Опять увидел себя со стороны. Маленький человек на ящичке с прижатой к левой стороне груди рукой.

И так — дальше? И это все?

В нескольких шагах упирался в наждак, как в ручки плуга, его ученик Тимка, парнишка семнадцати лет. Слабоват еще парень, узок в плечах, пот льет с носа, с ушей, ерзают под мокрой рубашкой лопатки, и пока у него только одна мысль: успеть, успеть, успеть...

Ну а другие? Вот они: чистят, точат, рубят, красят... Склонили головы, стараются, торопятся, будто в этом и есть смысл — побольше покрасить, обрубить, сдать.

Однако думают и они — каждый в свой час.

А что, если вдруг подумают вместе, в одно мгновение? Что поднимется к небесам — смех или плач? Нет, не к небесам — к темным фермам, шиферной крыше.

Изо дня в день? Во веки веков?..

— Эй! — крикнул изо всех сил.

Кто услышит тебя в таком громе?

Однако бывают, видно, и такие мгновения: заглохли в ту минуту очистные барабаны, опустили молотки обрубщики, наждачники отвели от заготовок наждаки.

Тимка услышал крик и, конечно, не понял, в чем дело, доверчиво улыбнулся ему:

— Что-нибудь не так, дядя Антон?..

Старик Пахомыч заинтересованно обернулся.

Малюгин приветственно поднял молоток.

Гурзо Тимофей Иванович вынул трубку изо рта, беззвучно пошевелил губами: ты что?

Отлегло от сердца и души.

— Давай-давай, — сказал Тимке, — поливай!..

А на травке было уже другое.

Вот оно, вечное солнышко, вечные птицы и голоса. Сосуд вечности. Смысла все равно нет, но есть что-то другое. Вроде как смысл ручья у реки. Звенит на камешках, бежит в согласии с берегами — и ладно. Чистая вода — вот и смысл.

Мать тихо радуется приезду сына — ни вопросов, ни ответов в глазах. Отец ходит в подштанниках по двору, прислушивается: что там делает сын? Катаракта поразила его глаза, ищет солнце лицом. Вгляделся в слепые глаза. Разве не так, отец?

Так.

Ночью вышел покурить, увидел какую-то звездочку в прорве облаков, поежился. Торопливо докурил, швырнул окурков в кусты. Черта с два.

Но переехать все равно надо. И поскорей.

«Мама, — сказал утром, — я поеду сегодня. Срочное дело есть».

Хорошо, что больше ничего не сказал.

Вопреки ожиданиям дополнительная смена получилась удачной. Если всегда можно сказать, почему смена не задалась, то почему особенно удалась, никогда не ясно. Тут всегда ряд совпадений и причин. Где-то на шихтовом дворе началась эта счастливая цепочка, не оборвалась на стержневом, укрепилась на формовке, заливке и счастливо завершилась у них, на обрубном участке.

С вечера Воробей и Гурзо решили поставить на обрубку блоков Грушака и еще пару ребят с других участков, а не пойдет работа — перебросить сюда обрубщиков среднего литья.

Но за пятнадцать минут до смены Воробей вдруг увидел, что идет к рольгангам со шлангом и молотком на плече Малюгин, идет и улыбается во весь рот, приветственно машет рукой: здоров, земляк! И только Воробей открыл рот, чтоб сказать: «Знаешь, Костя, я вчера...» — как увидел Кропотова, а еще через минуту Монуса и Ленью Дашкевича.

— О-о! У-у! Ы-ы! — приветствовали друг друга.

То есть пришли не сговариваясь.

И такая пошла работа, что любо смотреть.

Не вышли на смену только Тамара Огородова, Зина Неглядова — что-то, видно, у нее случилось, — да Селих, слава богу, не пришел.

Начальником на дополнительную смену остался с ночной Зимогор. Жаден, захотел приплюсовать себе лишних восемьдесят — девяносто тонн, хоть ему ни пятерки не заплатят, ни отгула за сверхурочные не дадут.

Распределив людей, Воробей и сам стал к наждаку. Блоки, что обточил за смену, записал на бригаду, и хоть это, если разбросать, копейки, все довольны, а сам больше других.

Работали до двух, но сделали много. Между одиннадцатью и двенадцатью часами устроили перерыв, объединили бутерброды, а Малюгин неожиданно вытащил из сумки бутылку дешевенького вина. Неправильно, конечно, нехорошо, но кстати. Да и что значат сто граммов для серьезного человека.

Правда, сунулся вдруг в конторку Сухоручко, но увидел стол и выскочил как ужаленный. А что скажешь? Смена дополнительная, спасибо, что пришли. Да и пусть докажет. Может, она для красоты стояла, эта бутылка, для вдохновения. Запах? От настоящего мужчины должно винцом папахивать, как духами от женщины. Кто не согласен, может подать на увольнение.

Потом Малюгин вспомнил, как однажды обедали в ночной и тут явился Сухоручко, дня ему мало, наверно, жонка из постели вытурила за несамостоятельность, вошел и говорит: «Здравствуйте!» На что Малюгин, не оборачиваясь, ответил: «Это какой дурак среди ночи здоровается?» Скорее всего не узнал начальника по голосу, хотя... Малюгин такой.

Наждачницы тоже работали хорошо. Шла шестьдесят пятая крышка, «валюта». Раньше всех стали к станкам, позже кончили. Климиха всех обогнала на сотню крышек, если б не длинный язык — хоть в бригаду комтруда принимай.

Витя Круговой, Буртенков, Зося — все шевелились, старались, будто торопились на праздник. Ну а с грузчиками и подвесчиками проблем не было никогда.

И, говорят, в других цехах работа тоже шла хорошо.

К двум часам помылись и когда собрались в конторку, там уже сидел Синкевич, председатель цехкома, с ведомостью и мешком денег.

— Часы! — закричал Грушака, увидев Воробья. — Давай, мастер, часы!

Воробей отстегнул ремешок.

— На!

Грушак захохотал, запрыгал, больно ударил по плечу. Правда, слегка подпортил настроение Витя Круговой:
— Антон Михайлович... Как бы это... в понедельник...
— Ну что ты говоришь, Витя? — расстроился Воробей. — Кого я на твое место поставлю?

Витя смутился и пошел получать свои пять рублей.

Буртенков почувствовал в этом разговоре угрозу для себя.

— Смотри, Антон,— напомнил. — В четверг. Как договорились!

— Ладно, ладно,— недовольно проворчал Воробей.

До четверга еще далеко.

Домой шел вместе с Монышевым и Колосовым. У проходной их догнала Зося — напарившаяся в душевой, розовая и веселая.

— Ну что, мастер, план есть?

После работы она всегда становилась разговорчивой и веселой — намолчалась, отзлилась в одиночку там, наверху.

— Есть.

— А ты боялся!

Побежала дальше. Чувствовала, что сзади смотрят, и бежала «елочкой», старалась. Ноги у нее кривоватые, но толстые, крепкие, и Монышев подтолкнул Воробья плечом.

— Староваты мы с тобой,— ответил Воробей.

— Это я староват?

Сделал движение, будто сейчас догонит Зосю одним прыжком, и... передумал. Мол, всем не докажешь.

— Да я при случае...

Это другой разговор. При случае каждый.

За проходной попрощались. Монышев кинулся к автобусу, Колосов к трамваю, Воробей жил на поселке, пошел пешком.

А дома ему была приготовлена неожиданность — Вера.

Он еще не вытащил ключ из кармана, а уже понял, что приехала. Открыл дверь и сразу ее увидел: улыбалась и шла навстречу.

— Ты где это ходишь? — спросила.

— Да по девкам.

В квартире уже было чисто, свежо. Вкусные запахи доносились из кухни.

— Иди, кавалер, обедать. Выголодался небось?

Не спеша переоделся, вымыл руки, вошел.

Жена сидела за столом и, улыбаясь, ждала его.

Впереди был еще долгий субботний и огромный воскресный день.



УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

★

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ

Повесть

1. ДЕСЯТОЕ ЧУДО СВЕТА

Голос кастрата легко проникал сквозь занавеси, отделявшие галерею от внутренних покоев виллы. Его сказанию о пламенной любви, как и следовало ожидать, недоставало страсти. Мелодия взмывала над землей и парила, голос то атаковал последнюю треть тона, наводя на мысль о муках здоровой человеческой плоти, то переходил на уверенное вибрато, а то вдруг снижал и осторожно синкопировал. Юноша, что стоял, прислонясь к одной из колонн галереи, горестно покачивал головой. Лоб его бороздили морщины — большая редкость в столь юном возрасте, — веки, словно налитые свинцом, были устало опущены. Сад за его спиной утопал в великолепии заката. Даже на фоне бесстрастного, как голос кастрата, пурпурного зарева нетрудно было заметить, что юноша изящен, высок, рыжеволос и кроток. Вдруг губы его затрепетали, он сокрушенно вздохнул.

Старик, покойно сидевший у другой колонны, оторвался от своих бумаг:

— Мамиллий.

Мамиллий вздрогнул, но глаз не открыл. Старик внимательно посмотрел на него. Трудно сказать, что выражало в тот момент лицо старика — лучи солнца, отражаясь от каменных плит, подсвечивали его снизу, отчего нос казался приплюснутым, а вокруг рта резче обозначились глубокие складки деланного благодушия. В них могла таиться и озабоченная улыбка. Он чуть возвысил голос:

— Почему кастрат не поет?

Послышались звуки арфы: тоника, субдоминанта и доминанта — три тона, на которых зиждется вселенная. Голос взмыл, а солнце продолжало опускаться с надменной и бесстрастной неумолимостью. Мамиллий поморщился, по взмаху руки старика голос умолк, будто его выключили.

— Ну скажи мне, что тебя мучит?

Мамиллий открыл глаза, повернулся и посмотрел на стройные ряды кипарисов, заросли тика и можжевельника — каждой террасе сада они придавали свой оттенок зеленого цвета и выразительную законченность, — потом скользнул взглядом по самой дальней поверхности — сверкающему морю.

— Ты не поймешь.

Старик скрестил ноги в сандалиях, удобно устроил их на низенькой скамеечке и откинулся на спинку кресла. Руки он сложил так, что кончики пальцев соприкасались; в последних лучах заходящего солнца блеснул перстень с аметистом. Лучшие сирийские красильщики могли позавидовать закатным цветам его тоги, широкая пурпурная кайма казалась почти черной.

— Понимать — мое ремесло. Пусть ты и отпрыск побочной ветви императорской семьи, я все же твой дед. Скажи мне, что тебя мучит?

— Время.

Старик с серьезным видом кивнул.

— Время течет, как вода сквозь пальцы. Мы цепенеем от ужаса, обнаружив, как мало его осталось.

Горестно покачивая головой, Мамиллий закрыл глаза, морщины снова легли на его чело.

— Время не движется. День длится вечность. Бесконечной скуки этой жизни мне не вынести.

Старик на мгновение задумался. Он опустил руку в корзину, стоявшую справа от него, достал свиток, пробежал его взглядом и бросил в корзину слева. Немало искусных рук потрудились, чтобы придать старику спокойную величавость, которая не тускнела даже на фоне великолепного сада в закатном освещении. Весь он — от святающегося черепа под редкими седыми волосами до ухоженных пальцев ног — являл собой законченное совершенство.

— Миллионы людей должны верить, что внук Императора, пусть даже незаконно-рожденный, счастлив душой и телом.

— Я перепробовал все виды человеческого счастья.

В горле Императора что-то забулькало, и не закашляйся он и не высморкайся шумно, на римский манер, могло показаться, что он вот-вот рассмеется. Император вернулся к своим занятиям.

— Час назад ты хотел помочь мне разобраться с этими прошениями.

— Это было до того, как я начал их читать. Неужели весь мир не способен думать ни о чем, кроме выпрашивания милостей?

По саду пролетел соловей, сел на кипарис с теневой стороны и, как бы пробуя голос, взял несколько нот.

— Напиши еще несколько изящных стихотворений. Мне больше всего по душе те, что ты сочинил для записки на яичной скорлупе. Я гурман, и мне это особенно близко.

— Оказывается, кто-то уже успел это сделать до меня. Все, больше не напишу ни строчки.

Они немного помолчали, готовые внимать соловью, но тот, словно смутившись столь изысканной аудиторией, вспорхнул и улетел.

Тогда Мамиллия заколыхалась — его передернуло.

— Столько лет оплакивать Итиса. Какая глупая чувствительность!

— Попытай удачи в других искусствах.

— В декламации? В кулинарии?

— Ты слишком робок для первой и чересчур молод для второй.

— А мне казалось, ты приветствуешь мой интерес к искусству готовить пищу.

— Ты должен, Мамиллий, уметь не только произносить слова, но и понимать их. Кулинария — не улада юности, а ее воскрешение в памяти.

— Отец Отечества изволит выражаться туманно. А мне все равно скучно.

— Не будь ты худ, как щепка, я прописал бы тебе настойку александрийского листа.

— Мой кишечник и без того работает удручающе регулярно.

— Так, может быть, виной всему женщина?

— Как ты можешь подозревать меня в такой вульгарности?

На сей раз Император не совладал с собой. Он, правда, на какое-то время сумел сохранить невозмутимое выражение лица, но тело предательски задергалось в конвульсиях смеха. Смеялся он долго, до слез. Лицо внука постепенно заливалось краской, сначала цвет его достиг багровости заката, а потом стал и вовсе лиловым.

— Неужели я так смешон?

Император смахнул слезы с глаз.

— Прости. Не знаю, поймешь ли ты, но моя придирчивая любовь к тебе во многом связана с твоей.. Мамиллий, ты так отчаянно современен, что из боязни прослыть старомодным лишаешь себя многих радостей жизни. Если б ты только мог посмотреть на мир моим печальным и угасающим взором...

— Не имею ни малейшего желания. Ничто не ново под луной. Все изобретено, все написано. Время остановилось.

Император бросил в корзину очередное прошение.

— Ты когда-нибудь слышал о Китае?

— Нет.

— В первый раз я услышал о Китае двадцать лет назад. Я считал, что это остров где-то за Индией. С тех пор до меня порой доходили отрывочные сведения. Так вот, Мамиллий, Китай — это огромная империя, больше нашей.

— Какая нелепость! Это противоречит законам природы.

— И тем не менее это так. Иногда меня посещает видение: наш земной шар держат, если так можно выразиться, две руки — одна смуглая, другая, по моим сведениям, желтая. Может быть, как в известной комедии¹, человек наконец встретится со своим близнецом, пропавшим когда-то без вести.

— Выдумки путешественников.

— Я пытаюсь доказать тебе, что мир необъятен, а жизнь прекрасна и удивительна.

— Не хочешь ли ты предложить мне отправиться в путешествие?

— Морем ты отправиться не можешь, а по суше и рекам на это уйдет не меньше десяти лет, да и то если аримаспы пропустят тебя через свои владения. Оставайся дома и развлекай старика, который чувствует себя все более одиноко.

— Спасибо за позволение быть твоим шутком.

— Послушай, Мамиллий,— строго сказал Император,— шел бы ты на войну. И чем она будет кровавей, тем лучше для тебя.

— Пусть этим занимается твой законный наследник, дубинноголовый Постумий. Пусть воюет сколько его душе угодно. К тому же на войне жизнь утрачивает цену, а я и без того нахожу ее достаточно ничтожной.

— В таком случае Отец Отечества бессилен помочь родному внуку.

— Надоело сидеть без дела.

Император взглянул на Мамиллия пристальнее, чем того требовала последняя фраза.

— Может, я был с тобой неосторожен? Смотри, Мамиллий. Наша необычная дружба держится только на том, что ты не суешь свой нос в чужие дела. Так что не сойти за труд посидеть без дела. Я хочу, чтобы ты жил долго, даже если в глубокой старости ты и умрешь от скуки. Выбрось из головы честолюбивые планы.

— Я не стремлюсь к власти.

— Продолжай убеждать в этом Постумия. Пусть он правит. Ему это нравится.

Мамиллий покосился на занавеси, шагнул вперед и прошептал:

— А ведь ты бы предпочел, чтобы пурпурную кайму твоей тоги унаследовал я! Император резко подался вперед и торопливо ответил:

— Если его агенты слышали тебя, ни тебе, ни мне не прожить и года. Никогда больше не говори таких вещей. Это приказ.

Мамиллий вновь прислонился к колонне, а Император взял очередной свиток, подержал его в лучах заходящего солнца и отбросил в сторону. Оба молчали. Сумерки и тишина подействовали на соловья ободряюще — он вернулся на кипарис и снова запел. В голосе Императора зазвучали душевные нотки:

— Спустись в сад, минуи лужайку, пруд с лилиями и войди в туннель под скалой. Еще сотня шагов — и ты у причалов гавани...

— Окрестности я знаю неплохо.

— Когда попадешь туда, уже стемнеет, так что увидишь немного, но ты скажи себе: «Вот здесь, защищенные от моря двумя молами, стоят сотни судов, тысяча домов, живут десять тысяч людей. И каждый из них ничего и никого не пожалеет, чтобы стать пусть и побочным, но любимым внуком Императора».

— Склады, таверны, бордели. Грязь, деготь, ворвань, нечистоты, пот.

— Да... человечество ты не жалуешь.

— А ты?

— Я его принимаю таким, какое оно есть.

— А я его избегаю, каким бы оно ни было.

— Мы должны добиться, чтобы Постумий дал тебе в управление какую-нибудь провинцию. Хочешь Египет?

— Грецию, если уж иначе нельзя.

— Боюсь, не получится,— сказал Император с грустью в голосе.— На Грецию большая очередь.

— Тогда Египет.

— Часть Египта. Если ты, Мамиллий, поедешь туда, то прежде всего ради собственного блага. Когда ты вернешься, от меня останется лишь горстка праха да один-два памятника. Будь же счастлив хотя бы для того, чтобы скрасить последние дни дряхлеющего слуги народа.

¹ Скорее всего Император намекает на «Двух Менехмов» Плавта (II в. до н. э.). (Здесь и далее примечания переводчицы.)

— Да чем же Египет может меня осчастливить? Не то что в Африке — в целом мире нет ничего нового.

Император развернул еще один свиток, прочитал, улыбнулся, затем позволил себе рассмеяться.

— А вот и для тебя кое-что новое. Эти просители из твоих будущих владений. На твоем месте я бы не упустил случая познакомиться с ними.

Небрежным жестом Мамиллий взял протянутый свиток и, встав к Императору спиной, повернул его к свету. Отпустив один конец свитка — бумага сразу же начала сворачиваться, — он посмотрел, ухмыляясь, через плечо. Глаза Мамиллия и Императора встретились, и они дружно расхохотались. Император смеялся весело, от души, от смеха он просто помолодел. Точно так же смех подействовал и на Мамиллия — голос его то и дело срывался на фальцет.

— Этот человек, видите ли, хочет поиграть с цезарем в морской бой.

Так они смеялись вдвоем под соловьиные трели. Император кончил смеяться первым и кивнул в сторону занавесей. Мамиллий подошел, отдернул одну половину, произнес сухо и официально:

— Император примет просителей Фанокла и Евфросинию.

Потом, улыбаясь и многозначительно переглядываясь с Императором, возвратился на прежнее место у колонны.

Поговорить с цезарем запросто было, разумеется, нельзя. Из-за занавесей появился тучный секретарь, он опустился на одно колено, а на другом пристроил восковые дощечки. Затем, с головы до ног закованный в доспехи, на галерею с грохотом и лязгом протопал солдат. Он стал за спиной Императора по стойке «смирно», со скрежетом рванул меч из ножен и вскинул клинок острием вверх. Послышались приглушенные голоса, и двое рабов развели занавеси в стороны. Кто-то ударил жезлом в каменный пол.

— Император позволяет вам приблизиться.

В проходе появился мужчина, за ним женщина с большим свертком в руках. Рабы опустили занавеси, и, ослепленный закатом, мужчина на мгновение остановился — этого хватило, чтобы они рассмотрели его. Поверх светлой туники на мужчине был длинный зеленый плащ. Его темные волосы и борода были всклокочены: то ли он шел так стремительно, что неподвижный воздух обвевал его, точно ветер, то ли где-то в пути пострадал от капризов погоды — в личных покоях Императора природе не позволялось проявлять свой дурной нрав. Плащ вошедшего был заношен, кое-где залатан и покрыт пылью; руки и ноги давно не мыты, ногти не чищены. Мясистое и бесформенное лицо было не выразительнее затылка.

Его спутница незаметно отступила в темный угол, такое место для нее было, видимо, привычным. Там она мало чем отличалась от задрапированной колонны — ее лицо было спрятано под покрывалом. Она стояла вполборота к мужчинам, чуть склонившись над свертком. Ниспадавшие складки ее длинных одежд позволяли рассмотреть только часть сандалии и точеной ножки. Солдат с обнаженным мечом стоял не шелохнувшись; лишь, скосив глаза, ощупывал ее взглядом, уверенно и умело снимал одеяние за одеянием; изощренная интуиция, что приходит только с богатым опытом, позволяла ему по мельчайшим деталям воздать должное прелестям незнакомки. Он видел полуприкрытую кисть руки и округлость колена, едва намечавшуюся под тканью столы. Наконец глаза солдата оторвались от незнакомки: левый глаз неотрывно смотрел вперед по одну сторону меча, правый — по другую. Губы его округлились, в более подходящей обстановке он бы наверняка присвистнул.

Император, предвидевший такой оборот событий, бросил быстрый взгляд за спину. Солдат не мигая смотрел прямо перед собой. Поверить, что его глаза когда-то двигались или смогут двигаться впредь, было решительно невозможно. Император повернулся к внуку.

Мамиллий наблюдал за женщиной искоса, он ощупывал ее взглядом, снимая одеяние за одеянием; естественный и безграничный оптимизм юности рисовал в его воображении прелести незнакомки.

Император с довольным видом откинулся в кресле. Мужчина, взяв у спутницы сверток, стоял в растерянности, не зная, куда его положить. Он близоруко щурился на императорскую скамеечку для ног. Император ткнул согнутым пальцем в сторону секретаря:

— Запиши.

Он не мог оторвать от Мамиллия радостного и торжествующего взгляда.

— Мы много слышали о камнях Пирры, о том, как Иегова сотворил человека из праха, о красной глине Тота, но я всегда считал, что кто-то из богов увидел — человек ползет на четвереньках, и, дав ему коленом под зад, одним пинком поставил на ноги. Сенсуалист в это верит. Мудрец этого просто не забывает.

Но Мамиллий его не слышал.

Нелепый проситель наконец-таки решился. Он развернул сверток и поставил на каменный пол между Императором и Мамиллием модель корабля. Модель была не больше двух локтей в длину и на вид неказиста. Император перевел взгляд на просителя.

— Значит, ты и есть Фанокл?

— Фанокл, цезарь, сын Мирона, александриец.

— Мирона? Надо понимать, что ты — библиотекарь.

— Я был, цезарь... помощником... пока...

Он с фростным остервенением махнул рукой в сторону корабля. Император продолжал спокойно смотреть на него.

— И ты хочешь поиграть с цезарем в морской бой?

Император старался скрыть насмешку, но его выдал голос. В отчаянии Фанокл повернулся к Мамиллию, но тот был все еще поглощен созерцанием незнакомки и теперь уже не таился. Неожиданно Фанокл разразился потоком слов:

— Везде, цезарь, одни препоны — снизу доверху. Говорили, что я-де трачу время зря, занимаюсь чепухой, черной магией... смеялись надо мной. Я беден, и когда кончились деньги отца... он ведь оставил мне немного... самую малость... я их истратил... Что же нам делать, цезарь?

Император молча следил за ним. Он понял, что не закат ослепил Фанокла. Даже в сумерках было видно, что грек близорук. Изъян этот придавал ему вид рассерженный и удивленный, казалось, что где-то перед ним постоянно находится источник гневливого раздражения.

— ...и я подумал: вот если б я мог попасть к цезарю...

Но на пути Фанокла громоздились помехи и препятствия, от людей он видел только козни и издевательства, испытал их злобу и гонения.

— Сколько ты отдал, чтобы попасть ко мне?

— Семь золотых.

— Не так уж много. Ведь я не в Риме.

— Это все, что у меня было.

— Мамиллий, позаботься о том, чтобы Фанокл не остался в убытке. Мамиллий!

— Слушаюсь, цезарь.

С крыши и из углов поползли тени. На высокоом кипарисе продолжал заливаться соловей. Император, как недавно солдат, скосил глаза на женщину, а затем метнул взгляд на Мамиллия, который у солдата интереса не вызывал.

— А твоя сестра?

— Евфросиния, цезарь, свободная женщина и девица.

Император медленно повернул лежащую на коленях руку ладонью вверх и стал сгибать указательный палец, пока не изобразил подобие подзывающего жеста. Не в силах сопротивляться высочайшему повелению, Евфросиния бесшумно вышла из угла и застыла перед ним. Ритм драпировок изменился, покрывало около рта едва заметно подрагивало.

Император мельком взглянул на Мамиллия и подумал: ничто не ново под луной. Потом повернулся к Евфросинии:

— Покажи нам свое лицо.

Фанокл резко шагнул вперед и чуть не наступил на модель. Чтобы не раздавить ее, он сделал несколько судорожных движений, похожих на неуклюжие танцевальные па.

— Цезарь...

— Вам с сестрой пора привыкать к нашим западным манерам.

Он перевел взгляд на перетянутые ремешками пальцы ее ног, на выступавшее под тканью округлое колено и наконец на неммыслимо красивые руки, в волнении сжимавшие край столы. Слегка кивнув, он ободряюще протянул вперед руку, на которой блеснул перстень с аметистом.

— Здесь никто не хочет обидеть тебя, госпожа. Скромность — достойная оправа целомудрия. Но чтобы мы знали, с кем говорим, позволь нам увидеть хотя бы твои глаза.

Голова под покрывалом повернулась к брату, но тот стоял, беспомощно раскрыв рот и до боли стиснув пальцы. Наконец ее рука осторожно потянула покрывало вниз и открыла верхнюю часть лица. Женщина посмотрела на Императора, и голова ее качнулась, словно маковка на тонком стебельке.

Император смотрел ей в глаза, улыбаясь и хмурясь одновременно. Он не произнес ни слова, но безмолвная весть о его повелении уже понеслась. Занавеси раздвинулись, и на галерею торжественным шагом вышли три женщины. В сложенных чашей руках каждая несла пригоршню света; лица сияли, пальцы прозрачно розовели. Не отрывая взгляда от Евфросинии, Император легкими движениями руки принялся расставлять живые светильники по галерее. Один он поместил справа и чуть спереди от Евфросинии, другой установил сзади, отчего свет мгновенно заиграл и заискрился в ее волосах. Третий он придвигал слева все ближе и ближе, потом начал поднимать, пока тот не оказался так близко от лица Евфросинии, что локон затрепетал в струящемся тепле.

Император повернулся к Мамиллию — тот безмолвствовал. Лицо его было таким растерянным, словно он только что очнулся от глубокого сна. Неожиданно Евфросиния опустила руку и закрыла лицо — погас четвертый светильник. Меч в руке солдата дрогнул.

Император откинулся в кресле и сказал, обращаясь к Фаноклу:

— Ты привез с собой десятое чудо света.

Пот заливал лицо Фанокла. Со смущенным облегчением он посмотрел на модель корабля.

— Но я еще не объяснил, цезарь...

Император махнул рукой.

— Успокойся. Тебе и твоей сестре здесь ничто не угрожает. Мамиллий, они будут нашими гостями.

Мамиллий перевел дыхание и посмотрел на Императора. Будто пытаясь освободиться от невидимых пут, он замотал головой из стороны в сторону. Решение Императора привело в действие механизм еще одного ритуала. Женщины выстроились так, чтобы осветить проход, через который вошла строгая домоправительница, всем своим видом выражая готовность поделиться избыточными наличными ресурсами. Она поклонилась Императору, Мамиллию, Евфросинии, взяла гречанку за руку и увела с собой. Занавеси сомкнулись, и галерея наконец потонула во мраке; только в открытом море, где около сетей кружились рыбацьи лодки, светились яркие огоньки. Мамиллий подошел к Фаноклу и заговорил срывающимся дискантом:

— Какой у нее голос? Как она говорит?

— Она говорит редко, господин. Я не помню ее голоса.

— Люди возводили храмы в честь куда менее совершенной красоты.

— Она моя сестра!

Император пошевелился в кресле.

— Раз ты так беден, Фанокл, неужели тебе в голову никогда не приходила мысль поправить ваши дела выгодным браком?

Будто пойманный в западню, Фанокл дико озирался по сторонам.

— На какой женщине ты хотел бы меня женить, цезарь?

В невыслышимой тишине, последовавшей за вопросом, рассыпалась соловьиная трель. Разбуженная ею, взошла вечерняя звезда — она мерцала на темно-синем клочке неба, зажатом среди черных теней можжевельника. Мамиллий вновь заговорил срывающимся голосом:

— Фанокл, у нее есть мечта?

Император тихо засмеялся:

— Сама красивая женщина и есть мечта.

— Она сладчайший в мире источник поэтического вдохновения.

— Красиво говоришь, Мамиллий, в коринфском стиле. Однако продолжай.

— Она женщина эпической простоты.

— Ну, теперь тебя хватит на двадцать четыре тома бессмертной скупичи.

— Не смейся надо мной.

— Я не смеюсь. Ты доставил мне большую радость. Фанокл, как тебе удалось сбересть такое чудо?

В сгустившейся темноте сбивый с толку Фанокл напряженно подыскивал слова.
— Что мне ответить, цезарь? Она — сестра моя. Красота ее расцвела, как говорится, в одночасье.

Он помолчал, собираясь с мыслями. И вдруг его словно прорвало:

— Я не понимаю тебя, да и всех остальных тоже. Почему нас не оставляют в покое? Разве интимная жизнь людей имеет какое-нибудь значение, когда вокруг океан незывлемых взаимосвязей, которые необходимо исследовать!

В горле Фанокла что-то булькнуло, казалось, ему сейчас станет плохо. Но когда он снова заговорил, речь его потекла плавно, правда, ход мысли по-прежнему удивлял своей неожиданностью.

— Если выпустить камень из рук, он упадет.

Кресло под Императором скрипнуло.

— Я надеюсь, что мы понимаем тебя.

— Всякая субстанция вечно и неизменно связана с любой другой субстанцией. Человек, который понимает эти связи... вот тот господин...

— Мой внук, досточтимый Мамиллий.

— Досточтимый внук, хорошо ли ты знаешь юридические законы?

— Я римлянин.

По движению воздуха Мамиллий почувствовал, что Фанокл размахивает руками. Вглядевшись в темноту галереи, он с трудом различил смутные очертания жестикулирующей фигуры.

— Ну вот! Ты свободно ориентируешься в мире закона. А я легко себя чувствую в мире субстанций и сил, потому что признаю за вселенной разум не меньший, чем у законоведа. Подобно тому как ты, знающий закон, можешь добиться своего, имея дело со мной, который закона не знает, так и я могу не ждать милостей от вселенной, а взять их у нее.

— Слишком путано,— сказал Император.— Нелогично и очень самоуверенно. Скажи мне, Фанокл: когда ты говоришь такое, люди не называют тебя сумасшедшим?

Озадаченное лицо Фанокла поплыло во мраке вперед. Он помнил о модели корабля и боялся на нее наступить. Но перед самым его лицом вдруг тускло блеснуло лезвие меча. Фанокл неуклюже попятился.

Император повторил свои слова так, будто говорил их впервые:

— ...называют тебя сумасшедшим?

— Называют, цезарь. Потому я и... порвал все связи с библиотекой.

— Понимаю.

— Ты думаешь, я сумасшедший?

— Продолжай, послушаем дальше.

— Вселенная — это машина.

Мамиллий беспокойно зашевелился.

— Так ты колдун?

— Колдовства в природе нет.

— Твоя сестра — его живой пример и воплощение.

— Тогда она неподвластна законам природы.

— Очень может быть. А есть ли в твоей вселенной поэзия?

Измученный Фанокл повернулся к Императору.

— Вот все они так говорят, цезарь. Поэзия, волшебство, религия...

Император усмехнулся:

— Будь осторожен, грек. Ты говоришь с великим понтификом.

Тень от пальца Фанокла метнулась к лицу цезаря.

— Верит ли цезарь в то, что вынужден делать великий понтифик?

— Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос.

— Досточтимый Мамиллий, ты веришь в глубине души, что непредсказуемая и неподвластная разуму поэзия существует помимо твоих свитков?

— До чего же скучна твоя жизнь!

— Скучна?

Фанокл сделал полшага к Императору, вспомнил про меч и вовремя остановился.

— Моя жизнь проходит в постоянном изумлении.

Император отвечал ему спокойно и терпеливо:

— В таком случае обыкновенный император не в силах что-либо сделать. Сам

Диоген в своей бочке не был счастливее тебя. Единственное, что я могу — не загораживать тебе солнце².

— Но я разорен. Если ты мне не поможешь, меня ждет голодная смерть. А с твоей помощью я могу изменить мир.

— И мир станет лучше?

— Он сумасшедший, цезарь.

— Это его право, Мамиллий. По своему опыту, Фанокл, я знаю, что перемены почти всегда к худшему. И тем не менее ради моего... ради твоей сестры я принимаю тебя как гостя. Будь краток. Чего ты хочешь?

Фаноклу строили козни. Десятое чудо света — это, конечно, корабль, а не сестра; людей он никогда не мог понять, но с помощью его корабля Император затмит Александра Македонского. Дальше Мамиллий не слушал, постукивая пальцем по колонне, он что-то заботливо себе под нос.

Пока Фанокл молот свой вздор, Император не шевельнулся и не проорал ни слова, он только позволил, чтобы от него на Фанокла повеяло холодком. Уж на что тот был толстокож, однако и он наконец запнулся и умолк.

Заговорил Мамиллий:

— «Красоты немое красноречье...»

— Я уже это слышал,— задумчиво произнес Император.— Кажется, Бион, но может быть, и Мелеагр.

Фанокл закричал:

— Цезарь!

— Ах да. Твоя модель. Так чего ты хочешь?

— Прикажи принести свет.

На галерею все с той же ритуальной торжественностью возвратился один из живых светильников.

— Как называется твоя модель?

— У нее нет названия.

— Корабль без названия? Мамиллий, надо придумать.

— О боги, какая разница? Пусть будет «Амфитрита».— Мамиллий картинно зевнул.— С твоего позволения, дедушка, я хотел бы...

Император просиял улыбкой.

— Проследи, чтобы наши гости ни в чем не испытывали неудобств.

Мамиллий метнулся к выходу.

— Мамиллий!

— Что прикажешь, цезарь?

— Мне больно видеть, как ты скучаешь.

Мамиллий остановился.

— Скучаю? Да... Скучаю. Доброй ночи, дедушка.

Мамиллий неторопливо направился к выходу.

Однако, едва скрывшись за занавесями, он без промедления перешел на резвую рысь. Император рассмеялся и взглянул на корабль.

— Мореходность никудышная: плоскодонный, с малой кривизной бортов. Что за нос и корма? Это же зерновая баржа. А украшения зачем? Они что, имеют какой-то религиозный смысл?

— Пожалуй, нет, цезарь.

— Значит, хочешь со мной сразиться в морской бой? Если бы не твоя очаровательная непосредственность, я бы, наверное, наказал тебя за самонадеянность.

— Я, цезарь, принес для тебя три игрушки. Это только первая.

— Развлекать гостя — обязанность хозяина.

— Цезарь! Тебе приходилось видеть, как в горшке кипит вода?

— Случалось.

— Ты, наверное, замечал, что при этом пар улечивается в воздух. А что, если горшок закрыть?

— Очевидно, пар не будет улечиваться.

— Горшок разлетится на куски. Пар обладает титанической силой.

— Да что ты говоришь! — воскликнул Император.— И часто тебе случалось видеть, как горшки разлетаются на куски?

Фанокл сдержался.

² Намек на ответ Диогена Александру Македонскому.

— Южнее Сирии живет дикое племя. В их землях много черного масла и горячего пара. Когда они готовят пищу, то по трубам направляют пар в печи, стоящие рядом с их домами. Мясо, которым питаются туземцы, жесткое, и обычным способом его варить долго. Но они на одну посудину ставят вверх дном другую. И тогда внутри горшка пар создает давление — оно проникает в мясо и проваривает его тщательно и быстро.

— И пар не разрывает горшок?

— В том-то и смысл изобретения. Если давление становится слишком большим, оно поднимает верхнюю посудину и выпускает излишки пара. Это же просто, цезарь. Пар способен поднять вес, который и слону не под силу.

Император сидел прямо, чуть подавшись вперед и обхватив руками подлокотники кресла.

— А аромат, Фанокл! Ведь он-то не улетучится! Мы чудесным образом сохраним сам дух человеческой пищи.

Он встал и начал ходить по галерее.

— Мы начнем с мяса...

— Но...

— Что касается мяса, я всегда был неприхотлив. Слоновья нога и мясо мамонта, ваши диковинные приправы и соусы — все это глупое ребячество. Мой внук наверняка стал бы доказывать, что надо исследовать все возможности и, так сказать, расширить границы вкусового опыта...

— Мой корабль...

— ...но это мальчишеский лепет. Отведать мяса в его изысканной простоте значит вернуться в юность, память о которой стирает неумолимое время. Нужен костер, здоровая усталость в членах и по возможности чувство опасности. Ну и еще, конечно, крепкое красное вино...

Они смотрели друг на друга, разинув рты, правда, причины для такого изъяснения эмоций у них были разные.

— Фанокл, мы на пороге величайшего открытия. Как называют туземцы свои две посуды?

— Горшок-сковарка.

— Когда ты можешь сделать такой для меня? А может быть, мы просто возьмем один горшок и поставим его вверх дном на другой...

Он постукивал пальцем одной руки по ладони другой, задумчиво глядя на сад невидящим взором.

— ...а что, если начать с рыбы? А может, дичи? Нет, пожалуй, все же лучше с рыбы. Надо взять немного белого вина — желательно скромный сорт, чтоб не собой кичился, а самозабвенно отдавался делу. Только вот что выбрать — форель, палтус? Но вино тем не менее должно быть выдержанным — пусть терпеливо ждет своего часа.

Он повернулся к Фаноклу.

— Есть один южный сорт, его разводят на знаменитом сицилийском винограднике, как же он называется, дайте, боги, памяти...

— Цезарь!

— Ты должен отобедать со мной немедленно, мы обсудим план действий. Да, да, я обедаю очень поздно. Нахожу, что это улучшает аппетит.

— Мой корабль, цезарь!

— «Амфитрита»?

Император, собравшись было уходить, остановился.

— Я тебе все могу дать, Фанокл. Чего тебе надо?

— Ответь мне, цезарь. Когда на море стихает ветер, что происходит с кораблем? Повернувшись к Фаноклу, Император снисходительно улыбнулся.

— Он ждет, когда ветер подует вновь. Штурман начинает молиться богу ветра. Приносит жертвы и так далее.

— А если он не верит в бога ветра?

— Тогда, я думаю, ему не будет попутного ветра.

— А если ветер стихает в решающий для твоих кораблей момент морского боя?

— Рабы берутся за весла.

— А когда они выдыхаются?

— Их бьют.

- Ну а если они так обессилели, что и побои не помогают?
- Тогда их выбрасывают за борт. Диалектика... сократический метод.
- Фанокл беспомощно опустил руки. Император сочувственно улыбнулся.
- Ты устал и проголодался. Не бойся ни за себя, ни за сестру. Ты стал мне очень дорог, а сестру я возьму под свою опеку.
- При чем здесь сестра?
- Император был явно озадачен.
- Так чего же ты хочешь?
- Я все время пытаюсь это объяснить. Я хочу построить тебе боевой корабль по образцу и подобию «Амфитриты».
- Боевой корабль — дело серьезное. Как я могу считать тебя умелым корабелом, когда ты всего-навсего бывший библиотекарь?
- Ну дай мне корпус корабля — любого. Дай мне хотя бы старую баржу и денег, чтобы переделать ее вот по этому образцу.
- Конечно, мой дорогой Фанокл. Ты получишь все, чего пожелаешь. Я распоржусь.
- А остальные мои изобретения?
- Ты имеешь в виду скороварку?
- Нет, совсем другое. Я назвал его взрывчаткой.
- Судя по названию, это то, что с ревом разрывается? Чудеса да и только! Ну а третье изобретение?
- Пока я подержу его в секрете, пусть оно будет для тебя сюрпризом.
- Император с облегчением закивал.
- Вот и хорошо. Строй свой корабль и разрыватель. Но только сначала сделай скороварку.— Сияя от удовольствия, Император вытянул руку, осторожно положил ее на плечо Фаноклу и, не прилагая усилий, повернул его к выходу.
- Обрадованный первыми признаками дружелюбия, Фанокл пошел за ним, почти-тельно сгибаясь и стараясь ступать в ногу. Занавеси широко распахнулись, пропустив на галерею поток света, который принял их и поглотил. Свет заливал секретаря, солдата, пустое кресло; его яркие блики играли на бронзовом котле и трубе «Амфитриты».

2. ТАЛОС

С галереи Мамиллий спустился в сад. Сейчас он себе определенно нравился. Широкополая соломенная шляпа, вполне заменявшая зонтик от солнца, выглядела не по-римски — ровно настолько, чтобы подчеркнуть независимость хозяина, но исключить любые подозрения в дерзком неповиновении существующим порядкам. Светлый плащ из тончайшего египетского полотна, скрепленный на плечах изящными пряжками, добавлял его облику мужественного достоинства без тени грубости или надменности. При быстрой ходьбе — а какое-то время именно так он и передвигался — плащ развевался за спиной, и Мамиллий испытывал ощущение стремительного полета. Туника была вызывающе коротка и обужена, но мода есть мода, тут ничего не поделаешь. А что, если Евфросиния сидит сейчас здесь, среди замшелых наяд, и я встречу ее, думал он, неужели она не откроет лицо и не заговорит со мной? Спускаясь по нескончаемым ступеням, он озирался, высматривая ее повсюду, но в опаленном зном саду не было ни души. Квадратные лужайки вокруг казались бархатными — собственно, таковыми им и надлежало быть по литературным канонам, — а в красиво подстриженных тисовых деревьях было меньше жизни, чем в стоявших рядом скульптурах. Он заглядывал в беседки и цветники, обходил группы каменных гамадриад, фавнов и бронзовых мальчиков, машинально салютовал гермам, возвышавшимся в густом кустарнике.

Вся беда в том, что она ни с кем не желала говорить и редко показывалась на люди. Я уже кое-что знаю о любви, думал он, и не только по книгам. Любовь — это неотступная тревога и озабоченность, это чувство, будто все сокровища жизни собраны там, где она находится. Я, кажется, начинаю понимать; любовь родилась на вольных просторах и вскормлена молоком молодой львицы. Интересно, что она думает обо мне, как звучит ее голос, влюблена ли она?

По жилам его пробежал огонь, он затрясся как в лихорадке. Нет, пронеслось в его голове, так не годится, нельзя больше думать о ней. И в тот же миг перед его

мысленным взором прошествовала целая толпа ослепительно мужественных счастливых соперников. Когда он добрался до заросшего лилиями пруда, что находился на самой нижней террасе рядом с туннелем, борьба с химерами разгоряченного воображения достигла кульминации — душевные силы покидали его.

— Лучше снова умирать от скуки.

Возможно, затея со шляпой была не столь уж блестящей идеей. Края этого персонального клочка тени стали какими-то размытыми, и хотя было очень жарко, сегодняшняя голубизна неба над морем не шла ни в какое сравнение со вчерашней. У горизонта образовалось зыбкое марево, которое постепенно наплывало с моря на сушу. Он заговорил с выдавшим виды сатиrom:

— Будет гроза.

Сатир продолжал ухмыляться во весь свой зубастый рот. Он все понимал. Евфросиния. Мамиллий отшатнулся и свернул налево, где в скалистом утесе был пробит туннель к порту, расположенному в соседней бухте. Часовой у входа вытянулся по стойке «мирно». Черная дыра туннеля совсем не привлекала Мамиллия, а разговоры с солдатами всегда рождали в нем приятное чувство собственного превосходства — он остановился.

— Доброе утро. Как идет служба?

— Нормально, господин.

— Много ли вас здесь?

— Двадцать пять, господин. Пять старших чинов и двадцать рядовых, господин.

— Где вы расквартированы?

Солдат мотнул головой.

— По ту сторону туннеля, господин. На триreme у причала.

— Значит, чтобы попасть на новый корабль, я должен пройти через триremу?

— Так точно, господин.

— Как это утомительно. Скажи, ведь в императорском саду приятнее, чем в гавани?

Солдат задумался.

— Спокойнее, господин. Тем, кто любит тишину, нравится.

— А тебе что же, ад кромешний больше по душе?

— Не могу знать, господин.

Мамиллий повернулся и вошел в темный туннель и толчею зеленых призраков, похожих на зубастого сатира. Сколько мог он задерживал дыхание — охрана пользовалась туннелем не только как проходом в сад. Зеленые зубастые сатиры постепенно бледнели, и наконец ему открылся ад.

Любому, кроме внука Императора в короткой и обуженной тунике, этот ад кромешний мог показаться местом интересным и даже привлекательным. Порт располагался в маленькой чашеобразной бухте. Вокруг по склонам лепились склады и домишки, выкрашенные в белый, желтый и красный цвета. Внутреннюю поверхность чаши опоясывало полукружье причальной стенки, возле нее в несколько рядов теснились всевозможные суда и суденышки. Вход в чашу с моря закрывали два мола, концы которых почти сходились. Туннель заканчивался у основания ближайшего из них. Дома, причалье, склады, корабли — все кишело людьми. Матросы — рабы и свободные — смолили и красили корабельные борта. Мальчишки лазили по реям, множество людей копошилось в лодках и на баржах, голые бродяги, разгребая плавающий мусор, подтаскивали к берегу упавшие в воду бревна. В горячем воздухе гавани колыхались дома и склады, раскачивались крутосклонные холмы, и будь на небе облака, на их фоне можно было бы увидеть, как колеблется сама небесная твердь. Дым от жаровен медников и от разогретых труб, в которых гнули доски, от чанов, харчевен и камбузов плыл в воздухе, отбрасывая на землю сотни бронзовых теней. Солнце безжалостно жгло весь этот муравейник и в самом центре гавани отражалось от воды слепящим бесформенным пятном.

Мамиллий натянул поглубже соломенную шляпу и прикрыл нос полкой плаща. Он немного постоял, озадаченный, но втайне довольный своим презрением к человечеству и тому жестокому безумию, в какое оно себя ввергло. В нем даже проснулась потребность внести свою лепту в мифологию ада. Ад не только зловонное пекло, но к тому же еще и грохочущее. Шум нарастал, жара усиливалась, все вокруг ходило жодуном. людские вопли с трудом пробивались сквозь волны рева, треска и уханья.

Мамиллий перевел взгляд на мол, куда лежал его путь. Мол тянулся от берега до середины гавани и со стороны, обращенной к морю, имел стенку, высота которой достигала плеча человека. Три корабля стояли у причала. Слева, всего в нескольких шагах от Мамиллия, покачивалась на волнах императорская галера. В воде она сидела глубоко, гребцы спали на лавках прямо под палящим солнцем, мальчишка-раб чистил подушки трона под громадным пурпурным балдахином. За галерой вырисовывался изящный силуэт триремы, весла которой были вынуты из уключин и убраны внутрь. Рабы старательно драили палубу, но отмыть ее от грязи не могли — у борта триремы была пришвартована уродливая «Амфитрита», и по палубе взад и вперед безостановочно сновали люди с корабля Фанокла.

Мамиллий шел по молу как можно медленнее — он всячески старался оттянуть момент, когда ему придется окунуться в неистовый жар, исходящий от трюма «Амфитриты». Задержался у второго изобретения Фанокла, которое видел впервые. У стенки мола стояла метательная машина, нацеленная в сторону моря. Вопреки всем канонам военного искусства Фанокл уже отвел рычаг и, следовательно, взвел механизм. даже кувалда, которой выбивают чеку, лежала наготове. В чашке рычага виднелся продолговатый предмет, к которому был прикреплен сверкающий на солнце бочонок; на бочонке красовалась бронзовая бабочка с вытянутым железным жалом. Подходящее насекомое для ада. Достаточно ударить по чеке — и полетит с быстрой молнией, с громовым грохотом бочонок в море к рыбацким лодкам. Дивное угощение с дружеским приветом от Императора.

При виде катапульти Мамиллия передернуло, но, вспомнив поведение Фанокла, он невольно рассмеялся. После долгих объяснений отчаявшийся грек развел руками и назидательно, будто говорил с ребенком, а не с Отцом Отечества, заключил: «Я посадил молнию под замок и выпущу ее, когда захочу».

Часовой задремал у катапульти и, увидев Мамиллия, сообразил, что пойман с поличным; он попытался развязной болтовней отвлечь внимание от своего промаха и повел себя так, словно они с Мамиллием — это одно, а воинская дисциплина — совсем другое.

— Глянь на это страшило, господин, какова милашка, а?

Мамиллий молча кивнул. Часовой посмотрел вверх на странную мглу, переползавшую через стенку мола.

— Будет гроза, господин.

Мамиллий сделал рукой знак от злых духов и быстро пошел прочь. Часового на триреме не было — на трапе его никто не встретил. Поднявшись на борт, он различил в неумолчном шуме гавани партию бассо остинато — это, как голодные звери, почуявшие на арене пищу, на кораблях рычали рабы. Безмолвствовали только те, что вяло и угрюмо драили палубу триремы. Он прошел мимо них, остановился у борта и посмотрел вниз на «Амфитриту».

Метательная машина рядом с ней выглядела игрушкой. С каждого борта плоскодонной посуды выступало по огромному — мир не видывал таких — колесу с дюжиной лопастей. Между ними по палубе змеился громадный железный стержень, совершенно изуродованный Фаноклом. Четыре кулака сжимали стержень — два толкали вперед, два тянули назад. Кулаки соединялись с железными руками, предплечья которых скользили в бронзовых рукавах. Мамиллий знал, как Фанокл называл эти рукава — поршни, — и поскольку не было другой возможности изготовить их с той немислимой точностью, какой требовал Фанокл, их, как перчатки, сняли с гипсовых колонн, предназначенных для храма Граций.

Грации напомнили ему о Евфросинии, и он повернулся к корме. Между поршнями находилось самое страшное: Талос, медный безголовый великан. Сверкающая сфера ушла по пояс в палубу, четыре вытянутые руки сжимали уродливый кривошип. Между Талосом и кривошипом посреди железных прутьев торчала высокая, как мачта, бронзовая труба — издевка над священным Фаллосом.

Людей вокруг было немного. Раб делал что-то технически сложное с одной из рулевых лопастей, кто-то бросал уголь в трюм. Толстый слой угольной крошки покрывал палубу, борта и колеса. Чистым оставался только ушедший по пояс в палубу Талос, он дышал горячим паром и лоснился от масла. Когда-то «Амфитрита» была зерновой баржей (рабы таскали ее вверх по реке к Риму) — неказистой посудной, уютной и безобидной, от которой всегда пахло старым деревом и мякиной. Но

теперь в нее вселилась нечистая сила. Талос восседал на корабле, насекомое выставило свое жало в сторону открытого моря, ад грохотал.

Из грюма высунулась голова Фанокла. Сквозь пот, заливавший глаза, он посмотрел, сощурившись, на Мамиллию, потряс бородой и вытер лицо ветошью.

— Все почти готово.

— Ты знаешь, что скоро прибудет Император?

Фанокл кивнул. Мамиллий брезгливо покосился на покрытую угольной пылью палубу.

— Ты что, совсем не готовился к его приему?

— Он просил не устраивать церемоний.

— Но «Амфитрита» омерзительно грязна!

Фанокл внимательно оглядел палубу.

— Уголь безумно дорог.

Мамиллий осторожно ступил на борт «Амфитриты».

— Адское пекло.

От котла на него дохнуло жаром, по лицу заструился пот. Фанокл оглянулся на Талос, затем протянул Мамиллию кусок ветоши.

— Пожалуй, теплее, чем обычно,— согласился он.

Мамиллий жестом отказался от ветоши и вытер залитое потом лицо уголком своего элегантного плаща. Теперь он оказался лицом к лицу с Талосом и смог лучше разглядеть его устройство. Прямо над палубой на тыловой части сферы виднелся опутанный пружинами выступ. Фанокл, следивший за взглядом Мамиллия, протянул руку и щелкнул по выступу пальцем, отчего тот покрылся матовым налетом и выпустил клуб пара. Он угрюмо уставился на механизм.

— Видишь? Это предохранительный клапан. Я дал подробные инструкции...

Но мастер добавил к устройству крылатого Борея, который стоял, едва касаясь клапана пальцем ноги и надувая щеки. Мамиллий вымученно улыбнулся:

— Симпатично.

Пружины напряглись, со свистом вырвалась струя пара. Мамиллий проворно отскочил. Фанокл потер руки.

— Ну вот мы и готовы.

Он приблизился к Мамиллию, обдав его запахом пота.

— Я уже выводил «Амфитриту» в центр гавани, а однажды и в залив. Она работает легко и уверенно — как звезды в небе.

Отводя взгляд от Фанокла, Мамиллий увидел в сияющем боку Талоса свое искаженное лицо. От заостренного носа и рта оно растекалось по сфере во все стороны. Как бы он ни вертел головой, это лицо с холодными и безжалостными рыбьими глазами продолжало неотступно следить за ним. Жар от котла и дымящей трубы был невыносим.

— Я хочу выбраться из этого...

Под изогнутыми железными стержнями он пробрался на нос корабля. Воздух здесь был прохладнее, и, сняв шляпу, он стал ею обмахиваться как веером. Фанокл тоже прошел вперед, и они остановились, опершись спинами о фальшборт. На баке триремы, всего в нескольких локтях над ними, работали невольники.

— От этого корабля можно ожидать только зла и бед.

Фанокл вытер руки и бросил грязную ветошь за борт. Оба повернулись и посмотрели, как она раскачивается на волнах. Фанокл поднял большой палец, показывая за спину.

— Зла и бед этот корабль не принесет. Только пользу. Ты что, хотел бы работать, как они?

Мамиллий поднял голову и взглянул на рабов. Они столпились вокруг металлического краба; он видел его почти целиком, борт триремы загораживал от него только клешни.

— Я тебя не понимаю.

— Вот сейчас они установят нок-тали точно по центру и потянут краба вверх — все десять тонн разом. Пар бы сделал это за них без суеты и напряжения.

— Краба наверх мне тащить не надо. Я не раб.

Став на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть краба, они замолчали. Это была устрашающе самодовольная глыба свинца и железа; если бы ее когтистые лапы не упирались в каменные валуны, палуба наверняка бы не выдержала. Назначение

громадины было сугубо утилитарным, во всей Римской империи не сыскать было более практичного монстра — он служил только затем, чтобы падать с высоты на вражеские корабли, пробивать их днища и пускать не мешкая ко дну; но та же сила, что превратила бронзовую затychку бочонка в бабочку и водрузила Борея на предохранительном клапане, оставила свои следы и на крабе. Чудовищу нарисовали глаза и наметили конечности. Это придало образине такую значительность, что рабы ухаживали за ней подобострастно, они мыли ей лапы так, будто имели дело с чем-то более серьезным, чем обыкновенная груда металла. Часть рабов разворачивала десятисаженную рею — они устанавливали систему блоков точно над кольцом.

Мамиллий отвернулся и посмотрел на палубу «Амфитриты».

— Жизнь, Фанокл, — удручающая грязь.

— Я ее вычищу.

— Пока ты только пачкаешь.

— Ничего, мы еще проживем без рабов и без армий.

— Чем тебе не угодили рабы и армии? Может, еще скажешь: «Будем жить без пищи, воды и женщин»?

Они снова замолчали, вслушиваясь в портовый грохот и крики на триреме:

— Трави помалу!

— Сегодня вечером Император собирается испробовать скороварку. Ту, что ты сделал для него.

— Он забудет обо всем, когда опробует «Амфитриту».

Мамиллий посмотрел, прищурившись, на солнце. Жара спала, но он продолжал обмахиваться шляпой.

— Досточтимый Мамиллий... он уже простил нас за ту, неудачную скороварку?

— Простил, наверное.

— Заводи канат. Взяли. Раз, два. Раз, два.

— В конце концов, без того эксперимента я бы так никогда и не додумался до предохранительного клапана.

— Он сказал, что не стоило начинать с мамонта. Ругал меня.

— А сейчас?

Мамиллий покачал головой.

— Но троих поваров и северное крыло виллы ему тем не менее жаль.

Фанокл, с которого все еще градом лил пот, кивнул. Потом, вспомнив что-то, нахмурился.

— Как ты думаешь, он это имел в виду, когда сказал: «И по возможности чувство опасности»?

Раб, возившийся в трюме у топки котла, вылез на палубу; Мамиллий с Фаноклом лениво наблюдали за ним. Он бросил за борт ведро на длинной веревке, вытащил его и вылил воду на свое обнаженное тело. Черные струйки воды, смешанной с угольной пылью, зазмеились по доскам. Раз за разом обливал он себя вонючей забортной водой.

— А ну-ка вымой здесь палубу! — крикнул Фанокл.

Раб в раздумье поглаживал свои грязные волосы. Потом зачерпнул еще одно ведро и, широко размахнувшись, с силой выплеснул воду — ноги Мамиллия и Фанокла обдало жидкой грязью. С негодующими криками они бросились вперед, и в тот же миг раздался треск рвущегося под непомерной тяжестью каната. «Амфитрита» клонула носом, накренилась и издала громкий клацающий звук — казалось, она с хрустом вгрызлась зубами в собственные деревянные шпангоуты. Послышался гул тупого удара о дно бухты, и с неба на них обрушились потоки воды, нечистот, грязи, масел и дегтя. Фанокл рухнул ничком, Мамиллий согнулся под напором водяного смерча, от потрясения он был не в силах даже выругаться. Ливень прекратился, но палубы залило так, что они стояли по пояс в воде. Талос в ярости изрыгал огромные клубы пара. Затем вода схлынула, палубы заблестели, над гаванью повис неистовый рев. Наконец Мамиллий распрямился и выругался — шляпа его теперь видом и запахом напоминала коровью лепешку, мокрая и грязная одежда противно липла к телу. Облегчив душу, он повернулся и взглянул на то место, где они только что стояли с Фаноклом. Краб снес шесть футов фальшборта и сорвал обшивку палубы, оголив расплющенные концы бимсов. С реи триремы прямо в воду свисал толстый канат, желтая жижа вокруг него все еще булькала и пузырилась. На триреме шла драка, появившиеся солдаты били дерущихся рукоятя-

ми мечей. Из клубка тел вырвался человек. Он соскочил на причал, схватил большой камень и, прижав его к животу, через стенку мола нырнул в море. Драка прекратилась. Двое телохранителей Императора в немом отчаянии бились головами о мачту.

Залепанное грязью лицо Мамиллия постепенно бледнело.

— Это первое покушение на мою жизнь.

Фанокл тупо уставился на развороченный борт. Мамиллия затрясло.

— Я никому не делал зла.

Капитан триремы проворно спрыгнул на палубу «Амфитриты».

— Не знаю что и сказать, господин.

Неистовый рев не утихал. Казалось, чьи-то глаза, тысячи глаз следили за ними над изменчивым ковром водяных бликов. Мамиллий в ужасе озирался по сторонам, глядяваясь в молочно-белую пустоту воздуха. Нервы его напряглись до предела.

Фанокл жалобно заскулил:

— Они ее повредили.

— А пошел ты со своим вонючим кораблем...

— Господин, раб, перерезавший канат, утопился. Мы ищем главаря бунтовщиков.

Мамиллий завопил:

— Oloito!³

Изысканное слово сыграло роль предохранительного клапана. Мамиллий унял дрожь, но расплакался. Фанокл поднес к лицу трясущиеся руки и смотрел на них так пристально и пытливо, будто в них была скрыта какая-то ценная информация.

— Аварии случаются. Вот только позавчера толстенная доска сорвалась и пролетела всего лишь в нескольких вершках от моей головы. Но мы живы.

Капитан вытянулся в знак приветствия.

— С твоего позволения, господин.

И он вспрыгнул на борт триремы. Мамиллий повернул к Фаноклу заплаканное лицо.

— Ну откуда у меня враги? Лучше бы меня убило.

Неожиданно ему показалось, что все в этом мире опасно и неустойчиво... все, кроме таинственной красоты Евфросинии.

— Фанокл... отдай мне твою сестру.

Фанокл оторвал взгляд от своих рук.

— Мы, господин, свободные люди.

— Я имею в виду в жены.

Фанокл хрипло закричал:

— Да сколько можно! Доска, краб... а теперь еще и это!

Дымчато-белый ревуший ад сомкнулся над Мамиллием. Где-то в вышине зарокотал гром.

— Я не могу без нее жить.

Фанокл пробормотал, не сводя глаз с Талоса:

— Ты даже лица ее не видел. И потом, ты ведь внук Императора.

— Он сделает все, что я захочу.

Фанокл свирепо покосился на собеседника.

— Сколько тебе лет, господин? Восемнадцать? Семнадцать?

— Я уже взрослый мужчина.

Фанокл состроил гримасу, которая изображала у него презрительную ухмылку.

— В силу установленных людьми законов.

Мамиллий стиснул зубы.

— Извини меня за слезы. Это от потрясения. — Он громко икнул. — Ты меня прости?

Фанокл смерил его взглядом.

— А больше ничего не хочешь?

— Хочу. Евфросинию.

Мамиллия снова кинуло в дрожь. Жизнь вновь пустила свои нежные ростки. Но Фанокл хмурился.

— Это не в моей власти, господин.

— Ни слова больше. Мы поговорим с Императором. Он тебя убедит.

У входа в туннель громыхнул салют.

³ Искаженное древнегреческое слово типа «черт возьми».

Император шагал не по возрасту быстро. Впереди бежал глашатай:

— Дорогу Императору!

Свита состояла из телохранителя и нескольких женщин — лица дам прятались под вуалями. Мамиллий в панике заметался по палубе, но женщины отошли в сторону и заняли места вдоль стенки мола. Фанокл рукой заслонил глаза от солнца.

— Он привел ее посмотреть демонстрацию.

Капитан триремы семенил рядом с Императором, что-то объясняя ему на ходу. Император задумчиво кивал своей посеребренной головой. Он взошел по трапу на трирему, пересек палубу и посмотрел вниз на диковинный корабль. Даже в такой обстановке сухошащая фигура в белой тоге с пурпурной каймой несла на себе печать спокойного величия. Он не стал опираться на протянутую руку и сам сошел на палубу «Амфитриты».

— Не трать слов на рассказ о крабе, Мамиллий. Я все уже знаю от капитана. Поздравляю тебя со счастливым спасением. И тебя, конечно, тоже, Фанокл. Демонстрацию придется отменить.

— Цезарь!

— Понимаешь, Фанокл, сегодня вечером меня на вилле не будет. Твою скороварку мы испробуем как-нибудь в другой раз.

И снова Фанокл застыл с разинутым ртом.

— Дело в том, — спокойно продолжал Император, — что в это время мы будем в море на «Амфитрите».

— Цезарь!

— Остайся, Мамиллий. У меня есть для тебя новости. — Он помолчал, внимательно прислушиваясь к шуму гавани. — Не любит меня народ.

Мамиллия снова затрясло.

— И меня тоже. Чуть не убили.

Мрачная улыбка мелькнула на губах Императора.

— Это не рабы, Мамиллий. Я получил донесение из Иллирии.

Под грязью, покрывавшей лицо Мамиллия, угадывалось выражение испуганного понимания.

— Постумий?

— Он внезапно прервал военную кампанию и сосредоточил войска в морском порту. Сейчас он обшаривает побережье и забирает все, что ни попадется под руку, — от триремы до рыбацкой лодки.

Мамиллий быстро и неловко шагнул, едва не попав в ручищи Талоса.

— Решил отдохнуть от героических дел.

Император подошел к звуку почти вплотную и осторожно прикоснулся пальцем к его мокрой тунике.

— Нет, Мамиллий. Он просто узнал, что у внука Императора проснулся интерес к оружию и боевым кораблям. Будучи реалистом, он боится твоего влияния. Не исключено, что злонамеренные люди подслушали злополучную беседу на галерее. Нельзя терять ни минуты. — Он повернулся к Фаноклу. — Нам нужен и твой совет. Как скоро мы сможем дойти на «Амфитрите» до Иллирии?

— В два раза быстрее, чем на твоих триремах, цезарь.

— Мамиллий, мы отправляемся вместе. Я — чтобы убедить Постумия, что я все еще император, а ты — чтобы разубедить его в том, что желаешь им стать.

— Но это же опасно!

— Тогда оставайся и жди, когда тебе перережут горло. Не думаю, что Постумий позволит тебе покончить с собой.

— А тебе позволит?

— Спасибо, Мамиллий. Несмотря на все мои тревоги, я растроган. А теперь в путь.

Фанокл стоял, прижав кулаки ко лбу. Император кивнул в сторону мола, и через палубу триремы цепочкой потянулись рабы с поклажей. С кормы торопливо прибежал маленький сириец. Глотая слова, он заговорил с Мамиллием:

— Господин, это невозможно. Императору здесь негде спать. И посмотри на небо.

Небо было затянуто облачной дымкой — ни единого синего островка. Солнце расплылось в большое светлое пятно, готовое вот-вот скрыться за облаками.

— И как я смогу держать точный курс, когда неба не видно и нет ветра?

— Это приказ. Милый дедушка, давай сойдем на берег хотя бы на минутку.

— Зачем?

— Корабль такой грязный...

— Да и ты, Мамиллий, не чище. От тебя отвратительно пахнет.

Сириец бочком придвинулся к Императору.

— Если это приказ, цезарь, я сделаю все возможное. Но позволь нам сначала вывести корабль из гавани. Ты сможешь перейти на него со своей галеры.

— Да будет так.

По триreme они прошли вместе. Потом Мамиллий, отвернувшись от женщин, бегом скрылся в туннеле. Император дошел до галеры, стоявшей на мертвом якоре у кормы триremы, и удобно устроился под балдахином. Только теперь он увидел, насколько нелеп и уродлив новый корабль.

Он тихо покачал головой:

— Не по душе мне все эти новшества.

Толпу рабов с палубы «Амфитриты» постепенно засасывало в трюм, несколько человек торопливо заканчивали последние приготовления. Команда триremы толкала корабль Фанокла вальками весел, и наконец он сдвинулся вбок. Швартовы с плеском упали в воду, матросы втащили их на борт. Сидящий в пурпурной тени Император смотрел, как рулевой, орудуя веслами, старается прижать корму и освободить носовые полуклюзы. Из бронзового брюха Талоса вырвались струи пара. Потом он увидел, что Фанокл высунул голову из трюма и взмахом руки остановил рулевого. Он что-то прокричал вниз, где находилось чрево машины; струя пара увеличилась — свист стал таким пронзительным, словно воздух скребли напильником, — а потом исчезла совсем. В ответ с кораблей и из домов донесся ворчливый рев — и вот «Амфитрита» лежит в центре гавани огромной беззащитной ящерицей.

Император обмахивался рукой.

— Я всегда знал, что в поведении толпы нет ничего загадочного.

Внутри корабля что-то хрюкнуло, потом раздался металлический язг. Все четыре руки Талоса пришли в движение, две поползли вперед, две назад. Колеса медленно повернулись, левое — в одну сторону, правое — в другую. Лопасты опускались — шлеп, пауза, шлеп! — разбрызгивая грязную воду. Выныривая, они бросали ее высоко вверх, откуда она ливнем устремлялась на палубу. На корабле не осталось ни единого сухого места, над ним вновь повисло облако пара — на сей раз пар валил от раскаленного котла и трубы. Из трюма послышался дикий вопль, на палубу вскочил Фанокл и, замерев, принялся внимательно изучать великий потоп — сквозь прищур глаз он смотрел так зачарованно, будто в жизни не видывал ничего интереснее. Вперед «Амфитрита» не продвигалась, но вертелась вокруг своей оси; вода из-под лопастей фонтанами взлетала в воздух. Фанокл крикнул что-то в люк, из клапана со свистом вырвался пар, колеса, скрипнув, остановились; с «Амфитриты» струями стекала вода — казалось, она только что вынырнула со дна бухты. На застрявший в центре гавани корабль, свистящий предохранительным клапаном, обрушился тысячеголосый крик. В мареве над холмами блеснула молния, и почти сразу же пророкотал гром.

Император украдкой сделал знак, отгоняющий злых духов.

Молния эта, однако, была ниспослана богами явно не к месту. Ожидая, что «Амфитрита» вот-вот погибнет от гнева провидения, Император прикрыл глаза рукой, но все же успел заметить на воде еще одно дурное предзнаменование. За стенкой мола, в открытом море, сквозь клубы пара виднелось что-то внушительное. Император — времени на раздумье не было — решил, что это вершина скалы или небольшого утеса. Но скала росла.

Император поспешно выбрался на берег, подошел к тому месту, где сидели женщины, по ступеням поднялся на стенку мола. Скала выплыла из тумана. Это была носовая часть громадного боевого корабля, из его трюма несли мерный барабанный бой. Корабль выравнивал курс, чтобы пройти точно посередине узкой полоски воды между двумя молами. Он надвигался неумолимо — паруса убраны, с обоих носов свисает по крабу, метательные машины нацелены на порт, палубы сверкают сталью и бронзой, стрела тарана рассекает воду, словно плавник акулы. Барабан перешел на новый ритм. Пятнадцатисаженные весла прижались к корпусу — слаженность операции была такой, будто ею руководил мировой разум. Корабль скользил через узкий проход, его таран уже втиснулся в гавань. Снова изменился ритм бара-

банного боя. Минуя молы, весла пара за парой разворачивались, опускались в воду и табанили. На шканцах корабля Император заметил золотисто-алое знамя, древко которого было увенчано грозным и мстительным орлом. Он спустился со стенки и, не отвечая на испуганные вопросы женщин, поспешил на свою галеру под защиту бадахина.

На борту «Амфитриты» тоже заметили боевой корабль. Император видел, как Фанокл и капитан спорили между собой, размахивая руками. Фанокл нырнул в люк, струя пара исчезла, лопасти колес снова пришли в движение. В тот же миг капитан заметался по палубе, блеснул металл, и якорь «Амфитриты» плюхнулся в воду. А барабаны уже выбивали следующий приказ. Как распростертые крылья, весла боевого корабля замерли в горизонтальном положении. Корабль скользил, теряя ход, словно огромная морская птица, изготовившаяся сесть на воду. Таран ударил «Амфитриту» в правое колесо и смял его. По жестким спицам весел поползли люди, они прыгали вниз, раздавали удары рукоятями мечей и тупыми концами копий. Ворчливо-шумная гавань одобрительно заревела. Фанокла и капитана подняли на веслах и швырнули на палубу боевого корабля. Весла снова заработали, таран отошел от расплющенного колеса. «Амфитрита», едва двигая колесами, закружилась вокруг собственного якоря. Боевой корабль разворачивался к молу, где стояла трирема и восседал Император.

Император задумчиво пощипывал пальцами нижнюю губу. У входа в гавань маячили новые утесы, военные корабли кружили на месте, ожидая команды войти в порт. Еще раз сверкнула молния и прогрехотал гром, но на этот раз Император не обратил на них внимания. Мамиллий стоял у императорской галеры с видом человека, которого застигли врасплох в самый неподходящий момент. Император, скосивший глаза на Мамиллия, был ошеломлен не менее его.

Мамиллий облачился в военные доспехи. Его нагрудник поражал воображение аллегорическим сборищем героев и кентавров. Алый плащ ниспадал до пят. Ножны из красной кожи, в которых покоился меч, гармонировали с красной кожаной отделкой высоких башмаков, доходивших почти до колен. Бронзовый шлем, который он держал под мышкой, по замысловатости рисунка и качеству материала не уступал нагруднику.

Император закрыл на мгновение глаза и прошептал:

— Жених Беллоны.

Мамиллию стало немного не по себе. Он зарделся.

— Я думал... раз уж мы едем на войну...

Император изучал детали его военной формы.

— Теперь я понимаю, как пали Карфаген и Троя.

Мамиллий краснел, бледнел и, покрываясь обильным потом, снова краснел.

— Ты знаешь, чьи это корабли?

— Я...

Император горестно покачал головой.

— В сложившейся обстановке женский наряд вызвал бы меньше подозрений и кривотолков.

Все это время Мамиллий закрывался от женщин полой своего плаща. Когда борт боевого корабля поравнялся с триремой, он увидел, как полощется на шканцах золотисто-алое знамя. Таран корабля оказался рядом с императорской галерой. Еще раз кровь отхлынула от лица Мамиллия и больше уже не возвращалась.

— Что же нам делать?

— Чтобы что-то делать, необходимо время, а у нас его нет. Впрочем, можешь надеть свой шлем.

— У меня от него голова болит.

— Дипломатия, — сказал Император. — У него солдаты — любо-дорого посмотреть! А у нас — голова на плечах. Будет очень скверно, если мы не сумеем все уладить.

— А как же я?

— По правде сказать, в Китае ты бы сейчас был в большей безопасности.

Император взял Мамиллия за руку и ступил на берег. Он пошел по молу к боевому кораблю. Мамиллий поплелся следом. Толпа с палубы прибывшего корабля хлынула на трирему, оттуда на мол; дальний его конец был забит до отказа. Там стояли пленные, жалкий и униженный сириец, рабы. Там же были близоруко озирвавшийся, взъерошенный Фанокл и солдаты, слишком много солдат. Навьюченные тю-

ками, они, казалось, собрались на гигантскую барахолку. На всех красовались желто-красные ленты. При виде пурпурной каймы на белой тоге они застыли по стойке «мирно» даже под тяжким бременем награбленной добычи. Император остановился у трапа. Позади него у стенки мола расположилась стайка женщин в вуалях; их перепуганный вид вызывал в памяти хор троянских пленниц из трагедий Еврипида. Низко прогудела большая духовая труба, лягнуло оружие, флаг на мачте спустили. По трапу размашистым уверенным шагом сошел высокий темноволосый человек, он был крепко сбит, вооружен и настроен решительно.

— Добро пожаловать домой, Постумий,— с улыбкой сказал Император.— Твой приезд отменяет решение Императора навестить тебя...

3. ГНЕВ ГРОМОВЕРЖЦА

Постумий помедлил. Золотисто-алое перо его шлема колыхалось в локте над головой Императора. На широком оливково-смугом лице появилось недоверчивое выражение.

— Где ты спрятал свои войска?

Император удивленно поднял брови:

— Несколько часовых стоят, как обычно, в саду в, видимо, еще с полдюжины — у туннеля. А ты, Постумий, как я вижу, путешествуешь с внушительной свитой.

Постумий повернулся и отдал своим офицерам несколько коротких распоряжений. Отряд груженных легионеров пробежал по молу и выстроился так, чтобы отрезать Императору единственный путь отступления. Женщины взвыли, потом перешли на монотонные причитания. Император сделал вид, что ничего не заметил, и повел Постумия к своему кораблю. «Амфитрита» продолжала медленно кружиться.

Постумий остановился.

— Мне давно следовало навеститься домой.

В небе снова загромыхало. Император оглянулся на плотный строй солдат, переродивших мол у туннеля.

— Не меньше сотни, я думаю. Почетный караул в честь Императора?

Постумий фыркнул.

— Можешь считать, что так. Скоро в гавань войдут новые корабли. Их будет достаточно, чтобы обеспечить наше полное единодушие по всем вопросам текущей политики. Но какой подарок судьбы, что я встретил вас обоих на молу!

Мамиллий откашлялся и заговорил высоким срывающимся голосом:

— Постумий, ты ошпабаешься.

— Ба... Мамиллий в военных доспехах.

— Это для красоты. Императором я быть не хочу.

— Вот оно что!

Постумий шагнул к Мамиллию, тот испуганно попятился, наступив на свой плащ. Постумий ткнул ему пальцем в лицо.

— Ты, может быть, и не хочешь. Но он, чтобы улажить тебя, Адриатическое море ложкой вычерпает.

Лицо Императора покрылось нежным румянцем.

— Ты, Постумий, никогда не искал моего расположения, а потому никогда не страдал без него. Если я выказал недомыслие, наивно полагая, что могу наслаждаться обществом Мамиллия с риском разве что обычного скандала, то я же проявил и мудрость, считая тебя при всех наших расхождениях своим наиболее достойным преемником.

— У меня на этот счет другие сведения.

— Может быть, мы не будем обсуждать на людях наши разногласия?

Постумий пропустил последние слова мимо ушей и выудил из-под нагрудника сложенный лист бумаги.

— «Кому: Постумию, законному наследнику и прочая.

От кого: от СIII.

На молу рядом с туннелем идут работы по строительству и переоборудованию боевых кораблей и другой военной техники. Император и досточтимый Мамиллий проявляют большую личную заинтересованность в модернизации корабля под названием «Амфитрита» (бывшая зерновая баржа, в Морском регистре не значится) и металлической машины (регистрационный № VII), которая установлена на молу и наведена ча

боевые цели в районе открытого моря. Они же проводят крупномасштабные эксперименты по разработке новых методов отравления пищевых продуктов. Досточтимый Мамиллий находится в состоянии крайнего возбуждения и нервической приподнятости...»

— Постумий, я клянусь...

Постумий повысил голос:

— «Под видом сочинения стихов он ведет секретную переписку с Императором и некоторыми другими лицами...»

Лицо Мамиллия пылало.

— Оставь в покое мои стихи!

— «Код пока не дешифрован. Передан в отдел ХLI Центрального Разоблачительного Управления; там обнаружили, что его составляют цитаты из Мосха, Эринны, Мимнерма и других, еще не установленных источников. Дешифровка продолжается.»

Слезы бессильного гнева катились по щекам Мамиллия.

— Ты — грязная свинья!

— В этой жестокости, Постумий, не было никакой необходимости.

Постумий свернул бумагу и сунул ее за нагрудник.

— Поиграли, цезарь, и хватит. Пора вводить регентство.

— Он не хочет быть императором.

Постумий глумливо ухмыльнулся в сторону Мамиллия.

— Он им и не будет.

Доспехи Мамиллия слабо позвякивали. Император положил руку на плечо Постумия.

— Раз уж корабль и метательная машина так тебя беспокоят, я все объясню. Будь справедлив.— Он повернулся к офицерам и сказал, повысив голос:— Грека ко мне.

Постумий кивнул в знак согласия. Все замерли в ожидании. Скоро Фанокл стоял перед ними, растирая затекшие руки.

— Все дело в этом человеке.

— Досточтимый Постумий... я изменяю мир.

— Это у него такая своеобразная манера говорить, Постумий.

— Рабов заменяют уголь и железо. Мы соединим самые отдаленные точки земли.

Постумий засмеялся, но от его смеха никому веселее не стало.

— И люди будут летать.

Постумий повернулся к офицерам и кивком подозвал одного из них.

— Полковник... почему корабли не входят в гавань?

— Плохая видимость, генерал.

— К черту плохую видимость. Дайте сигнал или пошлите нарочного.

Он снова повернулся к Фаноклу.

— Этот фантастический корабль...

Фанокл всплеснул руками.

— Самое быстрое судно в мире. Цивилизация — это вопрос коммуникаций.— Он нахмурился, подыскивая слова попроще.— Досточтимый Постумий, ты — солдат. В чем твоя самая большая трудность?

— У меня их нет.

— Ну а если бы были?

— Не дать себя обскакать.

— Ты видишь? Даже война — вопрос коммуникаций. Вспомни хитрости, на которые пустился Ксеркс, пытаясь завоевать Грецию. На «Амфитрите» он переплыл бы Эгейское море за день, даже против ветра.

Дрожащий от страха Мамиллий услужливо вставил:

— Вспомни Гая Юлия Цезаря, Александра Македонского, Рамсеса...

Фанокл склонил голову набок и развел руками, показывая, что нет ничего проще.

— Понимаешь, господин,— коммуникации.

Император задумчиво покачал головой:

— Чем они хуже, тем лучше.

Снова проворчал гром. Постумий решительно направился к метательной машине, женщины в испуге съезжились. Шум в гавани нарастал.

— А это?

— Пришлось заточить молнию в бочонок. Когда жало о что-нибудь ударится, молния вылетит на свободу. И тогда в земле образуется дымящаяся дыра.

Император сделал знак от злых духов.

— А зачем нужна бабочка?

— Антитетонатор снаряда. Без него снаряд взорвется еще в катапульте. Как только бочонок пролетает какое-то расстояние, бабочка отлетает.

— Ну а если он упадет на городскую стену, то и вместо нее будет дымящаяся дыра?

— Да, цезарь.

— А если на армию?

— Можно и на армию, надо только найти подходящий бочонок.

Постумий внимательно разглядывал Фанокла.

— Ты только одну такую штуковину сделал?

— Да, господин.

— Даже не знаю, сразу удавить тебя или употребить на что-нибудь другое.

— Меня удавить?

Неожиданно гавань взревела так, что далее не обращать на это внимания стало невозможно.

Все одновременно повернулись.

«Амфитрита» — поняли они сразу. Она все вращалась и вращалась вокруг своего якоря в центре гавани, и такая вызывающая эксцентричность не могла, разумеется, не переполнить чашу терпения всех, у кого в жилах текла кровь. Голые люди ныряли с кораблей и причалов, и вот уже над водой замелькала сотня рук.

Фанокл закричал:

— Да что же это?..

Постумий быстро отдавал распоряжения полковнику:

— Все войска высадить здесь, на этом молу. Проследи, чтобы ни Император, ни его свита не пожелали удалиться отсюда. Желания Императора для нас священны. Ты понял?

— Да, генерал.

Постумий побежал к галере, но Император окликнул его:

— Чтобы не терять времени даром, я, пожалуй, устрою смотр собравшимся на молу великолепным парням.

Полковник взглянул на Постумия — тот добродушно рассмеялся:

— Делай, как велит тебе Отец Отечества.

Дуга пловцов стянулась к «Амфитрите», под барабанную дробь в гавань входил второй боевой корабль. Фанокл в отчаянии заламывал руки.

— Останови их, цезарь!

Люди облепили «Амфитриту» — они рвали лопасти и били бронзового монстра попадавшими под руку тяжелыми предметами. Часовой, которого Постумий оставил на ее борту, плюхнулся в воду, помелькав в воздухе руками и ногами. Из трюма корабля потянулась струйка дыма. Голые фигуры стали прыгать за борт — в центре палубы уже вырывались наружу тонкие, едва различимые, почти еще призрачные язычки пламени. На втором боевом корабле заметили опасность и начали энергично табанить. Весла разбивались о мол, но обратный путь был закрыт. Третий корабль, возникший из знойного марева, врезался своим тараном во второй. Еще несколько дюжин весел разлетелись в щепы, корабли потеряли управление, их медленно понесло на «Амфитриту». Постумий, изрыгая проклятия, прыгнул в императорскую галерею.

— Отчаливай! Весла на воду!

— Отряд к смотру готов, цезарь.

— Полковник, а как же те солдаты, между мной и туннелем? Пусть и они становятся в строй.

— Цезарь, я получил приказ..

— Вот уж не думал, полковник, что ты и твои brave ребята не справятся со стариком и полудюжиной женщин, надумай они совершить побег!

Полковник слотнул слюну.

— Возможно, Отец Отечества в последний раз инспектирует свои войска. И ты ослушаешься, полковник? Я ведь тоже солдат.

Кадык полковника заходил вверх-вниз. Его распирало от волнения и понимания важности момента. Он с восторженным подобострастием отдал честь Императору.

— На пара-а-ад бего-о-ом марш!

— И оркестр,— добавил Император.— Я, кажется, где-то видел оркестр. Как насчет оркестра, полковник?

Четвертый боевой корабль плавно входил в гавань. Бронзовый котел «Амфитриты» был уже едва различим в клубах дыма и языках пламени. Лопасты колес быстрее зашлепали по воде. Якорный канат натянулся. Постумий гаркнул:

— Табань, чер-р-рт тебя подери!

Флейты, букцины и тубы. Трубка литууса опоясывает торс, гигантский колокольчик раструба повис над плечом. Барабаны, литавры и медь. Все в алых и золотых тонах.

Войска в парадном строю заполнили молот триремы до дальнего конца. Оркестр строился на маленьком пятачке между солдатами и катапультной. Женщины заламывали руки. «Амфитрита» кружилась, выбрасывая вверх дым и пламя. Четвертый корабль пытался обогнуть ее и две другие триремы. Пятый изготовился войти в гавань.

— Оркестр!

«Амфитрита» завертелась быстрее. Стравив пару саженей якорного каната, она описала более широкий круг. задела два сцепившихся корабля — такелаж вспыхнул. Постумий в бешеной злобе скакал по галере.

— Отпускай крабы!

«Амфитрита» выпустила еще сажень-другую каната. Теперь на ее пути оказалась императорская галера: удар, и от ее царственного величия не осталось и следа. Круг за кругом выписывала она по воде под неумолкающие вопли Постумия, не в силах ускользнуть от огненного дыхания «Амфитриты».

Оркестр заиграл.

— Развернутым строем, полковник?

Полковник колебался.

— Здесь нет места, цезарь. Солдаты попадают в воду.

— В таком случае,— сказал Император,— снаряжение и добычу им придется взвалить на себя, иначе я не смогу пройти между рядами.

Оркестр маршировал между отрядом и катапультной: десять шагов вперед, десять назад. Великолепные музыканты! Великолепный строй великолепных солдат. Великолепные моряки на невыразимо великолепных боевых кораблях. Женщины чувствовали, что ради таких великолепных мужчин стоило оказаться во власти генерала Постумия и поставить жизнь на карту. Вздыхали груди, блестели взоры, от восторга замирала душа. Мамиллий надел шлем.

Император остановился у левофлангового первой шеренги.

— Так сколько же лет ты служишь в армии, дружище?

Якорный канат «Амфитриты» прогорел и с треском лопнул. Равномерное круговое движение сменилось беспорядочным рысканием. Она задела за швартовы торгового судна, которое стояло у склада,— огонь мгновенно перекинулся на берег.

— Крабы... крабы отпускайте!

И тотчас же на кораблях каждой овладела одна мысль — немедленно выбраться из гавани. Горящий боевой корабль, заваливаясь кормой, медленно проплыл мимо мола — строй солдат обдало жаром. Все пространство гавани вдалеке от ужасного дыхания пылающей «Амфитриты» было забито большими и малыми судами, давившими друг друга в попытках выбраться на спасительную открытую воду, подернутую легкой дымкой. А надо всем этим месивом неслись раскаты грома, сверкали молнии и играл оркестр.

— Где это так изуродовали твоё лицо? Копьем задела? А может, бутылкой?

Легионеры стояли навытяжку по стойке «смирно» под грузом военных доспехов (64 фунта⁴), походного снаряжения, завоеванной добычи и ужасающей жары. Полковник так внимательно следил, как на его носу набухает капля пота, что оба его зрачка намертво застыли у переносицы. В первой шеренге Император не пропустил ни одного солдата.

⁴ Фунт в Древнем Риме весил 327,5 грамма.

Затравленной стаей кружились боевые корабли в центре гавани — «Амфитрита» висела у них на хвосте. Один из капитанов, заметив галеру, застыл на цканцах в приветствии Постумию. В этот момент то ли канат прогорел, то ли кто-то переусердствовал — краб отпустили. Черная звездообразная дыра зазияла на том месте, где только что стоял капитан. Он пошел на дно вместе с кораблем.

— Это же надо, какой детина вымахал. Любишь армию? Ты посмотри, какая мятина. Наверное, угодило камнем из пращи. Только пращой можно сделать такую ямину. А ты как думаешь, полковник? Не отдавай щит, если даже интендант попытается всучить тебе новый. Скажи, Император не велел. А дети у тебя есть? Ни одного? Это не годится, сразу после смотра дадим тебе отпуск.

Слово «отпуск» поползло по рядам. Легионеры решили стоять насмерть, но кое-кто уже дрогнул. Император продвигался вдоль первой шеренги с удручающей неторопливостью.

— Почему мне так знакомо твое лицо? В Девятом легионе не служил? Грецию помнишь? И тебя до сих пор не повысили? Полковник, это не дело, я прошу тебя разобраться.

Второй боевой корабль выбирался сквозь скопище мелких суденышек. В погоне за императорской галерой «Амфитрита» неслась к выходу из гавани.

— Чем ты, дружище, лечишь такой здоровый фурункул?.. Полюбуйтесь-ка на этого парня — вот уж вояка так вояка. И как только тебе удастся держать три таких здоровенных тюка? Звать-то тебя как?

Вдруг раздался оглушительный лязг, и перед Императором стало пусто. Легионер рухнул.

— Я уже говорил, что теперь, когда наследник привел их к Отцу, пора подумать об их отдыхе.

— Цезарь...

— Где же тебе глаз-то выбяли? Ты уж побереги оставшийся.

Гр-р-рох.

На воде горело вытекавшее из складов масло. Густое облако черного дыма на время скрыло ряды солдат.

Император доверительно говорил полковнику:

— Ты видишь, как причудливо сплелась здесь трагедия с комедией. Чьи приказы ты будешь выполнять? Эти солдаты должны тушить пожар.

Зрачки полковника на минуту вернулись в нормальное положение.

— У меня приказ, цезарь.

— Вот и отлично. Ну, дружище, армию любишь? Мужчину она из тебя сделала?

Гр-р-рох.

— Дисциплина, — сказал Император правофланговому, — полезная штука.

— Как понимать тебя, цезарь?

— Я имел в виду — совершенно необходимая.

Император стоял в конце мола и смотрел на черную от копоти воду гавани. Бесперывным потоком проплывали мимо него опаленные корабли. Оркестр заглушал человеческие голоса, но, судя по искаженным лицам, они кричали о чем-то важном и очень личном. «Амфитрита» и императорская галера прошли мимо почти одновременно.

— Скажи мне, сержант, если я прикажу: «Направо, шагом марш», ты выполнишь мою команду?

Старый сержант с красным обветренным лицом был стреляный воробей, такого на мякине не проведешь. Его лобыча, стоявшая всего остального барахла на молу, уместилась в маленьком мешочке под нагрудником. Но даже с него пот лил в три ручья.

— В полной выкладке, цезарь? — На мгновенье его глаза, привыкшие есть начальство, метнулись в сторону и вниз. — Я-то с удовольствием.

Взгляд Императора подернулся поволокой — и виной тому были не только дым и пот.

— Генерал! Цезарь! — вырвалось у полковника. Меч в его руках дрожал, на шее вздулись толстые, как ветви старого плюща, вены.

Император понимающе улыбнулся и начал пробираться между шеренгами солдат. Он протиснулся в туннель из громадных туюков, ноздри защебетало от тяжелого спертого воздуха, ряд выпученных, налитых кровью глаз неотрывно смотрел на него слева. Правда, там, где отборные солдаты Постумия лежали в беспамятстве на спинах, дышать было полегче — в живом коридоре образовались вентиляционные окна. Полковник, Мамиллий и Фанок гуськом пробирались за Императором. В панический гам, повисший над городом, гаванью и кораблями, время от времени врывался громкий лягз — это один за другим падали легионеры.

Боевые корабли исчезали в знойном мареве открытого моря, а маленькие суденышки уже спешили назад. Ход «Амфитриты» замедлился. Как только котел ее разогревало пламенем пожара, она, шлепая лопастями, делала неловкий рывок вперед. Но колеса выбрасывали вверх столько воды, что костер заливало, и она постепенно останавливалась. Уморительными скачками двигалась «Амфитрита» — предвидеть, куда она рванется в следующий миг, было выше человеческого разумения. Корпус ее погружался в воду все глубже.

Оркестранты играли без передышки.

Гр-р-рох. Гр-р-рох. Гр-р-рох.

Парадным шагом вперед, потом назад, сложные перестроения между редущими рядами легионеров. «На сопках Древнего Рима», «Адриатические волны», «Ведет нас в бой прекрасная Минерва», «Глади, глади, глади, гладиатор», отрывки из «Симфонии Девятой Героической Когорты» и «Как провожали нас гетеры». Пылали жилые дома, веревки с бельем вспыхивали, словно корабельный такелаж. Вино в складах горело синим пламенем, зерно дымилось и смердело.

— А сейчас, — сказал Император, — я произнесу речь.

Он взобрался на стенку мола и немного постоял, обмахиваясь рукой.

— Ты не хочешь повернуть их ко мне лицом, полковник?

Оркестр уже еле ползал, город горел, «Амфитрита» тонула с шипением и свистом. Горожане карабкались на окружающие холмы. Величественная сцена божественно-бесстрастного разрушения.

Гр-р-рох.

— ...наблюдал за вами с чувством растущей гордости. В нынешние декадентски-упадочнические времена вы демонстрируете образцы высочайшего духа, которыми славен Рим. Приказы выполнять, не рассуждать — в том доблесть ваша.

Мамиллий стоял у подножия стенки и прямо перед собой видел тени Императора и полковника. Одна из них мерно покачивалась.

— Под немилосердно палящим солнцем и шестьдесятю четырьмя фунтами бронзовых доспехов, держа на плечах нелегкие плоды своих праведных трудов, вы стояли и терпели, потому что таков приказ. Ничего другого мы и не ждали от наших солдат.

Мамиллий, попеременно переставляя носки и пятки ног, сдвинулся с места — этому он научился в детстве. Глядя прямо перед собой, он плавно и незаметно перемещался все ближе к туннелю. Вскоре женщины и спасительная тень катапульты скрыли его.

— На ваших глазах горели корабли. Безжалостный огонь пожирал город. Здравый смысл призывал вас тушить пожары. Пошлый и безответственный гуманизм предательски нашептывал, что-де женщины и дети, больные и престарелые ждут вашей помощи. Но вы — солдаты и вы выполняете приказ. Я поздравляю Рим — у него славные защитники.

Мамиллий исчез. Женщины живописной группой расположились между солдатами и туннелем. Полковник обнаружил, что не видит ничего, кроме двух мечей, дер-

жать их очертания в поле зрения становилось все труднее. Чтобы как-то справиться с ними, он предусмотрительно поддержал левой рукой запястье правой.

Император напомнил солдатам о славной истории Рима.

Ромул и Рем.

Гр-р-рох.

Манлий Капитолийский, Гораций Коклес и Знаменосец IX легиона⁵.

Гр-р-рох.

Император в общих чертах обрисовал основные этапы римских завоеваний, подробно остановился на многочисленных подвигах римского войска. Коснулся истории Греции и ее упадка; не забыл упомянуть о праздности египтян.

Гр-р-рох. Гр-р-рох.

Неожиданно полковник исчез со стенки гавани. За спиной Императора что-то смачно чавкнуло — и все. Тяжелы вы, доспехи полковника.

Император говорил о воинских доблестях.

Гр-р-рох.

Из тумана в полумиле от гавани вновь появилась императорская галера. Направляясь ко входу в гавань, она уже едва шевелила веслами.

Гордость легиона.

Гр-р-рох.

Честь легиона.

Наступила кульминация. У самых ног Императора, там, где только что упали трое легионеров, все и началось. Волна тошнотворного запаха накрыла парад, и некогда стройные ряды разом провалились в спасительное забытие. Дальняя часть мола была завалена беспомощными телами солдат и музыкантов — последние не слышали уже ничего, кроме биения собственных преданных сердец. Император с сочувствием посмотрел на них:

— Самосохранение.

Мамиллий и императорская стража вырвались из туннеля. Их было около двух дюжин — здоровых мужчин, отдохнувших в прохладе тенистого сада и готовых теперь учинить небольшое бодрящее зверство. Мамиллий размахивал мечом, распевал партию хора из трагедии «Семеро против Фив» — одну из тех, от которых кровь стынет в жилах, — и пытался бежать в такт мелодии. В тот же миг императорская галера гулко стукнулась бортом о причал Грязный, раскосмаченный Постумий выбрался на берег, клопоча от гнева. Стража Императора сломала строй, подбежала к Постумию и схватила его. Он отбросил двоих и, рыча, как зверь, прыгнул с обнаженным мечом на Мамиллия. Мамиллий замер на месте, сжал руки, стиснул колени, выпятил подбородок. С греческого языка он перешел на родной:

— Рах!..⁶

Постумий занес меч над головой Мамиллия. Император закрыл глаза. Услышав звук, похожий на удар гонга, он открыл их снова. Постумий пытался скинуть с себя ораву насевших на него солдат. Мамиллий кружился на месте, пытаясь сдернуть шлем, но не тут-то было: голова его теперь сидела в нем прочно, по уши.

— Ты, Постумий, грубиян и невежа, дурно воспитанный человек, вот ты кто. У меня теперь разболится голова.

Император спустился со стенки мола.

— Что за человека привез с собой Постумий в галере?

Начальник стражи застыл в приветствии.

— Пленника, цезарь. Судя по виду, раба.

Пальцем одной руки Император постучал по ладони другой.

— Законного наследника и раба проводите через гуннель. Двое твоих людей поведут досточтимого Мамиллия. Сейчас не время вытаскивать его из шлема. Уважаемые дамы, демонстрация окончена. Вы можете вернуться на виллу.

⁵ Прототипом Знаменосца IX легиона, видимо, является Знаменосец X легиона, отличившийся в одном из британских походов Юлия Цезаря.

⁶ Рах (*lat.*) — мир: не исключено, что Мамиллий хотел сказать одну из следующих латинских фраз: «Рах deorum» («Благоволение богов»), «Рах tecum» («Мир с тобой») или же «Рах hominibus bonae voluntatis» («Мир людям доброй воли»).

Он остановился у катапульты и оглянулся. Словно обитатели морского дна во время отлива, на молу слабо шевелились почетный караул и оркестр.

— Шестеро твоих людей должны удерживать туннель во что бы то ни стало. Пусть никого не пропускают без твоего приказа.

— Слушаюсь, цезарь.

— Остальных можешь разместить в саду. Чтобы не маячили на виду, спрячь их в кустах. Выполняй.

— Слушаюсь, цезарь.

Сад был по-прежнему тих и спокоен. Император стоял у пруда с лилиями и с наслаждением вдыхал ароматный воздух. Внизу кое-где снова проступала гладь моря. Выровняв дыхание, он повернулся к небольшой группе мужчин.

— Постумий, ты обещаешь вести себя прилично, если я прикажу страже отпустить тебя?

Постумий посмотрел на черную пасть туннеля. Император, поймав его взгляд, покачал головой.

— Выбрось из головы надежду вырваться через туннель. У стражи есть приказ. Оставь! Давай обсудим все спокойно.

Постумий стряхнул с себя охранников.

— Что ты сделал с моими солдатами, колдун?

— Проверка, Постумий, обычная проверка. Я только растянул ее во времени.

Постумий потянулся за шлемом и надел его. Ало-золотистое перо кое-где обгорело.

— Что меня ждет?

Император скривил губы в улыбке:

— Посмотри на Мамиллия. Ты можешь представить его в роли императора? Мамиллий лежал на животе поперек каменной скамейки. Двое солдат держали его за ноги. Третий силился стянуть с него сплюснутый шлем.

— Информация агента точна и обстоятельна.

Император согнул палец:

— Фанокл.

— Я здесь, цезарь.

— Раз и навсегда объясни законному наследнику, чем ты занимался

— Я уже говорил ему, цезарь. Ни рабов, ни войн.

Постумий презрительно ухмыльнулся:

— Пусть приведут пойманного мной раба. Он один из тех, кто сжег твой ко-рабль.

Двое солдат вывели раба — они заломили ему руки, отчего он согнулся в три погребели. Раб был все еще гол, хотя успел обсохнуть. Этому темнокожему борода-тому детине ничего не стоило бы разорвать льва голыми руками.

Император смерил его взглядом.

— Кто он?

Солдат схватил раба за волосы, поворачивая его голову из стороны в сторону, потом рванул резко вверх — раб сморщился от боли. Постумий наклонился рассмотреть метки на ушах. После его кивка солдат отпустил голову пленника.

— Зачем ты это сделал?

Раб отвечал хриплым и неровным голосом ствыкшего человека:

— Я гребец.

Брови Императора поползли вверх.

— Придется приковывать гребцов к веслам, если это, конечно, не потребует больших дополнительных расходов.

Раб попытался всплеснуть руками.

— Будь милостив, цезарь. Мы не смогли убить этого человека.

— Кого, Фанокла?

— У него бдительный гений. Доска убила раба, который стоял рядом. Краб тоже пролетел мимо.

Раздался пронзительный визг — досточтимого Мамиллия наконец вытащили из шлема. Он тоже поспешил к Императору.

— Мамиллий, краб предназначался не тебе!

Мамиллий в волнении повернулся к рабу:

— Значит, ты не хотел меня убить?

— А зачем нам тебя убивать, господин? Ты изнурял нас работой, так это твое право. Для того нас и купили. Но этот человек совсем нас не использовал. Мы видели, как его корабль плыл без гребцов и парусов против ветра. Что ж мы, гребцы, теперь совсем не нужны?

Фанокл закричал:

— Мой корабль сделал бы вас свободными людьми!

Император задумчиво разглядывал раба.

— Ты доволен своей участью гребца на триreme?

— Боги знают, как мы страдаем.

— Так в чем же дело?

Раб задумался. Когда он снова заговорил, слова его потекли как что-то заученное в очень далеком прошлом:

— Лучше быть рабом у последнего трюмного, чем правителем над теньями в аду.

— Понятно.— Император кивнул солдатам.— Уведите.

Постумий издал противный смешок.

— Ты видишь, грек, что думает о твоем корабле профессиональный мореход!

Император возвысил голос:

— Не спеши. Послушаем, что скажет о гром-машине профессиональный солдат.

Начальник стражи!

Но начальник стражи уже отдавал Императору честь.

— Прости меня, цезарь, но госпожа...

— Какая госпожа?

— Они не пропускают ее без моего разрешения, цезарь.

Мамиллий закричал срывающимся голосом:

— Евфросиния!

Начальник стражи повернулся к солдатам:

— Госпожу пропустить. Шевелитесь, ребята!

Солдаты у входа расступились, и Евфросиния, съживившись, подошла к Фаноклу и Императору.

— Где ты была, дитя мое? Почему ты не пошла с остальными? На молу без меня опасно!

Но и на сей раз она промолчала, лишь покрывало у рта колыхалось от прерывистого дыхания.

Император жестом подозвал ее к себе.

— Стань около меня. Теперь тебе ничто не угрожает.— Он снова обратился к начальнику стражи: — Начальник стражи!

— Слушаю, цезарь!

— Вольно. Постумий, задавай свои вопросы.

Постумий оглядел его внимательно.

— Капитан, ты хотел бы драться на войне?

— Для защиты Отца Отечества...

Император махнул рукой.

— В твоей верности никто не сомневается. Отвечай, пожалуйста, по существу.

Капитан задумался.

— В общем, да, цезарь.

— Почему?

— Все-таки что-то новенькое, цезарь. Душевный подъем, продвижение по службе, а может, и хорошие трофеи... ну и так далее.

— А тебе хотелось бы поражать своих врагов на расстоянии?

— Не понимаю.

Постумий наставил палец на Фанокла.

— Этот плюгавый грек сделал новое орудие, ты его видел на молу. Жмешь на пипку — и врагу конец.

Капитан размышлял.

— Значит, Отцу Отечества больше не нужны его солдаты?

Постумий выразительно посмотрел на капитана.

— Ему уж точно нет. А вот мне нужны.

— А что, если враг займет собственную гром-машину?

Постумий обернулся к Фаноклу:

— Броня защитит?

— Едва ли.

Император легонько дернул Мамиллия за алый плащ.

— Предвижу, что такой военной формы вам больше не носить. Грядущие войны вы проползаете на брюхе. И форма ваша будет цвета грязи или коровьего дерьма...

Начальник стражи опустил глаза на свой блестящий бронзовый нагрудник.

— ...а металлические доспехи можно будет выкрасить в неброский цвет или оставить так, как есть, — сами выпачкаются в грязи.

Офицер побледнел.

— Ты шутишь, цезарь.

— Сам видел, что натворил его корабль в гавани.

Начальник стражи отступил назад. Челюсть его отвисла. Он дышал часто, словно человек, которому привиделся жуткий кошмар. Потом стал озираться по сторонам, взгляд его блуждал по кустам, каменным скамьям, солдатам, загораживающим вход в туннель...

Постумий вышел вперед и схватил его за руку.

— Ну что, капитан?

Глаза их встретились. Лицо капитана обрело решимость: челюсти стиснуты, на щеках обозначились тугие желваки.

— А остальных берешь на себя, генерал?

Постумий кивнул.

И началось. Сквозь живописную группу жестикулирующих фигур, сквозь сцепление человеческих тел, что пытались сохранить равновесие, балансируя на берегу пруда, над невозмутимыми белыми лилиями летел от кулака Постумия Фанокл. Начальник стражи побежал к туннелю, следом за ним загромыхал Постумий. Офицер прокричал слова команды, и защитники туннеля — раз, два! раз, два! — дружно отступили, раскрывая дверь в живой стене. Беглецы исчезли в черной дыре, часовые продолжали стоять по стойке «смирно». Из кучи тел на берегу пруда по одному выбирались солдаты. Мамиллий — между ним и туннелем лежал пруд — метался из стороны в сторону, от испуга он никак не мог найти кратчайшую дорогу к беглецам. Один Император был безмолвен и спокоен, разве только стал чутьочку бледнее и немного отрешеннее — он понимал неотвратимость краха и нависшей над ним смерти. Вскоре солдаты привели себя в порядок, Фанокл выбрался из пруда, Мамиллий после мучительных колебаний преодолел его вброд. Все еще не веря в предательство начальника стражи, собрались они у входа в туннель. К ним подошел Император. Он задумчиво вглядывался в живую стену, которую дисциплина привела в полнейшую негодность. Потом едва заметно пожал плечами.

Мягко, словно говорил с детьми, произнес:

— Теперь можно стоять вольно.

Неожиданно их качнуло тугой струей воздуха. Почти одновременно земля под ногами заходила ходуном, на голову, как кулак, обрушился резкий удар звука. Император повернулся к Мамиллию:

— Гроза? Везувий?

За мысом, разделяющим сад и порт, завывало, вой приближался, рядом оглушительно грохнуло, в ветвях тиса зашелестело и зашептало. Потрясение притупило в них чувство опасности, и они лишь ошарашенно переглядывались. Фанокла била дрожь. В туннеле раздались торопливые шаги, кто-то бежал, спотыкаясь и падая. Прямо на них выскочил солдат, ало-золотистые тона его формы выдавали в нем подчиненного Постумия.

— Цезарь...

— Возьми себя в руки, а потом докладывай.

— Он умер...

— Кто умер и как это случилось?

Солдат качнулся, но на ногах устоял.

— Не знаю, как сказать тебе, цезарь. Мы становились в строй после... после смотра. Из туннеля выбежал генерал Постумий. Он увидел, что несколько солдат тушат пожар, и начал созывать остальных. С ним бежал один из твоих офицеров. Я видел, как он нагнулся у катапульты номер семь. Сверкнула молния, загрохотал гром...

— ...и в молу образовалась дымящаяся дыра. Где Постумий?

Солдат недоуменно развел руками. Фанокл упал на колени, стараясь дотянуться рукой до края императорской тоги. Солдат теперь смотрел мимо Императора на ближайšie заросли тиса, которые отгораживали пруд от уходящих вверх террас сада. Глаза его округлились. Он взвыл и бросился бежать.

— Колдовство!

За ними наблюдал Постумий, не мог не наблюдать — над стеной тиса красовался его бронзовый шлем с ало-золотистым пером. Он, видимо, варил себе какую-то еду, от обычного летнего зноя воздух над шлемом не мог дрожать с такой силой. На их глазах перо постепенно темнело и обугливалось. Ветки тиса прогибались, скручивались от жара в завитки и наконец не выдержали. Шлем накренился, лег на бок — он был пуст.

— Иди сюда, дружище.

Солдат выполз из кустов.

— На твоих глазах Громовержец уничтожил генерала Постумия за непростительный грех неповиновения Императору. Иди и скажи остальным.— Император повернулся к Фаноклу.— Попытайся спасти что еще возможно. Ты в большом долгу перед человечеством. Ступай с ними, Мамиллий, теперь ты за все отвечаешь. Там, за туннелем, перед тобой открываются новые возможности. Будь их достоин.

Шаги гулко отозвались в туннеле и замерли в отдалении.

— Подойди ко мне, госпожа.

Он сел на каменную скамью у пруда.

— Стань передо мной.

Она подошла и стала. Прежней грации в ее движениях уже не было.

— Отдай это мне.

Задрапированная фигура стояла молча. Император не произнес больше ни слова. Он лишь величаво протянул руку — этого было достаточно. Она сунула вещь ему в руку и испуганно поднесла сжатый кулачок к закрытому покрывалом лицу. Император задумчиво смотрел на свою ладонь.

— Кажется, моим спасением я обязан тебе. Впрочем, Постумий, наверное, правил бы империей лучше меня. Госпожа, я должен увидеть твоё лицо.

Евфросиния продолжала стоять молча. Император испытующе посмотрел на нее, потом кивнул, словно они о чем-то договорились.

— Я понимаю.

Он встал, обошел пруд и посмотрел вверх утеса на уже видимые волны.

— Пусть это останется еще одной неразгаданной страницей истории.

И он швырнул бронзовую бабочку в море.

4. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Император и Фанокл возлежали друг против друга по разные стороны низкого стола. Стол, пол и зала были круглыми, на обступавших залу колоннах покоился затемненный купол. В отверстиях купола, прямо над их головами висело мерцающее созвездие, спрятанные за колоннами светильники разливали по зале мягкий и теплый свет, который располагает к отдыху и улучшает пищеварение. Невдалеке задумчиво пела флейта.

— Так ты думаешь, она будет работать?

— Почему же нет, цезарь?

— Странный ты человек. Все размышляешь о всеобщем законе, а получаешь вполне осязаемые результаты. Зря я сомневаюсь. Мне надо набраться терпения.

Они немного помолчали. Голос кастрата поддержал напев флейты.

— Фанокл, что делал Мамиллий, когда ты оставил его?

— Отдавал приказ за приказом.

— Вот и отлично.

— Приказы все до одного неправильные, но люди ему повиновались.

— В том-то и секрет. Это будет ужас, а не император. Калигулу он переплюнет, а вот Нерона превзойти — таланта не хватит.

— Он очень гордился шрамом, который изуродовал его шлем. Говорил, что открыл в себе человека действия.

— Значит, прощай поэзия. Бедный Мамиллий.

— Нет, цезарь. Он сказал, что действие родило в нем поэта и что именно в бою он сочинил совершенное произведение.

— Надеюсь, не эпопею?

— Эпиграмму, цезарь. «Евфросиния красива, но глупа и молчалива».

Император кивнул с серьезным видом.

— Но мы-то с тобой знаем, что ее уму и сообразительности может позавидовать любая женщина.

Фанокл от неожиданности чуть приподнялся.

— А тебе, цезарь, откуда это известно?

Император задумчиво катал пальцем виноградину по столу.

— Я, конечно, женюсь на ней. Не раскрывай. Фанокл, рот и не бойся, что я вею тебя удавить, когда увижу ее лицо. В моем возрасте наш союз, увы, будет только называться браком. Но ей он принесет безопасность и относительный покой да и убережет от посторонних глаз. Ведь ты не будешь отрицать, что у нее заячья губа?

Кровь бросилась в лицо Фаноклу, казалось, он задохнется — глаза его выкатились из орбит. Император погрозил ему пальцем.

— Только молодой идиот вроде Мамиллия мог болезненную стеснительность принять за благовидную скромность. С высоты моего опыта и в надежде, что нас не услышит ни одна женщина, я по секрету скажу тебе: скромность придумали мы, мужчины. Как знать, не нами ли выдуманно и целомудрие? Ни одна красивая женщина не будет так долго скрывать свое лицо, если оно не обезображено.

— Я не смел сказать тебе.

— Ты думал, что я принимаю тебя ради нее? Увы, ради Мамиллия и его романтической любви. Персей и Андромеда! Как он возненавидит меня. Мне не следовало забывать, что обычные человеческие отношения — непозволительная роскошь для императора.

— Мне очень жаль...

— И мне тоже, Фанокл, и не только себя. Тебе никогда не хотелось обратить свет твоего могучего разума на медицину?

— Нет, цезарь.

— Сказать тебе почему?

— Я слушаю.

Ясные, спокойные слова Императора падали в тишину зэлы, словно маленькие камешки:

— Я уже говорил, что ты высокомерный человек. Но ты еще и эгоист. Ты одинок в своей вселенной с ее естественными законами, люди для тебя — помеха и докуча. Я сам одинокий эгоист с той лишь разницей, что признаю за людьми право на некую независимость. Эх вы, натурфилософы! Интересно, много ли вас? Ваш упрямый и ограниченный эгоизм, ваше царственное увлечение единственным полубившимся предметом могут когда-нибудь подвести мир к такой черте, за которой жизнь на земле можно будет стереть с той же легкостью, с какой я стираю восковой налет с этой виноградины. — Ноздри Императора трепетали. — А теперь тишина. Несут форель.

И для этого события был свой ритуал — вошел дворецкий, за ним слуги, все двигалось в заученном порядке. Император сам нарушил тишину:

— Может быть, ты слишком молод? Или, как и я, перечитывая однажды понравившуюся книгу, половину удовольствия получаешь от воскрешения той поры, когда прочитал ее впервые? Вот видишь, Фанокл, какой я эгоист. Читай я сейчас элоги, я не уносился бы душой в римскую Аркадию, а снова стал бы мальчишкой, который готовит урок к следующему занятию.

Фанокл постепенно приходил в себя.

— Мало ты получаешь от чтения, цезарь.

— Ты думаешь? Конечно, мы, эгоисты, всю историю человечества вмещаем в свою собственную жизнь. Каждый из нас заново открывает пирамиды. Пространство, время, жизнь — то, что я назвал бы четырехмерным континуумом... Ах, как же мало латинский язык пригоден для философии! Жизнь — феномен сугубо личный, с единственной фиксированной точкой отсчета. Александр Македонский начал вести свои войны только после того, как я открыл его в свои семь лет. Когда я был ребенком, время было мгновением, простой точкой, но голосом и обонянием, вкусом и зрени-

ем, движением и слухом я превратил эту ничтожную точку в роскошные дворцы истории и безбрежные дали пространства.

— Я снова не понимаю тебя, цезарь.

— А надо, ибо речь идет о том, что испытываем мы оба: и ты и я. Но чтобы понимать это, тебе не хватает моей интровертности — или, лучше сказать, себялюбия? — обрати внимание, как любит Император вводные предложения, когда его никто не перебивает! Думай, Фанокл! Ах, если бы ты мог не аппетит мой возратить, а воскресить во мне хотя бы одно дорогое воспоминание! Чем как не предвосхищением и памятью наше человеческое мгновение отличается от слепого бега природного времени?

Фанокл взглянул на созвездие, которое сверкало так близко, что, казалось, обрело третье измерение, но, прежде чем он собрался с мыслями, чтобы ответить Императору, блюда уже были на столе. Подняли крышки, и над столом заструился сладковатый пар. Император закрыл глаза, наклонил голову и втянул в себя воздух.

— Та-ак?... — И с глубоким волнением: — Так!

Голодный Фанокл быстро съел свою форель и с нетерпением ждал, когда Император предложит ему вина. Но Император ничего не видел и не слышал. Губы его шевелились, лицо то бледнело, то заливалось краской.

— Свежо. Сияющая гладь воды, тени и водопады с высоких мрачных утесов... Снова все перед глазами. Я лежу, едва умещаюсь на каменистом уступе. Надо мной вздымаются скалы, рядом журчит река, вода в ней темна даже на солнце. Два голубя воркуют монотонно и певуче. Острый камень вонзился в правый бок, но я неподвижно лежу лицом вниз, и лишь правая рука движется медленно, словно улитка. Я прикасаюсь к чуду сиюминутной реальности, рука ласкает воду — о, каким пронзительно и яростно живым я себя ощущаю! — еще миг, и мой неистовый восторг найдет выход в иступленном движении. Но я усмиряю мой азарт, мое желание, мой трепет — воля уравнивает страсть. Рука нетороплива, как трава в тихой воде. Вожденная добыча лежит там, в темноте, вода струится, обтекая ее гибкое тело. Пора! Судорожное напряжение тел, чувство ужаса и невыразимой тоски — она взлетает в воздух, и я держу ее мертвой хваткой. Вот она, она моя...

Император открыл глаза и посмотрел на Фанокла. Слеза ползла по его щеке прямо над нетронутой рыбой.

— ...моя первая форель.

Он схватил чашу, пролив несколько капель на пол, и протянул ее Фаноклу.

— За скороварку. За самое выдающееся из открытий. достойное Прометея. — Император овладел собой и тихо засмеялся. — Но как же мне наградить тебя?

— Цезарь! — Фанокл поперхнулся и с трудом выдавил из себя: — Моя взрывчатка...

— О пароходе я не говорю. Забавная штука, но очень уж дорогая. Признаюсь, что экспериментатор во мне с интересом следил за его чудовищной работой, но одного раза вполне достаточно. Пароходов больше не надо.

— Но цезарь!

— И потом, без ветра ты заблудишься в море.

— Я могу изобрести прибор, который постоянно указывает одно направление.

— Разумеется, изобрети его. Может быть, ты изобретешь подвижную стрелку, которая постоянно указывает на Рим.

— Нет, только на север.

— Но пароходов больше не надо.

— Я...

Император взмахнул рукой.

— Такова наша императорская воля, Фанокл.

— Я повинуюсь.

— Слишком уж они опасны.

— Как знать, цезарь, может, придет день, когда люди перестанут считать себя рабами, а, значит, обретут свободу...

Император покачал головой.

— В твоей работе ты имеешь дело с идеальными элементами, и отсюда твой политический идеализм. Рабы будут всегда, хотя называть их, возможно, будут иначе. Что такое рабство, как не подчинение слабого сильным? Не в твоей воле упразднить неравенство. Ведь не настолько же ты глуп, чтобы верить, что все мы рождаемся

равными? — Неожиданно лицо его приняло серьезное выражение. — А что касается твоей взрывчатки, то сегодня она спасла меня и, следовательно, покой империи. Но она же лишила империю безжалостного правителя, который умертвил бы полдюжины людей, но справедливо правил сотней миллионов. Так что мир проиграл. Нет, Фанокл, пусть уж Юпитер сам неисповедимо правит своими громами и молниями.

— Но это же мои величайшие изобретения!

Первая форель, к которой Император так и не притронулся, исчезла с его блюда. Появилась другая, и он снова окунул свое лицо в сладковатый пар.

— Скороварка. Я непременно вознагражу тебя за нее.

— Тогда как же, цезарь, ты наградишь меня за вот это?

— За что?

— За мое третье изобретение, которое я хранил про запас...

Фанокл медленным театральным жестом опустил руку к поясу. Император с интересом следил за ним.

— Это как-то связано с громом?

— Только с тишиной.

Император нахмурился. Он держал по листу бумаги в обеих руках и переводил взгляд с одного на другой.

— Стихотворения? Так, значит, ты поэт?

— Нет, их сочинил Мамиллий.

— Я мог бы догадаться. Софокл, Каркид — ничего не скажешь, хорошо начитанный юноша!

— Это прославит его. Прочитай другое стихотворение, цезарь. Оно точная копия первого. Я изобрел способ размножения книг. Я назову его печатанием.

— Но ведь это... это еще одна скороварка!

— За один день взрослый мужчина с подмастерьем смогут сделать тысячу экземпляров книг.

Император оторвал взгляд от бумаг.

— Так мы сможем выпустить сто тысяч экземпляров Гомера!

— Миллион, если захотим.

— Прекратятся стенания поэтов, у которых нет слушателей...

— И денег. Никаких рабов-переписчиков. Поэты, цезарь, начнут продавать свои стихи мешками, как овощи. Последняя судомойка утешится величием нашей афинской драмы.

В волнении Император сел.

— Подумать только, своя публичная библиотека в каждом городе!

— И в каждом доме.

— Десять тысяч экземпляров любовной лирики Катутла...

— Сто тысяч книг Мамиллия...

— Гесиод придет в каждый сельский дом...

— На каждой улице будет свой писатель...

— Горы исчерпывающих данных и лавина информации по любому предмету...

— Знание и образование в массы...

Император снова лег.

— Постой. А нам хватит гениев? Часто ли рождаются Горации?

— Пустое, цезарь. Природа изобильна.

— Ну а если мы все начнем писать книги?

— Почему бы и нет? Интересные биографии...

Император напряженно всматривался в запредельное — он смотрел в будущее.

— «Дневник провинциального губернатора», «Как я строил стену Адриана», «Моя жизнь в обществе. Сочинение знатной дамы».

— А ученые труды?

— «Пятьдесят интерполированных поправок к Морскому регистру», «Метрические инновации в мимиямбах Геронда», «Сублимированный символизм первой книги Евклида», «Прологомены к исследованию остаточных тривиумов».

В глазах Императора мелькнул ужас.

— История — «По следам Фукидида», «Воспоминания бабушки Нерона».

Фанокл сел и радостно захолопал в ладоши.

— Не забудь отчеты и проблемные записки, цезарь!

Ужас в глазах Императора рос.

— Военные, страноведческие, санитарные, евгенические — и все придется читать! Политические, экономические, пастушеские, огороднические, приватные, статистические, медицинские...

Император, шатаясь, поднялся на ноги. Он воздел руки к небу, закрыл глаза, лицо его исказила гримаса отчаяния.

— Почему кастрат не поет?!

Голос зазвучал уверенно и бесстрастно.

Император открыл глаза. Быстрым шагом он подошел к одной из колонн и, постепенно приходя в себя, принялся похлопывать ладонью по камню. Потом поднял голову и долго смотрел на мерцающее созвездие, висевшее в хрустальных сферах. Мало-помалу он успокоился, хотя все еще изредка вздрагивал. Наконец он повернулся и внимательно посмотрел на Фанокла.

— Итак, мы говорили о твоей награде.

— Я во власти цезаря.

Император приблизился к Фаноклу и спросил дрогнувшим голосом:

— Ты хотел бы стать послом?

— Даже в самых смелых снах я никогда...

— Тогда у тебя будет предостаточно времени, чтобы изобрести прибор, указывающий на север. Кстати, взрывчатку и машину для печатания можешь взять с собой. Я тебя сделаю чрезвычайным и полномочным послом.— И, помолчав, добавил: — Фанокл, друг мой, я хочу, чтобы ты поехал в Китай.

Перевел с английского Ю. ЗДОРОВОВ.



О ЧИ Е Р К И И Н А Ш И Х Д Н Е Й

А. РОСЛЯКОВ

★

ЧУЖОЕ И СВОЕ

1

Богатый или бедный колхоз имени Ленина? С какой стороны посмотреть. С одной, вроде богатый, все у людей есть: и скотина, и парники, и телевизоры, автомобили у половины механизаторов. А с другой... С другой — у колхоза больше двух миллионов рублей долга государству. Как же так может быть? Очень просто. Люди же работают. Наряды закрываются. И не просто работают — рекорды ставят: тот вспахал в прошлом году невесть сколько, тот засеял в позапрошлом... Кругом ударники, лауреаты. На этих вот коротких дистанциях. Потому и деньги идут. Прямые, дополнительные, премиальные — много сейчас выплат всяких. Но почему же тогда колхоз в долгу?

Я сижу в бытовке механизаторов.

— Вчера у леса был — кто ж там пахал? По самому верху шел! Ты, Иван, или напарник твой?

— Нет, это не наше.

— Как не ваше! Ты сам да Колька твой туда ездили, так и шли, соснам макушки срезали!

Все смеются.

— Это он может, Иван... Я в прошлом году убирал — чувствую, не то что-то, тяжело комбайн идет. Назад смотрю — след как от плуга. Задний ход дал, с бороны съехал. Во гнали! Отцепилась, и не заметили!

Снова смех.

— А в первой бригаде! Вот там рекордсмены! У них семь комбайнов и развернуться негде, только выйдут в поле — и пошли наперегонки. А машин нету все равно, на землю не дают валить, так шофер уже знает, он в поле не ездит, приедет и на краю стоит, они сами к нему дуют кто вперед! Один в прошлом году задний мост с корнем вырвал. Как пошел разгружаться на четвертой скорости, ему и оторвало! А на землю сколько сыплется! Да им что! Платят за бункеры, вот и гонят, кто скорей две нормы намолотит!..

Вот, оказывается, рекорды какие. Ясно, что колхозу от них пользы мало. И получается как в одной поэме:

За деревню выйдешь летом —
рожь, к примеру, у ручья.
Рожь... а ржи-то, брат, и нету...
Чья работа? А ничья.
Наша! Некого похаять:
Миколай навоз возил,
Ванька с Филькою пахали,
Митрий вроде боронил.

Конечно, были бы все подряд сознательные, и Ванька и Филька не только бы рекорды гнали, но и старались на свой натурелый глаз получше, способней для дела каждую отдельную работу выполнить. Но увы, такие уж они какие есть.

А привело меня в колхоз имени Ленина исполненное горечи письмо от молодого тамошнего механизатора Юрия Орлова. Вот что он, между прочим, писал: «У нас в бригаде 1500 га пахотной земли. В 1969 году было 3 гусеничных и 3 колесных трактора. И вся земля обрабатывалась ими. Постепенно трактора добавлялись. В 1978 году стало 8 гусеничных и 7 колесных. И вот с этого года земля стала обрабатываться наполовину. То есть зябь не пашется. Трактористы стали выбирать выгодные работы, а некоторые ударились в пьянство... Может, вы поможете разобраться...»

Тут действительно интересно было бы разобраться. Ситуация не редкостная.

В Кишертском райкоме партии я попросил рассказать о колхозе имени Ленина. То да се. Отстающий? Нет. Только по площади больше дружка, оттого и убытки крупнее. И район не отстающий... Так почему все-таки там плохо работают? Тут мне начинают перечислять эти самые «объективные причины»: не хватает кадров, техники, удобрений, дорог...

— А вот из колхоза имени Ленина пишут: что раньше на шести тракторах делали, на пятнадцати теперь сделать не могут. Тут чего не хватает?

— Ну это да, в общем-то, правильно, мы сами замечаем... Где раньше, скажем, десять машин работало, сейчас двадцати мало. Раньше и относились к делу как-то по-другому. Сколько я шоферов знал — пять лет ходит машина как новенькая, а сейчас год-два — и в капитальный ремонт.

— Значит, не техники не хватает, а чего-то другого?

— Ну да, и квалифицированных кадров тоже.

— А на своем огороде? Как там с квалификацией?

— Там какая квалификация! Там же сам есть будешь. У нас не город, продуктов в магазине не купишь. И у меня своя картошка растет. Надо! У нас даже, скажу вам, бывае, в колхозах не выросла, неурожайный год, так за счет личной сдаем план, скупаем у населения...

Значит, не только на себя хватило, еще и лишек остался! Вот тебе и непогода! Выходит, кому-то она страшна, а кому-то и нет. Там, где свое, и в град, и в ливень, и в потоп вырастет. А на колхозном чуть дождичек не вовремя помочил — уже несчастье, объективные условия!

— Верно, плохо стали работать на полях, — соглашается мой собеседник. — Это есть у людей, такое отношение. У меня даже смешной случай был. Приехал я в один колхоз на уборку, комбайнер слез, ругается, я бы, говорит, тому, кто здесь пахал, голову оторвал! А председатель у них памятливым, вдруг спрашивает: а не ты ли сам Иван? Да нет, как, не я. Позвали бригадира: ну-ка скажи. Точно, оказалось, он сам и был в прошлом году...

— Так как же сделать, чтобы лучше на этих полях работали?

— Об этом не одни мы с вами думаем...

— А про безнарядные звенья вы слышали?

Слышали... Даже хотели было одно организовать, да уж и не помнят, почему не получилось.

В последние годы много говорится и пишется о безнарядных звеньях. Опыт показывает: это как раз та форма организации производства, при которой соединяются интересы общие и личные. Во главу угла ставится принцип: получать не за отдельные поэтапные работы (наряды), а за конечную продукцию. И полный хозрасчет: чем меньше средств затратили на производство, тем больше за продажу полученного продукта самим достанется. Выгодных и невыгодных работ тоже нет. Только нужные.

Поэтому с первых шагов невольно стала напрашиваться мысль об этой системе.

В колхозе сначала я встретился с председателем — Иваном Ивановичем Устюговым. Ему тридцать лет, человек живой, образованный, из тех, к кому эпитет «молодой» обычно прилагают в самом похвальном смысле. Раньше работал здесь главным агрономом и еще тогда ввел (хоть и не без труда, прежний председатель, говорят, был не охотник до новшеств) новую технологию сева, которая дала заметную прибавку урожая и экономию рабочих рук. Сейчас, на новом посту, получил еще больше возможностей для нововведений, развернул большую стройку — все по своим собственным оригинальным проектам: механизированный семенной склад, сушилка, кормоцех, фермы, гаражи... Все нужное, необходимое для колхоза. Действительно многого еще и в самом деле не хватает. Но только ли в разных нехватках секрет убыточности? Нет. И Устюгов вовсе не склонен подменять одно другим. И он считает, что главная причина — низкая производительность, низкая эффективность труда.

— Почему же она низка?

— Почему? Давайте разберемся. Взять тот же сев. Раньше, вручную, норма была гектар на человека. Сейчас — двадцать восемь гектаров на агрегат. Но раньше что было? Человек да корзина. А теперь — считайте: четверо загрузчиков, шестеро севаков, четверо на мешках, шофер, тракторист — сколько уже, шестнадцать? Да на заправке,

да в гараже, да мы все, специалисты... Вот то же на то и выходит. Так у нас и было по всему колхозу до семьдесят шестого года. Потом придумали сцепку, автопогрузчик, уже стало всего шесть человек на агрегат, и делает он втрое больше... Все надо механизировать, приводить к тому, чтобы действительно эта техника работала, а не только фукала в воздух.

Мысли все верные, бесспорные. Но... Четыре года уже как известна сцепка, однако половина колхоза все еще по-старому сеет. Выходит, что здесь вся механизация нужна одному только председателю, начальству, колхозникам же все равно — хоть сто человек за этой сеялкой пусти, наряды всем закроют. Зачем же еще искать что-то новое? Какая от того корысть? Никакой.

— Конечно, неправильно у нас сейчас устроено. Мы, специалисты, только и делаем что на работу выгоняем, вместо того чтобы заниматься чем положено — наукой, урожаем... Это надо — людей заинтересовать. Обязательнс. Чтобы не мы с них, а они с нас работу спрашивали. Вот тогда, может, и получится что-то.

И когда я заговорил про безнарядное звено, председатель сразу поддержал эту идею:

— Надо пробовать. Вот, кстати, паруновская бригада, где этот Орлов, что вам написал, работает, там как раз такое звено может получиться. Юрий хороший работник, и другие найдутся...

И вот я отправился в Паруново к автору письма. Через всю деревню пролегал глубокий овраг, раньше речка была, щука, хариус водились. Потом геологи что-то искали, набурили по руслу скважин, и речка ушла, одна память осталась.

Дом Юрия на самом берегу. Большой, крепкий, не так еще давно, видимо, поставленный. Навстречу выходит сам хозяин — высокий, могучий парень, мужина уже, с большими рабочими руками. И не верится даже, что это он, богатырь, передовик, о ком газеты пишут, с целой папкой грамот и дипломов, написал такое жалобное письмо. А написал. И не одно уже. И обижен крепко. Потому что все его богатство и рекордсменство тонет — глупо, в самом деле обидно — в общей, не прошибаемой его могучими руками рутине.

Я представился. Сели. Заговорили. Все, в общем-то, он изложил уже в письме: пьянство, простой, некормленный скот на ферме, бесконтрольность.

— А почему зябь пахать перестали?

— Они прикинули: весной выгоднее. Там торопиться будут, сеять же надо! Премии объявят, награды — вот и не пошел никто.

Значит, тут уже прямо наоборот: чем хуже, тем лучше...

— Ну а вы сами как считаете, что можно сделать?

— Не знаю. Потому и написал.

И все же кой-какие мысли у Юрия есть. Об этом у него еще в письме было. Как приезжал районный прокурор, и он спрашивал, можно ли за пьянство, невыход на работу как-нибудь покруче наказывать. Прокурор сказал, что за одно это нельзя, только если причинен умышленный ущерб. Но Юрий считает, что это и есть самый настоящий ущерб, когда не кормится скот или в страду дни горят. И нечего тут ремониться... На своем-то огороде отношение к делу у людей совсем иное...

Вот она, китайская стена, разделяющая все на две части: свое и чужое. На своем что хочешь вырастет. Тут палкой пахать будут, все равно взойдет. Здесь, в суровом климате Предуралья, зайдешь на огород — какие огурцы! какая клубника! О картошке я уж не говорю. А там, на чужом, — агрономия, техника, удобрения, мелиорация, что до картошки, так хотя бы из-за того, что в севообороте, а не по одному и тому же месту садится, как у себя, вдвое должно расти. Но не растет. А если бы, представьте, и то свое было? Со всеми чудо-тракторами, науками и прочим?

Когда я заговорил об этом с Юрой, он сперва даже словно не понял меня:

— Как это, там — свое? Как ты сделаешь?

— Как? — И я стал говорить ему про безнарядные звенья.

Слышал Юра про это, но и тут скептически хмурит брови:

— У нас? Навряд ли что получится.

— Почему?

— Да кто здесь станет делать что-то?

Нет, насчет самой идеи у нас с Юрой особых споров не было. И он сразу согла-

сился, что звено — изобретение хорошее. И все-таки вижу, что-то смущает его. Что? Да вот это самое: «А кто делать станет?»

Действительно, уже давно не спорят, безнарядное звено — хорошо это или плохо, всем ясно, что хорошо. Теперь вопрос в другом — как распространить опыт первых инициаторов, сделать его применимым для многих? И в этом главная трудность. Все знают в Пермской области о преимуществах звеньев, но ни об одном полеводческом звене пока не известно. Потому что звено по сути своей должно опираться не на распорядка сверху, а на инициативу снизу, которой пока и нет. Тут как бы выходит порочный круг. Звено, говорят, воспитывает чувство хозяина, инициативность, ответственность, но для его создания как раз эти качества и нужны! Как же вырваться отсюда?

Готового ответа на этот вопрос у меня не было, не было его и у Ивана Ивановича. И тут у нас возникла заманчивая идея: добыть его, что называется, с бою, своими руками, попытаться разорвать порочный круг — кто-то ведь должен первым сделать это. Не вообще, не в принципе, который, повторяю, давно ни у кого не вызывал сомнения, а конкретно, на этой земле, среди тутошних, именно таковых, каковы есть, механизаторов. Руководство колхоза располагало к тому вполне назревшими причинами, меня же, журналиста, завлекала возможность путем личного участия, который, как известно, всего достоверней, разобратся в проблеме, волнующей нынче многих. И вот, заручившись для полной законности согласием правления, мы с Иваном Ивановичем совершили с обоюдным интересом уговор.

На следующее утро я снова отправился в бригаду.

Середина лета. Пыль. Жара. Дождя уже целый месяц не было. И сейчас, хотя еще только половина девятого, в бригадной клетушке уже жарко, трактористы то и дело подходят к бачку с водой.

— Степан, поедешь к лесу сегодня пары перепаживать.

— Не поеду.

— Как не поедешь?! Я тебе что говорю! Один — не поеду, другой — не поеду... Заводи трактор! — Бригадир Плешков маленького роста, щербатый, и при крике особенно заметен дефект речи. Но, похоже, это ему ничуть не мешает, орет Плешков профессионально, я аж слегка вздрагиваю с не привычки.

Но и Степан, вidać, не новичок.

— А пошел ты... Тебе надо, сам и паши.

— Иди, Степан, не сиди! Никакой совести, чтоб вас!..

Степан бросает в ведро окурков и нехотя выползает на улицу. Но звука трактора еще долго не слышно. А Плешков, утирая рукавом выступивший, как после хорошей работы, пот, поворачивается ко мне:

— Видели, народ какой? Как с ним работать?

Но, похоже, спрашивает он больше так, для сочувствия, а не потому, что имеет какие-то сомнения насчет самого метода.

Да, так сейчас часто и работают. Вот он, Плешков, — двигатель современного производства, та самая пружина, что дает ход неповоротливому механизму. Тут и простым глазом видно, что на такой далеко не уедешь.

А бригада воспринимает все-это привычно, дозвольно равнодушно. Сидят, курят, переговариваются о чем-то своем; крик Плешкова для них в порядке вещей и не очень даже обиден: у тебя такая работа, у него такая... Молча покуривает Юра... Мне думалось, я приду, заговорю, буду убеждать несогласных, готовился к возражениям... Но тут сама атмосфера такая, что просто физически тяжело открывать рот, чтобы сказать что-то по поводу этого «чужого» дела на «чужой» земле. Но ведь с этим и собрались мы воевать.

И вот когда Плешков обратился ко мне, я решил, что настал самый подходящий момент.

— А если не заставлять?

— Как это?

— Чтобы сами на работу шли. По-другому организовать. — Я в двух словах объяснил суть безнарядных звеньев.

На секунду все притихли, с любопытством повернулись ко мне, но любопытство это, видно, относилось больше к самому случаю, что вот пришел кто-то чужой и что-то такое говорит, чем к смыслу моих слов.

И никакого вопроса, возражения, никакой вообще реакции не последовало. Ответил только Плешков:

— Звено? Ну да, знаю... Нет, у нас это не получится.

Тут вошел кто-то с улицы с делом до него, на этом разговор и кончился. И интерес остальных, чуть было вспыхнувший на минуту, тут же потух, снова завязалась та же валькая беседа обычного затяжного перекура перед работой. Потом стали разбредаться к своим тракторам...

Вот тебе и звено!

И все же мне не верилось, что эта стена равнодушия так уж непрошибаема. Может, просто не совсем поняли меня, не взяли сразу в толк, да и непривычно это — посторонний человек что-то говорит, самим предлагает, привыкли-то вот к чему: иди, куда пошлют... И я стал подходить поодиночке к каждому, повторять то же, что говорил в отряде. И оказалось, что все не против. Когда подразобрались, прикинули что к чему, все повторяли: «Было бы такое звено, я бы, конечно, пошел». Было бы! И вот к этому, к мало-мальской инициативе, трудней всего было сагитировать. Оно и понятно...

Говорил я с Виктором Леонидовичем Орловым, отцом Юрия, старым, работавшим еще при МТС колхозником, сейчас он в Парунове бригадир тракторной бригады. Он, кстати, единственный из всех проявил интерес, когда я первый раз завел речь о звене. И ему так же тяжело, как и сыну, смотреть на все, что происходит.

— Раньше не такие машины были, а как робили! Дали бы нам тогда, что у них сейчас! Все есть! Избаловались люди! Надо обязательно это звено делать, от такой работы ни черта толку не будет. В семьдесят восьмом году дожди шли, не смогли убрать, под снег все ушло. А урожай добрый был. Весной стаяло, полег овес, а весь остался. Жать надо. Пусть не по тридцать центнеров бы собрали, по пятнадцать — все равно хлеб! Нет, никому нет дела. Собирались-собирались, смотрим как-то вечером — горит! Поджег кто-то, мало ли кто, ребяташки, приезжие, а может, и свои — сушь, за одну ночь все сгорело. Это ладно? Не работают люди, не работают. Есть хорошие ребята, а многие привыкли только на шее сидеть. Звено надо. Там уже свои как в шоры возьмут, заставят. Кому охота даром человека кормить?

В общем, идея постепенно утверждалась. И Плешков своим возражением, как получилось, помимо воли только подтвердил ее правоту. Как-то он, выбрав момент, спросил:

— Ну хорошо, звено... А мы, бригадиры, тогда что, не нужны будем?

Вот, оказывается, о чем он думал! Это и хорошо, что не нужны! В таком качестве, как сейчас, разумеется. А работы всем хватит. Об этом, о возможных «лишних людях», мы тоже говорили с председателем.

— Как не нужны! У нас дел столько, стройка такая идет, шабашников нанимаем, деньги платим, лучше своим платить! И в будущем что угодно завести можем, занимались бы только! То же зерно на семена перерабатывать — это уже вдвое за каждый центнер получать. Лишних не будет, и Плешкову работу найдем, пусть хоть ферму в Парунове берет, там ой сколько работы!..

...Одновременно мы с Юрой Орловым додумывали все, что касается практической организации. И вот после всех расчетов мы пришли к тому, что в звене должно быть около 15 человек. Многовато, но и площадь в Парунове большая — 1500 гектаров. Основной техники, подсчитали, понадобится 5 гусеничных, 4 колесных трактора и 4 зерновых комбайна.

Теперь — как платить? Вот тут неожиданно появилась трудность. При звеньевой системе расчеты как будто сводятся к простому: урожай — оплата; но на деле установить размеры этой оплаты оказалось не так-то просто. Выяснилось: в существующих рекомендациях есть серьезные недостатки.

Основная сдельная оплата идет по ним за сверхплановую продукцию, это значит — чем план выше, тем меньше звено заработает. Поэтому сейчас в существующих звеньях: и идет постоянная война за снижение планов, а это сковывает возможности, повторяет дурную практику, имеющую место сейчас и в промышленности и в сельском хозяйстве, — искусственно занижать планы, стараться не слишком их перевыполнять, чтобы потом не добавили.

Не лучше ли все сделать проще — платить прямо от стоимости продукции? Такую долю, чтобы выгодно было и колхозу и колхозникам, — ведь, собственно говоря, ничего другого и не надо! Зачем же еще огород городить, переносить старые недостатки на

новое? И потом, расчеты по рекомендациям слишком усложнены, простому колхознику трудно в них разобраться, значит, никогда он добровольно в звено не пойдет—кому же охота идти неведомо на что? И на какую инициативу снизу можно тогда рассчитывать?

Но все вопросы в конце концов как будто разрешились. Осталось окончательно утвердить это звено, выбрать звеньевых.

И вот снова утром собралась бригада, уже в присутствии председателя. Теперь сразу закипели разговоры, давешней апатии как не бывало. О том, работать звеном или нет, уже не спорили, приняв это как бы за решенное.

— Тогда комбайн нам не нужен, сказали—в этом году пятый дадут. Пусть себе забирают!

-- И чтоб не отрывали туда-сюда, работать так работать.

— А не хватит людей? Удобрения плохие дадут, просеивать надо будет?

— Возьмете себе в помощь кого-то. Сговоритесь, заплатите, потом у вас вычтут, так что будете думать, кто вам нужен, кто нет. Вы хозяева.

...Звеньевым единодушно выбрали Юру Орлова. Он было от скромности стал отказываться, давайте, мол, кто постарше, поопытней, но и тут сомнений не было:

— Ты уже был бригадиром, мы тебя знаем, лучшего нам не надо!

Начать работать звеном решили уже с осени, с новой зяби. Правда, по старым еще расценкам, чтобы сразу не лишиться заработка, а весной целиком переходить на договор.

Оставалось только ждать целый долгий год, пока что-то сможет произойти из порешенного на этой необычной сходке в бригадном домике...

2

Когда Юрий в начале следующего лета написал мне, что всемером они засеяли на 100 гектаров больше, чем 24 человека в бригаде, я даже сперва не очень поверил. Конечно, мы ждали, что работа пойдет по-другому, производительность вырастет, но не в такой же мере! Наверное, подумал я, просто прихвастнул, как бывает на радостях, прибавил для большего впечатления.

Но оказалось, нисколько не прибавил и не прихвастнул. Когда я приехал в колхоз, все в точности подтвердилось. И по остальным бригадам участников в посевную на единицу площади было примерно втрое больше против звена.

Нашего теперь звена! Даже не верилось, что давешние споры наши, разговоры, заманчивые, но все же воздушные проекты обратились самым реальным, нешуточным делом. Да, уже теперь, в середине лета, можно было смело сказать, что звено бесспорно доказывало свои преимущества.

Но к этому я еще вернусь, сперва же хочу рассказать о том, что было прежде, в тот долгий промежуток между прошлым и новым летом.

«Ты спрашиваешь, как дела,—писал мне в сентябре Юра.— Можно сказать, на нуле. На правлении все утвердили, но после сколько я с Иваном Ивановичем ни разговаривал, ничего не получается. Трактористы, которые не были включены в звено, отказались пахать... Плешков опять начал ставить палки в колеса, то оторвет на ферму, то еще куда-нибудь. В общем, я с ним спорил, спорил и бросил. Знаю, все это без толку...»

Вот и все... Я представил себе: деревенская осень, и без того тоскливое время, грязиза — от дома до дома не дойдешь, дожди, срывающаяся уборка... И тут еще это звено!..

Я тогда постарался собрать самые сильные слова, на которые был способен, написал: держись, Юра, не сдавайся ни за что, геройская ситуация наступает — придется героизм проявлять!..

И вот приходит новое письмо: все-таки зябь всю полностью по бригаде вспахали, хотя в колхозе — меньше половины. Работали хорошо, «как-то все перетряхнулись», писал Юра. Опять были сетования, жалобы на то, другое, но, главное, в них не было уже прежней обреченности, скорее чувствовался обычный практический скептицизм.

Больше всего сил — одновременно моральных и физических — стобрала весна, последние недели перед посевной. До этого все еще работали по нарядам, теперь же пришло время, когда надо было окончательно решиться — да или нет, и если да, на

все лето переходить на мизерный повременный аванс, отказываясь от несомненной выгоды летних нарядов в расчете на большую, но уже отчасти сомнительную (поскользку от многого зависящую) награду за высокий урожай.

Для того чтобы уверенно пройти весь не короткий и не легкий отрезок, надо было прежде всего отобрать, окончательно установить стопроцентно надежный экипаж. И вот тут наш первоначальный план претерпел первую серьезную поправку. 15 человек, сколько, посчитали, понадобится, чтобы взять все 1500 гектаров, не набралось. «Когда был ты, кажется, все было решено. Люди были согласны со всеми предложениями. Видимо, привыкли у нас: что говорит начальство, то и нужно выполнять. Ови тебя тоже считали начальником — человек из Москвы.. Когда я все решил с экономистом и председателем и они приехали проводить собрание, старые трактористы уперлись: как это мы будем работать без бригады? Мы не можем. Если включат всю бригаду, мы пойдем, если нет, и мы нет». В общем, пошла на новое одна молодежь. «Сейчас бригада посмеивается над нами, говорят, посмотрим, как вы справитесь своими силами. И если по-честному сознаться, я очень боюсь за наше дело. Если мы проиграем, то они нам долго будут об этом напоминать...»

Пришлось, значит, и землю пополам делить, половину взяли 7 человек в звено, другую — 13 постоянных членов бригады. Ну что ж, на новое, только обещанное, но еще не виданное глазами, не каждый решится. Важно было создать одно, но крепкое, жизнеспособное подразделение, чтобы его пример помог перейти на звеньевую организацию остальному большинству.

Вторым делом было как следует подготовить технику. При минимальном ее количестве — закрепили за звеном два колесных и три гусеничных трактора — ни о каких поломках во время работы не могло быть и речи. Поэтому ремонтировались как никогда тщательно, на совесть — зато и получилось потом, что от начала посевной до середины июля всего один трактор простоял два дня, да и то из-за того, что на складе не было нужной запчасты. Вот, кстати, один из ответов на вопрос, как семейным удалось сделать больше, чем двадцати четырем.

— Конечно, у них хорошо, — говорят мне в бригаде, — как поломалось, звеном навалились, в одну минуту сделали. Так что не работать! — И с таким выражением, как будто звену сам господь бог особую льготу дал. А звено-то из кого, кто наваливается? Такие же самые работники, как остальные.

В бригаде сейчас 9 тракторов.

— А у них как с ремонтом? — спрашиваю у Юры.

С недоброй усмешкой, которая всякий раз, когда речь заходит о бригаде, появляется на его лице, он кивает в сторону стана:

— А вон они — до сих пор половина стоит. Так до самой осени и провозятся. Спешить некуда! Попросили их весной помочь, все равно свободные люди у них были. И так предлагали, как звену, и за наряды — уперлись, ни в какую. У себя работать не будем и к вам не пойдем. Мы плюнули на них, больше не обращались.

Обратились уже из бригады после посевной — с парами не могли справиться, — чтоб звено им 70 гектаров вспахало. В звене подумали и попросили правление эти 70 гектаров передать ему. Так и сделали. Бригада, конечно, разозлилась. Когда я пришел туда, на «не наш» наряд, заговорил с Плешковым, один тракторист с долгой, закрывавшей все лицо щетиной вдруг взвился, хватил ногой в железную печку:

— Звено, звено! Всемером полземли забрали, пары опять им. Пусть все тогда к черту забирают!

Отношения между звеном и бригадой накалились до того, что весной даже произошел неприятный инцидент. Заканчивали как раз ремонт, измучились с ним; техника была такая — один трактор новый, два четырех-пятилетнего возраста, два уже под списание. А кто в бригаде, сами помногу не трудясь, все донимали своими насмешками. Тут еще праздник 9 Мая, все «пируют», Юра со своими работает. Подошел один под хмельком, начал куражиться. Юра сопит, делает. Но когда тот понес такое, что вот, дескать, надавали им все самое новое, лучшее, будут они как баре теперь, в чем ни на волос правды не было, Юра не вытерпел, развернул за плечи: «А ну-ка пошел отсюда!» — и подтолкнул легонько. Ну, то ли это «легонько» при Юриной комплекции не очень легоньким получилось, то ли тот сильнее, чем с виду, пьян был, только не устоял, упал. Встал: «Ну ты за это ответишь!» И написал длинную бумагу в милицию. Прилетел участковый, и Юре пришлось выслушать нелестную беседу и дать обещание...

Да, порядком сил и нервов было потрачено, и все это, конечно, не прошло без следа для лохматой Юриной головы. Появилось в глазах какое-то новое, беслокойное выражение, говорящее о долгой, не запросто стряхиваемой с души заботе. Он повел всю команду, он хорошо ли, плохо, но вложил душу в это дело, и как теперь оно повернется — вопрос чести, вопрос серьезного для человека успеха или неуспеха.

Конечно, помогло и то, что председатель оказался на нашей стороне, в конце концов они все же нашли с Юрой общий язык.

Я уже говорил про Ивана Ивановича Устюгова, теперь хочу представить его поближе. Невысокая легкая фигура, шустрые глаза, белая кепочка, какой-то совсем не начальнический вид. Скорей издали похож на бойкого паренька-шофера, который залетел на минуту в контору — не рассиживать, а по-быстрому оформить бумагу и лететь дальше, успеть еще до ночи обернуться лишний раз.

В большом механизме есть самая главная, первая шестеренка, которая бешено крутится и задает ход всем остальным. От нее идут уже те, что помедленнее, тише, еще тише, и эта, первая, кажется, сходит с ума, чтобы заставить только еле-еле поворачиваться последнюю. Вот такое впечатление производит и работа председателя. Кажется, остановись он хоть на минуту, замрет и все кругом. Его ждут, ищут. Он сам носится по полям, ловит то одного, то другого. Стоит остановиться его машине, как сразу тянутся к ней со всех сторон люди со своими бумажками и вопросами, ожиданиями распоряжений — каждую шестерню надо провернуть, своей энергией она не обладает.

Весь управленческий аппарат колхоза состоит из людей грамотных, трезвых, по своему добросовестных. И он, наверное, неплохо бы работал, если бы все было налажено, всего бы хватало, планы выполнялись, — словом, служа именно передаточным, никаких лишних оборотов не делающим звеном. Но дело-то пока не налажено, на каждом шагу надо именно думать, проявлять инициативу, а этого и нет.

Тамара Александровна Кузьминых, по-моему, хороший экономист. О чем бы я ни просил ее, всегда старательно помогала, считала, искала нужные цифры, за это ей большое спасибо. Но вот стоило только отойти — и бесполезно было ждать, чтобы сама она по собственному почину сделала хоть шагок, хоть маленький оборотик. Юра весной принес договор, надо было отпечатать, ну и отредактировать, ей виднее — поправить, что не так. Первое Тамара Александровна старательно выполнила, но дальше этого не пошло, так бумага и пролежала до моего приезда. Здесь, в отношениях с этим бумажным аппаратом, бедный Юра делается совершенно беспомощным. Завожу его чуть не силком в бухгалтерию. Останавливается, насупившись, что-то бурк, ему бурк в ответ, он стоит, они сидят, постоял, повернулся — и долой отсюда, век бы еще не заходить.

Иван Иванович — самый занятой человек в колхозе, и все же именно у него хватало времени ездить в бригаду, вникать, мирить, защищать, регулировать...

Мне нравится в председателе то, что он хочет быть лицом активным, не страдательным. Конечно, запущенное хозяйство не должно давать спать любому руководителю, но с другой стороны — запущенность эта может служить и отговоркой: дескать, так уже пошло, что тут стараться, все равно без толку. Нет, Иван Иванович верит в толк. Колхоз на глазах принимает новый вид. При мне в прошлом году только копали котлован под зерносклад, теперь все почти что готово. Мощные бетонные стены подземного хранилища — здесь уже зимовал семенной картофель, следующим этажом отсеки для просушки зерна, еще выше — транспортер-распределитель, над ним, под самой крышей, агрегат для очистки. Полная механизация, все по собственным проектам председателя. Обошлось это комбинированное сооружение всего в 120 тысяч рублей, аналогичные типовые проекты стоят около 300 тысяч. Главное, что это уже прочно, основательно, не какая-то временка — лишь бы на сегодня заткнуть дыру, а завтра снова придется затыкать и послезавтра тоже; это то, что называется фундаментом, без которого не прочна ни одна постройка, полное и основательное решение вопроса.

На АВМ — площадку по приготовлению витаминной муки — мы приехали ночью. Настоящий цех — высокий, создающий ощущение объема потолок, чисто выметенный бетонный пол, снова полная механизация: гидравлические загрузчики для обоих агрегатов, на тележках мешки с мукой и гранулами отвозятся на склад — длинное сооружение по соседству, оббитое каким-то серебристым красивым материалом. Цех рабо-

тает круглосуточно — бьет прожектора, столбом вьется в небо отработанный пар.. Без конца спешащий, отсюда, от этих сооружений, председатель не торопится уходить. Оглядывает, ощупывает каждую деталь, словно не видел никогда, забирается за каким-то отводом под самую крышу... Я чувствую, как приятно ему просто побыть здесь, потоптаться рядом, созерцая всю эту сложную, вот только что еще бывшую бумагой, мыслью начинку. Так мастер долго не отпускает готовую вещь, все смотрит, вертит в руках, прикидывая на одну ему известную мерку, и тайная гордость этой минуты, быть может, и есть для него главное вознаграждение за все прошлые и будущие усилия.

...После долгих разъездов мы наконец добрались к вечеру до дома, вышли к речке, пока готовился ужин, подкосить травы теленку.

— Иван Иванович, а не боишься ты прогореть? Не спросят как-нибудь: миллионы затрачены, а где результат?

Иван Иванович, почесав затылок, подвигает вперед кепочку.

— Можно и пролететь.. Вот еще год-другой прибыли не дам — у них много там таких Иван Ивановичей, замену найдут... Рискую. А что-то делать надо, какая от нас польза, если будем на месте сидеть? Я здешний, из этих же краев, здесь родился, здесь за руль сел, здесь в СПТУ учился, все мне здесь не чужое. Я знаю, что-то должен оставить по себе — плохое ли, хорошее, только так, даром, как говорится, и жить не для чего. Зачем я все это строю, иногда, видишь, даже неофициально? Чтобы как-то жизнь немножко переделать. Этот же мужик раньше кто был? Скотник, вилами навоз таскал, а теперь — оператор на АВМ или на зерноскладе кнопки нажимает. Людям работу дать — это тоже большое дело. Хоть одним этим, а уже я пользу принес. Завод построим, кирпич свой, значит, жилье дадим, каждому ведь хочется жить лучше — сейчас, на своем веку, жизнь-то одна у человека...

Иван Иванович, Юра — два совсем разных человека. Один без пяти минут кандидат наук, председатель; другой рядовой колхозник, тракторист; Ивана Ивановича орудие — слово, распоряжение, вся канцелярия и бухгалтерия; Юру калачом туда не заманишь. Раз, рассказывал мне секретарь райкома партии Шмаков, приехал он в колхоз, сидели с правлением, решали, пора начинать уборку или не пора, вдруг без стука дверь открывается, Юра вваливается с ведром зерна, из бункера уже, и бух на стол: «Хватит сидеть! Жать пора!» На том и кончилось собрание. Но вот именно эти двое благодаря главному свойству натур своих — равнодушию к жизни, необходимому для всех, но не одинаково рассеянному по людям сознанию ответственности за общее, за то, чем все живы, когда чужое так же болит, как свое, — именно они и сошлись, оказались рядом не только в моем очерке, но и там, в жизни, в своих разных, но преследующих одну цель стараниях.

Но пора вернуться к нашему звену. Итак, я приехал в середине лета, чтобы увидеть своими глазами, как идет работа, как на деле выглядят эти новые, уже давшие такой замечательный результат отношения. И, признаться... ничего не увидел. Собирается звено теперь чаще не в отряде — на травке возле Юриного дома, да и то всех семерых так ни разу я и не застал. Вот сидим мы с Юрой, подходит Петя Трофимов, тоже присаживается. Потом Виктор Павлович, Леша... Я жду, готов уже запоминать их горячие, заинтересованные разговоры о работе, серьезные суждения, которым как раз место в моем сюжете, но ничего этого нет. О ягодах, о своем сенокосе, о соседской корове, о мошкаре... Через десять минут разошлись — никого. Где-то вскользь проскочило что-то вроде: «Запахивать лучше с какого конца?» — «Да хоть с какого». И все дела.

Вот это-то меня окончательно и убедило в несомненной победе звена. Сбылась прошлогодняя наша мечта — «что, если не заставлять?». И вот никто никого не заставляет, это выпало само собой, поглядеть — и не поймешь сразу, кто тут звеньевой, а кто не звеньевой. Такой и должна быть работа! Ее не видно здесь, зато видно там, в поле. Нет этого вечного скандала разрядки, когда тракторист и бригадир стараются перешибить один другого. Здесь интерес всех совпал в одном, и потому излишни стали все эти дебаты-разговоры: оказалось, дело-то само настолько ясное, что с полуслова, с полунамека все уже понятно. И не потребовалось никакой сумасшедшей шестеренки, чтобы заставлять крутиться неповоротливые остальные.

Нет, здесь, во «внутренних» отношениях, в целом было все нормально, лучше даже,

чем нормально. Другое вызвало все большую и большую тревогу. То, над чем ничья воля пока еще не властна. Погода.

Тяжелое выдалось лето. Никто еще не знал, чем оно закончится, но уже сейчас, в середине, было ясно, что даром ничего в этот год взять не удастся. Я чувствовал, как молчаливо переживает зveno. Сильная его сторона — зависимость от урожая — грозила обернуться своей противоположностью. Нет, это вовсе не значит, что подобные звенья способны существовать только в удачные годы. Но вот самый первый, начальный год — хотелось бы все же, чтобы именно он выпал с лишком, а там уж, когда дело пойдет, и всякие не страшны.

Но выпадало иначе.

В бригаде получали свои твердые 250—300 и с ехидцей посмеивались над звеном, вроде и сама стихия была на их стороне. Им-то совершенно все равно было, хоть печет, хоть каплет...

С Юрой, с Иваном Ивановичем объезжали мы поля, щупали колоски, прикидывая, чего можно ждать. Озимые выросли чуть получше, успели все-таки захватить весенней влаги, центнеров по 20 могли дать. А вот яровые хуже. На разных полях только по 10—15 центнеров. Сделали примерные подсчеты. Совсем негусто звену выходило.

Пора мне уезжать, договариваемся, дней за пять до конца уборки Иван Иванович даст телеграмму, прилечу, все же не оставляет еще надежда хоть не на самый лучший — мало-мальски удачный исход.

И вот конец августа — и я с аэродрома спешу напрямик в колхоз. Последний пригород, последний поворот — вот и колхозные заборчики, на вершок покрытые пылью, каждый раз непривычно пустые участки — сады в этой зоне из-за суровых зим не растут, — облезлая деревянная двухэтажка правления, а вот уже навстречу и красная «Нива» Ивана Ивановича.

Стою с глухим лицом и никак не могу поверить — может, он шутит все-таки, да нет, на шутку не похоже... Все сторело. Так ни одного дождя и не прошло. И словно только здесь замечаю, какая стоит невыносимая жара — а еще мелькало в дороге: какой погожий денек! А они тут все с моего отъезда такие погожие...

Все пропало! Для меня в одно мгновение, для них тянулось это мучительно и медленно, изо дня в день, когда зерно, вместо того чтобы наливаться, от небывалой жары начало съезживаться, не прибавлять, а терять в весе... В среднем по 8 с чем-то центнеров с гектара вышло. В сравнении с другими отделениями, с районом даже больше, но для звена — ноль, ничто, аванс не окупается.

Затем надо было идти к Юре... Грустное приветствие: «Вот так-то». — «Вот так»...

— А что ребята?

— Как платить им теперь, не знаю. Если не заплатить, больше, конечно, этого звена здесь не увидишь.

Понятное дело...

Итак, дело кончилось, оборот совершился, вот его результат.

Но для этого года. А для других? Для следующих? Неужели с самого начала при всем усердии и при всех преимуществах, которые я так настойчиво расписывал, все наше дело было фатально обречено? И не могло быть другого итога?

Нет! Могло! Чтобы дальше идти, следовало прежде всего это признать. Да, действительно, засуха была редчайшей, и все же решили не сваливать всю вину на нее. Что в этом толку? Просчет состоял вот в чем: действовали не наверняка. Не обеспечили до конца все необходимое, слишком много оставили на долю удачи, она, как водится, и подвела. Что же, не надо было начинать? Надо было. Не прыгнув в воду, плавать не научишься. Но теперь надо было ясно представить — чего же все-таки не хватило? Первое, самое главное — истощенные, неунавоженные поля. Где был навоз, там выросло, и в эту дикую засуху на небольшом участке озимая рожь дала 25 центнеров на гектар. Второе — оптимальный набор культур. Озимые, как показывает опыт, хоть в самые лучшие годы и отстают от яровых по урожайности, зато несравненно стабильней, засухоустойчивей. К тому же увеличение их клина дает более равномерную занятость, меньше в одно время приходится сеять и убирать, что также важно для звена. Иван Иванович посчитал, что озимыми можно занимать до половины площадей — так в этом году в Паруновском отделении и сделано.

Но перевернуть все за один раз не по силам, наверное, никому. И то, чего удалось добиться даже в этот неудачный год, много, очень много. С какой стороны ни

посмотреть, видно, что направление взято правильное. В это твердо уверовал и Иван Иванович, об этом он сказал на собрании в звене после уборки. Несмотря на то, что не получилось прибыли, трактористам все же будет доплачено — за экономию прямых затрат и по прочим статьям. Это справедливо. Они сделали все, что зависело от них, и сделали отлично. На этом последнем собрании решили и в следующем году работать так же. Больше того, взять целиком всю землю всюю бригады, для этого, посчитали, уже достаточно опыта.

И снова оставалось только ждать целый долгий год, пока можно будет наверстать упущенное, просто не выпавшее по случаю. Долго поворачивается неторопливый круг. Горько чувство поражения. Но я верил, что те, кто оказался крепок в труде, должны оказаться крепки и в неудаче. И одна цена, уже заплаченная за успех, не позволит им отступить от него, не даст бросить начатое на полдороге...

3

Новое лето в Парунове отметились двумя знаменательными событиями: прежний бригадир Александр Матвеевич Плешков ушел пасти колхозных коров, а сын его Валерик в жатву первый раз сел на комбайн.

Не потому ушел Плешков, что плохой бригадир, напротив, всегда ценил его председатель за исполнительность и энергию, хоть и маленький, а горластый был, умел с грехом пополам разогнать людей на работу. Но теперь, при звене, некого стало погонять и распекать, должность сама собой упразднилась. Звали его командирить на другое место, но Плешков отказался:

— Ну к богу, хватит, устал. Всю жизнь только на людей орал, не хочу больше. Допасу год — и на пенсию...

А Валера был комсорг в школе, примерный ученик, предлагал ему директор по направлению от колхоза поступать в Пермский пединститут, но вместе с другим Валериком, Овциным, попросились они в звено. Старший Плешков, по всему, выбором сына остался доволен. Говорят, сделал ему такое напутствие:

— Куда пошлют ребята, туда и иди. В огонь пошлют — тоже иди.

А когда-то был он первым против нового дела, клялся: ни в жизнь тут такого не получится. Зато сегодня признание давешнего противника, быть может, лучшее доказательство полной и бесповоротной победы звена.

Нелегко она далась. Тяжелым испытанием для семерых добровольцев из Парунова стало прошлое лето, и особенно тяжелым для самого Юры. Я хорошо помню его отчаяние, совпавшее как раз с домашними невзгодами, в какой-то момент он не выдержал и попросил переизбрать его из звеньевых. Еще бы, ухлопать столько труда и своего и чужого — и все потерять из-за той беспримерной засухи! И думая сегодня, почему все-таки не распалось звено — напротив, выросло с этой весны вдвое, уверенно взяв все полторы тысячи паруновских гектаров, я прежде всего хочу отдать должное той завидной товарищеской сплоченности, что, стихийно возникнув вокруг правого дела, оказалась не подвластной никаким атмосферным и прочим колебаниям.

Теперь, когда паруновцы собрали по 19 центнеров зерна с гектара, на 6 центнеров больше среднерайонного, слава о них прокатилась по всей области и даже за пределы ее. Уже Юра ездил на представительное совещание в Пермь, где звеном заинтересовался сам начальник сельхозуправления Левин. Уже стали приходить ему приглашения на всякие слеты, конференции... Правда, куда больше Юра не поехал.

— А ну их, и так времени не хватает по запчасти бегать, в отпуск даже не пошел...

Я чувствую, ему совсем не по нутру вся эта кампанейщина, так широко местами любимая сейчас! То кампания за своевременный посев, то за несгноение сена на лугах, то смелый почин — вывезти весь урожай с полей. Как будто без почина его в землю зарывать надо. А теперь вот кампания по звеньям. И у Юры есть все основания не доверять ей. Впрочем, я забегаю вперед.

Первый секретарь Қишертского райкома партии Петр Георгиевич Шмаков нынче как бы с приятным сюрпризом:

— Ну, теперь им есть что показать. Тогда вы приезжали — еще не видно было, то ли получится, то ли нет, а в этом году хороший урожай взяли. Мы и по району в целом должны были выполнить план, полцентнера не хватило, подвел посадский совхоз, не дал своей урожайности из-за плохой обработки земли.

Да, теперь уже стыдно оправдывать неудачи «объективными причинами», хотя, надо сразу сказать, и они есть, с ними уже сталкивается звено, они сделались ему тормозом. Но это на других совсем скоростях, где и требования другие. Здесь же, у остальных, пока вдоволь своих резервов, что прекрасно доказывает пример Парунова. Вчерашняя «самодеятельность», к которой до поры все еще относились не без тайного недоверия, сегодня дала такой результат, что сам просится вширь, на распространение.

Председатель колхоза имени Ленина Иван Иванович Устюгов называет парунское звено — асы. Это слово означает у него не только высокое профессиональное мастерство, но и настойчивость до самого конца, находчивость в любых ситуациях, высший, если можно так сказать, пилотаж в работе. Оно так и есть.

Говоря о Юре-звеньевом, я словно позабыл, что он прежде всего был и остается первоклассным механизатором, высоким мастером своего дела. Еще лет пять назад он первым в районе обязался намолотить за уборку 7 тысяч центнеров. Что значит обязался? Спросили: «Сможешь?» «Смогу. Только ремень дайте, у меня износился, не дотянет». Ремень лопнул на четырех тысячах, новый, как водится, позабыли привезти. А в нынешнюю страду, справляя одновременно обязанности звеньевом, при той же повременной оплате — 70 копеек за час — выдал-таки эти 7 тысяч. Нешуточный рекорд, если учесть, что то и дело приходилось оставлять комбайн на «воспитанника», молодого Овчина, который, не в обиду будь ему сказано, живо находил роковую кочку или колдобину, и гнать «по запчасть» или по каким другим делам. А дел этих, представьте, немало — 1500 гектаров земли, над которыми Юра, тракторист, сегодня единственный командир.

Но особенно бросилась в глаза эта «разность классов», когда Юра с Петром Титовым, покончив со своей уборкой, отправились на помощь в соседний совхоз «Малебский». У них на двоих уже было намолочено 11 тысяч центнеров, в то время как там на весь совхоз всего 9 тысяч. И лишь через неделю десяток тамошних комбайнеров едва-едва нагнали этих двоих.

В чем же дело, ну как все-таки это объяснить? — спрашиваю Юру. Комбайны одинаковые, поле одно — откуда такая разница?

— Они ж едут без разборки, один в яму залез, сломался, следом все десять стоят. Мы за ними походили — толку мало, отделились совсем.

— А вы почему на этой яме не ломаетесь?

— А мы в нее не едем. Обогнем, обкосим с другой стороны.

Школа звена. И много в ней таких немудреных хитростей. Раньше, например, не обходились без штурвальных, да и сейчас во всей округе с ними работают. В Парунове же — при самом высоком на район урожае — вдруг обошлись. Как это?

— Очень просто. Пить стало некогда. А то привыкли: комбайнер посадил помощника, а сам с поля долой. У нас два Валерика за всех помощников успевают.

— Стараются?

— Я Овчину сказал, чтобы с утра комбайн чистый был. За два часа приходит.

— Значит, нарушителей уже совсем не стало?

— Попадают... Прогулял раз — на месяц с вилами на исправление. Еще раз — обратно. Сейчас один третий день на работу не приходит. Может больше совсем не приходиться...

Чрезмерная строгость? Нисколько. Как сказал один человек из колхоза: «В бригаде кум свата выгораживает, а в звене кум за свата работать не будет».

В кабинете парторга колхоза Эдуарда Михайловича Шварцкопфа у нас случайно вышел интересный разговор. Когда мы с Юрой зашли, там сидели два бригадира — осинцевский, Федор Иванович Свизев, и бырминский, Иван Иванович Сивков. Но сперва хочу сказать несколько слов о бригадирах. Федор Иванович был первым, кто признал орловское звено: уже после прошлой, всемером проведенной посевной он захотел и в своем отделении завести такое же. И новым летом у него уже работало безнарядное звено по возделыванию силосных. Но больше других меня интересовал на сей раз Иван Иванович Сивков. И вот почему. Его отделение самое крупное из пяти, 2100 гектаров пашни, прежде, до укрупнения, отдельный колхоз, прибыльный, а Сивков — коренной тамошний бригадир, главный инженер одно время. Насколько Юра силен и смекалист в поле, настолько Сивков — в бухгалтерских закорюках, экономике, организации производства.

Разговор начался с садика — тема равно для всех животрепещущая. Садиков по отделениям нет, у кого дети — либо дома сидят одни, без присмотра, либо с родите-

лями в поле, на ферме. Оно, конечно, и трудовое воспитание с детства, стороннему человеку вроде меня можно умилиться, глядячи, как Юрин пятилетний Сэргий смело карабкается на комбайн или привычно спит, обняв в кабине ящик с инструментами, или же как крохотная девчушка, подражая матери, старается свалить скребком в транспортер коровью лепешку. Но ведь недолго и самой свалиться туда, ухнуться под колеса, получить копытом в лоб — родители в вечном страхе.

— Нам бы разрешили звеном домик поставить,— говорит Юра,— давно бы свой садик открыли.

— Дело ж не в домике, Юра. Это, значит, вам сейчас дай техничку, прачку,— Шварцкопф принимается загибать пальцы,— медичку, повара, воспитательницу... Где их взять, персонал?

— Никакого не надо персонала. Много они, дети, съедят? Кастрюлю наварить — на всех хватит.

— А у кого-нибудь понос — нас всех потом по судам затаскают. Не положено без штата садик открывать.

— Бюрократизм самый настоящий — вот это что такое,— говорит Федор Иванович.— То нельзя, это нельзя, все равно делать приходится, только обманом заставляю. Кроватку нельзя для садика купить на колхозный счет — не относится к производству. Бидон относится, а то, что мать с дитем сидит, на работу не выходит,— не относится?

Мне между тем не терпится задать Сивкову свой вопрос:

— Иван Иванович, ну а теперь каково ваше мнение о звене? Уже есть результаты: девятнадцать центнеров у них против ваших четырнадцати.

Еще летом с председателем и с Петром Титовым мы приезжали в Бырму на маленькое собрание механизаторов. Сказал председатель, сказал Титов свое мнение о звеньевой работе, сказал тогда и Сивков. Большинство, в общем, поддержали предложение сделать и здесь звено.

— Чего страшного? Попробуем. Не получится — опять на бригаду перейдем...

Но Сивков живо оборвал эти разговоры:

— Пробовать нечего — не карты. Вот закончится год, посмотрим, какой выйдет результат в Парунове, тогда будем говорить. Надо еще посчитать всех людей, всю технику, сколько на ферму останется — у нас отделение большое, нельзя дурака вальть...

Знаю я про Сивкова еще одну историю. Обычно все прошлые годы урожай в Бырме бывал повыше колхозного, а в семьдесят седьмом, самом урожайном на памяти, неожиданно больше собрали в Парунове. И бырминского бригадира это настолько задело, что чуть не подрался тогда с агрономом — этот солидный, рассудительный человек, — все никак не мог поверить, что не было какого-то подвоха, не мог проглотить обиду. И вот теперь я нарочно тронул самое чувствительное, как думал, место. Но старого бригадира так просто не прошибешь.

— У них и должен быть больше урожай, если они в привилегированном положении. Тут еще не только на центнеры смотреть надо, но и что под них получают...

— А что мы получаем?

— Нам в этом году удобрений почти совсем не досталось, а вам весной председатель отдал вагон, сколько нисколько — внесли все же.

— По шестьдесят килограммов на гектар — много ли? И то как получилось? Вагон сначала на всех пришел, мы отгрузили все, а вечером Иван Иванович говорит: половина осталась, если не заберем, другим отдадут, вагон отправлять надо. Я своих поднял, как раз за ночь вывезли — все равно пропадало.

— Так тебе есть кого отрядить. А я кого пошлю? Ваньку да Мишку? Они привезут!

— Тогда не говорите, что у нас привилегии.

— Нет, тут они молодцы,— вступился за Юру Федор Иванович.— Ты, Иван Иванович, не грехи, отлично ребята работают.

— Я не спорю, что молодцы. А зато какой у них рабочий день получается? — неожиданно заходит Сивков с противоположной стороны, как рентген, просвечивая сквозь свои массивные окуляры так и эдак звено.— Не по восемь часов, как по конституции, наверное? На это тоже не всякий согласится.

— Неправда! Первый год только трудно было, а в этом уже так не напрягались. По восемь часов и выходило, в посевную только да в уборку больше.

— А в посеvную и в уборку все от темна до темна,— поддерживает снова Федор Иванович.— Только смотри, другие всего до пяти, до магазина и робят, а потом куролесят уже.

— Ну ладно, это все хорошо,— заключает Сивков.— Только вы все же мне сперва сосчитайте, какая себестоимость в звене и какая в колхозе, вот тогда поверю.

Когда я принес Сивкову цифры, списанные в бухгалтерии, он сам взял ручку, старательно пересчитал затраты на производство в своем, потом в Паруновском отделении и наконец воочию убедился, что в звене себестоимость продукция намного ниже.

— Конечно, есть у них привилегия, все равно не по шестьдесят килограммов они внесли, там еще с осени по три центнера было, я-то знаю, просто при Юре настаивать не стал. И правильно, я бы тоже на месте председателя им давал — на совесть ребята стараются. Но хватит ли на всех этих привилегий? Удобрений-то не прибавится. Пока одно звено, два — еще как-нибудь выкрутятся. А все перейдут? Вот я еще о чем думаю...

Сображение верное и далеко не праздное. Действительно, звено требует определенных «привилегий», как сейчас называют необходимое: разумный, не противоречащий здравому смыслу севооборот, запчасты, удобрения. Без этого немисливо братья за работу: проку не будет, не будет урожая, не будет и оплаты за него.

Общеизвестно, что потребности сельского хозяйства во всем этом сейчас регулярно не удовлетворяются. Но также, думаю, ни у кого не вызывает сомнений и то, что в век спутников и атомных подводных лодок проблема минеральных туков и приводного ремня не может быть принципиально неразрешима. Остается признать, что люди, разрешающие эти проблемы, разрешают их, очевидно, спустя рукава, наловившись вместо настоящего исполнения своих обязанностей мотивировать их невыполнение «объективными причинами». Иначе не знаю, как объяснить, что при наличии развитой индустрии дело дошло до того, что на селе уже строят по первобытному образцу свои литейные цехи («Правда», 25 января 1983 года), доверяя такой кустарщине больше, чем государственному обеспечению.

Так кто же мог бы обратить все это обеспечивающее производство в нужную сторону? Очевидно, тот, у кого заинтересованность в результатах именно кровная, не подмененная никакими передаваемыми как бы по конвейеру отговорками. И такая заинтересованность есть у звена. Уже сегодня голос его раздается громче, чем голос председателя. Иван Иванович по весне дважды ездил в область выбивать удобрения и все напирал на то: не я, мол, люди требуют, не дадите — распадутся звенья. Но это покамест, по совести говоря, еще больше спекуляция на модном течении. В принципе же, в перспективе договорное, хозрасчетное начало, которое внедряется сегодня в низовом звене, должно распространяться и дальше. Только дать звену юридическую силу, безусловное право требовать возмещения убытков, нанесенных чужой неисполнительностью,— вот тогда такой же несомненный интерес к хорошей работе появится и у остальных партнеров.

Конечно, воспитываться самим, да еще при этом воспитывать других, должно быть, нелегко. И не столько в звене выросла нагрузка физическая, сколько психологическая. Новизна, необычность дела, где каждый стал зависим от всех, все от каждого, от погоды, от случая, от того, удастся ли, нет отхватить этих злосчастных удобрений, каждодневные столкновения с «неправдой» партнеров... Так вот, многие ли отважатся на такое? И тот интерес, благожелательство, порой и зависть, с которыми с самого начала взирает весь колхоз на паруновское звено, взявшееся по-новому кроить укоренившийся порядок, внушают мне все более оптимистические мысли по сему поводу.

Собственно, с этого энтузиазма по большей части и началось второе крупное звено по образцу орловского — в Пашевском отделении. Когда-то и здесь была сильная бригада, получали порядочные урожаи. С годами же бог весть отчего завалилась работа, разладилась. Но толковые механизаторы еще остались. К их-то честолюбию и обратился председатель, когда приехал по весне агитировать за звено:

— Вы что — хуже паруновских? Работать не умеете? Они герои на весь район, а вы в колхозе последние!

Так и народилось новое звено, уже «второго поколения».

Хорошего урожая зерновых на сей раз в Пашеве не получилось, хотя и 12 центнеров на гектар все-таки не в пример больше прежних 4—8. Виноваты и прежняя запущенность земель, и недостаток удобрений, да и отсутствие, конечно, того высшего

мастерства, уже достигнутого паруновцами. В Парунове лучше всяких агрономов научились ценить удобрения и обращаться с ними. То, что там с осени было внесено по три центнера, я знал и до Сивкова, Юра сам признался:

— Это я для начальства говорю, что шестьдесят килограммов. Про осень никто не спрашивает, все: сколько по весне внес? Оно по весне столько и было. Осенью-то удобрения лежат, бери сколько хочешь, ни у кого руки до них не доходят, это весной уже драться начинают...

И весной в Парунове не пожалели хлопот просеять каждый килограмм из своего чудом доставшегося запаса, чтобы внести с семенами. Зато в Пашеве отсеялись прежде всех — без удобрений. Там уже вовсю зеленели яровые, когда в Парунове только всходили. Но сработала стартовая доза, затем добрались корни до прошлогодней подкормки, и на глазах паруновские поля стали обгонять остальные. Все это с удовольствием вспоминали здесь в уборку, когда в полной мере стали осознаваться уроки, преподанные паруновцами еще задолго до урожая.

И все же нельзя сказать, что в первый год удалось пашевскому звену совсем мало. Во-первых, впервые обошлись без городских «привлеченных», заготовили силоса на два года вперед, заскирдовали всю солому — а то ведь прежде каждую зиму аж до Краснодарского края за ней гоняли. А во-вторых, взяли разбег, уже воочию убедились в своих силах и слабостях, думать начали.

А звено по возделыванию силосных из центрального Осинцевского отделения, о котором я говорил уже, и в первый год сработало с отличным результатом. Получили подсолнечника до 180 центнеров с гектара, впятером заготовили больше половины колхозного силоса. Да и грех было не сработать, если звеньевой Анатолий Филиппович Немтин — первый ас в колхозе по пропашным, с ним двое сыновей, брат председателя Савелий Устюгов...

— Сто гектаров кукурузы было в этом году, — говорит Иван Иванович, — не вышла, не умеем еще с ней работать. В будущем пятьдесят посадим. Культура отличная, но пока не научимся по полтора гектара хотя бы брать, ни гектара не прибавим.

И я верю — научатся.

Я вижу, как наука эта распространяется по всему колхозу. Пусть не академия пока, школа, но такая школа, что дороже иной академии. Помню, в прошлый сенокос молодой председатель, вчерашний агроном, как угорелый носился по полям, говорил зажигательные речи, чуть не личным примером убеждал работать. Видно было, как хотелось ему разорваться на части, чтобы поспеть одновременно и туда и сюда.

— Два раза подряд не заедешь — уже не работают.

И захватив сына из садика, мчался в дальнюю бригаду. И все-таки не поспевал везде. И разбирал наутро докладные.

В этом году уже не то. Сенокос провели с рекордной скоростью — за две недели. Не потому, что быстрее стал бегать председательский «уазик». Потому что и здесь заработал принцип оплаты за конечный результат. Упразднили все премии. Оплата со стога метра. И тоже некого стало подгонять. Наоборот, сами трактористы стога метра подгоняли, за гайками для него бегали.

...Идет, дрожит от важности тяжелый комбайн. Следом за ним, как Ахиллес за черепахой, то и дело перебегают по краю поля грузовик. Сигнал — и меньше чем через минуту сыплется в кузов зерно. Что же так подгоняет? Оплата за конечный результат. Вместо прежних процентов от заработка комбайнера водитель теперь получает только за тонно-километры. И уже не его ловят, как прежде, а он, памятуя, у кого сколько в бункере, караулит комбайн.

— Сами водители предложили, — хвастает председатель, — я не догадался. Борты все до одного нарастили — тоже без подсказок. Худых колхозников нет. Они в своем деле умнее нас в тысячу раз. Только правильно организовать, дать волю — сами изобретать начинают лучше всяких институтов. В этом году на метке стога волокуш не хватало. Один додумался, наварил ее вдвое, за ним весь колхоз повторил, теперь и в районе так делают. В Парунове влажная рожь была, жать плохо, Петр Титов, парень, подсказал: впереди две жатки из ружья пускать, за ними сразу обмолачивать. И быстрее вышло. Если бы по нарядам, кто бы стал думать, кто бы на эту жатку сел? А им все равно, лишь бы в куче больше.

Воистину экономический рычаг — великая сила. Причем удивительные результаты он может давать в обе стороны, как повернешь. В Парунове сейчас уже вроде притчи рассказывают ту историю, как перестали пахать зябь в погоне за весенними

премиями. А ведь только вот, недавно, на моих глазах это было еще явью. И ни плешковское горло тогда, ни взвинченные до предела премии уже не могли поправить дела. Следом подобное стало повторяться и с сенокосом. В этом году из района пришли рекомендации: до 300 процентов за сверхплановую выработку премировать.

— Да с такими премиями лежа работать начнут,— говорит Иван Иванович.— Пусть зарабатывают, когда за дело, не жалко. В прошлом году всем в Парунове доплатили, в этом году, если даже по договору не хватит, и пашевским доплату. Старались как никогда, маленько не получилось, на другой год получится. Главное, чтобы эта система приживалась, она нам позарез нужна. За это лето один раз только агроном в осинцевском звене была: спрашивали мужики, когда подкормку вносить. Мы деньги получаем за то, чтобы думали, вперед глядели, а не бегали как угорелые по полям. От нас что сейчас требовать стали? Жилье, дороги, удобрения. Жилье строим. Паруновское звено этой зимой три дома поставило, заплатили им аккордно по четыре тысячи за дом, теперь еще три заложили. Пусть и в Пашеве так же строят. Дороги тоже сделаем, уже сговорился со строителями, асфальтовый завод нашел. Удобрений сами делать не можем. На этом горим. Каждый год хуже и хуже, сегодня меньше центнера в физическом весе на гектар получили — что тут вырастить? Люди тоже понимают, что они за каждый недополученный центнер из своего кармана платят. А надо, чтобы Сельхозхимия платила. Тогда бы там зашевелились и завод дергать стали. А то они поставили, не поставили — каждый год премия. И все на поклон к ним едут, да не с пустыми руками. Они рады сейчас этому дефициту...

Вот где столкнулись звенья с «объективными причинами». Да столкнулись всерьез, не разведешь. Если раньше эти «причины» вроде даже как бы жить помогали, когда одному партнеру хорошо было другим отговариваться, то теперь партнер — колхоз — по понятной причине так уже не может. Значит, надо и другим перестраиваться. Без хорошей работы на полях, ясно, хлеба не будет. Но и просто взять эту хорошую работу, что называется, в одностороннем порядке, эдаким безвозмездным сюрпризом, тоже не получится.

Что касается удобрений, беда здесь еще в том, что в кишертском отделении Сельхозхимии нет своей торговли. Торгует кунгурская, соседнего района, Сельхозхимия. И поэтому большей и лучшей своей частью удобрения, естественно, оседают там. Но и худших, рассыпных, не возьмешь! В Кишертском районе нет разгрузочного пункта, и быстро отгрузить, не занимая пути, можно только удобрения в мешках, которые как раз сюда почти не доходят. А гонять технику в Кунгур, за восемьдесят километров, не только накладно, да в страду, в беспутьицу и вовсе невозможно. Элементарный выход — построить у себя разгрузочную площадку, но здесь уже который год не могут столкнуться две разные державы: путевная и сельскохозяйственная. МПС за разрешение на площадку, которая стоит всего 20 тысяч, требует от района стройку тупика в километр длиной и ценой в полмиллиона. Ну а таких денег тут отродясь не бывало. А ведь если всерьез говорить о помощи звеньям, а не о «кампаниях», если и вправду считать подъем сельского хозяйства государственным делом, то вот где такая помощь необходима, вот в чем ее смысл, а не в раздувании плакатных пустословий.

Ну, как говорят, не можешь помочь, хоть не мешай. Если район бессилен (будем надеяться, пока временно) оказать нужную поддержку, кто мешает ему хотя бы не губить уже сделанное?

Еще летом мы с Иваном Ивановичем приезжали в Кишерт и в кабинете Шмакова беседовали с главным экономистом райсельхозуправления Клавдией Грифоновной Муртазиной. Ее никак не сравнишь с исполнительницей Тamarой Александровной. Пылкая, я бы даже сказал, яркая собеседница, готовая, как орлица, заклевать каждого, кто покусится на ее неразумных птенцов, то бишь подопечные хозяйства. Но в том-то и дело, что птенцы перестают быть птенцами, научаются сами соображать и требуют к себе уже совсем иного отношения.

...Мы спорили целый час. Муртазина стойко отбивалась от двух непривычно настырных противников.

— Но план-то мы должны доводить!

— Ваш план — просто фикция, если вы одновременно планируете и перевыполнение, которого никто предсказать не может. Дожди не идут по плану.

— Значит, вы вообще отрицаете планы? От чего же тогда ставить в зависимость?

- От продукции.
- Но покажите мне хоть одну такую рекомендацию. Где это уже было?
- Нигде. Вам рекомендует само звено. Это и есть инициатива снизу.
- Значит, до нас все были не правы, а мы первые правы? Взяли и изобрели!
- До первого самолета тоже никто не летал. А потом взяли и полетели.
- Так то где! Сомневаюсь я, чтобы на нашей пермской земле самолеты изобретали.

— А первый паром у нас построили,— вступает за честь земли Иван Иванович.— Рядом, в Суксуне, из малебского железа. Неужели теперь дурнее люди стали?

Это был первый главный пункт возражений: как можно что-то такое, чего не было до нас! Любая бумажка, но только сверху, и упаси бог от всяких самостоятельных инициатив. Второй пункт касался уже самого существа. Наш расчет вкратце был таков: высчитывается стоимость всей производственной продукции, отнимаются производственные затраты и из остатка установленная взаимным соглашением доля выплачивается звену, остальное идет в прибыль колхозу. Естественно, при такой системе звено заинтересовано исключительно в двух вещах: увеличении производства и сокращении затрат. Чем выше первое и ниже второе, тем больше в конце года зарабатывает каждый. Система же, которую в конце концов избрала Муртазина (за время существования звена по мере поступления рекомендаций системы эти не раз менялись), заключалась в следующем. В течение лета звену выплачивается аванс на основании расценок работ по технологической карте, а также значительные премии за пахоту, сев, культивацию и прочее (ради отказа от чего, собственно, и заваривалась вся каша). А в конце производится доплата за сверхплановый урожай в таком виде: для каждого звена устанавливается свой план, превышение его на центнер — столько-то рублей, на два — столько-то и так далее. То есть муртазинская схема по сути несколько не хозрасчет, в ней нет учета производственных затрат, это та же премиальная старая система, только под новым названием. И, кстати, удивительно, как в Пашеве, во многом не разобравшись, эту сторону, отсутствие хозрасчета, сразу раскусили и в уборку смело «запировали», справедливо полагая, что погибели урожая все равно не допустят. Доканчивали за них осинцевские комбайнеры, но поскольку договором никакие затраты не учитывались, пашевские получили доплату сполна. И доплата эта у них вышла ненамного меньшей, чем в Парунове, превышение-то над планом получилось почти одинаковым: в Парунове с 13,5 (их план) до 19, в Пашеве с 8 до 12. Доплата при таком порядке может быть и при убыточной работе, лишь бы было превышение (а не снижение себестоимости, на что в первую очередь обратил внимание мудрый Сивков), тут даже выгодно вместо одного трактора держать, скажем, три — поломался, не чинить, пересечь попросту на другой. То есть все опять по-старому, напрочь отбрасывается так долго искавшийся нами принцип полного соответствия интересов колхоза и звена, когда они как бы питаются из одного источника: чем больше прольется оттуда колхозу, тем больше и звену. Но в том-то и дело, что Муртазина категорически не верит в возможность прибыльного полеводства в здешних местах.

- У вас на этом хозрасчете каждый год звено будет в долгу оставаться.
- А у вас дальше колхоз разоряться.
- Ну и что, колхозы и так все убыточные.

Ну, если с этого начинать, не стоит вовсе браться за дело. Тогда звено не что иное, как просто модный бантик, нашитый на старые прорехи. Вот где все зло этой кампании: формально понастроить, доказать там, наверху, свое рвение, ну а как на низу все это отзывается — дело десятое. И главное, сильно ничего не менять, чтобы в любую секунду назад отступить можно было и ни за что не отвечать. То есть пусть будет он и самолет, раз того требуют, но пока на базе паровоза. Для большей надежности.

В тот раз нам так и не удалось убедить Муртазину, она осталась при своем мнении, что ничего хорошего на пермской земле, а тем паче в Кишертском районе родиться не может, напротив, уже по месту своего рождения должно быть записано в ошибочное и недозволенное.

Но все-таки более подвижным соображением Шмаков тогда сказал:

— Ладно, Клавдия Трифоновна, пусть одно звено по-своему попробует, а остальные будут по-вашему. Посмотрим потом, где лучше выйдет, то и оставим.

На том и порешили.

И все же не выдержала Клавдия Трифоновна, и одного звена на район не допустила, видно, даже единственный случай самовольства стал ей поперек горла. Когда я приехал в декабре, оказалось, и с паруновским звеном расчет произвели по-муртазински. В среднем вышло у них за лето по 200—250 рублей. У некоторых еще меньше, чем без звена, когда вдвое большим числом в полтора раза меньшие урожаи собирали. И первое, что мне сказал Юра, было:

— С таким расчетом последний год тут это звено.

— Что, так и говорят?

— В лицо не говорят, а за глаза передают: за девятнадцать центнеров не столько должны были получить. Пашевские над нами смеются — у них насколько меньше урожай, а деньги те же.

— Ну как же так получилось? Ведь сначала был правильный договор!

— Я не знаю, куда они его задевали. А после уборки новый принесли, велели расписаться.

Вот тебе и договорное начало! «Велели расписаться!» После уборки! Да это насмешка — и над звеном, и, что горше всего, над тем ростком доверия, который не успел взойти, как тут же угодил под шальную руку всеущей бюрократии.

Пошли в бухгалтерию.

— Мы против района ничего не можем сделать. Как велели, так и рассчитали. Мы-то понимаем все, да выше головы не прыгнешь. Дайте нам такие рекомендации...

Знакомый мотивчик!

Между тем Юра раскурил суть новой рекомендации, понял, почему пашевские не меньше их получили.

— Так нам теперь вот что надо: года за два посадить урожайность до пяти центнеров, а потом пятилетку деньги лопатой гребь. Тогда будет превышение!..

— Но совесть-то у вас есть! — вознегодовала сразу одна из бухгалтеров.

Совесть... А есть она у тех, кто шлет подобные бумажки? Почему только звено должно расплачиваться за бездумность и бессовестность остальных, кто изо всех сил старается влить новое вино в старые мехи, раздувая кампанию, ни шагу не хочет сделать навстречу реальному почину?

Вопреки пессимистической убежденности Муртазиной паруновское звено дало за этот сезон свыше 80 тысяч прибыли и по своему договору должно было получить значительно большее, чем сейчас, вознаграждение. Да как ни крути, весь колхоз это видит. И Сивков, даром слов не бросающий, говорит:

— У меня в бригаде у лучших по триста пятьдесят в месяц вышло. А у них, как работают, у худших столько должно было быть. А у лучших по пятьсот, не меньше.

И нечего бояться таких сумм. Издавна известно: дорогие вещи дешевле обходятся. Ведь стоит лишь чуть-чуть пораскинуть мозгами, чтобы понять, что выгоднее одного работника иметь за 500 в месяц, когда он на каждый свой рубль три колхозу приносит, чем трем бездельникам по 200 платить. Но второе почему-то укладывается во все сметы и расписания, а первое ну никак, хоть убейся, не входит ни в какие ворота у многообразованных экономистов.

Говорю в кочегарке при гараже — зимней «резиденции» звена, — что и они не правы, не должны были принимать неподходящий договор, объясняя, чем он невыгоден и звену и колхозу, но ответом мне неожиданное глухое молчание, чем-то напоминающее то, с которым встретили два года назад первое известие о звене. Нет, спорить с начальством моим асам еще не по зубам. Значит, самостоятельность выросла пока только наполовину, и сейчас им так же трудно поверить в свои права, как сперва трудно было поверить Юре, что и без прокурора можно наладить работу. Он мне и отвечает за всех:

— Нам тут говорить — толку не будет, все равно Тамара Александровна по-своему сделает, как ей из района скажут. Поезжай ты лучше в Пермь, к начальнику сельхозуправления Левину. Он толковый человек, может, тебя послушает...

Ну что ж, раз другого выхода не видно, решил ехать...

Левина я нашел в пригородном опытном хозяйстве, где он проводил какое-то

совещание. Вхожу следом за ним в директорский кабинет, называюсь. До начала оставалось всего пять минут, поэтому и разговор наш был короток.

— Почему вы рубите паруновское звено под самый корень?

— Кто рубит?

— Ваша подчиненная. Отменила хозрасчет, навязала свою рекомендацию, по которой звено не может работать.

— Как так? Почему я ничего не знаю? Почему сам Орлов не сказал?

— Да ведь вы далеко, а свое начальство близко.

— Понимаю.

Левин выходит к секретарше.

— Соедините с управлением.— И, пока вращается диск, говорит:— Даю вам слово, все районные указания будут отменены. Пусть рассчитываются по той системе, какая у них есть.

— Спасибо.

Итак, самостоятельность снова была восстановлена. Надолго ли?

После всей этой истории спрашиваю председателя:

— Иван Иванович, ну а ты-то как такое допустил?

— А что поделаешь? Нельзя с районом сориться, все равно с ними жить потом. Кредиты пока ихние, в колхозе денег нет. Долг давит!

О господи! Какой горькой иронией оборачиваются здесь, на низу, слова о самостоятельности и инициативности, дарованных щедрой рукой моему неугомонному председателю! Дать-то дали, но дали одновременно и тех, кто не допустит этой самостоятельности никогда.

4

Я давно собирался познакомиться с этим человеком по фамилии Вилисов, известным в колхозе не хуже Юры Орлова, только совсем с другой стороны. Да все времени не хватало, другое казалось интересней, лишь имя мелькало, несколько раз даже показывали:

— Вон он пошел, писатель.

И произносилось это слово с той характерной интонацией, что отнюдь не служила вящей славе родной литературы. Ну писатель и писатель, мало ли их, озлобленных и недовольных чем попал, тем более мой друг Иван Иванович советовал не принимать его всерьез:

— Ну пишет обо всем, что на глаза попадет. И я могу то же самое написать, и всякий может — что толку от этих писаний?

И я поверил, не думал, что тут мог быть какой-то зажим. Ведь и Юра, если на то пошло, тоже «писатель», не обиделся же несколько Иван Иванович на его письмо, напротив, поддержал от первого до последнего слова, а там было мало лестного для председателя... Но вот дописался Вилисов до одной из центральных газет, и я прочел его статейку под названием «Сердце пером водит». Сердце водило пером по довольно шаблонному образцу, ставшему сегодня вроде пропуска в любую газету: «Разве редко парторг у нас дублирует хозяйственника?», «Специалисты, в том числе молодой председатель, заимев власть, про уважение к человеку забыли», «Украли колхозное сено, никто из руководителей не обеспокоился»... Все это и по существу было далеко не верно. Кто как не молодой председатель только и делает что беспокоится: строит дома, фермы, гаражи, садик, столовую, я уж не говорю о кирпичном и асфальтовом заводах, о прудах в отделениях,— и все это по собственному почину, часто рискуя головой, бог ведает какими нелегкими путями. Да и дорогие наши звенья навряд ли просуществовали бы без поддержки и оборотливой руки Ивана Ивановича. Все это в сумме и есть не что иное, как настоящее уважение к человеку, проявленное в лучшем своем виде — на деле. И все же сквозь фальшивый заголовок и чужие фразы сквозило чувство какой-то невысказанной обиды, и на этот раз я решил непременно познакомиться.

Как-то, зайдя в местный магазин, я спросил у первой попавшейся жительницы, где живет Михаил Вилисов: мне было интересно, как она отреагирует на это имя. Реакция была самой доброжелательней, ничего похожего на «а, опять наклеузничал!». Женщина с готовностью вышла со мной и показала:

— Вон на угорье два дома, видите? Второй — его.

Миновал уличный порядок, я поднялся на бугор за околицей и вблизи увидел,

что первый дом наглухо и, судя по всему, давно заколочен. Таким образом, хозяин второго поднимался над округой одиноким особняком, что уже само по себе рисовало в воображении характерный образ эдакого неисправимого упрянца, во всем идущего остальным поперек.

Против ожидания Вилисов встретил меня горячо и радушно. Чуть растерявшись сперва, пригласил раздеться, усадил в комнате, и так, почти не вставая с места, мы проговорили с полудня до темна. И уходя уносил я о нем совсем иное впечатление, чем то, с которым пришел.

Родился Михаил Иванович в здешних местах, рано осиротел, был принят в чужую семью. А времена были гяжелые — война. Узнал не по рассказам народную нужду — своими глазами видел, как люди в тылу пухли от голода, как мешали хлеб на коре. Всего четыре класса окончил — дальше работать пошел. Но способный был, часто еще мальчишкой звали в сельсовет как чуть не единственного грамотея на деревне, когда надо было составить какую-нибудь справку или бумагу. И читать с детства до страсти полюбил. Главное, безоговорочно верил всякому печатному слову. Когда узнал из одной книжки, что гром бывает не от бога, каждый раз во время грозы стал выбегать на улицу и казать небу язык, за что и получал по заслугам от набожной мачехи-староверки. Но эта детская непокорность, вера в разум и справедливость так и остались в нем до седых волос.

Судьба же Михаилу Ивановичу, как назло, строила всю жизнь всякие каверзы и несправедливости. И голову пацаном кипятком обваривал, и под трактор ногой попадал, и инфаркт в тридцать лет заработал — словом, чего только не было! Но худшее пошло от другого. Где только не доводилось работать ему, везде начинал искать правду, и всегда это кончалось для него очередной неприятностью. При ферме состо-ял. Не хватало воды, колодец был слабоват, выкачивался быстро, ну а непоеные коровы и молока не давали. Другому бы какое дело, а он начинал доказывать начальникам, что слесарь ленив, надо не зараз качать, а малыми порциями круглые сутки, тогда воды хватит. Не суйся, отвечали ему, не твоя забота. Нет, досовался все-таки, поставили его самого на насос, опозорить захотели. А у него и вправду вода пошла. Сняли с насоса, на другую работу перевели. Он и там за «кляузы»: такой-то рекордсмен и в премиях ходит, а молоко водой разбавляет. Опять постарались объяснить: не твоего ума дело, — да с таким поди объясняйся!.. Вот так и скитался всю жизнь с места на место, из деревни в деревню, пока наконец сюда, на этот угол, не попал. В зрелых уже годах окончил СПТУ в Суксуне, где, кстати, тогда же учился и Иван Иванович, были в ту пору лучшими друзьями. После училища поставили Вилисова бригадиром в Гарях. Хорошие были урожаи при нем, надои поднялись, но и тут долго не удержался, а все из-за несносной натуры своей. Старый тогда еще председатель работал, а в Гарях позарез хранилище нужно было. Вот и стал Михаил Иванович на председателя напирать: разреши да разреши построить. Ну а у того, видно, свои соображения были: то ли по вечному безденежью (в те годы таких, как ныне, ссуд не давали), то ли еще по какой причине уперся — ни в какую не разрешает. Тогда дождался Вилисов, как отбыл в отпуск председатель, и на свой страх и риск начал стройку. С людьми всегда хорошо ладил, попросил, кто гвоздь старый найдет, распрямлять и нести, — так по бревнышку, по кирпичику натащили и выстроили меньше чем за месяц. Обошлось это хранилище всего в три тысячи рублей, сейчас за такое меньше 15 шабашникам не предлагай. Как вернулся председатель, узнал о самоуправстве, шум страшный поднял: засужу и засужу за растрату казенных средств. Принялся прокурору бумаги писать. Еле Вилисов оправдался. Из бригадиров, конечно, уйти пришлось, с той поры и заглохла бригада, и начальство там теперь, что ни год, новое. Но главное-то, конечно, не хранилищем Вилисов досадил, хранилище ладно, кому другому, может, за него еще и спасибо сказали бы. А был у Михаила Ивановича к тому времени еще один смертный грех — в газеты писал, селькором заделался. Это, видно, опять детская тяга к печатному слову сказалась. Писал обо всем подряд: и о березках, и о диких зверях, и о людях хороших. Ну и о нехороших тоже.

Вот этой-то писаниной и заслужил себе Вилисов жгучую неприязнь отовсюду. Кто, как говорят, богу не грешен, царю не виноват. Ну попил один председатель, ну охоч был до колхозного мясца другой — так скажи нелицеприятно, покритикуй в рабочем порядке, на крайний случай и сам причастись: для хорошего человека, подья, когда жалели? Но какой же начальник потерпит, чтобы о том в районной, а тем паче

в областной печати распечатывали! С таким жить — все равно что на живой осе сидеть, так и норовит самое это место потревожить...

Ну а с Иваном Ивановичем столкнулись вот как. Прошлым летом выкосили гаревские — по чьей команде, уже не узнать — колхозное клевернице на литное сено. И пошел Вилисов по старой дружбе к председателю. А того нет. Он к правлению: так и так, мол, бригадир без приказа колхозное сено разбазаривает. Пришел председатель, узнал обо всем и вместо похвалы за бдительность что-то неласковое Вилисову сказал, опять вроде того, что не суйся, не твое дело. А сказал так, потому что свое соображение имел. Бригадир в Гарях без году неделя держатся. Балчугов, нынешний, уже пятый по счету после Вилисова, сам же Михаил Иванович больше бригадирить не идет, у него справка по болезни на легкие работы. И авторитета у этих бригадиров уже никакого не стало, нового разнести, а за такое следовало бы — вовсе последнее уважение отнять. И разнес вместо того председатель самого Вилисова. А Вилисову не привыкать. Он сразу в район жалобу. В районе тоже на него давно зуб точили, не отреагировали. Он в область. Оттуда весь ком, который уже порядком нарос, скатили на председателя. Тут-то и согрешил Иван Иванович. Был у Вилисова ненормированный рабочий день (он сейчас учетчиком работает), сделал ему председатель нормированный, по семь часов безвылазно в гараже сидеть, «на цепь посадил, чтобы писать некогда было». Ну и вообще применил его же оружие — всякое административное буквоедство...

Значит, все-таки был зажим.

— Не прав, зря с ним в склоку полез, — признается и сам Иван Иванович, — через год только понял. Надо было не обращать внимания. Пишешь — ну и пиши...

Казалось бы, из-за мелочи все. Да нет, на поверку выходит, далеко не так. И чтобы хорошенько здесь разобраться, надо еще кое-что о Вилисове порассказать.

Неверно было бы видеть в нем только начетчика, добросовестного обличителя чужих прегрешений, хоть и такой тип встречается, и это далеко не самое худшее из того, что носит земля наша... У него свой и никак не лишенный основательности взгляд на послевоенную историю сельского хозяйства, на причины известных неудач на селе.

— Собрали нас всех в Осинцево: деревни теперь не нужны, что вы там мучаетесь без дорог, без удобств? Построим один агрогородок, всех в него переселим, в поля будем на автобусах возить. Кто за? Ну раз на автобусах, мы все руками и ногами. У нас тут рядом была деревня Верхлек, такое же отделение, как гаревское, мясо-молоко с прибылью давали, урожай по восемнадцать центнеров. Ферму сюда перевели, люди кто куда, половина разбежалась, срыли-то сперва, потом жилье строить начали. Теперь у нас скота столько стало — ни прокормить, ни выгнать, враз стопчут больше, чем съедят. Пошли вниз надои. Поля — те вовсе родить перестали. Раньше свои работали, о земле заботились, а теперь чужих загонят в дальний конец, они там водку пьют и в карты играют. Хорошо, Гари срыть не успели. Сейчас все же по восемь — десять центнеров собирают, а то бы и здесь по два, как в Верхлеке, было.

О другой причине Вилисов так говорит:

— Много власти бригадиры забрали. Стали навроче князьков удельных. За своими махлеваниями колхозный интерес забыли. Сейчас дом шабашники строят — по четыре тысячи берут. А раньше за четыре рубля можно было построить. Дать трактор, лесу выписать, люди сами все делали. А пойдешь — нет тебе лесу, нет тебе трактора, только куму да свату есть. Так насолили начальники, что и люди на них злы: тому лошадь не дал, тому поросенка, тому еще что — помнят обиду и не работают.

— Неужели и Иван Иванович такой?

— А Иван Иванович сразу резво взял. Было время, председатель за каждую копейку на колхозном собрании отчитывался. А у него все втихомолку, все ни скажи, ни спроси, Ваську Хохла при себе держит — лучший друг. А кто он такой? Нигде не работает, только ездит туда-сюда, с шабашниками махлюет. Мне-то не все равно, я из своих сорока лет тридцать этому колхозу отдал, хочу знать, куда что идет. Я вижу, что он много делает. Только почему все втайне? Все без людей? Народ-то чувствует, когда начальник фальшивит, и не верит.

К сожалению, в словах Вилисова есть доля правды, и вовсе не один случай с сеном столкнул, довел до непримиримости двух не уступающих друг другу упор-

ством и неугомонностью людей. Дело тут в принципе. А принцип Вилисова таков: правда и только правда. И готов он отстаивать свой принцип до последней капли крови. Ну а Ивану Ивановичу этот принцип — нож к горлу. Махлюет председатель. Потому что не может не махлять. И рад бы он дружить, скажем, не с Васькой, а с ПМК. Там все законно. Только и работы нет. А Васька хоть и темный человек, да под ним дело кипит. А работа на этих шабашках — я видел какая. Тут не просто монтаж. Тут на ходу и доводка и переделка — уникальная работа. Иван Иванович ли виноват, что оборудование, к нему приходящее, — наполовину металлолом, за который спросить ему не с кого и отправить на переделку некому? И приходится нанимать таких «асов» монтажа и сварки, с которыми никак по обычным тарифам не рассчитаться. То же самое и в остальном: и с лопатами, и с бидонами, и с запчастями, и с детскими кроватками. Сев на носу. Надо какой-нибудь полусошник. Едет председатель просить. «При возможности обеспечим». А возможность эта, может, только в конце следующего года придет. Жалуйся, судись, но не отсеешься — самого судить станут, и тут уж ни на какую честность не сошлешься. И вот поехали в нужное место фляга с медом или колхозное «неучтенное» мяско, а обратно на другой день — запчасти. Но даже и изворотливому Ивану Ивановичу не все удается. Случилась подражка — забрали аванс нечестные шабашники, а недостроили. Где деньги? Кто подражал? И Вилисов уже поднимает из-за спины трезвон: махлевание!

Но грех далеко не только в этом. Вот уличил Вилисов совсем недавно на браконьерстве людей, к которым и слово-то такое неловко приложить. Опять же объяснили ему толково: молчи, папаша, не дискредитируй. А он не смолчал. До области дошел, козыряя единственным своим документиком — отпечатанным на картонке приглашением на слет селькоров, добился все-таки, что против важных нарушителей завели дело. Ну а в районе подобных историй не любят. Уже и на председателя косо взглянут, не взглянут, так подумают: «Кого это он там у себя в колхозе разводит?» А Иван Иванович хорошо помнит, что «кредиты пока ихние». И не только кредиты.

Так кто же прав? Председатель, который не щадит своих сил ради общего блага, но по воле обстоятельств вынужден «махлять»? Или Вилисов, своей правдой становящийся ему поперек дороги? Пожалуй, и не могу одним словом ответить. Разум мой выбирает председателя, сердце на стороне Вилисова. Мне так и представляются они: один — живой ум, деятельное начало в колхозе, другой — совесть его. Что ж, и у одного человека обе эти способности не всегда в ладах, уже то хорошо, что они есть, действуют с редкой энергией и самоотверженностью. И мне хочется иначе поставить вопрос: насколько противоречие между ними непримиримо?

Говорят про Вилисова: собирает народ вокруг себя, мутит, бригадиру этим мешает. Ну а давайте разберемся, из-за чего, собственно, баламутство. Вот был скандальный случай в уборку. Выехали комбайны в поле, а машины не подошли. Нажали по бункеру, остановились. А комбайнер Суетин пошел дальше жать — и валить на землю. Навалил ворох в 117 центнеров. Балчугов узнал и на него: «Как смел без приказа? Не убирать зерно, пусть сгниет, а тебя засужу!» И десять дней ворох лежал, прорасти зерно начало. Пошел Суетин к Вилисову, давай письмо в газету составлять — и потекла очередная «муть». Зерно все же заставили бригадира убрать, но, понятно, с такими сварами хорошей работе не бывать. Я не хочу сейчас судить, кто здесь больше виноват, комбайнер ли, ради заработка поспешивший начать уборку, или бригадир, для поддержания авторитета порешивший сгноить хлеб. О другом я думаю и хочу подвести к тому, что соединяет всю эту историю про Вилисова с моим главным сюжетом. Вот ведь говорит он: сперва все председатели хорошие, потом «ломаются». Бригадиры «власть забрали». Но неужели так все подряд плохи? Нет ли тут какого другого объяснения? Я спрашиваю Балчугова:

— А не кажется ли вам, что сама должность ваша скандальная?

— Как не скандальная! На меня жмут, я на других жать должен. Да тут еще всякие интимные отношения — только и приходится воевать...

А ведь всего этого не стало в Парунове. Ни горлодранья, ни «засужу», ни «интимных отношений», ни матюгов. И шабашники туда больше не ходят. И пришла та лучшая молодежь, за которую справедливо болеет Вилисов. И каждая копейка учтена и записана, все у всех на глазах, при желании даже Юре не смахлять. Когда я говорю об этом, Вилисов разводит руками:

— Чудо!

Вот на этом чуде и хотелось бы мне примирить обоих моих героев. Кажется, здесь их интересы должны совпадать целиком и полностью. Я уверен, что правдолюбие Виалисова может сослужить не меньшую службу звеньям, чем трудовое лидерство Юрия или расчетливость Сивкова.

Еще один сюрприз ждал меня в этом году в колхозе — на сей раз исключительно приятный. Сравнивая в самом начале «чужое» и «свое», я писал, что на своих огородах ручным плугом и «конем» сейчас получают намного больше картошки, чем во всем общественном производстве, никак не может там вся супертехника даже близко нагнать этого частнособственнического «коня». И вот Иван Иванович везет меня на поле за Осинцево. Отличное, невиданное по здешним местам поле. Картошка по поясу, ни сорняка, большие чистые клубни.

— Тридцать гектаров. По полтораста центнеров дадут. Шестая бригада.

Бригад в колхозе пять, и шестой называет председатель школьников.

— Пробовали и на комбайны их пускать, и на кукурузу, и свеклу давали — все не получалось. А в этом году первый раз картошку посадили. Безнарядным звеном. Тысяч пятнадцать заработают.

Ровно так и вышло после осеннего расчета. Остальные поля дали по 50 центнеров с гектара, но школьный картофель пошел в зачет и колхозу, заметно подняв среднюю урожайность. Когда мы с Юрой, уже в декабре, сидели в кабинете директора школы Владимира Федоровича Свизева, его лицо прямо-таки светилось от радости при воспоминании о летней работе. Да как не светиться, если за все времена школьная казна впервые с таким поступлением!

Заглядывает учительница:

— Владимир Федорович, осталось на том счете? Надо еще купить...

Осталось! Теперь на все хватит — и на магнитофоны, и на лыжи, и на глобусы. Но главную часть решили истратить на поездки в зимние и весенние каникулы по стране — в Москву, Ленинград, Сочи. Чтобы с детства у нового поколения откладывалось в памяти счастливое, радостное, интересное...

Зато и старались ребята повсю. Как праздника, говорит Свизев, ждали очереди сесть на трактор и проложить первую в жизни настоящую борозду. И это не только школа труда. Это, быть может, первая стихийная школа безнарядного звена, где с парты учится человек работать в полную отдачу и получать добром за добрый труд.

Кончается короткий обеденный перерыв в поле. Юра первый встает:

— Ну, поехали. — И шагает к комбайну.

И в этой команде своя сила. Одно дело, когда скажет бригадир и укатит на своем мотоцикле. Другое — когда звеньевой лишь первый среди равных, товарищ, который делает ту же работу, только лучше других.

...В тот день младший Плешков так и не выбрался в поле. Оставили его, как взрослого, один на один с комбайном, велели поменять шкив и догонять. Но у старого, разболтанного чудовища поломался цилиндр сцепления, и к вечеру перемазанный с ног до головы Валерик все еще ползал под железным брюхом. Подошел отец, потом старший Орлов — Виктор Леонидович, главный инженер и механик звена, кто-то, не утерпев, взялся помогать...

— Что ж вы младшего на такую развалюху посадили?

— Правильно, — говорит Виктор Леонидович, — быстрее научится. Мне директор МТС самый плохой трактор дал — я ему до сих пор благодарен. За шесть месяцев все до гайки узнал.

Комбайн между тем не ладился ни в какую. Наскучило зрителям, побросали ключи помощники, надоело ждать отцу, и он пошел к мотоциклу. Только Валерик не бросал свою колымагу. Все копошился, что-то дергал, надеялся на чудо — так хотелось ему в этот первый день быть с остальными.

А назавтра площадка с утра уже пуста. Все комбайны дружно ходили в поле, и издали нельзя было различить, на каком из них Валерик.

Тем временем, пока дописывался этот очерк, успело пройти еще одно лето, в колхозе имени Ленина вырос новый урожай и вообще произошло много всяких интересных событий, о которых хотя бы вкратце и собираюсь рассказать.

Прошлой зимой Юрий ездил в Звездный городок получать вымпел летчиков-космонавтов СССР, присужденный звену за результаты второй на его веку страды. Одновременно Пермский обком партии принял постановление, где признан опыт колхоза по внедрению коллективного подряда образцовым, тем самым окончательно утвердив за ним славу своеобразной школы звена. Имя Орлова запестрило в местной печати, началось настоящее паломничество в Паруново со всех концов области.

Тертых практиков сельского хозяйства не проведешь: первым делом они смотрят не на то, сколько вырастили, а сколько и чего издержали под это; и тут всех поражало, что материально-техническая обеспеченность в Парунове даже хуже, чем у многих других, и что с ростом валовых сборов техники и людей здесь не только не прибавилось, а, напротив, решительно убыло. Ну а когда Иван Иванович показывал еще пять новеньких домов, возведенных между делом звеном, гости и вовсе открыли рты: такого почина ни у кого покамест не было.

Естественно, немало всколыхнул паруновский успех и родные места. Вообще в особую заслугу Юрию и его команде надо поставить то, что своим примером они подняли престиж звена на небывалую доселе высоту. Как в свое время трактор, электричество, телевизор сделались на селе явлениями далеко не только технического порядка, так и сегодня безнравное звено — далеко не только экономического.

Быть или не быть в звене стало своего рода вопросом чести, там и сям заволновались еще «единоличники» механизаторы, других, нерасторопных, затолкали бабы: «Хватит водку пить, иди в звено!» Даже дети, говорят, начали задаваться друг перед дружкой: «У нас папы в звене!» Да что дети! Сам почтенный Сивков всех весной удивил: позавыл годы и чины, сел на трактор рядовым в надежде, что его выберут звеньевым. А бригада, оказывается, давно уже другого на примете держала. Председатель за третьего стоял. Три дня волновалось бирминское вече, пока все-таки не отбило своего. «Вот и хорошо, что с боем взяли,— сказал по концу толков Иван Иванович.— Зато теперь ценить будут и не подведут никогда».

Подобные собрания прокатились по всему колхозу, по многим бригадам района. Тогда же, в весеннюю распутицу, чтобы взбодрить подзасидевшихся за зиму правленцев, Иван Иванович зачастил пешком по отделениям. Стоило посмотреть, как, отдав новенькую «Воагу» Юрию для поездки «по запчасть», он сам скакал через канавы и огородные плетни на очередной сход, волей-неволей увлекая следом и малоподвижную конторскую гвардию. Агрономов, тоже прежде обминавших стулья в правлении, подчинил звеньевым, и теперь уже сами трактористы погнажи их по полям.

Не могу удержаться, чтобы не нарисовать маленькую картинку «утра на паруновском дворе». Отказал главный тяжеловоз звена — «Т-150». Сурово вылистав нужные страницы техописания, Юрий влезает на трактор и, как главный хирург на операции, ставит диагноз. Вокруг уже сучились помощники — ассистенты с ключами наготове, с пониманием того, что этот зверь — их первый кормилец и лишней минуты стоять ему нельзя, в момент разворачиваются нужные гайки, десяток рук переносит тяжелый агрегат на ложе из старой камеры, следует вскрытие, профессионально-короткая выправка изъяна, Юрий отходит, стирая с рук черную тракторную кровь, и корреспондент областного радио, терпеливо поджидавший до этого в сторонке, подступает с заветным вопросом: «Юрий Викторович, не сегодня-завтра мы с вами вступаем в ответственную полосу... Готовы ли вы в сжатые сроки и без потерь...». «Да, готовы».

И на сей раз так оно и есть, без вранья.

Не дремали по весне и в районе. Гудело, как улей, сельхозуправление, без перерывов на обед, с утра до ночи заседали экономисты со всей округи, выкраивая по своим образцам одежду для новорожденных звеньев. Знакомый голос раздавался из-за перегородки: «А вот я еще в зеленой книжечке смотрела, там наоборот...» Вдоволь ими тут запаслись теперь: и синие, и зеленые, и розовые, и новейших годов, и десятилетней давности,— уже и сами запутались, не знают, из которой что перенимать. Ездили уже делегацией в соседнюю область — чужого толку занимать.

Жаль, к Юрию так и не заглянули. Воистину нет пророка в своем отечестве! Зеленой книжечке верят, а не своему, кровному, рабочему звену, на которое из чужих краев дивиться приезжают...

ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



ГОРЯЧИЙ ПЕПЕЛ

Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием

Внукам Антону и Анне с пожеланием мирного неба.

ДЕНЬ СОВПАДЕНИЙ

Двадцать пятого апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. В этот же день войска 1-го Украинского фронта и союзные англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт и соединились в центре Германии, в районе Торгау.

25 апреля, в тот же самый день, когда вокруг гитлеровской столицы замкнулось железное кольцо, в день исторической встречи советских и американских войск на Эльбе, в Сан-Франциско открылась конференция Объединенных Наций для подготовки устава всеобщей международной организации по поддержанию мира и безопасности.

К ее участникам обратился по радио из Вашингтона президент США Трумэн:

«Современная война с ее все возрастающей жестокостью и разрушениями, если ей не воспрепятствовать, в конце концов сокрушит всю цивилизацию... Мы не можем позволить ни одной нации или группе наций попытку урегулировать свои споры бомбами или штыками. Если мы будем по-прежнему прибегать к таким решениям, мы будем вынуждены принять философские принципы наших врагов, а именно, что сила — это право. Для того чтобы опровергнуть эту предпосылку, а мы определенно должны сделать это, мы обязаны обеспечить необходимые для этого условия. Слов недостаточно. Мы должны раз и навсегда перевернуть порядок слов и доказать своими делами, что в конце концов право — это сила. Если мы не хотим погнубнуть вместе в войне, мы должны научиться жить вместе в мире...» В таких выражениях приветствовал представителей сорока шести государств новый хозяин Белого дома, ставший за две недели до этого президентом США после внезапной кончины Рузвельта.

В том, что открытие конференции Объединенных Наций совпало со встречей советских и американских войск на Эльбе, миллионы людей видели тогда добрый знак. Это совпадение казалось залогом того, что участники антигитлеровской коалиции смогут плодотворно сотрудничать и в послевоенном мире.

Но богатый событиями и совпадениями день 25 апреля 1945 года ознаменовался еще одной встречей, имевшей совсем иные последствия. В то самое время, когда делегаты конференции Объединенных Наций слушали по радио запись речи Трумэна, сам он надолго уединился в Овальном кабинете Белого дома с двумя собеседниками. Военный министр Стимсон впервые привел тогда к новому президенту начальника Манхэттенского проекта генерала Гровса.

— Через четыре месяца, — начал Стимсон, — мы, по всей вероятности, завершим создание самого мощного оружия, какое когда-либо знало человечество. С помощью одной такой бомбы можно разом уничтожить целый город. Хотя это оружие создавалось совместно с англичанами, Соединенные Штаты единолично контролируют сейчас

ресурсы и мощности, необходимые для его производства, и никакая другая страна не сможет добиться этого в течение ряда ближайших лет.

Затем Стимсон передал слово генералу Гровсу. И тот впервые подробно проинформировал Трумэна о Манхэттенском проекте. Генерал рассказал, что под его началом трудятся более полутораста тысяч человек. Вот уже третий год эта беспрецедентная по размаху программа стоимостью в два миллиарда долларов осуществляется в глубочайшем секрете. Проект, подчиненный лишь президенту через военного министра, финансируется из особого фонда, не подотчетного конгрессу. Даже государственный департамент вплоть до Ялтинской конференции не знал о работах над атомным оружием.

Гровс рассказал о научном центре в Лос-Аламосе, где вместе с американцами работают всемирно известные физики, бежавшие из оккупированных Гитлером стран, а также английские и французские ученые, начинавшие атомные исследования самостоятельно.

Генерал доложил президенту, что гигантские секретные предприятия по разделению изотопов урана и производству плутония в Ок-Ридже и Хэнфорде к началу августа должны произвести достаточное количество атомной взрывчатки для трех бомб: одной урановой и двух плутониевых.

Для экспериментального взрыва Гровс рекомендовал использовать плутониевую бомбу. Он считал, что для дальнейшего совершенствования нового оружия крайне важно применить в боевых условиях оба типа атомных бомб. Урана же будет в наличии лишь на один боезаряд...

На завершающей части доклада начальнику Манхэттенского проекта показалось, что Трумэн то ли не вслушивается в его слова, то ли не понимает их смысла. В том, что собеседники втолковывали новописеченному президенту, действительно было много совершенно неведомых ему понятий. Но Трумэн сразу же уловил суть дела и именно поэтому глубоко погрузился в собственные мысли.

Ведь хозяином Белого дома внезапно стал недавний сенатор от штата Миссури, который летом 1941 года так сформулировал свое представление о роли США во второй мировой войне: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше».

Став президентом США в момент, когда капитуляция гитлеровского рейха стала вопросом уже не месяцев, а дней, Трумэн оказался перед мучительной дилеммой. С одной стороны, ему не терпелось «осадить русских», проявить жесткость в вопросах послевоенного устройства в Европе. Но, с другой стороны, он опасался, как бы это не толкнуло Советский Союз к отказу от обещания, данного на Ялтинской конференции, — вступить в войну против Японии через три месяца после победы над Германией.

Трумэн сознавал, что если Советская Армия с ее боевым опытом не присоединится к союзникам на Дальнем Востоке, вторжение на Японские острова обойдется Соединенным Штатам куда дороже, чем высадка в Северной Франции.

Вот почему слова Стимсона и Гровса произвели на Трумэна прямо-таки ошеломляющее впечатление. Он почувствовал себя азартным игроком, которому на руки вдруг пришел козырный туз. Сомнения разрешились сами собой. Курс действий четко определился. Сначала на практике показать, что Соединенные Штаты стали единственным в мире обладателем нового оружия небывалой силы. А потом, опираясь на атомную монополию, шантажировать Советский Союз, заставить его подчиниться американскому диктату.

Готовясь к встрече с советской делегацией в Потсдаме, Трумэн доверительно сказал одному из помощников:

— Если эта штука взорвется, а я думаю, что так оно и будет, у меня наконец появится дубина на этих парней!

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Летом 1939 года в Париже было необычно мало иностранных туристов и необычно много парижан. Хотя подошел сезон отпусков, почти никто не выезжал из столицы. Над душным городом как бы стучалась предгрозовая атмосфера последних предвоенных месяцев.

Даже в студенческом кафе на левом берегу Сены не чувствовалось обычной беззаботности. Несмотря на погожий июньский вечер, многие столики пустовали. И двум посетителям средних лет не пришлось долго искать места.

Первый из собеседников был человеком столь же известным в научных кругах, сколь второй — в деловых. Это были Фредерик Жолио-Кюри, руководитель кафедры ядерной химии в Коллеж де Франс, и Эдгар Сенжье, бельгийский промышленник, управляющий урановыми рудниками в Катанге.

— Господин Сенжье, я попросил вас о встрече, чтобы обсудить с вами вопрос, связанный прежде всего с моей научной работой. Но дело это касается и судеб Франции и судеб Европы.— Жолио-Кюри на минуту умолк, устремив пристальный взгляд на собеседника.— Насколько мне известно,— продолжал он,— компания «Юнион миньер» является сейчас крупнейшим в мире поставщиком урановой руды.

— Да, по существу единственным. Если не считать чехословацких рудников в Яхимове. Но добыча там, разумеется, не идет ни в какое сравнение с Бельгийским Конго.

— Так вот, французское правительство, будучи заинтересовано в моих исследованиях, уполномочило меня сделать вам весьма заманчивое коммерческое предложение. Франция готова целиком закупить запас урановой руды, имеющийся в Бельгии. А также приобрести исключительное право на всю продукцию рудников «Юнион миньер» в Катанге.

Сенжье усмехнулся:

— Стало быть, и вы, господин Жолио-Кюри, занялись проблемами военной авиации?

— Во все нет! Откуда вы это взяли?

— Видите ли, совсем недавно, весной, с таким же точно предложением ко мне обратился не кто иной, как сэр Генри Тизард. Он просил, чтобы наши переговоры оставались в секрете. Но для меня давно уже не секрет, что в Лондоне сэр Генри возглавляет управление научных исследований королевских военно-воздушных сил. Я только не пойму, какое отношение к авиации может иметь самый тяжелый из элементов. Ведь создателям самолетов нужны как раз легкие металлы. Откуда этот внезапный интерес к урановой руде?

— Если говорить в самых общих чертах,— ответил Жолио-Кюри,— уран может обрести огромное стратегическое значение. И как принципиально новый источник энергии, и как взрывчатое вещество невиданной разрушительной силы.

— На нечто подобное намекал мне и Тизард. Помнится, он говорил, что англичанам даже не так важно самим купить эту руду, как не допустить, чтобы она попала в руки противника. При этом Тизард, разумеется, имел в виду нацистский рейх. Да, Бельгии и Франции вновь грозит германское вторжение. И я как бельгиец могу пообещать вам: во-первых, компания «Юнион миньер» готова снабжать Францию урановой рудой; а во-вторых, она не будет продавать эту руду в Германию. Но есть ли реальные причины для опасений? Ведь Гитлер вроде бы разогнал всех талантливых физиков, начиная с Эйнштейна?

Фредерик Жолио-Кюри молча покачал головой.

В 1935 году, вскоре после того как он вместе со своей женой Ирен Кюри получил Нобелевскую премию за открытие искусственной радиоактивности, в Коллеж де Франс была создана кафедра ядерной физики. Ближайшими сподвижниками ее основателя и первого руководителя Жолио-Кюри вскоре стали Ганс Халбан и Лев Коварски. Они бежали во Францию от нацистских репрессий и хорошо знали как потенциальные возможности германской науки, так и способность гитлеровского режима подчинить труд ученых своим замыслам.

В конце 1938 года мировую научную общественность всколыхнуло известие из Германии. Физики Отто Хан и Фриц Штрассман установили, что атомное ядро урана находится как бы в состоянии недостаточной устойчивости. Оно способно делиться, выделяя при этом огромное количество энергии.

Это открытие дало толчок для научных поисков и теоретических выводов в совершенно новой области. Опираясь на него, сразу несколько ученых в различных странах предсказали возможность самоподдерживающейся цепной реакции в определенной массе урана.

В начале 1939 года Фредерик Кюри и его коллеги во Франции, а также венгр Лео Сцилард и итальянец Энрико Ферми в Соединенных Штатах почти одновременно сделали сходные выводы. Если при распаде атома урана высвобождается не один, а не-

сколько нейтронов, каждый из которых способен в свою очередь расщеплять соседние атомы урана, то можно при определенных условиях вызвать цепную реакцию, сопровождающуюся взрывом чудовищной разрушительной силы.

В марте 1939 года Жолио-Кюри, Халбан и Коварски опубликовали в лондонском журнале «Нейчур» статью «Высвобождение нейтронов в ядерном взрыве урана». Этот научный труд свидетельствовал, что в области атомных исследований, и в частности в разработке проблем самоподдерживающейся ядерной реакции, Франция в ту пору опережала другие страны.

Незадолго до беседы с Сенжье о бельгийских запасах урановой руды Жолио-Кюри и его коллеги зарегистрировали несколько патентов, касающихся создания уранового реактора.

Из письма, которое Жолио-Кюри получил от Сциларда из Америки, явствовало, что над этими проблемами думают и ученые в других странах.

Какие же были основания считать, что Германия останется исключением? Ведь там по-прежнему трудились многие известные физики, и в частности Ган и Штрассман...

Жолио-Кюри был прав в своих опасениях.

24 апреля 1939 года в имперское военное министерство Германии обратились с письмом профессор Гамбургского университета Пауль Гартек и его ассистент Вильгельм Грот.

«Мы хотели бы привлечь ваше внимание к последним событиям в ядерной физике,— писали они.— По нашему мнению, они открывают возможность создания взрывчатого вещества, которое по своей разрушительной силе на много порядков превзойдет обычную взрывчатку».

26 апреля 1939 года, то есть через два дня после того, как Гартек и Грот направили военному руководству третьего рейха свой вывод о том, что «страна, которая первой поставит себе на службу достижения ядерной физики, обретет абсолютное превосходство над другими», руководитель британских военных исследований Тизард письменно рекомендовал своему правительству любыми средствами помешать Германии сосредоточить в своих руках мировой запас урана.

Не ограничиваясь официальными каналами, Тизард по собственной инициативе встретился с Сенжье, с которым несколько позже беседовал Жолио-Кюри. Оба они предостерегали главу фирмы «Юнион миньер», что если продукция ее африканских рудников попадет к нацистам, это может привести к мировой катастрофе.

Правда, предотвратить захват гитлеровцами урана, который уже был доставлен из Бельгийского Конго в Европу, так и не удалось. В мае 1940 года Бельгия была внезапно оккупирована. При этом в руки нацистов попали более 1200 тонн уранового концентрата, хранившегося на обогатительных фабриках в Олене. Это была почти половина тогдашнего мирового запаса урана.

Сам Сенжье успел покинуть Бельгию и перебраться в Нью-Йорк. Убеденный теперь в стратегической ценности урана, он распорядился тайком доставить в ангольский порт Лобито всю руду, добытую за последний год на рудниках «Юнион миньер» в Катанге. Под ложными документами она была погружена на два зафрахтованных фирмой судна.

Эти два транспорта, имевшие согласно судовым документам груз смолы для фармацевтической промышленности, вышли из Лобито, имея официальным портом назначения Кейптаун. Вскоре, однако, они изменили курс и необычным маршрутом пересекли Атлантику.

Так в сентябре 1940 года была доставлена в Нью-Йорк вторая половина тогдашнего мирового запаса урана. Именно эта руда послужила потом сырьем для Манхэттенского проекта, именно из нее была изготовлена взрывчатка для первых американских атомных бомб.

ЭЙНШТЕЙН ПИШЕТ РУЗВЕЛЬТУ

Африканская урановая руда, доставленная в Америку стараниями Сенжье, долгое время пролежала без дела в одном из пакгаузов нью-йоркского порта. В Вашингтонских коридорах власти и даже в военном ведомстве в ту пору еще не придавали должного значения открытиям в области ядерной физики.

Первыми стали бить тревогу и стучаться в двери власть имущих европейские ученые-эмигранты, которых коричневая чума заставила покинуть родину и поселиться в Соединенных Штатах. Инициаторами этих усилий были Лео Сцилард из Венгрии и Энрико Ферми из Италии.

Еще в марте 1939 года, то есть в то самое время, когда Гитлер захватил Чехословакию и когда руководитель британских военных исследований Тизард беседовал с Сенжье о стратегическом значении урановой руды, Ферми встретился с заместителем начальника научно-технического управления военно-морских сил США адмиралом Хупером. Но убедить адмирала в возможности создания атомной бомбы, в опасности того, что подобное оружие могут первыми заполучить нацисты, ученому не удалось. Встреча с представителями вооруженных сил оказалась безрезультатной.

Тогда Сцилард и Ферми решили прибегнуть к помощи самого авторитетного из своих коллег — Альберта Эйнштейна. Создатель теории относительности был единственным из европейских ученых, чье имя пользовалось в США широкой известностью, и потому, стало быть, мог рассчитывать на все преимущества, которые дает в Америке прословутое паблисити.

2 августа 1939 года Сцилард приехал к Эйнштейну и попросил его подписать письмо на имя президента Рузвельта, чтобы побудить Белый дом к безотлагательным действиям.

— Сейчас уже не может быть сомнения, что Европа доживает последние мирные дни,— говорил Сцилард.— Но нас тревожит, что приближение войны, грозящей вот-вот вспыхнуть, совпало с кардинальными научными открытиями, которые, в свою очередь, обязаны своим рождением вам, вашей теории относительности. Нас тревожит, наконец, то, что о военном применении этих открытий заговорила печать. Вы только послушайте...

Сцилард раскрыл только что полученный из Лондона журнал «Дискавери». Его сентябрьский номер, по традиции разосланный подписчикам еще до поступления в розничную продажу, открывался статьей английского писателя Чарльза Перси Сноу.

«По мнению некоторых ведущих физиков,— писал Сноу,— в течение нескольких месяцев может быть изготовлено для военных целей взрывчатое вещество в миллион раз более мощное, чем динамит. Уже не секрет, что начиная с весны 1939 года в лабораториях Германии, Франции, Англии, США лихорадочно работают над расщеплением атомного ядра. Задуманное, может быть, и не удастся. Компетентные люди расходятся во взглядах на то, осуществима ли эта идея на практике. Если да, то наука впервые смогла бы разом изменить характер военных действий».

— А ведь статью Сноу могут одновременно с нами читать и члены нацистской верхушки. Относятся ли они к открытиям физиков так же скептически, как американские власти? — мрачно сказал Сцилард.

Эйнштейн слушал молча, изредка кивая головой. Коллеги не принесли ему сенсации. Сентябрьский номер «Дискавери» за 1939 год лежал у него на столе.

— Есть ли, по-вашему, какие-либо достоверные свидетельства того, что в Германии действительно развернулись ядерные исследования? — спросил он после минутного молчания.

— Пожалуй, самый существенный и тревожный симптом — прекращение экспорта урановой руды из Яхимова вскоре после того, как Чехословакия была оккупирована,— ответил Сцилард.

— Ну что ж, если Гитлер действительно вознамерился иметь атомное оружие, наш долг сделать все возможное, чтобы противники нацизма опередили его в этом,— заключил Эйнштейн.— Я готов подписать письмо Рузвельту, если, по-вашему, это поможет делу.

Приехав в Вашингтон, Сцилард убедился, что иметь в кармане письмо Эйнштейна на имя Рузвельта — это лишь первый шаг на долгом пути. Письмо нужно было вручить лично президенту. Причем так, чтобы он должным образом оценил смысл документа и не отложил в кучу бумаг, предназначенных для помощников.

Сцилард решил передать послание Эйнштейна через своего знакомого Александра Сакса. Этот крупный финансист был вхож в Белый дом как неофициальный советник Рузвельта. Но и у него долгое время не было подходящего случая для личной встречи с президентом.

С того дня, как Эйнштейн подписал свое письмо, прошло десять недель. За это время гитлеровский вермахт вторгся в Польшу, Англия и Франция объявили войну Германии. Словом, вторая мировая война стала фактом.

Лишь 11 октября 1939 года Сакс получил возможность встретиться с Рузвельтом. — Я пришел к вам с письмом известного ученого Альберта Эйнштейна, автора теории относительности,— начал Сакс.— Он обращает ваше внимание на возможность военного применения некоторых новых открытий в области физики атомного ядра.

Рузвельт поморщился:

— Что же пишет Эйнштейн?

Сакс вкратце пересказал суть письма.

Недавние исследования Жолио-Кюри во Франции, а также Ферми и Сциларда в Америке заставляют предположить, что в недалеком будущем уран может стать новым важным источником энергии. Весьма вероятно возможность цепной реакции в определенной массе урана. При ней высвобождалось бы огромное количество энергии, а также образовывались бы радиоактивные вещества. Это, в свою очередь, открывает путь к созданию исключительно мощных бомб нового типа. Одна такая бомба, доставленная небольшим катером во вражеский порт, уничтожила бы все находящиеся там корабли...

Судя по всему, письмо Эйнштейна не произвело на Рузвельта должного впечатления.

— Слишком уж странно звучат все эти вещи для непосвященного человека,— сказал президент.— Передайте вашим физикам, что я желаю им успеха. Но мне кажется, что на данном этапе администрации было бы преждевременно вмешиваться в это дело...

— Боюсь, господин президент, что вам не хватает знания азбуки предмета, чтобы оценить предостережение Эйнштейна,— возразил Сакс.— Хотелось бы в связи с этим привести один наглядный пример из истории.

Сакс рассказал о том, как к Наполеону однажды явился молодой американский изобретатель Фултон и предложил заменить французский парусный флот кораблями на паровых двигателях. Они могли бы пересекать Ла-Манш при любой погоде и осуществлять десантные операции в самые неожиданные для противника моменты.

Корабли без парусов? Сама эта идея показалась великому полководцу настолько невероятной, что он высмеял изобретателя. По мнению британских историков, заключил Сакс, Англия была спасена от вторжения во многом потому, что Наполеон не сумел должным образом оценить изобретение Фултона.

Этот исторический анекдот явно развеселил Рузвельта. С загадочной улыбкой он что-то шепнул официанту. Тот вскоре появился с запыленной бутылкой коньяка наполеоновских времен. С нарочитой торжественностью Рузвельт велел наполнить два бокала. Он чокнулся с Саксом и, вызвав своего помощника, тут же написал на послании Эйнштейна: «Это требует действий!»

ХИТРОСТЬ ЛЕЙТЕНАНТА АЛЛЕ

Подходила к концу зима 1940 года. На западном фронте тянулось необъяснимое затишье. Газетчики прозвали его «странная война».

В середине февраля Фредерик Жолио-Кюри был приглашен к министру вооружений Франции. Господин Дотри, в прошлом промышленник, старался быть в курсе новостей науки и поддерживал контакт со многими учеными в Коллеж де Франс.

— Я только что получил ваше письмо, где вы предлагаете срочно опередить нацистов, внезапно проявивших интерес к норвежской тяжелой воде,— сразу же перешел к делу министр.— Позвольте представить вам господина Аллье. Он входит в правление одного из французских банков, ведущих дела с норвежскими фирмами. Но это не все. Аллье к тому же является офицером Второго бюро. А у нас во Франции,— уточнил министр,— это то же самое, что в Германии абвер — военная разведка. Мы считаем, что лейтенант Аллье самая подходящая кандидатура, чтобы заняться тяжелой водой. А теперь, пожалуйста, объясните нам, на чем основаны ваши тревоги.

Жолио-Кюри постарался вкратце изложить суть дела. Для атомных исследований нужно, во-первых, располагать достаточным количеством урановой руды, а во-вторых, чистого графита или тяжелой воды, которые используются в реакторе как замедлители нейтронов.

В природе так называемая тяжелая вода существует в очень небольших количествах. Примерно литр этого редкого изотопа на 6400 литров обычной воды. В 1934 году норвежская фирма «Норск-гидро» построила в Рjukanе первый в мире завод, производящий тяжелую воду в промышленном масштабе.

Технологию ее производства разработали норвежские физики Тронстед и Брун. Оба они настроены весьма антифашистски и поэтому не замедлили известить Жолио-Кюри, что германские фирмы, которые никогда прежде не имели дел с «Норск-гидро», вдруг захотели приобрести всю продукцию завода в Рjukanе. При этом немцы крайне невразумительно отвечают на вопросы, зачем им понадобилась тяжелая вода, да еще в столь больших количествах.

После продолжительной беседы с Жолио-Кюри лейтенант Аллье вылетел в Осло и от имени своего банка начал переговоры с правлением фирмы «Норск-гидро». Норвежцы, которых тоже насторожили внезапные домогательства немцев, пошли на встречу французам.

Было подписано соглашение, по которому Франция приобрела весь наличный запас тяжелой воды (185 килограммов), а также предпочтительное право на дальнейшие закупки продукции завода.

Однако во французском посольстве в Осло сотрудники Второго бюро уведомили Аллье, что нацистская агентура знает о его миссии и имеет задание сорвать ее. Чтобы переправить покупку в Париж, потребовалась тщательно разработанная операция.

Через фирму «Норск-гидро» Аллье официально заказал 26 канистр для транспортировки купленной им тяжелой воды. Однако в небольшой сварочной мастерской близ Осло его норвежские друзья изготовили дубликаты этих металлических баллонов с точно такими же надписями. Полученные на заводе 26 канистр с тяжелой водой были уложены в пять чемоданов и помещены в багажник автомашины французского посольства. Однако на пути из Рjukanа в Осло, когда Аллье остановился пообедать в придорожном ресторане, чемоданы с баллонами были подменены.

Пока Аллье демонстративно провожал специально зафрахтованный им самолет, канистры с настоящей тяжелой водой были доставлены на конспиративную квартиру, упакованы в ящики и сданы в камеру хранения аэропорта в Осло. Два агента французской военной разведки, которые никогда раньше не вступали в открытый контакт с Аллье, погрузили их в самолет, вылетевший в Глазго.

16 марта 1940 года 185 килограммов тяжелой воды, то есть львиная доля ее тогдашнего мирового запаса, были доставлены в Париж и переданы Жолио-Кюри. Это было сделано буквально за несколько недель до того, как Гитлер оккупировал Норвегию.

ДОКЛАД В «КОМИТЕТЕ ТОМСОНА»

10 апреля 1940 года в Лондоне в старинном викторианском здании Королевского общества собрались члены комитета Томсона. Этот субсидируемый правительством орган был учрежден, чтобы заниматься вопросами военного применения атомной энергии.

— Джентльмены! — обратился к собравшимся председатель комитета физик Джордж Томсон. — Позвольте представить вам гостя из Парижа господина Жака Аллье. Это тот самый сотрудник Второго бюро, который по инициативе Жолио-Кюри только что осуществил блестящую операцию в Норвегии: вывез буквально из-под носа у нацистов почти весь мировой запас тяжелой воды. Наш комитет расценивает его приезд как начало важных контактов в новой области. Мы отдаем себе отчет, что благодаря открытиям, сделанным под руководством Жолио-Кюри, Франция к началу 1940 года опередила другие страны Запада в области ядерных исследований. Но, с другой стороны, для всех очевидно, что она гораздо больше, чем Англия, уязвима для непосредственного вторжения противника...

— Мне было поручено прибыть в Лондон, — взял слово Жак Аллье, — не только для того, чтобы поставить вопрос о сотрудничестве Франции и Англии в атомных исследованиях. Жолио-Кюри просил меня привлечь внимание британских ученых, а также моих коллег в Англии к германским работам в данной области. Что представляет собой так называемое Урановое общество? Дискуссионный клуб физиков или

финансируемую правительством научную организацию наподобие комитета Томсона? Видимо, пришла пора объединить усилия разведок Франции и Англии, чтобы разобратся в этом.

— С чего бы вы предложили начать? — спросил пожилой адмирал.

— Я привез с собой список германских ученых, которые, по нашему мнению, могут быть участниками такого рода исследований. Было бы важно проверить, продолжают ли они работать в своих университетах или как-то перегруппированы.

— В Англии сейчас немало физиков, бежавших от нацизма. Они, видимо, смогут помочь нам в уточнении подобного списка, — добавил Томсон.

— Немецких физиков сейчас полно всюду за пределами третьего рейха. Но раз они разбежались от Гитлера, кто же, по-вашему, может заниматься расщеплением атома у себя в стране? — раздался чей-то скептический голос.

— Не следует преувеличивать, — возразил Аллье. — Германская наука, безусловно, ослаблена нацистскими репрессиями. Но в целом научно-технический и тем более промышленный потенциал страны по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире. Что же касается физиков, то в Германии остался Отто Хан, остался Вернер Гейзенберг и многие другие.

Аллье обратил внимание членов комитета, что с первых же дней войны имя Гейзенберга исчезло из печати. Да и вообще разделы германских научных журналов, относящиеся к ядерной физике, особенно к разделению изотопов урана, изобилуют пробелами. На данном этапе в Германии могут идти главным образом теоретические и лабораторные исследования. О них труднее всего собрать достоверную информацию, тем более в такой специфической области, как ядерная физика. Скажем, авиационная разведка здесь практически ничем не может помочь.

В итоге заседания комитета Томсона были сформулированы главные пункты задания для британской военной разведки. Прежде всего следовало установить, чем и где занимаются с начала войны примерно пятьдесят ведущих германских физиков. Во-вторых, предписывалось взять под наблюдение существующие в Германии заводы по очистке и переработке редких металлов, особенно предприятия, связанные с ураном и торием, а также заводы по производству центрифуг и поршневых насосов.

УГОЛЬЩИК «БРУМПАК»

Прошло ровно два месяца с тех пор, как коллектив физиков Коллеж де Франс получил в свое распоряжение вывезенную из Норвегии тяжелую воду. Работы шли своим чередом. Теперь, имея под рукой все необходимое, можно было расширять их масштаб.

16 мая 1940 года в лаборатории Жолио-Кюри раздался телефонный звонок. Министр вооружений Дотри сообщил тревожные новости. Двинувшись в обход «линии Мажино», гитлеровцы прорвали фронт в районе Седана и начали наступление на Париж. Французская столица была объявлена открытым городом. Правительство решило переехать в Бордо. Министр просил Жолио-Кюри срочно вывезти или уничтожить все документы, имеющие отношение к атомным исследованиям, а также укрыть в безопасном месте тяжелую воду.

Халбан и Коварски выехали в Клермон-Ферран, чтобы подыскать там подходящее помещение для лаборатории. Неподалеку находился городок Риом, известный своей тюрьмой для особо опасных преступников. Вот туда-то, в камеру для приговоренных к пожизненному заключению, физики сложили злополучные канистры.

Закончив сортировку своих архивов в Коллеж де Франс, Жолио-Кюри тоже покинул опустевший Париж и присоединился к своим коллегам в Клермон-Ферране. Они быстро сделали все необходимое, чтобы возобновить эксперименты с ураном и тяжелой водой на новом месте.

Однако планы ученых не сбылись. Июньским утром к их дому подъехала машина. В ней были лейтенант Аллье и научный атташе британского посольства граф Саффолк. По словам Аллье, обстановка на фронте осложнилась, французское правительство решило эвакуировать из страны ученых, связанных с исследованиями военного значения, а также вывезти ряд стратегических материалов, в частности запас

тяжелой воды и промышленных алмазов. По договоренности между Парижем и Лондоном графу Саффолку поручено содействовать этой операции.

— Британское правительство,— добавил Саффолк,— придает особое значение эвакуации коллектива Коллеж де Франс. Оно готово прислать за господином Жوليو-Кюри эсминец.

— Тяжелую воду действительно необходимо срочно вывезти в Англию,— сказал Жوليو-Кюри.— А вот уезжать ли из Франции нам, каждый должен решить сам за себя. Для вас,— продолжал он, обращаясь к Халбану и Коварски,— сомнений быть не должно. В Англии или в Канаде вы сможете трудиться с таким же вдохновением, как и во Франции. Что же касается лично меня, то я остаюсь. Пусть решение это подсказано скорее сердцем, чем разумом. Я должен остаться со своими друзьями, с теми, кто решил вступить в ряды Сопротивления...

— Но ведь в оккупированной Франции вы не сможете принять участие в создании оружия, которое было бы вашим главным вкладом в победу над нацизмом!

— Пусть так. Но кроме формальной логики есть и другие мотивы для человеческого поведения. Я вижу свое место в Париже.

В порту Бордо шла погрузка на корабли. Граф Саффолк распоряжался на палубе закопченного английского сухогруза «Брумпарк», многие годы возившего в Бордо уголь из Кардиффа. Было известно, что гитлеровцы разбросали в устье Жиронды магнитные мины, которые тогда было трудно обнаружить. На случай, если угольщик подорвется на mine или будет торпедирован германской подводной лодкой, на палубе соорудили плот и привязали к нему баллоны с тяжелой водой, а также ящики с промышленными алмазами. Следовавший за «Брумпарком» другой сухогруз действительно подорвался на mine у самого выхода в море. Но как раз это позволило впоследствии сбить с толку нацистских ищеек.

14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. В Коллеж де Франс тут же нагрянули эсэсовцы. Когда они принялись пытать у Жوليو-Кюри, куда делась вывезенная из Норвегии тяжелая вода, ученый сумел убедить их, что угольщик «Брумпарк» затонул в устье Жиронды, так и не дойдя до английских берегов.

«УРАНОВОЕ ОБЩЕСТВО»

26 сентября 1939 года, то есть еще за две недели до того, как письмо Эйнштейна было наконец вручено Рузвельту, в Берлине в Управлении армейских вооружений было созвано совещание ведущих германских физиков. На него были, в частности, приглашены Гартек, Гейгер, Боте, Дибнер, а через некоторое время к ним присоединились Гейзенберг и Вайцтеккер. Как видно, в первые же дни войны германская военная верхушка проявила интерес к ядерным исследованиям.

На совещании было основано «Урановое общество», разработана программа его деятельности, определены задачи отдельных научных групп. Тем самым правительство официально утвердило «урановый проект» как составную часть научных исследований военного значения. В административном отношении он поначалу развивался даже быстрее, чем аналогичные организации во Франции, Англии и США. Большинство физиков, призванных на военную службу, получили разрешение вернуться в свои лаборатории.

Научным центром «уранового проекта» был объявлен физический институт Общества кайзера Вильгельма (подобно Королевскому обществу в Англии, оно выполняло в Германии функции Академии наук). Ректором физического института (в ту пору одного из крупнейших в Европе научных учреждений, которым в 20-х годах руководил Альберт Эйнштейн) был назначен Вернер Гейзенберг. К участию в «урановом проекте» были подключены физико-химические институты Гамбургского, Лейпцигского и Гейдельбергского университетов.

В тогдашней научной структуре Германии существовала резкая грань между исследованиями и разработками. Всем тем, что относилось к разработкам, то есть к практическому применению научных открытий, ведал имперский министр вооружений Альберт Шпеер. Что же касается исследовательских работ военного значения, то их курировало Управление армейских вооружений, где этим конкретно занимался физик Эрих Шуман (кстати сказать, родственник известного композитора).

Управлению армейских вооружений был непосредственно подчинен и физический институт Общества кайзера Вильгельма. Шуман взял на себя роль административно-го руководителя группы в составе Гейзенберга, Гана, Вайцзеккера и других физиков, занявшихся созданием экспериментального уранового котла на военном полигоне близ Берлина.

В ту пору гитлеровская Германия располагала научным и производственным потенциалом, а также материальными и финансовыми ресурсами, нужными для ядерных исследований. В области металлургии, машиностроения, электротехники германская промышленность занимала второе место в мире после американской, а в области химии даже опережала ее.

В мае 1940 года нацисты оккупировали Норвегию, где тогда находилось единственное в мире предприятие по производству тяжелой воды в промышленном масштабе. Вскоре же была оккупирована Бельгия, где, как уже говорилось, гитлеровцы захватили большой запас уранового концентрата.

Потребности лабораторных исследований в Германии до этого покрывались яхимовским месторождением на территории Чехословакии. (Его смоляная руда с большим содержанием окиси урана до войны шла на изготовление огнеупорных красок в керамической промышленности.) Захваченной же в Бельгии конголезской руды германским физикам хватило бы даже для расширения работ до масштабов, аналогичных американскому Манхэттенскому проекту.

В течение 1940 и 1941 годов Вернер Гейзенберг и его коллеги осуществили главные теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для создания атомного реактора с использованием урана и тяжелой воды. Они также установили, что ядерной взрывчаткой может служить не уран-238, а его изотоп — уран-235, который содержится в обычной урановой руде в пропорции 1 : 7000. Под руководством Пауля Гартека начались поиски путей разделения этих изотопов.

В июле 1940 года Карл-Фридрих фон Вайцзеккер теоретически установил, что уран-238 должен превратиться в атомном реакторе в новый элемент, по своим свойствам аналогичный урану-235. Таким образом, он независимо открыл элемент, который американцы впоследствии назвали плутонием, и обосновал возможность его использования в качестве ядерной взрывчатки.

В декабре 1940 года, как раз к тому времени, как под руководством Гейзенберга был построен первый исследовательский реактор, фирма «Аузрезельшафт» освоила производство металлического урана. А еще через девять месяцев участники «уранового проекта» убедились, что ядерная цепная реакция действительно возможна. Приборы показали, что заложенная в реактор масса урана выделяет больше нейтронов, чем поглощает их.

Впоследствии Гейзенберг вспоминал: «В сентябре 1941 года перед нами открылся путь. Он вел нас к атомной бомбе».

«ТЮБ ЭЛЛОИС»

Работы в области расщепления атомного ядра начались в Англии лишь немногим позже, чем во Франции, и тоже при правительственной поддержке. Как только профессор Имперского колледжа в Лондоне Джордж Томсон прочел в 1939 году статью Жолио-Кюри и его коллег в журнале «Нейчур», он тут же дал знать об этом Генри Тизарду, возглавлявшему научные исследования военного значения.

Они вместе отправились на Уайтхолл за правительственной поддержкой. К их словам о том, что ядерная физика может совершить переворот в военном деле, в британских коридорах власти отнеслись с достаточной серьезностью. Видимо, потому, что в Лондон уже поступили агентурные сведения о том, что в Германии учреждено «Урановое общество». Томсона снабдили деньгами, предоставили в его распоряжение тонну урановой руды. А в апреле 1940 года ученый был поставлен во главе правительственного комитета по координации атомных исследований.

Комитет Томсона был создан накануне того периода войны, когда Англия на какое-то время оказалась один на один с гитлеровской Германией. Началась «битва за Британию» — массированные налеты на столицу. Гитлеровцы кричали о броске через Ла-Манш. Военная обстановка выдвинула на передний план другие, более не-

отложенные задачи. Причем самой срочной из них считали тогда создание радара для защиты от гитлеровского люфтваффе.

Тем не менее как раз в дни «битвы за Британию» работы в Кембридже, Бирмингеме, Ливерпуле, которые координировал Томсон, заметно продвинулись вперед. Причем особенно существенный вклад внесли в это ученые-эмигранты. Они могли по-прежнему целиком посвящать себя атомным исследованиям, поскольку служба безопасности не допускала иностранцев к засекреченным работам в области радиолокации, борьбы с магнитными минами, обнаружения подводных лодок, на которые были мобилизованы их британские коллеги.

Хотя многие из этих ученых переехали в Англию еще до начала войны, их все равно держали на учете как «иностранцев из враждебной державы». Из-за этого физикам с континента пришлось пережить немало унижительных минут, когда их не допускали к документам, где излагались ими же предложенные идеи.

Халбан и Коварски, для которых Англия стала вторым после Франции прибежищем от нацизма, обосновались в Кембридже. Результаты исследований, проведенных ими вместе с Жолио-Кюри в Коллеж де Франс, явились, разумеется, огромным подспорьем для британской программы. Не говоря уже о том, что тяжелая вода, которую они перевезли через Ла-Манш после падения Парижа, обеспечила наряду с урановой рудой из Южной Африки и Канады достаточную сырьевую базу для английских исследований. На этой основе Халбан и Коварски подтвердили возможность достижения цепной реакции с помощью урана и тяжелой воды, а также существенно помогли работам по разделению изотопов урана, которые велись в Ливерпуле под руководством англичанина Чедвика.

Хотя между учеными различных национальностей сразу же установился самый откровенный творческий контакт, британские власти все же относились к выходцам с континента с некоторой настороженностью и даже подозрительностью. Английские физики призывали своих коллег философски относиться к возникавшим из-за этого неприятностям. Однако эту горькую чашу пришлось впоследствии до дна испить и им, когда сами англичане оказались точно в таком же положении в Соединенных Штатах.

15 июля 1941 года комитет Томсона представил свой доклад британскому правительству. В этом документе был впервые официально сделан вывод, что создать атомную бомбу до конца войны возможно, а также дан ответ на вопрос, каких материальных и людских ресурсов это потребует и будет ли эффект применения атомной бомбы оправдывать совершенные на нее затраты. В докладе приводились расчеты критической массы урана-235, говорилось о возможности накапливать плутоний в ядерном реакторе, а также предлагался проект опытного предприятия по разделению изотопов урана.

В октябре 1941 года, в те самые дни, когда гитлеровские полчища оказались на подступах к Москве, в Англии был учрежден правительственный орган по созданию атомного оружия. Он получил кодовое наименование «Тьюб эллойс».

16-й ПУНКТ ДОКЛАДА

4 июня 1942 года имперский министр вооружений Альберт Шпеер провел в Берлине расширенное совещание по «урановому проекту». Кроме физиков Гейзенберга, Гана, Гартека, Дибнера, в нем участвовали фельдмаршал Мильх, генерал-полковник Фромм, ведавший поставками боевой техники для вермахта, начальник управления армейских вооружений генерал фон Лееб и другие.

Возобновление интереса к «урановому проекту» со стороны нацистской военной верхушки не было случайным. К лету 1942 года стало ясно, что планы молниеносной войны против Советского Союза не осуществились. Германские войска были остановлены под Ленинградом, отброшены от Москвы. Неудачи зимней кампании списывали на «лютые русские морозы». Но когда вновь пришло лето, вермахт был уже не в состоянии возобновить удары по всему фронту. Да и на юге, куда были брошены главные силы, наступление то и дело захлебывалось, требуя все новых подкреплений. Оставалось уповать на некое «сверхоружие», способное вернуть гитлеровцам стратегическую инициативу.

Рейхсминистр Шпеер начал совещание без предисловий.

— Военное руководство рейха, — сказал он, — хотело бы услышать от участников «уранового проекта» ответы на два вопроса. Во-первых, возможно ли создание атомной бомбы? И во-вторых, когда?

Вернер Гейзенберг доложил о ходе исследований за три предыдущих года. Он начал с того, что на пути к осуществлению самоподдерживающейся цепной ядерной реакции оказалось гораздо больше трудностей, чем германские физики поначалу ожидали. Тем не менее работы продвинулись вперед. Экспериментально доказана возможность создания уранового котла с использованием тяжелой воды в качестве замедлителя. На основании теоретических расчетов сделан вывод, что в таком котле будет образовываться новый элемент с атомным весом 239 и что это вещество способно служить атомной взрывчаткой, как и уран-235, но зато будет гораздо доступнее для получения химическим путем.

Как явствовало из доклада, германские физики видели свою задачу прежде всего в создании уранового котла на медленных нейтронах. Они считали, что в конечном счете удастся сконструировать компактный котел, где расщепление ядер урана нарастало бы лавинообразно. Атомная бомба представлялась им, стало быть, попросту взрывающимся урановым реактором.

Многие участники совещания, одетые в мундиры, впервые в жизни слышали такие термины, как расщепление атомного ядра или разделение изотопов урана. Особенно большое впечатление на военных произвели слова о том, что новое вещество, которое, по расчетам ученых, станет накапливаться в урановом котле, будет примерно в миллион раз более мощной взрывчаткой, чем динамит.

— Вы упомянули, что распад атомов урана сопровождается образованием радиоактивных веществ. Нельзя ли использовать их ядовитое излучение, чтобы заражать воздух или воду на территории противника? — спросил генерал-полковник Фромм.

Хотя вопрос этот несколько покорибил ученых, они ответили утвердительно.

— Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, — вмешался рейхсминистр. — Хотелось бы уточнить, сколько времени потребуется участникам «уранового проекта», чтобы создать новый вид оружия, готовый для боевого применения? Три месяца или шесть месяцев?

Гейзенберг отрицательно покачал головой. Он сослался на ограниченные возможности германской экономики. Для создания самоподдерживающейся цепной ядерной реакции нужно по крайней мере 10 тонн металлического урана, 5 тонн тяжелой воды. Ни того, ни другого в подобных количествах участники проекта пока получить не могут. До сих пор не найдено надежного способа разделения изотопов урана. К тому же этот процесс требует огромного количества электроэнергии. Словом, для создания урановой бомбы потребуются не месяцы, а годы.

— Можете ли вы назвать более конкретный срок?

— От двух до пяти лет, даже если мы получим всю необходимую материальную поддержку, — ответил Гейзенберг.

— Хорошо, я доложу фюреру о нашем совещании и извещу вас о решении насчет масштабов дальнейших работ, — заключил Шпеер.

23 июня 1942 года Шпеер сделал очередной доклад Гитлеру о проблемах военной промышленности. Информация об «урановом проекте» фигурировала в нем лишь как 16-й пункт и удостоилась одной единственной фразы в дневнике рейхсминистра: «Коротко доложил фюреру о совещании по поводу атомных исследований и оказанном содействии».

ДИВЕРСИЯ НА «НОРСК-ГИДРО»

Зимой 1942 года главный инженер фирмы «Норск-гидро» Брун вступил в контакт с участниками норвежского движения Сопротивления. Он рассказал, что оккупационные власти потребовали резко увеличить производство тяжелой воды в Рjukanе. Однажды во время ночного дежурства Бруну удалось скопировать план размещения дополнительного оборудования, которое уже начали монтировать. Брун просил срочно переправить эти материалы в Англию, где одним из руководителей организа-

ции «Свободная Норвегия» стал его друг Тронстед (когда-то они вместе разработали технологию получения тяжелой воды методом электролиза).

В Лондоне сразу же поняли, что сведения, поступившие от Бруна, имеют исключительную важность. Когда немцы хотели перехватить купленную Парижем тяжелую воду, это могла быть всего-навсего попытка воспрепятствовать французским экспериментам. Теперь же налицо были неоспоримые доказательства того, что нацистская Германия всерьез разворачивает атомные исследования. Поэтому задача воспрепятствовать расширению производства на «Норск-гидро» обрела военно-стратегическое значение.

Обсуждая план будущей операции с британскими военными властями, Тронстед доказывал, что бомбардировка Рьюкана нанесла бы больше ущерба гражданскому населению, чем самому объекту. По его мнению, взорвать завод могла бы лишь диверсионная группа из норвежцев, хорошо знакомых с предприятием и окружающей местностью. Однако англичане заявили, что берут выполнение операции на себя. Взорвать оборудование по производству тяжелой воды было поручено двум взводам специальной авиадесантной службы (САС).

Поскольку германская противовоздушная оборона в Норвегии была оснащена лишь звукоуловителями и не имела радарных установок, было решено доставить туда десантников на планерах. Норвежским подпольщикам предписывалось лишь встретить англичан на плато к северу от Рьюкана. Тронстед предостерегал, что посадка планеров с десантниками и взрывчаткой будет сопряжена с большим риском: воздух над центральной Норвегией редко бывает спокойным, а на плато много валунов и трещин. Однако доводы эти не были приняты во внимание.

19 ноября 1942 года, в тот самый день, когда Советская Армия мощным артиллерийским шквалом начала наступление под Сталинградом, два английских бомбардировщика «галифакс», ведя за собой на буксире планеры, взлетели с одного из военных аэродромов в Шотландии. Для королевских военно-воздушных сил это была, в сущности, первая боевая операция с применением планеров. Экипажи бомбардировщиков не имели достаточного опыта их буксировки. К тому же участникам рейда не повезло с погодой. Хотя самолетам было запрещено выходить в эфир, с борта одного из них поступила радиограмма: «Попали в метель. Сбились с пути. Началось оледенение».

Пилот первого бомбардировщика полагал, что все еще находится над морем, но в действительности давно уже летел над Норвегией. Внезапно увидев перед собой отвесную скалу, он отцепил планер и попытался круто набрать высоту. Тем не менее машина врезалась в горный склон. Весь экипаж бомбардировщика погиб. Планер разбился неподалеку. Из находившихся в нем десантников в живых осталось четырнадцать. У другого бомбардировщика из-за оледенения оборвался буксирный трос, и он, оставив планер на произвол судьбы, повернул обратно на базу. Из второго взвода десантников уцелели девять человек.

На место катастрофы примчался немецкий карательный отряд, перехвативший радиосигналы англичан. Среди обломков планеров нацисты обнаружили толовые пакеты и детонаторы. Англичане, которым пришлось нести на себе раненых, не успели уйти далеко и были схвачены. Пленных доставили в военную комендатуру города Эгерсунд. После краткого допроса все они были расстреляны в соответствии с приказом Гитлера о диверсантах и партизанах.

Их преступная казнь вызвала конфликт между гестапо и абвером. Рейхсфюреру СС Гиммлеру была направлена в Берлин следующая телеграмма: «В ночь с 19 на 20 ноября вблизи Эгерсунда разбились два английских планера, а также один из бомбардировщиков, которые буксировали их. На борту планеров была диверсионная группа из 35 человек. Примерно третья часть из них погибла при падении. К сожалению, военные власти расстреляли уцелевших, и теперь выяснить цель операции невозможно».

При планировании следующего рейда англичанам пришлось прислушаться к мнению Тронстеда. Было решено вывести завод из строя силами норвежской диверсионной группы, забросив в помощь подпольщикам шесть опытных парашютистов-подрывников. Почти два месяца их тщательно тренировали на специально созданном макете завода. В разгар подготовки пришло сообщение, что окруженная под Сталинградом 300-тысячная армия Паулюса капитулировала. Весть эта вызвала общее ликование.

Две недели спустя парашютистов доставили на залитый дождем аэродром. Странно выглядели они в белых маскировочных халатах и с лыжами в руках среди февральских луж мокрой шотландской зимы.

На этот раз пилот вовремя заметил сигнальные огни. Несмотря на снежную бурю, парашютисты приземлились благополучно. Еще целую неделю объединенный отряд уточнял детали операции на местности. Гитлеровская охрана была вправе считать, что о неприступности объекта в Рjukanе позаботилась сама природа. Гидроэлектростанция и электролизный завод были с одной стороны защищены высокой отвесной скалой, а с другой — ущельем. Подступы к нему были заминированы. Лишь в одном месте через ущелье был перекинут висячий мост, который круглосуточно охранялся. Чтобы проникнуть на завод, Тронстед и Брун предложили диверсантам воспользоваться узким тоннелем для электрического кабеля.

Операцию назначили на 27 февраля 1943 года. Двое подрывников в сопровождении двух местных подпольщиков друг за другом поползли по узкому тоннелю. Остальные члены отряда разбились на группы, чтобы прикрывать их отход. Тоннель привел норвежцев в самое сердце завода — в цех концентрации тяжелой воды. Туда же были втянуты на канатах рюкзаки со снаряжением. Четвером диверсанты быстро разместили под цистернами взрывчатку и детонаторы, а также заложили шрапнель в переплетения охлаждающих труб.

На обратном пути пришлось тянуть за собой провода взрывного устройства. Когда до выхода из тоннеля оставалось несколько метров и трое норвежцев уже благополучно выбрались наружу, руководитель группы подсоединил к детонаторам часовой механизм, который должен был сработать через 20 минут.

За взрывом наблюдали, укрывшись среди скал. Он раздался вовремя. Тотчас же завывали сирены. Машины с охраной устремились к заводу. Однако члены диверсионной группы были уже в безопасности и благополучно добрались до шведской границы.

На другой день в Рjukan прибыл германский верховный комиссар в Норвегии. Он приказал арестовать в городе десять заложников и предупредил, что они будут расстреляны, если местные жители не выдадут диверсантов. Однако продолжительные допросы рабочих, находившихся в момент взрыва на территории завода, не выявили никаких улик.

— Судя по участкам технологического цикла, которые выведены из строя, мы имеем дело с профессиональной военной акцией. Принимать в ответ на нее карательные меры против гражданского населения было бы не в интересах оккупационных властей, — доложил верховному комиссару представитель аввера.

В Рjukan стянули крупные полицейские силы. Но это уже не меняло дела. Производство тяжелой воды на «Норск-гидро» было надолго парализовано.

ЭХО СТАЛИНГРАДА

Почему «урановый проект» не завершили созданием атомной бомбы? Ведь германская наука вообще и физика в частности занимали в ту пору ведущие позиции в мире, а по своему промышленному потенциалу Германия уступала лишь Соединенным Штатам.

К тому же «урановый проект» взял уверенный старт. Поначалу его участники почти на всех направлениях опережали своих соперников. Германские физики первыми завершили теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для создания атомного реактора, действующего на уране и тяжелой воде, первыми добились реальных результатов на пути к осуществлению цепной ядерной реакции. Они первыми предсказали, что в урановом котле будет накапливаться новый элемент, который был потом назван плутонием, первыми наладили производство металлического урана в промышленных масштабах. Достаточно сопоставить даты и факты, чтобы убедиться: весь 1940 и 1941 годы они лидировали в гонке.

Им оставалось сделать следующий шаг: перейти от лабораторных установок к промышленным, построить заводы по разделению изотопов урана, запустить атомные реакторы, в которых шло бы накопление плутония в промышленных масштабах. Но этого не случилось. После первых лет уверенного роста масштабы германских атомных исследований были заморожены, а потом даже стали сокращаться. Почему же «урановый проект» вдруг забуксовал?

Главной причиной этого был провал blitzkrieg и коренной поворот в ходе войны, происшедший в ходе Сталинградской битвы. До 1942 года, когда ставка делалась на молниеносную войну, нацистская верхушка не придавала «урановому проекту» первостепенного значения, ибо считала, что победа может быть одержана и без атомной бомбы.

Когда гитлеровские войска вошли в Париж, Гитлер дал установку не наращивать больше производства боеприпасов. Ему казалось, что Германия вступила в завершающий этап войны с таким превосходством военной мощи, что полный разгром противников рейха не потребует больших усилий. В результате было упущено время, когда Германия действительно могла создать атомную промышленность на основе еще не тронутой бомбежками металлургии, химии, энергетики, когда она еще обладала сырьевыми и людскими ресурсами для этого.

Но после советского контрнаступления под Москвой и особенно после окружения и разгрома 300-тысячной армии Паулюса под Сталинградом нацистский режим был вынужден сосредоточить все силы и ресурсы на непосредственных задачах снабжения войск оружием и боеприпасами. Теперь уже не могло быть и речи о программах долгосрочных исследований. Рейху они стали попросту не по плечу.

Так что, отдавая должное подвигу норвежских патриотов, взорвавших завод тяжелой воды, мужеству английских и американских летчиков, которые бомбили промышленные центры рейха, нельзя не видеть, что решающей силой, которая помешала гитлеровцам создать атомное оружие, была Советская Армия.

Давая санкцию на «урановый проект», нацистская верхушка с самого начала проявила близорукость и легкомыслие в оценке трудностей, связанных с его осуществлением. Она надеялась создать атомное оружие малыми силами, без должной научной и инженерной базы.

Достаточно сказать, что на германские атомные исследования было затрачено в двести раз меньше средств, в них было занято в полторы тысячи раз меньше людей, чем в американском Манхэттенском проекте. Здесь тоже нашел свое проявление присущий гитлеровцам авантюризм.

К тому же в судьбе «уранового проекта» сыграли свою роль и субъективные факторы. Гитлер с явным предубеждением относился к ядерной физике. Он называл ее «еврейскими штучками», ибо за всем, что связано с теорией относительности, ему мерещился профиль Эйнштейна.

Впрочем, нацистское руководство отнюдь не целиком отказалось от поддержки «уранового проекта». Работы продолжались в прежних, то есть ограниченных масштабах. Считалось, что они полезны хотя бы потому, что доказывают невозможность создания атомного оружия противником. Раз, мол, даже германские физики не могут решить подобную задачу, то никому другому в мире она просто не по плечу.

8 июля 1943 года, то есть через семь месяцев после того, как Энрико Ферми впервые осуществил цепную ядерную реакцию под трибунами университетского стадиона в Чикаго, в ставку Геринга на имя доктора Гернерта поступило следующее письмо:

«Дорогой партайгеноссе Гернерт!

Псылаю вам для информации рейхсмаршала доклад уполномоченного по ядерной физике государственного советника профессора доктора Эзау. Как видно из доклада, за несколько месяцев дело довольно значительно продвинулось вперед. Эта работа не может за короткое время привести к изготовлению практически применимых машин или взрывчатых веществ, поэтому можно быть уверенным, что в данной области вражеские державы не могут иметь в запасе какую-либо неожиданность для нас.

С наилучшими пожеланиями. Хайль Гитлер! Ваш Ментцель».

Подписавший это письмо профессор Рудольф Ментцель, бригадефюрер войск СС, возглавлял тогда все имевшие военное значение научные работы университетов Германии.

ПОХОРОННЫЙ ЗВОН КВЕБЕКА

6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. Это означало провал гитлеровского плана молниеносной войны против СССР. 7 декабря 1941 года 350 японских самолетов внезапно атаковали Пирл-Харбор. Сво-

ими бомбами и торпедами они уничтожили ядро Тихоокеанского флота США, находившееся на его главной базе.

Примечательно, что как раз накануне того дня, когда Соединенные Штаты перестали быть нейтральной державой и превратились в одного из участников второй мировой войны, в Вашингтоне было принято решение практически приступить к созданию атомного оружия. Для осуществления этой программы впервые были ассигнованы крупные денежные средства.

Большинство западных авторов, пишущих об истории атомной бомбы, ведут отсчет участия США в этой гонке с 11 октября 1939 года, когда Рузвельт ознакомился с письмом Эйнштейна. Все, мол, началось со знаменитых слов президента: «Это требует действий!». А между тем прошло целых два года и два месяца, прежде чем дело двинулось с места.

Утверждают, будто толчком для американских работ послужило нападение на Пирл-Харбор. Дескать, пришлось занять атомные бомбы и сбросить их на Хиросиму и Нагасаки, чтобы отомстить японцам за их вероломство. Но этот пропагандистский миф опровергается тем, что решение приступить к созданию атомного оружия было (словно по иронии судьбы!) принято за сутки до атаки на Пирл-Харбор, которая была для Вашингтона полной неожиданностью.

Призыв Эйнштейна опередить Гитлера в создании нового оружия возымел действие лишь после того, как успехи западноевропейских ученых — сначала во Франции, а затем в Англии — убедили правящие круги США, что создание атомной бомбы практически осуществимо. Непосредственным толчком для решения, принятого в Белом доме 6 декабря 1941 года, был доклад комитета Томсона британскому правительству и принятая на его основе программа «Тьюб эллойс», которая была утверждена Лондоном в октябре 1941 года.

Еще годом раньше Англия предложила Соединенным Штатам сотрудничество в обмене научной информацией, имеющей военное значение. В рамках такого обмена в США была направлена делегация во главе с Тизардом. Осенью 1941 года Англию посетили американские физики Пеграм и Юри, в частности, побывали в Кембридже, Бирмингеме и Ливерпуле. В результате этих поездок американцы убедились, что англичане значительно опередили их в области военного применения новейших научных открытий — начиная от радара и кончая атомными исследованиями.

Итак, к началу англо-американского сотрудничества англичане были дающей страной. Но в трудные дни «битвы за Британию» они все больше нуждались в помощи из-за океана. В обмен за нее Англии пришлось дать обещание поделиться с Соединенными Штатами своими научно-техническими достижениями (при этом прежде всего имелись в виду новейшие средства противовоздушной обороны и, в частности, радары).

Однако если Соединенные Штаты были в ту пору еще слишком далеки от военной опасности, то для Англии война была, наоборот, слишком близка. Становилось все очевиднее, что в условиях бомбежек и воздушной разведки противника на британской территории вряд ли удастся развернуть программу «Тьюб эллойс» в промышленных масштабах.

20 июня 1942 года во время встречи с Рузвельтом близ Вашингтона Черчилль согласился перенести английские работы на другую сторону Атлантики и создавать атомную бомбу объединенными усилиями двух стран. Однако после того, как руководство этим делом попало в руки Пентагона, англо-американское сотрудничество в создании атомного оружия практически утратило характер равноправного партнерства.

Работы в области атомной энергии перешли под жесткий контроль созданного в США военно-политического комитета. Программе было присвоено кодовое наименование Манхэттенский проект, а его участники переведены на положение научного персонала, обязанного подчиняться строгому режиму секретности. В сущности, английская программа «Тьюб эллойс» растворилась в американском Манхэттенском проекте, была поглощена им.

Руководитель английских работ Джордж Томсон перебрался в Канаду и некоторое время посещал заседания военно-политического комитета в Вашингтоне. Но вскоре он убедился, что американцы многое скрывают от него. Англичавам, в частности,

ничего не сказали о том, что 2 декабря 1942 года Энрико Ферми впервые осуществил в Чикаго самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию, открывшую путь к созданию атомной бомбы. Скрыли от британских союзников и начало строительства гигантских заводов в Ок-Ридже и Хэнфорде.

19 августа 1943 года Рузвельт и Черчилль подписали Квебекское соглашение, которое, в сущности, положило конец независимым британским работам над созданием атомного оружия. О том, что на ранней стадии этих исследований американцы значительно отставали от англичан и очень многое у них позаимствовали, в этом документе не упоминалось вовсе. Участники соглашения обязались не применять атомное оружие против кого-либо без взаимного согласия, а также не передавать третьим странам какой-либо информации, касающейся создания этого оружия.

Поскольку СССР был тогда единственным государством, обладавшим экономическим потенциалом для этого, Квебекская договоренность отчетливо обрела антисоветскую направленность в преддверии встречи Рузвельта и Черчилля со Сталиным в Тегеране в ноябре 1943 года.

Квебекское соглашение прозвучало погребальным звоном по английской программе «Тьюб эллойс». У ее участников оставалась лишь возможность присоединиться к американским исследованиям. Они оказались в таком же положении, как Халбан и Коварски, когда плыли через Ла-Манш на угольщике «Брумпарк».

В те самые дни, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились на конференции в Тегеране, большинство работавших в Англии физиков собрались в Ливерпуле, чтобы пересечь Атлантический океан. В день отплытия парохода «Эндис» у городских властей не оказалось автомашин, чтобы перевезти в порт ученых с их семьями и багажом. В последний момент удалось нанять у частного похоронного бюро лишь колонну катафалков. На этом весьма символическом виде транспорта участники программы «Тьюб эллойс» и начали свое путешествие в Соединенные Штаты.

ГРОВС И ОППЕНГЕЙМЕР

13 августа 1942 года администрация США приняла решение объединить все работы по созданию атомного оружия, создав для этого секретную организацию под кодовым наименованием Манхэттенский проект. Месяц спустя его начальником был назначен полковник инженерных войск Лесли Гровс. Выпускник военной академии Вестпойнт, он занимался возведением казарм и складов на американских базах в Центральной Америке и на Гавайских островах. Единственной примечательной строкой в его послужном списке было строительство здания Пентагона, завершенное им вдвое скорее намеченных сроков.

Гровс предвидел, что руководить учеными будет труднее, чем командовать солдатами. И когда в связи с новым назначением его пообещали произвести в генералы, он тут же сказал, что целесообразнее сначала присвоить ему это звание, а потом уже представлять его участникам проекта.

— Важно, чтобы люди, с которыми мне предстоит работать, с самого начала видели во мне генерала, а не повышенного в чине полковника,— говорил он. — Как ни странно, длинноволосые интеллигенты придают званиям еще большее значение, чем кадровые военные...

Начальник Манхэттенского проекта Лесли Гровс и научный руководитель проекта Роберт Оппенгеймер были полной противоположностью друг другу и по внешнему облику и по духовному складу.

Несмотря на свою тучную фигуру, Гровс всегда выглядел подтянутым и ухоженным, начиная от аккуратно подстриженных усиков и кончая начищенными ботинками. Это был типичный пентагоновец, недалекий, но напористый и педантичный, привыкший мыслить и действовать по уставу.

У Оппенгеймера была не по годам сутулая, тщедушная фигура. Дорогие костюмы всегда сидели на нем мешковато, словно с чужого плеча. Роберт отличался утонченными манерами и острым ироничным умом, он умел завладевать вниманием окружающих, оживленно жестикулируя своей трубкой, с которой не расставался, несмотря на слабые легкие.

Сын состоятельных родителей немецкого происхождения, Оппенгеймер блестяще окончил Гарвард, а потом продолжал образование в Кембриджском университете в Анг-

лии и в Геттингенском университете в Германии. Помимо физики, он интересовался средневековой французской поэзией и древнеиндийской философией.

Уже с конца 1941 года Опенгеймер не раз привлекался к консультациям по вопросам военного применения атомной энергии. Он посвятил много времени определению критической массы урана-235. Поэтому когда американские работы над атомной бомбой стали обретать широкие масштабы, Опенгеймера пригласили возглавить этот многонациональный научный коллектив.

Манхэттенский проект был задуман с размахом. В распоряжение Гровса, как уже говорилось, было предоставлено два миллиарда долларов. Когда ученые оказались перед трудным выбором: какому из способов получения атомной взрывчатки отдать предпочтение — то ли пойти по пути обогащения урана-235, то ли строить реакторы, чтобы накапливать в них плутоний, — Пентагон разрешил их сомнения весьма просто. Решено было делать сразу и то и другое.

Гровс считал, что масштабы Манхэттенского проекта требуют подключить к его осуществлению крупнейшие промышленные концерны. Корпорация «Юнион карбайд», которая издавна поставляла военному ведомству взрывчатые вещества и ядовитые газы, занялась строительством завода по обогащению урана-235. В долине реки Теннесси возник город Ок-Ридж с восьмьюдесятью тысячами жителей. Экспериментальной базой для завода в Ок-Ридже служила физическая лаборатория Эрнста Лоуренса в Калифорнийском университете в Беркли.

Другой засекреченный город — Хэнфорд, с шестьюдесятью тысячами жителей, — вырос в бесплодной пустыне на южном берегу реки Колумбия. Энрико Ферми руководил там конструированием и постройкой промышленных реакторов для накопления плутония. Подряд на строительство этих предприятий Гровс передал концерну «Дюпон», который был одним из зачинателей производства пороха в Северной Америке.

Теоретические исследования и эксперименты, связанные с Манхэттенским проектом, велись в металлургической лаборатории в Чикаго, а также в университетах Гарварда, Принстона и Беркли.

Опенгеймер вскоре пришел к выводу, что нужно объединить усилия различных групп ученых и сосредоточить их в одном месте. Гровс поначалу отнесся к этой идее настороженно. Он предпочитал, чтобы каждый участник проекта знал лишь порученное ему дело и оставался в полном неведении обо всем остальном. Опенгеймер не возражал против того, чтобы главные промышленные объекты вроде заводов в Ок-Ридже и Хэнфорде проектировались, строились и эксплуатировались совершенно независимо и даже секретно друг от друга. Но вместе с тем он считал важным условием успеха свободное общение ученых, возможность сообща преодолевать возникающие трудности.

В конце концов Гровс скрепя сердце согласился на создание такого научного центра, решив разместить его в каком-то отдаленном месте, где ученых будет легче изолировать и держать под контролем. Он охотно принял предложение Опенгеймера избрать для этой цели поселок Лос-Аламос в засушливом штате Нью-Мексико, куда Роберт в юности ездил лечить свои легкие.

И вот весной 1943 года в сонный городок Санта Фе, который когда-то был резиденцией испанских наместников в Мексике, стали съезжаться ученые. Оттуда их с соблюдением мер строжайшей секретности переправляли в Лос-Аламос по условному адресу: «Армия США, почтовый ящик 1663». Вся корреспонденция сотрудников научного центра подвергалась цензуре, их телефонные разговоры прослушивались. Водительские права выдавались на вымышленный адрес, а известные ученые значились в них под псевдонимами. Нильс Бор, например, фигурировал как Николас Бекер, а Энрико Ферми — как Генри Фармер.

Службу безопасности Манхэттенского проекта возглавлял полковник Борис Паш — сын митрополита русской православной церкви в США. В военную контрразведку «Джи-2» он попал как специалист по «коммунистическому просачиванию». Весьма примечательно, что в ту самую пору, когда весь мир восхищался героями Сталинградской битвы, когда прогремели первые московские салюты в честь побед на Курской дуге, следить за участниками Манхэттенского проекта был поставлен такой ярый антикоммунист и антисоветчик, как Борис Паш.

«Наша стратегия в области охраны тайны очень скоро определилась, — писал Гровс в своей книге «Теперь об этом можно рассказать». — Она сводилась к трем основным задачам: предотвратить попадание к немцам любых сведений о нашей про-

грамме; сделать все возможное для того, чтобы применение бомбы в войне было полностью неожиданным для противника; и, насколько это возможно, сохранить в тайне от русских наши открытия и детали наших проектов и заводов».

ОППЕНГЕЙМЕР И ПАШ

Полковник Паш относился к Оппенгеймеру с неприязнью и недоверием. Начальника контрразведки Манхэттенского проекта тревожила биография ученого.

Оппенгеймер начал по-настоящему интересоваться политикой лишь после своего возвращения из Европы. Германия уже не была для него абстрактным географическим понятием. Он болезненно переживал приход Гитлера к власти, нацистские репрессии, жертвами которых оказались многие лично знакомые ему ученые. Все это в конце концов сблизило Оппенгеймера с левыми антифашистскими организациями в Калифорнии. Особенно активное участие в их деятельности Роберт принимал в годы гражданской войны в Испании. Унаследовав после смерти отца крупное состояние, он регулярно делал денежные пожертвования в пользу антифашистских групп, писал и на свои средства издавал для них агитационные брошюры.

Компания в поддержку республиканской Испании свела Оппенгеймера и с членами Коммунистической партии США. Среди них была студентка по имени Джейн Тэтлок, дочь профессора английской литературы в Калифорнийском университете. Благодаря этой девушке Оппенгеймер познакомился с некоторыми видными калифорнийскими коммунистами, начал читать марксистскую литературу. Роберт и Джейн полюбили друг друга и, по выражению Оппенгеймера, «дважды едва не поженились». Но их взаимное влечение часто прерывалось размолвками.

Роберту казалось, что общественная деятельность занимает непомерно большое место в жизни Джейн, что она слишком бескомпромиссна и нетерпима к тем, кто не разделяет ее убеждений. А она критиковала в Роберте идеализм либерального интеллигента. Во время одной из таких размолвок в жизни Оппенгеймера произошел неожиданный поворот. Он познакомился с Кетрин Гаррисон, женой врача в местной больнице. Ее первый муж был коммунистом и погиб в Испании, сражаясь в интернациональной бригаде.

Кетрин и Роберт внезапно вспыхнули друг к другу такой страстной любовью, что порвали существовавшие у них ранее связи и поженились в ноябре 1940 года. После этого брака Оппенгеймер начал отходить от левых организаций и от общественной деятельности вообще.

Но човсе покончить с прошлым оказалось нелегко. Джейн Тэтлок продолжала любить его. И Роберт время от времени встречался с ней, то ли сознавая свою вину за расторгнутую помолвку, то ли потому, что и сам оказался бессильным преодолеть прежние чувства.

12 июня 1943 года Оппенгеймер под вымышленным предлогом ускользнул из Лос-Аламоса, чтобы по просьбе своей бывшей невесты навестить ее в Сан-Франциско. С тяжелым сердцем Роберт поведал Джейн, что в течение нескольких месяцев, а может быть и лет, они вообще не смогут видеть друг друга, ибо ему надолго придется уехать из Беркли. Он добавил, что не может ничего сказать Джейн ни о характере, ни о месте своей работы, куда ему нельзя писать даже до востребования. Через несколько месяцев после этого разговора Джейн Тэтлок покончила с собой.

Оппенгеймер не предполагал, что военная контрразведка с самого начала знала о его поездке в Сан-Франциско и держала под наблюдением каждый его шаг. Тайные агенты сопровождали ученого еще в самолете. Они видели, как Роберт и Джейн пришли к ней домой. Знали, что он провел там ночь, видели, как на следующее утро она проводила его в аэропорт. Все это было запотоколировано и сфотографировано. Все это вместе с фотокопиями перехваченных писем и записями подслушанных разговоров было приобщено к личному досье Оппенгеймера как компрометирующий материал.

Теперь полковник Паш получил долгожданный повод действовать. 29 июня 1943 года он направил в Пентагон доклад с выводом о том, что «субъект» должен быть отстранен от руководства научным центром Манхэттенского проекта. Паш утверждал, что контакты ученого с Джейн Тэтлок могут привести к утечке секретной информации о работах в Лос-Аламосе к коммунистам, а через них в Советский Союз.

В середине июля генерал Гровс получил депешу из Пентагона. В ней говорилось, что по рекомендациям службы безопасности Оппенгеймер не может быть утвержден руководителем научного центра в Лос-Аламосе. Полковник Джон Лансдейл, курировавший Манхэттенский проект по линии военной контрразведки «Джи-2», поддержал доводы полковника Паша.

Такой оборот дела сулил Гровсу большие неприятности. Он чувствовал, что не сможет обойтись без этого талантливого исследователя и организатора. Генерал сознавал, что именно такой человек, как Оппенгеймер, способен объединить усилия всемирно известных ученых, составлявших мозговой центр Манхэттенского проекта, — тех антифашистски настроенных европейских физиков, которые уважали Роберта не только за его знания, но и за его убеждения.

Между Гровсом и Оппенгеймером состоялся длинный разговор. Ошеломленный предъявленными ему уликами, Оппенгеймер уверял, что давно отошел от каких-либо связей с коммунистами, да и его личные отношения с Джейн Тэтлок находятся на грани разрыва.

Почувствовав, что наступил удобный момент целиком подчинить мягкотелого интеллигента своей воле, Гровс решил сыграть на порядочности Оппенгеймера. Он сказал, что демонстративно кладет все обвинения против ученого под сукно, хотя рискует при этом своей карьерой.

20 июля 1943 года генерал Гровс написал в Пентагон: «Считаю целесообразным немедленно оформить допуск Роберта Оппенгеймера к секретной работе, независимо от тех сведений, которыми вы располагаете о нем. Его участие абсолютно необходимо для проекта». Гровс умело манипулировал Оппенгеймером, делая ставку то на его благородство, то на его тщеславие. Служба безопасности дала в конце 1943 года следующую примечательную характеристику на руководителя научного центра в Лос-Аламосе:

«Можно полагать, что как ученый Оппенгеймер глубоко заинтересован в приобретении мировой известности и в том, чтобы занять свое место в истории после осуществления проекта. Представляется также вероятным, что Пентагон может позволить ему осуществить это, но может и ликвидировать его имя, репутацию и карьеру, если найдет это нужным. Если дать Оппенгеймеру достаточно ясно осознать такую перспективу, это заставит его по-иному взглянуть на свое отношение к Пентагону».

Подход Гровса к Оппенгеймеру, в сущности, соответствовал этой идее и в конечном счете оказался безуспешным. Либеральный интеллигент прогрессивных убеждений оказался пленником реакционной военщины, послушным орудием в ее руках. Когда на завершающей стадии работ и особенно после капитуляции гитлеровской Германии многие коллеги Оппенгеймера воспротивились применению атомного оружия против Японии, он не присоединился к ним. Как научный руководитель Манхэттенского проекта Оппенгеймер был причастен, правда лишь в качестве консультанта, к планированию соответствующей боевой операции и выбору объектов для бомбардировки.

ПРОЕКТ «ЭН»

8 июля 1942 года, в то самое лето, когда Шпеер доложил Гитлеру, что создание атомной бомбы потребует не месяцев, а лет, и когда американский Манхэттенский проект поглотил английскую программу «Тьюб залойс», штаб японского императорского флота провел совещание с учеными о возможности военного применения атомной энергии.

Да, подобный вопрос обсуждался в Японии. Хотя об этой главе атомной эпопеи пока еще знают очень немногие. Только из материалов, опубликованных в Японии «Обществом по изучению войны на Тихом океане», стало очевидно, что драматическая гонка за обладание новым чудовищным оружием шла не только по обе стороны Атлантики, но и на противоположных берегах Тихого океана. С ведущими физиками Западной Европы и Америки незримо состязались не только участники германского «уранового проекта», но и японского проекта «Эн».

В разгар тихоокеанской войны японский императорский флот стал инициатором встречи адмиралов с учеными. Список приглашенных возглавлял видный японский физик Иосио Нисина, в свое время учившийся у Нильса Бора в Копенгагене. лабора-

тория Нисины в Институте физико-химических исследований давно служила притягательным центром для талантливой научной молодежи Японии. На совещание был также приглашен профессор Токийского университета Риокити Сагане и другие физики.

— Прежде чем говорить о цели сегодняшнего совещания, — сказал адмирал из военно-морского штаба, — мы ознакомим вас с боевой обстановкой, чтобы яснее стала задача, вставшая перед отечественной наукой.

Ученые выслушали доклад, который очень мало напоминал газетные сводки, предназначенные для японского обывателя. Через восемь месяцев после начала войны ход ее все явственнее оборачивался не в пользу Японии. Успешный удар по Пирл-Харбору сперва открыл целую полосу триумфальных побед. 15 февраля 1942 года японцы захватили Сингапур, 9 апреля завершили оккупацию Филиппин, 9 марта полностью овладели Голландской Ост-Индией (нынешней Индонезией). Но потом одна за другой пошли неудачи: поражение на острове Мидуэй, потеря Соломоновых островов. Победные сводки сменились сообщениями о растущих потерях на море, в воздухе, на захваченных плацдармах.

Стремительно ставшая реальностью «великая восточноазиатская сфера процветания» столь же стремительно расплзалась по швам. Возникла нужда в новом сверхоружии, способном в корне изменить ход войны. Так сформулировали задачу ученых флотские стратеги.

Разговоры о возможности военного применения атомной энергии шли в милитаристской Японии и раньше. Еще до начала войны на Тихом океане начальник исследовательского института авиационной технологии генерал Такео Ясуда поручил профессору Риокити Сагане разработать перечень мер, которые обеспечили бы Японии доступ к урановой руде, нужной для атомных исследований. Он же дал задание Иосию Нисине теоретически рассчитать возможность использования расщепляющихся материалов в качестве взрывчатки.

Однако в пору упоения легкими победами военная верхушка Японии, как и в Германии, не считала создание атомного оружия делом первостепенной необходимости. Но вот сам ход событий выдвинул данный вопрос во главу угла. Причем не только потому, что обстановка на тихоокеанском театре военных действий изменилась в худшую сторону, но и потому, что по данным агентурной разведки секретные исследования в области ядерной физики развернулись в Соединенных Штатах, обретая все более широкие масштабы и все более активные темпы.

— Еще до нашего нападения на Пирл-Харбор администрация США полностью запретила вывоз урана из страны. Уже один этот факт свидетельствует, что американцы работают над расщеплением атомного ядра, — заметил профессор Сагане.

Организаторы совещания попросили ученых ответить на два конкретных вопроса. Во-первых, можно ли использовать атомную энергию в военных целях? И, во-вторых, способна ли Япония создать такое оружие в ходе нынешней войны?

Профессор Сагане познакомил собравшихся с результатами своих расчетов. По его выкладкам получалось, что для решения подобной задачи Японии потребуется чуть ли не целое десятилетие, если удастся раздобыть достаточно сырья и найти необходимые рабочие руки. Доклад Сагане вызвал тягостное молчание. Затем слово взял капитан первого ранга Ито.

— Все вы, ученые, прирожденные консерваторы, — сказал он. — Мы, на флоте, привыкли решать вопросы по-другому. Если требуется построить корабль к определенному сроку, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы он вступил в строй в назначенный день.

Императорский флот только что получил тогда крупнейшие в мире линкоры «Ямато» и «Мусаси». Это были действительно первоклассные для своего времени корабли, так что самоуверенность капитана первого ранга имела некоторые основания. После совещания с учеными флот выделил им денежные средства. Но убедившись через несколько месяцев, что от атомных исследований нечего ждать скорого результата, передал все это дело военно-воздушным силам.

5 мая 1943 года Иосию Нисина доложил штабу ВВС, что создание атомной бомбы технически возможно. На основании его доклада была утверждена секретная программа под кодовым наименованием проект «Эн». Его научным центром стал исследовательский институт авиационной технологии, начальник которого — генерал Ясуда — в

свое время первым в Японии поставил вопрос о военном применении атомной энергии.

Профессор Нисина сумел привлечь к участию в проекте «Эн» способных молодых ученых. Все они были немедленно освобождены от военной службы и предоставлены в его распоряжение. Один из учеников профессора — Хидехико Тамаки — возглавил группу, которой было поручено рассчитать размер критической массы урана-235. Другой его ученик — Тадаки Такеуги — стал во главе работ, связанных с разделением изотопов урана.

Нисине казалось, что у него достаточно научных сил. Чего, по мнению профессора, ему не хватало, так это двух тонн урановой руды. Японские месторождения в префектуре Фукусима не оправдали надежд. Оккупационным властям в Китае и в странах Южных морей было поручено развернуть интенсивные поиски урановой руды. Но обеспечить ее быструю поставку оказалось не так-то просто. Слишком уж много было тогда других неотложных нужд: требовались и сталь и медь, не хватало нефти и электроэнергии.

Как раз в то время, когда в осуществлении проекта «Эн» были сделаны первые шаги, произошел курьезный инцидент, который вызвал большую тревогу у японской контрразведки. В парламенте и за его пределами много толков вызвала речь, с которой выступил депутат верхней палаты профессор Айкицу Таканадате.

— Господа депутаты вряд ли отлают себе отчет, — сказал он, — к каким последствиям могут привести недавние открытия в ядерной физике. А ведь они дают возможность создать бомбу величиной со спичечный коробок, которая будет способна пустить ко дну линкор...

Японские парламентарии ухмылялись. Слова профессора казались абсурдом, тем более что он вообще слыл чудаком. В разгар шовинистического словоблудия о божественном предназначении Японии депутат Таканадате не придумал ничего другого как выступить за замену японской иероглифической письменности латинским алфавитом!

Однако заявление, сделанное с парламентской трибуны, не могло не попасть в газеты. Пошли разговоры о спичечном коробке, способном потопить линкор. Чем отчаяннее становилось положение Японии, тем охотнее подхватывались подобные слухи. Впрочем, японская контрразведка напрасно беспокоилась, что слова чудака профессора привлекут внимание Соединенных Штатов к проекту «Эн». Американская агентура расценила выступление с парламентской трибуны как еще одно свидетельство того, что никаких работ на данном направлении в Японии не ведется.

«Сведения об атомных исследованиях в Японии нас мало интересовали, — вспоминает Лесли Гровс в книге «Теперь об этом можно рассказать». — У Японии не было никаких шансов располагать нужным для производства бомб количеством урана или урановой руды. Кроме того, необходимые для достижения этой цели промышленные мощности лежали далеко за пределами ее возможностей. Беседы с нашими учеными, лично знавшими ведущих ученых-атомников Японии, убедили нас в том, что научные кадры Японии в этой области слишком малочисленны, чтобы добиться успеха».

Руководитель Манхэттенского проекта был весьма близок к истине. Если он распорядился двумя миллиардами долларов и имел под своим началом 150 тысяч человек, то японский проект «Эн» в несколько раз уступал по масштабам даже германскому «урановому проекту», который располагал в пересчете на американскую валюту лишь десятком миллионов долларов и имел около ста участников.

509-й СВОДНЫЙ АВИАПОЛК

Летом 1944 года, то есть еще за год до того, как участники Манхэттенского проекта смогли убедиться в осуществимости атомного взрыва, генерал Гровс уже начал подготовку к боевому применению нового оружия. По его рекомендации главнокомандующий военно-воздушными силами США генерал Арнолд, начальник штаба армии генерал Маршалл утвердили план операции под кодовым наименованием «Серебряное блюдо». В соответствии с этим планом началось формирование специальной авиачасти.

На авиационном заводе в штате Небраска было заказано 15 стратегических бомбардировщиков «Б-29» с измененной конфигурацией бомбовых люков. Чтобы макси-

мально облегчить самолеты, с них была снята броня и все вооружение, кроме спаренного крупнокалиберного пулемета в хвостовой части. Благодаря этому максимальная высота полета этих «сверхкрепостей» достигла 12 тысяч метров, что делало их практически недосягаемыми для японских истребителей.

Командиром авиачасти был назначен тридцатилетний полковник Тиббетс. Он участвовал в первых массированных бомбардировках Германии, был личным пилотом генерала Эйзенхауэра, а потом летчиком-испытателем бомбардировщиков «Б-29». Их с середины 1943 года начал выпускать концерн «Боинг». Тиббетс лично занимался подбором пилотов первого класса, которые в свою очередь давали рекомендации о составе своих экипажей и персонала технического обслуживания.

Осенью 1944 года личный состав авиачасти Тиббетса собрался на аэродроме в УэндOVER в штате Юта. Туда же поступили специально переоборудованные «сверхкрепости», на которых экипажи сразу же начали учебные полеты. Суть тренировок состояла в следующем. После прицельного бомбометания с высоты 10 тысяч метров самолет-носитель должен был сделать крутой разворот, чтобы за сорок секунд, пока падает бомба, удалиться по крайней мере на 13 километров от места взрыва.

30 декабря 1944 года генерал Лесли Гровс доложил руководству Пентагона, что первые американские атомные бомбы будут готовы для боевого применения примерно к 1 августа 1945 года. Он сообщил также, что 509-й сводный авиаполк (как была официально названа часть полковника Тиббетса) заканчивает в штате Юта первый этап тренировок, после чего будет переброшен на Кубу, где в программу его боевой подготовки будут включены длительные полеты над морским пространством. Гровс просил заранее проинформировать о готовящейся операции командование вооруженными силами США в бассейне Тихого океана.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР КРИВИЦКИЙ

★

СТАРЫЙ И ВЕРНЫЙ ДРУГ

1

Мнимо, на Курской дуге еще до начала битвы провел я несколько суток в траншеях батальона Шапошникова, зарывшегося глубоко в землю. По характеру обороны люди здесь давно поняли, что рассчитана она не только на отражение противника, но и на нечто другое. Иначе зачем бы прокладывать ходы для бросков из основных оборонительных сооружений. Хитер солдат, помалкивает, дисциплинку соблюдает, а сам в полном курсе всех дел, хотя и не читает штабных документов. Но не о том речь. Собрав материал для корреспонденции, я было собрался уезжать — хотелось добраться до танкистов, — как вдруг меня окликнул капитан Шапошников, вынырнувший откуда-то из хода сообщения:

— Вы что же, бросаете нас? Не советую. Как бы вам по дороге не попасть в кашу: слышите, как тихо? Неспроста это. Если что, лучше переждать у нас, в блиндаже, ну-ка он захватит вас в пути — хуже будет. Здесь хоть и передний край, да сами видите, как крепко все устроено.

Это произнесено полшутливым тоном, но глаза Шапошникова серьезные.

По давнему опыту я знал: боевой офицер не станет подвергать военного корреспондента излишней опасности. Во-первых, если убьют человека с блокнотом — значит, ничего не напишет он, а ведь, как ни говорите, каждому хочется прочесть и свое имя в газете и имена товарищей. Зря, что ли, Шапошников перечислял мне бойцов, отличившихся в обороне? А во-вторых, давай потом объяснения в вышестоящие штабы: как, почему и отчего произошло такое. Ну а в-третьих, и это, по-моему, самое главное, в сердце настоящего военного всегда возникает такая мысль: я здесь стою — мне положено, выполняю боевую задачу, а корреспонденту, ему ж здесь фактически не положено, у него другая задача, а раз так, чего ему зря голову подставлять?

С таким великодушно-трогательным представлением о миссии корреспондента на фронте я встречался всегда, а из бесед с коллегами знал, что они постоянно испытывали на себе такое же, иногда до слез волновавшее участие. На самом деле оно не было продиктовано сантиментами или, как я сказал, великодушием. Просто человек с военной косточкой не терпит напрасного риска и бесцельного героизма. Что ж лезть в пекло, если нет на то приказа? Наше дело — воевать, ваше дело — писать.

Но сколько раз, сколько раз военные корреспонденты, опрокидывая такое представление, лезли в это самое пекло, брали на себя командование взводом, отделением, группой бойцов, когда выбывали из строя командиры, как это сделали Аркадий Гайдар и Леня Коробов, ходили в смертельные десанты, как Сергей Борзенко: штурмовали на «Илах» немецкие колонны, как Леонид Вилкомир; поднимали в последний бросок окруженцев, как милый Петр Огин; отстреливались до последнего патрона на пятачке, прижатом к горам и морю, как Лев Иш! Эти имена и многие другие выбиты золотом на мраморе мемориальных досок в Доме литераторов и Доме журналиста.

Сколько их погибло, не дописав оперативного очерка, не поспев жене прощальной весточки, не успев подумать, что куплет знаменитой корреспондентской песни,

той, которую он пел еще вчера, еще сегодня: «Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой», — уже относится не к погибшему товарищу, а к нему самому, к нему, лежащему, широко раскинув руки или поджав колени, как ребенок в утробе матери, на мерзлой земле, в болотном, жадно чавкающем студне, среди груды темного покоренного железа...

2

Кто во время войны не читал «Красную звезду»? Десять лет ее существования прошли на моих глазах. Это не эзегические воспоминания. Нет. Просто в затруднительных случаях я обращаюсь к своему опыту военного журналиста, к бесценному для меня опыту работы в «Красной звезде» И что скрывать, кочу ей объясниться в любви. Счастлив сделать это на страницах «Нового мира», где начал работать уже после войны, переведенный в журнал из родной газеты.

...Порог редакции я переступил задолго до начала войны. А 23 июня 1941 года, в первом военном номере, была напечатана моя подвальная статья «В бой за Родину». В мае 1945 года — очерки «Русский офицер за рубежом». Между этими датами многое. Нас учили в «Красной звезде» партийной журналистике, смелости, дисциплине, оперативности, умению хорошо делать свое дело.

«Приказано — сделано» — таков был девиз всех, кто любил свою военную газету и считал для себя честью работать в ней. Долгое время я по роду своих редакционных обязанностей, как начальник отдела литературы и искусства, общался с писателями. Когда началась война, большинство из них были глубоко штатскими людьми. Но в дни ее прониклись духом железной воинской дисциплины, вросли в коллектив.

В сорок первом году мы отправляли в первую фронтовую командировку еще молодых — или так мне казалось — Михаила Шолохова и Александра Фадеева. Я хорошо помню время, когда шолоховская «Наука ненависти» была на устах, в сердце всей нашей армии.

Николай Тихонов — человек с лицом свирепого викинга и добрыми, постоянно любопытствующими глазами — жил и работал в Ленинграде во время осады города. А меня не покидало ощущение, будто он и там, на своей Зверинской, 2, и где-то здесь, на втором этаже старого, источенного древесными жучками особняка редакции на улице Чехова. Он врос в редакционную жизнь, был неутомим и исполнительен, как солдат-сверхсрочник.

Ну а Петр Павленко — ироничный, язвительный и внутренне застенчивый? Он глотал порошки, пилюли, кашлял, кутал шею шарфом, но делал дело с легкостью и стремительностью, какие поражали в этом человеке, борвшемся со своей болезнью всеми способами, а главное — работой. Писаревский овал его лица с очками в «разночинской» металлической оправе хорошо знали на разных фронтах. Когда я теперь перечитываю «Счастье», я легко узнаю в полковнике Воропаеве черты самого полковника Павленко.

Перед глазами стоит худой, в щеголеватой гимнастерке, похожий на вольноопределяющегося Костя Симонов — работник безотказный и веселый. Как непреклонно он стремился — правдой и неправдой — обогнать других, когда речь шла о командировке на опасный и важный участок фронта, каким он был нежным и заботливым, когда ему казалось, что друг нуждается в поддержке! Он неожиданно появлялся в редакции вечером, диктовал стенографистке свой очерк и утром снова улетал на фронт, успевая скоротать ночь с товарищами за столом, где военные харчи причудливо смешивались с разноцветными ликерами фирмы Бачевского из подвалов пустынного тогда Клуба писателей — трофеями наших войск кампании 1939 года.

А Илья Григорьевич Эренбург! В дни войны он ни разу не «прогулял», хотя работал в редакции без обычного «оклада содержания». Ежедневно шаркающей походкой следовал он по коридору в свою небольшую комнату, желчными репликами откликался на невинные приветствия, добрал, когда перехватывал у фронтовиков глоток зеленого тархуна или спирта. Насмешливый, лохматый, он попыхивал трубкой, а вскоре из густейшего облака серо-голубого дыма возникал ожесточенный стук почти невидимой машинки: писался очередной фельетон в газету...

А дорогой мой, бесценный друг Андрей Платонов — веселый схимник и печальный вертопрах, человек мудрого ума и такого ощущения русского слова, что, казалось, он не пишет свои рассказы, а выпевает их из глубины глубин души! Он был тяжело болен, и мы схлопотали ему путевку в военный санаторий, а спустя месяц узна-

ли: он провел все это время в знакомом ему полку на фронте, куда прибыл без командировки и продаттестата.

— Что делал ты, чудовище? — с грозным отчаянием спросил я, когда он явился наконец в редакцию.

Чудовище, сконфуженно помотав жилистой шеей дровосека, подняло на меня голубые глаза ребенка и с полным сознанием вины ответило:

— Я наступал...

Вспомним Бориса Галина — чернорабочего нашей газеты. Он писал очерки, отчеты о митингах, публицистические статьи. Щуря свои близорукие глаза, растерянно переспрашивал человека, читавшего его рукопись:

— Неужели вам в самом деле нравится?

Ему хотелось писать все лучше и лучше, а я до сих пор не могу забыть один из его первых в военной газете, но уже великолепный очерк «Прощай, 109-й полк», прекрасно раскрывший идею войскового товарищества.

Вспомним скромнейшего из скромных — Василия Павловича Ильенкова, работавшего в трудном жанре короткого рассказа на военные темы. Он сочинял их по прямому редакционному заказу, и когда мне говорят, что литератор не может хорошо написать на тему дня, что на него должно «накатить», я думаю об истинном вдохновении, которое питается чувством партийности и твердым желанием выразить то, что волнует людей.

Именно таким вдохновением была освещена работа коллектива писателей-краснозвездовцев. Они многое дали газете, но и газета не осталась в долгу, или, вернее говоря, она с первых же дней пребывания писателей в редакции как бы авансировала их своим опытом, традициями, тем стилем работы и умением увидеть красоту военной темы, какие газета приобретала еще в мирное время, до войны.

Однажды я перелистывал комплект газеты за военные годы и прочел очерк Павленко «Инвалид войны». Это конспект основных мыслей и чувств романа «Счастье».

А «Дни и ночи» Симонова — первый роман о Сталинграде! Мы хорошо знаем его очерки того времени. Один из них так и называется — «Дни и ночи», и с героиней романа Аней мы познакомились еще тогда, на страницах «Красной звезды».

И Илья Эренбург не стал бы отрицать, что огромный диапазон его работы в «Красной звезде» — от международных фельетонов, военных заметок до фронтовых поездок, когда он ночевал в крестьянских избах, ходил по траншеям, замерзал в степи вместе с нашим подполковником Лоскутовым, — помог ему создать эпическую «Бурю».

Для газеты работали Алексей Сурков, солдат трех войн, незабываемый автор щемящей сердце «Землянки», Александр Довженко с его патетическими рассказами-очерками, полными эпического величия и накала народной борьбы. Многие писатели, те, кто и не нес военную службу в «Красной звезде», посылали ей свои корреспонденции, зарисовки и очерки с фронтов действующей армии.

Вспоминаю их и всех своих редакционных друзей, храбрых, талантливых. Пишу лишь о тех, с кем все годы войны вместе трудился в «Красной звезде», да и то далеко не о всех и так бегло пишу, что самому совестно. Вспоминаю неутомимого спецкора Леонида Высокоостровского, молчаливого, нахмуренного. Я открыл в нем чистую и добрую душу... Петра Коломейцева, военного философа, знатока тактики и стратегии танковых войск. Он весьма точно предсказал мне эволюцию их применения, вплоть до такого массивного, как в танковой битве под Прохоровкой на Курской дуге... Михаила Толченова, рослого мужчину со староофицерской выправкой, с мушкетерской бородкой и огромной в ящиках стола картотекой военных действий союзников. Он хорошо подавал им жару в своих обзорах... Аркадия Ерусалимского — видного историка-международника, он был у нас начальником иностранного отдела, а после войны получил за свои ученые труды золотую ломоносовскую медаль Академии наук... А полноватый, круглолицый, вечно спешащий Борис Король. Он действительно был королем всегда оперативных, содержательных репортажей с места боев...

А Павел Крайнов — невысокий, изящный, тихий, смельчак во фронтовых командировках и трудяга в редакции, вместе с ним мы летали через линию фронта к партизанам. Он упорно учился, стал японоведом. Во время войны в Корее, уже демобилизованный, штатский, писал для «Литературной газеты» обзоры военных действий, их ждали и читали с огромным интересом. Еще и еще вспоминаю милого Петра Огина.

Он погиб в киевском окружении. А какого писателя мы в нем потеряли! Его корреспонденции привлекали внимание острой образностью, широтой мысли, в них уже чувствовалась рука оригинального прозаика, копившего опыт,— он начинал свежо и сильно.

А Савва Дангулов — ныне известный писатель. Еще до войны он был специальным корреспондентом газеты на щелковском аэродроме, откуда стартовали тогда воздушные асы в знаменитые перелеты. Во время войны писал для газеты очерки-портреты. Савва был великим тружеником, не любил тратить время на разговоры в коридорах редакции, и когда он покидал строящих, чтобы сесть за стол, я неизменно говорил ему вслед: «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Он, оборачиваясь, широко улыбался. В нем уже тогда прорезывался будущий писатель, серьезный, вдумчивый.

Вспоминаю Ваню Гаглова, добродушного балагура и точного работника. Мы часто встречались и после войны у Николая Тихонова, он был другом поэта еще со времен ленинградской блокады, сейчас он научный сотрудник Института Маркса—Энгельса—Ленина; Михаила Зотова, курносого забияку, безотказного автора на темы партийной жизни армии. На днях прочел его прелестную книжку о птичках. Да, именно о них. Как их ловят, бережно содержат дома в клетках, наслаждаются их пением, а потом выпускают на волю. Это уже вторая его книга. Почему раньше такого не писал? — спрашиваю автора. Он комически разводит руками: «Так ведь...»; Руно Морана, художавого, нервного, легко ранимого душою и первого красносездовца, раненного на войне. Теперь он известный переводчик поэзии, его подпись под стихами иноязычных поэтов — это как знак качества самого оригинала... Павла Трояновского. С ним я близко познакомился во второй половине войны. Красивый, с бесовским огоньком в цыганских глазах, он почти не вылезал из «собкорства» на фронтах, публиковался едва ли не в каждом номере газеты. А спустя сорок лет после боевой страды выпустил отличную книгу, где написал про войну от звонка до звонка, написал сжато, уверенно, с магией эффекта присутствия, всегда дорогого читателю.

А Марк Вистинецкий, долговязый, похожий фигурой на Джингла из диккенсовских «Записок Пиквикского клуба», он так виртуозно правил статьи, выписывая на полях каллиграфическим почерком сложные узоры, что оригинал превращался в богатую мозаичную композицию...

А Зигмунд Хирен с вечной папиросой в уголке губ... Не помню случая, чтобы он не справился с порученным делом.

А Викентий Дерман, командир-строевик с общевоинской подготовкой. Он пришел с курсов «Выстрел» в газету нехотя, но очень скоро невозможно было представить себе редакцию без его компетентного пера.

А Николай Асанов... Он начинал как поэт, ходил в «констромольцах» — так называлась у Сельвинского группа молодых времен манифеста поэтов-конструктивистов. Я привлек его к газете, он оказался высокополезным сотрудником. Его очерк о партизанах Белоруссии получил тогда широкую известность. Речь шла о том, как оккупанты захватили и повесили на площади командира партизанского отряда. На следующий же день народные мстители подорвали немецкую комендатуру и подбросили немцам письмо, в котором были слова «так будет и впредь» и подпись повешенного. Каратели с помощью провокатора добрались до нового командира, казнили и его, а в ответ новые и новые акты диверсий и мщения сотрясали фашистский гарнизон. И каждая акция партизан сопровождалась запиской того, первого вожака отряда как выражение бессмертия народного сопротивления. Первый командир воскресал и воскресал в неугасимой партизанской борьбе и как бы восклицал: нет, вы нас не возьмете! Рассказываю содержание по памяти, может быть, что-то неточно, но за смысл ручаюсь.

Всех, кого знал я в «Красной звезде», кого любил, с кем дружил или просто приятельствовал, здесь не перечислишь. Пришлось бы опубликовать список штатного состава редакции, да еще фамилии тех писателей, кто, как Александр Авдеенко, Микола Бажан, Петрусь Бровка, Борис Лавренев, Сергей Михалков, Вадим Кожевников и многие, многие другие, присылали в «Красную звезду», не служа в ней, свои очерки и статьи, кому заказывала газета стихи и рассказы, как, например, Борису Пастернаку, Александру Твардовскому, Самуилу Маршаку, Леониду Мартынову, Николаю Асееву, совсем молодому тогда Юрию Нагибину и уже в больших годах бывшему солдату Иностранного легиона Виктору Финку, Мариэтте Шагинян, Евгению Воробьеву и Михаилу Светлову...

Многих из моих друзей-краснозвездцев уже нет в живых, с другими развела жизнь, с третьими встречаюсь и теперь. И начинается: «А помнишь?..» Все они были тогда в званиях — батальонные комиссары, майоры, полковники. Все работали не за страх, а за совесть. Ну и, конечно, как говорится, суровая воинская дисциплина не давала дремать. Я был одним из самых молодых в этом дружном сообществе военных людей и считаю своим подлинным счастьем то десятилетие, что провел в главном коллективе газеты. И сейчас, спустя почти сорок лет после того, как я оставил стены небольшого особняка на улице Чехова, 10, где помещалась тогда «Красная звезда», я не порываю с ней связей. Она моя альма-матер, как говорили древние латиняне. Знаю немало новых краснозвездцев — Геннадия Кашубу (умного, прекрасно пишущего, бесстрашного человека с настоящей военной костью), Юрия Беличенко (он занимает в редакции когда-то мою должность; поэт и потому, возможно, традиционно бледен, мечтателен, печатает стихи в журналах и газетах, а в газете умелый организатор и редактор), Александра Беляева (прозаик, влюбленного в природу, автора книжек для детей, а в последние годы повестей и сценариев, связанных с сегодняшним днем армии. Как он только успевает?).

Знаю многих и вижу, что ничем они не хуже тех, кто работал в «Красной звезде» в военные годы. А может быть, в чем-то и обогнали нас, старых краснозвездцев. Им по плечу любое дело, в любой обстановке.

Радуюсь я, когда в наши дни «Красная звезда» печатает и какое-нибудь мое сочинение. Значит, думаю, есть еще порох и в моей пороховнице. В этой газете спрос особый, да еще если пишешь на чисто военную тему.

Я написал здесь о краснозвездцах, а сколько журналистов и писателей работало во фронтовых, армейских и дивизионных газетах! Подчас им приходилось куда труднее, чем нам, «центральному». С честью и славой делали они свое дело.

Мне случилось с ребятами — и в военные дни и уже в мирное время — исполнять в кругу иностранных журналистов нашу знаменитую песенку фронтовых корреспондентов «От Москвы до Бреста». И всегда на их лицах после перевода текста я видел — у одних изумление, у других задумчивость, у всех желание понять, проникнуть в магию слов, одушевляющую меня и моих товарищей, когда мы самозабвенно пели эту песню:

От Москвы до Бреста
 Нет на фронте места,
 Где бы не скитались мы в пыли.
 С лейкой и блокнотом,
 А то и с пулеметом
 Сквозь огонь и стужу мы прошли...
 Там, где мы бывали,
 Нам танков не давали.
 Репортер погибнет — не беда.
 Но на «эмке» драной
 И с одним наганом
 Мы первыми врывались в города.

— Скажите, эта песня принадлежит именно вашей редакции, «Красной звезде?» — спросил меня однажды майским вечером сорок пятого года в прокуренном баре пресскэмп при армии Ходжеса низенький, пегий корреспондент «Балтимор сан».

— Нет, почему же, она общая. Ее знают и поют все наши фронтовые журналисты.

— Но так не может быть, это удивительно! У каждой редакции свои интересы, свое направление. Как может Херст петь то же, что и Сульцбергер!

Сознаюсь, этот ход мыслей показался мне неожиданным и забавным.

— Пожалуй, вы правы, — заметил я и добавил: — По-своему, конечно. Но надо идти дальше. Внутри каждой редакции тоже сталкиваются разные интересы. Я представляю себе дело так, что у каждого сотрудника «Балтимор сан» должен быть, так сказать, индивидуальный гимн, своя собственная песня, которую он и распевает, упростив знакомого композитора положить ее на музыку.

Пегий мой собеседник рассмеялся и с расчетливым простодушием ответил:

— Конечно, у вас иначе. У ваших журналистов одна песня.

— Песня одна, но голоса разные. Вы это могли заметить даже сегодня, — невинно откликнулся я.

И поскольку, таким образом, разговор перешел на тему свободы печати, я решил не стесняться:

— У вас там действительно разные песни. Газеты Маккормика, кажется, уже затянули пронацистские арии. Будете подтягивать или повремените?

Бородатый великан Гарри Феллоу подошел к пегому и, склонившись над ним, быстро сосчитал до десяти.

— Конеч,— сказал бородатый,— тебе уже не встать. Что правда, то правда!..

4

Когда мы говорим о военных литераторах и журналистах как о летописцах победы, то имеем в виду, разумеется, целый комплекс понятий, а не только те оперативные корреспонденции, какие они посылали в свои газеты с боевых участков фронта.

Мы говорим и о внимательном изучении оперативно-тактического фона событий, изучении впрок, поскольку в то военное время собственный самоконтроль и военная цензура, естественно, ограничивали возможность таких публикаций. Мы говорим об изучении воинской психологии, изучении бесценном, особенно для тех, кто впоследствии стал писать о войне в объемных формах романа, повести, рассказа.

«Красная звезда» — моя литературная родина. Всю жизнь я пишу на военные темы, а в последние годы стал и литератором-международником. Война и мир противоположны во всем. Но советские писатели, особенно те, кто пишет о международных отношениях и ведет борьбу с нашим идеологическим противником, по существу, отстаивая дело мира, обороняют плоды нашей великой победы.

Такова уж судьба писателя, занимающегося публицистикой: он непременно связан с газетой. Редакция — его родной дом, чаще всего именно там он погружается в чтение отечественной или иностранной прессы, следит за вестями телетайпа, роется в подборках архива, стоит в узких проходах между библиотечными стеллажами, перелистывая книги и надолго застывая при чтении страниц, увлекших его воображение.

В газете — во всяком случае, раньше — существовал неписанный закон: нужно уметь делать все, какое бы место в иерархии сотрудников ты ни занимал. В «Красной звезде» составление подписей к фотографиям поручалось самым талантливым сотрудникам. Над двадцатистрочным врезом к подборке ломали головы редакционные премьеры. Это как в Московском Художественном театре: даже в маленьких ролях выступали прославленные артисты. Такой краснозвездовский подход к делу я и применял впоследствии, когда редактировал международный отдел «Литературной газеты».

Нормальный ритм хорошей газеты — спешка! В армии приказа часто исполняются «бегом». В газете жесткий график выпуска всегда противоречит непрерывному потоку новостей. Самое важное может примчаться именно в конце, вынырнуть из бурного каскада, усмехнуться и воскликнуть: «А вот и я! Вы меня заждались?» Либо появиться торжественно и многозначительно, при пении золотых груб праздника, а то прибыть с траурной повязкой, грозной вестью о катастрофе, или предстать сложным ребусом с непроницаемым лицом — «догадайся, мол, сама». Всякое бывает, и притом ежедневно.

Литераторам часто приходится писать в номер, как уже сказано, в ритме спешки, обрывать в свой стиль материал непоседливый, вертящийся во все стороны, и при этом ничего не потерять в политической точности. Поэтому и судить о художественных особенностях манеры журналиста и приговаривать его к осуждению или оправданию можно лишь в совокупности всего им написанного, включая его книги.

Обычно начальники дают характеристики подчиненным. Но ведь и подчиненные аттестуют своих начальников. Вот этим сейчас и займемся. В самом деле, написал я о товарищах своих, старых и новых, а как же умолчать о редакторах?

За время моей работы в «Красной звезде» сменилось семь главных редакторов. Они были разными, как пальцы одной руки.

Помню рыжеволосого, веснушчатого бригадного комиссара Барандова. При нем я пришел в «Красную звезду». Вскоре он покинул редакцию, перешел на научную работу.

Его сменил Евгений Арсеньевич Болтин, подтянутый, до синевы выбритый полковник, впоследствии генерал-майор. Он был историком и во время войны возглавлял военный отдел Совинформбюро, имел прямое отношение к составлению сводок, которых так ждали в стране. Человек, как говорили в старину, светский, сдержанный, в пенсне, слегка грацирующий. И в редакции, и в обращении с иностранными коррес-

пондентами он был одинаково корректен и учтив. Как редактор он всегда точно знал, чего хотел. Помню, как в большом очерке на историческую тему в том месте, где я рассказывал об убийстве Лжедмитрия, он аккуратно поставил корректорский значок и вывел на чистое поле отписка следующее добавление: «Труп его был сожжен, пеплом зарядили пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он пришел». С той поры я не знал более точной правки своих сочинений.

Затем к нам пришел корпусной комиссар Владимир Николаевич Богаткин. Высокого роста и высокого звания, с хриловатым голосом человека, привыкшего громко приказывать и выступать не только на собраниях, но и на митингах. Он исполнял должность редактора нашей газеты, оставаясь в то же время членом Военного совета Московского военного округа. Первое его появление в редакции было грозным для меня. Он прошел к себе в кабинет через тот коридорчик, где обычно налево от комнаты секретариата висела наша «Звездочка». Он увидел на ее столбцах фотографии двух начальников отделов, двух полковников, Ризина и Коломейцева, с пририсованными туловищами в балетных пачках, с ножками балерин. Кто они такие, редактор узнал из подписи, односложно приказал: «Убрать!» — и проследовал дальше. Через три минуты меня как редактора стенгазеты вызвали к нему. Он спросил:

— Кто вам поручил делать из полковников балерин?

Я принял положение «смирно» и ответил:

— Сатира и юмор, товарищ корпусной комиссар. Жанр дружеского шаража.

— Садитесь.— Это прозвучало скорее приказанием, чем любезным приглашением.— Садитесь и расскажите мне последовательно ход редакционного процесса.

А это уже было совсем другим делом. Я мгновенно понял, что новый редактор — великодушный, умный человек, и рассказал ему о порядке работы редакции все, что и сам бы захотел об этом узнать, если бы не знал ничего. Когда я уходил, он вызвал адъютанта и сказал:

— Вернуть газету на место!

Через час он созвал всех начальников отделов и сказал:

— В вашем деле я ничего не понимаю. Прошу всех помогать.— Добавил еще несколько коротких фраз и: — Вы свободны!

Все мы влюбились (если допустим этот глагол в армии) в Богаткина с первого взгляда, и девиз «не подведем Богаткина» руководил нашей деятельностью. При нем я вступил на поприще литератора-международника: он послал меня в первую поездку за границу — в 1939 году.

С начала войны, чуть ли не на третий-четвертый ее день, в газете появился новый начальник — дивизионный комиссар Давид Иосифович Ортенберг-Вадимов. Он был бесспорно талантливый редактор-организатор. С его приходом все работники начали передвигаться бегом. Худошавый, сутуловатый, он сам перебежал по кабинету подпрыгивающим аллюром, делая одновременно несколько дел без видимого ущерба для каждого из них — диктовал указания фронтовым корреспондентам, беседовал с вызванным работником и заглядывал в рукопись передовой статьи, которую я правил на высокой конторке, получая в этом хаосе его отрывистые замечания.

Тому, кто просто тянул служебную лямку в газете, а не искал в ней возможности для творческой работы, было трудно с Ортенбергом. Остальным трудно, но интересно. В эти первые годы войны накапливался важный опыт работы газеты. В июле 1943 года он поехал на фронт и был назначен начальником политотдела армии.

На его место пришел генерал-майор Николай Александрович Таленский. Добродушная улыбка постоянно цвела на его полном лице. Живот, называемый его владельцем «социалистическое накопление», круглился под генеральским кителем. Сказать по правде, внешне он походил на диккенсовского мистера Пиквика, особенно в моменты, когда, благодушно сощурившись, произносил: «Уйдемте, дорогой Александр Юрьевич, от зла и сотворим благо». Широкообразованный, знаток военной истории, он стал затем начальником военно-исторического отдела Генерального штаба и редактором журнала «Военная мысль». Мы с ним были дружны, встречались и вне редакции. После войны, когда я в «Литературной газете» стал редактором иностранного отдела, мы, к обоюдному удовольствию, продолжали видеться. Он стал неперенным участником весьма важных в международной жизни Пагуошских конференций.

Полной противоположностью Таленскому был новый редактор — генерал-майор Илларион Яковлевич Фомиченко, политработник из Ленинградского военного округа. Он был человеком брутальным, не терпел возражений и прежде чем освоил особенности редакционной работы и жизни, прошло немало времени. А на первых порах случались недоразумения.

Однажды во время летучки выяснилось, что неприятный ляп в газете произошел по вине самого редактора, не пожелавшего посоветоваться с начальниками отделов. Я и заметил на летучке, как мне казалось, дипломатично: нельзя все решать самому, вон и товарищ Сталин собирает колхозников, чтобы посоветоваться. Свое заключительное слово редактор начал так:

— Тут колхозник Кривицкий говорил...

В конце летучки я встал и, обращаясь к Фомиченко, отчеканил:

— Я не колхозник, товарищ редактор, но и вы не Сталин.

Все замерли. Потребовалось время, чтобы осмыслить происшествие, не крамолу ли я высказал. Я и сам смутился. Генерал посмотрел на меня растерянно и удивленно и в конце концов неожиданно произнес:

— Это правильно.

Только так и можно было разрядить ситуацию, ибо дальнейший спор на эту тему был уже невозможен. Кстати, одну из своих наград — орден Отечественной войны 1-й степени — я получил по представлению Фомиченко.

После него редактором газеты назначили Василия Петровича Московского. Его я хорошо знал и раньше, когда он руководил газетой «Сталинский сокол». У него во время войны служил Сергей Михалков, и, помню, редактор рекомендовал автора «Дяди Степы» в партию. Мы часто встречались втроем во внеслужебное, как говорится, время. Московский был свой брат-журналист и при этом ничего не проигрывал как начальник, вел газету твердо и уверенно. После войны он работал в ЦК КПСС, а потом был послом в Корею.

Да, все эти люди, не похожие друг на друга, были крупными личностями. Ни один из них не разрушил того, что сделал предшественник. Традиции, накопленные «Красной звездой», хранились и обогащались. Потом, когда мелкие огорчения, без которых не обходится ни одна работа, ушли в прошлое, у меня осталось чувство благодарности к каждому из них, ко всем моим прекрасным товарищам по «Красной звезде». Годы в этой газете считаю лучшими в своей жизни и благодарен судьбе за то, что они были.

А потом, когда меня уже не было в редакции, к руководству газетой пришел Николай Иванович Макеев, ныне генерал-лейтенант. И опять газете повезло. Человек он точный, обязательный, знающий цену боевым традициям и, как его предшественники, глубоко партийный. При нем начались ежегодные сборы ветеранов газеты, ее авторского актива разных времен. Уже двадцать восемь лет ведет он газету, и — хорошо это знаю — многие и не военные люди жаждут на нее подписаться.

И вот однажды, вскоре после войны, пришло мне в голову пригласить всех своих старых редакторов-друзей в отдельный кабинет, скажем, в «Арагви». Провозгласить тост в их честь и послушать, о чем у них пойдет разговор между собой.

Теперь скажу так: хорошие идеи нужно осуществлять без задержки. Что-то мне тогда помешало, то ли поленился без проволоочки выполнить задуманное, то ли что другое. Но когда мысль о встрече стала возвращаться ко мне чаще и чаще, я вдруг понял, что осуществить ее уже нельзя — не собрать кворума. Иных уж нет... Очень жалею, но ничего не получилось...

Разное писал я в «Красной звезде». И фронтовые корреспонденции, и очерки о партизанах Брянского леса, куда был заброшен по воздуху вместе с полковником Крайновым, и военно-исторические очерки о традициях русского офицерства, и обзоры печати, и передовые статьи. Но главным, что выпало на мою долю в газете и чем горжусь и буду гордиться до конца дней своих, было литературное первооткрытие подвига 28 героев панфиловцев. Время идет, поднимаются к жизни новые поколения советских людей. Все ли они хорошо знают то, что произошло тогда, поздней осенью 1941 года? Это событие — одно из ярчайших в истории «Красной звезды». С ее страниц оно пришло к миллионам читателей. Сорок два года назад, 16 ноября 1941 года,

28 бойцов во главе с политруком Василием Клочковым отбили атаку 50 танков противника у разъезда Дубосеково. Из своего промерзшего окопа 28 героев шагнули в бессмертие.

Время идет... «Старичков» уже не осталось в редакции. Другие люди работают в «Красной звезде». Так и должно быть. Не раз спорили мы: когда труднее делать газету — в мирное или военное время? Хорошую газету всегда трудно!

Газету можно любить, как человека. У каждой есть свое лицо, свой характер. «Правду» не спутаешь с «Известиями», а «Известия» с «Советской Россией»... У каждой свой облик. Я различаю, узнаю их, даже не глядя на название, даже если она сложена вчетверо на коленях у соседа в вагоне метро и я вижу только ее уголок. Узнаю по манере верстки, по шрифту, характеру заголовков. Лицо газеты может быть гневным, радостным, потрясенным или спокойным. «Красная звезда» всегда уверенно спокойна. В газетном мире она представляет Вооруженные Силы.

Помню, в конце 40-х годов я слушал в парке ЦДСА выступление оркестра Утесова. еще молодого тогда и любимого всеми, веселого Леонида Утесова. Пошел я в концерт с группой старых краснозвездовцев. В зале преимущественно военная публика. Было это в разгар «холодной войны». Соединенные Штаты грозили нам и «горячей». Им не терпелось попробовать, у них была атомная бомба.

А Утесов пел, подмигивая зрителям: «Есть, конечно, и у нас некий боевой припас, бьет он прямо между глаз, вроде атомный фугас...» Артист, разумеется, не владел военными тайнами и, понятное дело, не знал, что в это время шла к концу атомная монополия США. Немудреная его песенка отражала общую нашу веру: партия знает, куда и как вести великое дело, советский народ не оставит свою армию без оружия, способного надежно защитить отечество.

Мы вышли тогда из парка ЦДСА в хорошем настроении. Хвалили Утесова и думали о том, как лучше, в каких наиболее выразительных формах донести эту веру до каждого читателя газеты. Я принимал горячее участие в этом обсуждении, хотя в то время уже не служил в «Звездочке».

Каждое утро бегу на свидание с прессой к почтовому ящику. С «Красной звездой» здороваюсь с первой. Она мой старый, верный друг. Думаешь: ну а если бы случилось так, что время потребовало твоей работы в газете,— пошел бы ты в «Красную звезду»? Еще бы! Если б взяли, конечно...

Вот и объяснился я в любви родной газете в дни ее шестидесятилетия.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ



ДИАЛОГИ С ПРОШЛЫМ

Один из старейших мастеров нашего литературно-критического цеха Виктор Шкловский ведет сегодня своеобразный диалог со Шкловским периодом «формального метода». Эта диалогичность отражена в самой структуре его работ. В. Шкловский пишет о законах движения времени и законах движения литературы. Размышляя о сходстве и различии их, писатель обращается к самым истокам литературы—к эпохе возникновения поэзии и прозы, ко времени формирования тех особенностей художественного сознания, которые продолжают оказывать влияние на развитие литературы и искусства до наших дней. Новые работы В. Шкловского отличает не только время написания—их отличает и метод: свободная, ассоциативная, часто парадоксальная манера Шкловского 80-х словно противостоит стилю статей «формального» периода. Но и в том и в другом случае предметом творческого исследования является литература, законы роста человечества. Это диалоги с прошлым о будущем.

Поэзия и проза — две ветви древа литературы.

Они развивались по-разному.

Проза возникла после поэзии.

Поэзия имела ритм, свой способ затруднения, как бы зажимания смысла.

Что же нашло искусство после того, как появились уже стихи — оформленные долготами, или (что то же) ритмом, стихи, которые к тому же удобнее для произношения, потому что ритм содержится и в самой речи?

Искусство родило сюжет. Сюжет — это намеренное «затруднение» повествования, он близок к загадке. Это такое же торможение, как рифма или ритм в стихах.

Сюжет основан на каком-нибудь происшествии. Но он «затруднение» этого происшествия. Сюжет моложе ритма. Он словно переставляет вещи, ставит их не на свои места, затрудняет их.

Так появляются сюжетно оформленные рассказы о забавных случаях, об удивительном и удивляющем. Так появляется проза.

Или так: сначала была жалоба. Для того чтобы выступить в суде, нужно было уметь

говорить, поэтому истцы нанимали людей, которые писали за них как бы книги.

Сократ осуждал эту первую наемную прозу.

Речи для суда составляли специалисты, люди говорили с их слов. Один человек жалуется на измену жены и говорит, что у него дома скрипучая лестница и по этому скрипу он заставал любовников на месте преступления.

Это одна из первых записанных реалистических деталей психологического романа.

Чтобы проза могла двигаться, ее нужно затормозить. Загадка нужна как торможение рассказа.

То есть проза возникает вместе со способом заинтересовывания, со способами смыслового торможения.

Это рассказ о невиданном, прошедшем, будущем, о путешествиях, не записанных в истории, рассказ о нераскрытом преступлении, о чуде, чаще рассказ о невероятном происшествии.

«Золотой осел» основан на невероятности происходящего. Рассказ о женщине, которая изменила мужу и сама же повесила его, — пружина действия.

Искусство постоянно возвращается к этим сюжетам (скажем, в «Записках из мертвого дома»).

Искусство рассказывает о трудном. Рассказ о том, как появилось название «Крошка Доррит», есть рассказ о том, что такое дом разбитых сердец.

Проза начинается как музей. Музей невероятных вещей — кунсткамера Петра.

А в музеях так интересны запасники.

То есть то, что не показывается всем.

Книги пишутся как будто просто: перед тобой лежит бумага, на которой карандашом или ручкой записываешь слова.

Но слово старше записи и старше стихов. Запись помогает запоминать. Платон писал, что письменность — создание ленивых людей. Но еще раньше запоминать помогали рифмы в стихах, они словно сопрягали далековатое, как говорил — и писал — Ломоносов.

Проза родилась неожиданно, как будто ее никто и не ждал. Истцы и ответчики (говоря современным языком) в античной Греции, готовя свои речи для суда с писателями, заучивали написанное для них, но свои выступления часто начинали с того, что, как бы извиняясь, говорили о своей непривычке к поэтической речи, неумении говорить красиво. А проза часто была красива, содержала в себе неожиданные подробности, психологические детали (Лисий).

Ранняя проза, словно не веря еще в свои возможности, старается удержать внимание читателя. Она строится на неожиданных подробностях, она рассказывает о необычайных происшествиях — кораблекрушениях, путешествиях в дальние страны, несчастиях. Это — как интимный разговор у костра во время остановки на дальней дороге.

Поэтому в самой структуре прозы часто сохраняется рассказчик и повествование начинается с сообщения о том, кто все это рассказывает и кому.

И эта особенность еще будет долго сохраняться в прозе — так сделаны «Декамерон» Боккаччо и «Кентерберийские рассказы» Чосера. Так построены и «Записки охотника» Тургенева.

Ранняя проза информативна, она строится на сообщении — и читатель держится за страницы первых книг, как держится ребенок за платье матери. Читатель входит в новый мир.

Темы прозы очень «прозаичны». Это разговоры о том, кто прав и кто виноват, разговоры о болезнях, смертях, о том, где можно найти доктора и как лучше лечить-

ся, это разговоры на пристани, в дороге, это разговоры с соседями, с путником, спросившим у нас дорогу.

И ранняя проза терпеливо объясняет, куда ему надо идти. И сама идет за ним.

А этот путник не случайный, это, может быть, человек будущего, и мы идем за ним.

Пути человечества — не прямые пути, и литература развивается сложно, изменяясь с жизнью и изменяя жизнь.

Так мы идем по дороге в будущее.

Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним,
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Дорога эта полна неожиданностей, это путешествие в неизвестность. Поэтому проза так любит неожиданности, резкие повороты, она любит сверхъестественное, необычное, она любит путешествия — от «Одиссеи» до «Фрегата «Паллада».

Говорят, что у книг, как у людей, свои судьбы.

Этот афоризм, как и многие другие, неправилен. Это неправильно потому, что люди умирают, а книги живут еще долго после них. И часто новую жизнь обретают в пародиях (Сервантес, Рабле).

Книги уже научились быть бессмертными, а мы только учимся лечиться от старости.

Сказки часто кончаются тем, что герой бросается в кипящее молоко и вылезает оттуда молодым — как бы в новом своем «издании».

Люди этого делать не умеют.

Мифология полна описаний необычных происшествий.

Литература тесно связана с мифами.

Мифы многократно воскресают в драматургии, и происшествия воскресают в романах, и это густые всходы старого посева.

Литература по-фольклорному нашпигована происшествиями.

И Диккенс, и Достоевский, и многие французские писатели, не будем их перечислять, были связаны с газетами, с уголовной хроникой.

Революции и войны становятся романами, они скрепляют романы в одну цепь литературы. Потому что жизнь требует возвращения, пересматривания сложившегося и нового открытия того, что как бы другими глазами, глазами другого автора было уже увидено когда-то.

Когда описывается жизнь Дафниса и Хлои, их любовь легка, они освобождены от необходимости быть такими, как все. Им

надо объяснять, что такое любовь даже в техническом смысле. Они такие, какими никто никогда не бывал.

Искусство уплотняет жизнь, прессует ее.
Искусство повсюду откапывает совесть.

Не русский—взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

Некрасов писал о постыдном зрелище истерзанной музыки.

Толстого, казалось, не терзали.

А Пушкина? А Гоголя?

Это кариатиды, которые поддерживают своды арок, ведущих к сердцу истории.

Когда Гоголь пишет о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, то мы не думаем, что он выдумывает. Он не хуже нас знал, что птицы перелетают даже океаны, чтобы вернуться туда, где они родились.

Гоголь, говоря об этом странном полете, потрясает внимание читателя. Он раздвигает стены старого понимания.

Самсон попал в плен, рассказав Далиле, что его сила заключается в волосах. Далила остригла его.

Но волосы растут. И Самсон услышал шорох растущих волос.

И, подойдя к стене здания, где сидели его враги, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами!»

И обрушил свод.

Вот такими людьми литература занималась часто.

Причем своды падали на головы людей, остриженных «под ноль».

Темы и жанры идут не только из книг: так птицы прилетают из дальних краев в места своего рождения, вьют гнездо и выводят потомство;

так писатель строит фабулу вокруг сюжета своих книг.

Ведь гнездо не мешает полету.

Поэтому в томе «Мертвых душ» есть осознанная высокая сатира и осознанный высокий пафос будущих подвигов, и это заставляет заканчивать сатирическую поэму мыслью о полете на родину— во вселенную.

И тут на пути к реализму сливаются сомнения Поприщина, и пафос Гоголя, и Чичиков со списком призрачных людей, которых он скупает, и в то же время мы видим полет тачанок и быстрых танков будущих великих войн.

И если Сервантес — родоначальник романа, то Санчо Панса — один из первых реалистически мыслящих людей в искусстве, что и замечает его друг и хозяин — Рыцарь Печального Образа.

Реализм, о котором много знал Аристотель, приехал в город из деревни на телеге. Аристотель говорил, что из деревень приезжают люди на телегах и поют фаллические песни.

Попутно отметим, что реализм как-то связан с пародией, по крайней мере отдельные, скажем так, повторные его моменты.

Темы небывалого, сверхъестественного свойства — темы драматургии Шекспира.

Пушкин писал в статье «О народной драме и драме „Марфа Посадница“»:

«Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические (напр., Филоктет, Эдип, Лир). Но привычка притупляет ощущения — воображение привыкает к убийствам и казням, смотрит на них уже равнодушно, изображение же страстей и излишний души человеческой для него всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно. Драма стала заведовать страстями и душою человеческою».

Страдания сменяются, переосмысливаются, как бы заново возникают при смене нравственностей, при столкновении форм человеческого взаимоотношений.

Страдания у Шекспира очень часто происходят в верхах общества, в королевских семьях или в палате дождей.

Психологический анализ, вероятно, с рождения своего понимается как связанный с драмой, со сценой.

Ни лирика, ни эпос словно не допускали и возможности художественного решения конфликта, противоположного нравственности своего времени. Они словно не заглядывали в эту область запретного.

Кроме того, старая драма, в частности греческая, аристократична.

Шекспир это превозмог.

Его героини умирают, придя к песне, простой народной песне, которую они слышали от служанки.

Так умирает Офелия.

Шекспир расширил поле действия драматургии. На этом поле уже встречаются и спорят разные нравственные системы. В этом подвиг Шекспира.

Многие люди говорили, что в самой биографии Толстого как бы воскресают темы старых драм.

Сам Лев Николаевич, иронизируя над

Шекспиром, иногда покорялся его построениям; он не находил, что построение «Короля Лира» искусственно.

Толстой не любил «Ромео и Джульетту», хотя Б. М. Эйхенбаум говорил мне, что по поводу мысли Шекспира — вся философия мира не стоит Джульетты — в черновике у Толстого стоит помета: «Случайная удача».

Король Лир не по своей воле узнал жизнь народа.

Новой нравственности его обучал шут, клоун.

В мире сцены, в мире, который изображает жизнь вывихнутой — это выражение Гамлета, который сам пережил изменение нравственности, — в этом мире Корделия тяжело страдает.

Почему повесили — именно повесили, а не казнили другим способом, не закололи без разговоров — королевскую дочку?

Почему Анна Каренина погибла под колесами поезда таким прозаическим способом?

Бабы Древнего Рима не имели права выбора, как умереть. Их распинали на кресте.

Римский гражданин имел право на меч, которым его покарают.

Корделия выброшена из мира.

Она была новой, была чужой.

Новое в литературе часто входит через катастрофы.

Размер нового определяет размер катастрофы, и наоборот.

Размер катастрофы, происшедшей с Корделией, определен Лиром: это он сказал, что хотел бы свою старость провести в детской комнате ее детей.

Но Лир не узнал новой Корделии, не узнал нового поэта, взошедшего на сцену, и проклял его.

И когда король Лир несет мертвую Корделию на руках, то это он внес в мир катастрофу жизни новой Корделии.

Теперь я только затрону тему, ее нужно назвать хотя бы для себя: время Лира — это распад рода, выделение семьи из рода.

Судьба рода не равна судьбе семьи.

Орест убил свою мать, мстя за отца.

Гамлет не мог убить мать, ему запретил отец.

Каин убил Авеля.

Братья продали Иосифа в рабство.

С этим связан перенос интереса с одного героя на другого, в чем, может быть, и состояло равновесие рода.

Вместо рода появилась семья со своими семейными отношениями, с наследствами, с необычными и как бы обычными смертями.

Отелло убивает жену.

Дочери короля Лира преследуют отца и губят сестру.

Позднше в «Крейцеровой сонате» убивает свою жену.

Убийство происходит в повести «Дьявол».

Сыновья Карамазова враждуют с отцом; Дмитрий хотел отнять у отца женщину и мог бы убить его; Иван презирает и не хочет спасти «гадину».

Борьба внутри семьи дает удобное, хотя и страшное, обоснование для построения замкнутой коллизии, причины которой как бы не выходят за пределы семьи и поэтому обозримы для читателя.

Тома Джонса найденыша в романе Филдинга и Оливера Твиста в романе Диккенса преследуют братья-злодеи.

Николаса Никльби преследует дядя.

Противоречия в семье как бы стягивают внутри ее противоречия мира.

Многое при этом объясняется борьбой за имущество и борьбой за власть в семье, но сама эта борьба порождена теми скрытыми силами, что стягивают семью в целое как систему.

Кроме того, борьба в семье дает возможность показать градицию характеров.

Ведь и в «Анне Карениной» характеры распределены по семейным группам.

Картина семейных отношений — один из способов создания характеров. Писатель многократно разлагает характер, как будто бы освещая одну сущность потоками света, направленного с разных сторон.

Единый характер показан в своих разных возможностях; он как бы сдвинут и раздроблен.

Эпос и миф первыми подхватили и вывели на свет великие события семьи.

Семья — вот подлинная и «бродячая» фабула литературы.

Этой фабулой занималась итальянская новелла. Поэтому она дала столько тем для великой драмы.

Европейская новелла ввела анализ семьи в обиход культуры. Слово «анализ» слишком современно. Новелла увидела в семье ячейку, где совершаются великие события.

Шекспир, конечно, использовал новеллы, но он писал не по новеллам, а разламывая их.

Сама семья, как и государственное устройство, менялась.

Корделия, королевская дочь, противопоставлена всему укладу времени здравого смысла.

Ступенчатость власти, власти королей, герцогов, баронов, — это многоступенчатость драмы, где сталкиваются люди власти.

Но власть короля представлялась единой и ощущалась почти физически.

Корделия не приняла участия в величественной картине семейной борьбы и семейного раздела.

Этот раздел показался Толстому недостаточно правдоподобным.

Толстой сам пережил биографию человека.

В старости человеку трудно бороться с миром.

Он хочет отойти в сторону, но это невозможно.

Корону пытаются сохранить силой.

Власть можно передать или потерять.

Ведь и Ной, человек, который как бы подновил мир, зная и о будущей катастрофе,— Ной пережил осмеяние наследников.

Бурные смены властей в Библии, ревность друг к другу и к потомкам сопряжены с борьбой за женщину.

Такая женщина-красавица была последней безответной любовью старика Давида.

Ависага стала причиной раздора.

Сыновья отнимали друг у друга власть из-за женщины.

Любовь, отношение отца к детям, смена поколений, борьба за корону, несправедливый раздел — очень древние темы.

Было королевство, была власть.

Идет смена.

Власть оказывается как бы призом, тем призом, за который сражались насмерть еще сыновья Давида.

Один из них побеждает.

Власть чем дальше, тем более оформляется, как бы приспосабливается к передаче. Она становится яблоком раздора.

Кровавые сражения в русской истории, в которой за именами князей стоит борьба дружин,— это шекспировская тема с ответвлениями.

Рядом с Россией — Византия.

Была история черниговских земель в эпоху Бориса и Глеба.

Наследники черниговских князей разделили уделы, лишив верховного князя власти.

Уделы были малоземельными, и наследники стоят перед главой рода, который разделил свою власть. Он, владыка, лишил себя власти.

Все это описано в летописи человеком, который как бы присугтвовал при этом.

На того князя положили доску и ослепили.

Варварские времена.

Эпоха короля Лира — это время образования нации.

И время, когда у человечества открываются глаза, время ощущения нравственности, вины.

И нет противоречия в том, что это и эпоха вырывания глаз.

Тут ошутимость самого английского государства как целого — государство складывается и делится на части.

Шекспир пишет об Англии эпохи собирания, говорит о возможностях новой постройки и о потерях при этой постройке. Это относится и к «Ричарду III».

Здесь вопрос об исторической нравственности.

Я переживаю сейчас тридцать пятую молодость. И свой девятидесятилетний юбилей.

Кажется, люди ходят по кругу.

Но это не круг, это колесо, оно катится по дороге.

Вопрос Пушкина — кто прав, кто виноват — разрешается им в «Капитанской дочке». Это борьба между Екатериной II и Пугачевым.

Вопрос о правоте и неправоте Петра не позволил Пушкину завершить его историю. Петр был как бы защищен историей.

Вот это вроде бы надисторическое описание истории — дело искусства.

Мазепа был уже описан Байроном до «Полтавы».

«Медный всадник», «Полтава», «Арап Петра Великого» — те же вопросы исторической правоты.

Когда-то Софья Андреевна хвасталась перед Александром II своей красивой семьей.

Но эти дети были некрасивы, и прежде всего — в глазах самого Толстого.

Некоторые из семьи Льва Николаевича отказались от доли, от добычи при разделе, потом опять настаивали на участии.

Ожившую старую трагедию углубляет время.

Что сделал Шекспир?

Прежде всего он вывел Лира, который передает власть, он Лира поставил перед разгадкой какой-то тайны.

Сами условия передачи власти являются тайной, против которой, как бы зная ее, протестовала Корделия.

Шекспир наказал гордого короля знанием своего народа, бедствиями народа.

В мир королевских отношений он ввел человеческие.

Когда делили наследство Льва Николаевича, рубили наследство его на части, уравнивали части доплатой, то сам великий король заперся; младшая дочь, она очень лю-

била его, она горевала и жалела его, — но он сам этого хотел.

И вы понимаете, что слово «хотел» — слабый отблеск того огня, огня, который жил под углями.

История «Короля Лира» — это история об новления семьи.

Птица, воспитывая своих птенцов, выучивая их летать, преодолевать пространство, как бы заново рождается, воскресает у гнезда.

Оказывается, воскресают не только женщины.

Надо взглянуть на «Короля Лира» глазами помолодевшего человечества.

Шекспир глубоко вошел в русскую жизнь, в русский театр и в русскую литературу.

Попытки постичь подлинный смысл его пьес были.

Здесь надо выделить Белинского.

В советском кинематографе Шекспира трактовали по-разному.

Страна, которая хочет перестроить самосознание человека, очень нуждается в Шекспире.

Шекспир пересматривал фабулы старых, до него созданных произведений. Но это не было повторением.

И наше время, время большого пересмотра наследия прошлого, нуждается в Шекспире.

Не будем перечислять все успехи и достижения в прочтении и постановке пьес Шекспира. Они общеизвестны.

Но есть и потери.

Это «Король Лир», с которым спорил Толстой.

Вопрос о месте Корделии в истории человеческого сознания считаю не только театральным, но и общепсихологическим.

Когда о Корделии пишут со словами сожаления, предполагается, что она персона нон грата.

Антигона, Корделия и Анна Каренина требуют от человечества не сожаления, а понимания. Понимания направленности трагедий.

Работа еще не начата.

Есть высокие горы.

Снег венчает эти горы и рождает реки.

Корделия не венчает и не заканчивает ничего, нет — она река великих гор.

Изгнанный и униженный герой в сказках, эпосе, мифах возвышен после многих испытаний и унижений.

Давид победил Голиафа.

Золушка оказалась принцессой.

Зачем надо, чтобы Моисей появился так страшно, в корзине, плывущей по Нилу, где

ребенка в камышах находит дочь фараона?

Моисей родился у Амрама и Иохаведы, был опущен матерью в осмоленной корзине в камыши на Ниле, потому что фараон распорядился об избииении всех еврейских младенцев.

Мальчика находит дочь фараона, тайно воспитывает его, дает блестящее образование.

По одной из версий, само имя Моисей означает «взят из воды» — «му-ши»; или «мо» — вода, «удше» — спасенный.

Изгнанник становится героем. Новым героем.

Человека выгоняют из жизни, лишают его наследства, дарят ему в насмешку kota.

Кот в сапогах ждет очереди.

Сказка поднимает униженного на самый верх.

Посмотрите, сколько изгнанников в «Тысяче и одной ночи». Эдип, мальчик, — жертва божественного пророчества.

Его выкидывают из дома со связанными ногами.

Эпос лежит как бы вне трагического центра мира.

Но эпос дает ту верную форму, внутри которой размещается трагедия — и современная психологическая драма, которая как бы разламывает эту форму, дает психологию внутренних связей.

Трагедия основана на узловых моментах изменения нравственности. Ее герой — человек будущего, пришедший не в свое время.

Трагические конфликты повторяются. Поэтому они современны. И каждый человек находит в них что-то свое.

Бессмертен «Гадкий утенок».

Он был безобразен — то есть он безобразен; этот образ не знали утки, и даже собаки не знали — все собаки и все утки этого двора.

Был Дэвид Копшерфилд. Была крошка Доррит. Были «принцы и нищие».

Но удивительно, как даже в «Ревизоре» Гоголя причудливо «возвышен» герой, которого должны бы арестовать за неуплату долгов в гостинице и трактире.

Иван, третий сын русских сказок, был дураком; он на все давал ни на что не похожие ответы, и это была своеобычность.

Мысль о торжестве униженного — мысль фольклорная.

И Насреддин — шуточный человек, его шутки опережают время.

Беда тому времени, которое вынуждено отказаться от драгоценного прошлого.

Старое, фольклорное ощущение неправильности семьи ведет к защите младшего, обиженного человека, получавшего ничтожную долю наследства. Ничтожность его комически подчеркнута — это всего-навсего кот. Но и это наследство — часть создавшего героя прошлого. А кот может оказаться «котом в сапогах».

Золушка и всем нам знакомая героиня «Сказки о царе Салтане» Пушкина — третья, младшая, осмеивается сестрами, которые предлагают взамен ее обещаний хороший стол и хорошее платье.

Это не совсем оцененная сказка о мальчике, который вырастает в бочке, плывущей по морю, спасает мать и строит государство на берегу, утверждая свою правоту.

«Сказка о царе Салтане» — это не слепок с «Короля Лира», нет, это самый настоящий бродячий сюжет, который возвращается в форме сказочного эпоса. Причем «Сказка о царе Салтане» принадлежит к драматургии в большей степени, чем к стихии сказочного фольклора.

Вопрос о счастливых концах чрезвычайно сложен.

Литература встречается с вопросом о счастье. Счастье начинается в виде сюрприза.

Садко, купец из Новгорода, неизвестно почему богатеет, потом попадает в беду. Тянут жребий, жребий у него хуже, чем у всех, и он оказывается в подводном царстве, но со сказочными гусями. Морской царь танцует, происходит беспорядок с кораблями, и Садко освобождают очень богатым.

То есть вопрос о счастливых концах бесконечен. Это вопрос о счастливой человеческой судьбе.

Говоря о счастливых концах, я не сказал о счастливом конце Дон Кихота.

Счастливый конец, данный Сервантесом, состоит в том, что Дон Кихот как бы выпускается из сумасшедшего дома, то есть признается невиноватым.

И тут впервые упоминается, что это добрый человек, которого любят в деревне.

И говоря одновременно о построении, о структуре романа, скажем, что тогда понятно, почему его так любил Санчо Панса.

В моем сценарии «Дон Кихот» другой конец: похороны, двор Дон Кихота, много лошадей, один осел Санчо Пансы, который относится к Росинанту как к равному.

Дульсинья Тобосская, которая не жена и не любовница, а мечта и совесть, входит в бедный дом.

На какой-то деревенской мебели стоит гроб.

И тут мы видим профиль — тень Рыцаря Печального Образа на стене.

Дульсинья Тобосская подходит, подсовывает руку под голову Дон Кихота, приподнимает ее и кладет книгу.

Книгу «Дон Кихот» подкладывает ему под голову.

Люди шепчут: «Алонсо Добрый».

Вот счастливый конец.

Дон Кихот — фольклорный образ и этим образ вневременный возвышенного своими страданиями и несчастиями человека.

Есть запись у Достоевского: он рассказывает, как стояли петрашевцы перед казнью, слушали чтение приговора, и совсем мало оставалось времени для жизни, и в эти последние минуты Достоевский вспоминает Дон Кихота.

Кажется, Энгельс писал, что Испания — самая революционная страна.

И Дон Кихот был для Достоевского первым революционером.

Революция была предсказана задолго до того, как она пришла.

Хлебников в 1912 году написал маленькую страничку, которая называлась «Разговор учителя с учеником». Там были написаны с одной стороны названия стран — Ассириававилония, Парфия, Афины, Рим, Франция; и кончалось это так: «Некто 1917 год». Я спросил у него: «Ты думаешь, наша империя разрушится в 1917 году?» «Пока получается так», — ответил он.

И высокий, немного плоскогрудый Владимир Маяковский писал:

Я,
осмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

.....
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Это писал человек, который в 1916 году назвал себя Дон Кихотом.

Говоря о литературе прошлого, мы говорим о будущем.

В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их
как старое,
но грозное оружие.

Железо плавится из руды. Из стали куется оружие.

Наше оружие мы куем из оставленной нам прошлым руды.

Мы перековываем старое оружие, и литература, изменяясь, остается в чем-то неизменной. Нельзя отказываться от наследства, даже если тебе предлагают кога.

И чтобы не быть голословным, я скажу о «Тихом Доне».

Ощущение времени в «Тихом Доне» катастрофично. Рушится заведенный дедами казачий уклад, о котором так поэтично писал еще Лев Толстой в «Казаках». Мир расширяется.

Это можно проследить по тому, как развиваются конфликты в романе. В первых главах «Тихого Дона» они носят внутрисемейный характер. Это то, о чем писал Шекспир в своих трагедиях.

Но постепенно масштаб повествования расширяется. Внутрисемейные конфликты перерастают в социальные. И вот на фронте встречаются брат с братом и отец с сыном.

Есть похожий эпизод у Гомера, когда на поле брани встречаются два кровно связанных человека. Они прекращают борьбу и обмениваются оружием. Но у Шолохова сталкивается одно время с другим. И такой конец невозможен.

Новое, как я уже писал, в литературе часто входит через катастрофу. И чем страшнее катастрофа, тем огромнее, необычнее это новое.

Катастрофичность мироощущения Мелехо-

ва связана с вторжением нового в жизнь. Это пришла революция.

Мелехов одинок, как одинок Дон Кихот.

В связи с этим большое значение имеет проблема счастливых и несчастных концов в романе — в «Дон Кихоте» и «Тихом Доне».

Мелехов несчастен. Он потерял все и остался жив. Но конца у «Тихого Дона» нет и не может быть. Потому что еще не кончилась эпоха.

Это можно проследить, проанализировав окончания частей «Тихого Дона». Мы замечаем резкое укрупнение масштаба повествования в финале «Тихого Дона» сравнительно с концами первой, второй или третьей книг. Показывается солнце. Это неожиданный перенос точки зрения, изменение темпа повествования, его широты.

Шолохов словно отказался от конца. Завершая роман, он заставляет нас поднять глаза к солнцу. В этом масштабе кончить нельзя.

Мелехов несчастен. И возвышен в своем страдании. Он как меньший брат в фольклоре.

Он стоит над Доном, он видит солнце.

Казаки — о них ведь писал еще и Гоголь, — прощаясь с Тарасом Бульбой, который погибает в огне, плывут в лодках по Днепру и вспоминают атамана.

Но мы не можем распрощаться с Мелеховым. Концы дописывает эпоха.

И я не кончаю своих размышлений.

МИКОЛА БАЖАН



МИР ГЕРОЕВ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

И недавно я перечитывал романы Олеся Гончара — новый двухтомник издательства «Дніпро». Автор включил в него и ранее написанные и новые свои вещи — «Человек и оружие», «Циклон», «Тронка», «Твоя заря»... Читая, я думал о творчестве этого большого самобытного художника, о том, как интересен и значителен мир его героев, как сложны и тонки их чувства. О том, как современно звучит у Олеся Гончара даже то, что было написано еще в первые годы после окончания войны.

Прославленные «Знаменосцы» писались, когда юный минометчик, кавалер ордена Славы после всех тяжелейших переживаний на трудных дорогах войны возвратился снова в студенческие аудитории, откуда ушел добровольцем на фронт. Потом дваромана, посвященных недавнему дореволюционному прошлому и годам войны гражданской. В «Таврии» и «Перекопе» картины героического прошлого нарисованы величаво, словно фрески. То, чему автор не мог быть очевидцем — славную борьбу старших поколений, — он сумел воссоздать собственным воображением и художественной интуицией. Прошлое при этом Олеся Гончар осмысливает так, что в его глубинах угадываются приметы современности, а в современных процессах открываются их первозданные истоки — лучшие традиции великого революционного прошлого нашей родины. Связь поколений — она лейтмотивом проходит в многозвучной сюжете новелл «Тронка». Эта огромная тема звучит почти во всем творчестве писателя — и в книге о человеке и оружии, книге, полной беспощадной суровости и сердечной лиричности, и в проникновенных раздумьях повести о соборе, и во второй части дилогии о ровеснике писателя, мужественном и рассудительном Богдане Колосовском в романе «Циклон».

Смена поколений, эстафета идей и миро-

воззрений, подвигов и творчества, нравственности и добросовестности... Все это непрестанно исследует Олеся Гончар и в повести «Бригантина», и в романтическом, как баллада, повествовании о берегу любви, и в романе «Твоя заря». Этот роман стал новым этапом в творческом пути писателя, этапом, обогащенным еще большим опытом, мастерством, человечностью, умением проникать в самые глубины человеческих душ. Я вспомнил сейчас далеко не все написанное писателем. Прибавим к этому еще созвездие новелл, рассказов, писательских раздумий...

Раскрывая книги Олеся Гончара, я словно вхожу в ярко освещенный большой дом, и предо мной открывается анфилада высоких красивых залов, удивительно гармоничных и в то же время разнообразных, неповторимых по колориту и стилевому богатству. В этих пространствах живет Человек, чьим девизом писатель избрал слова: «Я — человек! Живу для любви, для творчества!» Человек, настоящий человек — светел. Об этом верно пишет Гончар: «Свет — это сама загадочность, по крайней мере для меня! Удивительное, благороднейшее проявление материи, самое усовершенствованное ее проявление... граница ее возможного движения. Непревзойденный в скорости... Он — и волна, и частица... и, возможно, еще что-то...»

Олеся Гончар — художник света, его исследователь, его поэт. Он умеет видеть самые тонкие лучи, исходящие от человека, лучи, одухотворяющие природу, лучи, устремляющиеся в космос. Множество нюансов и оттенков видит он в описываемых им пейзажах — от первых нежных переливов рассвета и торжествующих аккордов утра до величавой неподвижности степных полдней. Перечитываю горестные сцены, нарисованные им в «Человеке и оружии» и «Циклоне», и чувствую удрученный мрак

немецкого концлагеря, черные тяготы скитаний наших солдат по вражеским тылам. Измученные люди со всех сторон окружены звериной темной фашизмом. И все-таки дух в них непобедим. Они не сдаются. В них живет свет.

Обе книги, продолжая темы борьбы света и тьмы, строятся на непримиримости с черной сущностью фашизма — будь то солдафоны гитлеровского вермахта или подлые предатели. Всем им автор противопоставляет своих героев — голодных, оборванных, раненых, измученных, но непокоренных советских людей, к которым он обращается так: «Было же что-то такое — назовем его Светом идеала, — что поддерживало вас в том пекле, где шел, казалось бы, совершенно неравный бой между человеческим и звериным, где обнаженный дух человека сражался с кровавой трясинной, с собственным отчаянием, преодолевал слепую силу инстинктов...»

Ярко и строго рассказывает Олесь Гончар о богатырском поединке советских людей со слепыми силами стихии и на полях классовых битв во второй части «Циклона». Победа дается тяжело — и против социального врага, и против неистовства циклона. Но она не может не прийти. В конце повести слышится заключающий аккорд, полный оптимизма: «Светится мир». В этих словах звучит то жизнерадостное восприятие мира, которое пронизывает все творчество писателя. Резко и страстно осуждая носителей тьмы, художник воспекает красоту человеческого подвига, подвига человечности и добра, и — в гармонии с этим — красоту природы, красоту творчества и искусства со всеми красками, линиями, словами, мелодиями и песнями.

В жизни украинского народа песенное богатство играет особую роль. Это неисчерпаемая сокровищница фольклора. Однако, увлекшись народным творчеством, легко поддаться искушению подражания или желанию размалевать свое произведение фольклорным орнаментом. Народность при этом может обернуться псевдонародностью. Нечто подобное мы нередко видим в современной поэзии и прозе. Олесь Гончар таким соблазнам не поддавался. В многожанровом его творчестве властно звучат присущие только ему, Олесю Гончару, индивидуальные стилистические особенности. И в то же время все его романы органично пропитаны гармоничным народным мелосом. Фольклорное влияние проявляется в его прозе свободно, спонтанно, но и не чрезмерно.

Духотмник Олесь Гончар открывается

романом «Человек и оружие» — произведением, пронизанным суровым трагизмом и нежным лиризмом, насыщенным горьким неизгладимым личным опытом. Роман о том, как вместе со всем народом закалялись души советского юношества. Оно только было готовилось весело раскрыть двери высшей школы, чтобы выйти на просторы творчества, познать трудности и радости созидательного труда. Но... «Дверь вздрогнула от неожиданного грохота... Запомните этот миг! Навсегда запомните эту последнюю свою студенческую аудиторию на третьем этаже истфака, где, ворвавшись сквозь забаррикадированную дверь, настигло вас страшное, ошеломляющее слово:— Война!»

Вместе с молодыми героями повести навсегда запомнил это страшное мгновение и сам автор романа. Долгие восемнадцать лет нес он память о том дне, резко переломившем его жизнь, как и жизнь его коллег — Богдана Колосовского, Лагутина, Степуры, Духновича, мечтательной Тани и нежной Марьяны. Наверное, неправильно искать в этом произведении обязательную автобиографическую достоверность, но, уверен, без жгучего личного опыта, без того, что навеки вошло в память автора, нельзя было бы так сильно, так выразительно написать картины первого, обреченного на неудачу боя студенческого батальона, и смерть побратима, и меткий выстрел героя, сбившего с дерева немецкого снайпера. От впечатляющих сцен неравного поединка до мельчайших деталей и частностей, скажем рыжего муравья, вылезшего на свеженасыпанный холмик бруствера, или лешетков полевого мака, присыпанных окопной землей, — все это автор точно запомнил и воспроизвел, чтобы читатели спустя долгие годы ощутили правду давно прошедших дней поражений и побед, скорби и надежд.

Главный герой романа, любовно выписанный автором, — Богдан Колосовский. Юность его началась семейным несчастьем, арестом отца, но это горе не затмило свет, не омрачило тот светлый идеал, который несут в себе любимые герои Гончара и ради которого — во имя своей социалистической отчизны, своего народа, коммунистической убежденности — Богдан мужественно переносит самые тяжкие испытания. Один за другим погибают в боях друзья. А чудом уцелевшие бойцы бредут степями, не зная, как вырваться из окружения. «Боль утрат, и дух степей полынный, и Днепра синеву, и чистые, как юность, рассветы» — все это они забрали с собой и все несут на восток.

Не вырвались из окружения. Страшные, словно картины Дантова ада, воспоминания Богдана о пережитом потрясают читателя. Им посвящена первая часть романа «Циклон». Между окончанием действия в «Человеке и оружии» и продолжением его в романе «Циклон» прошло лет двадцать — двадцать пять. Центральный персонаж остался тот же — Богдан Колосовский. Это по-прежнему сильный, мужественный, не слишком разговорчивый человек с большим чувством достоинства и четкими жизненными целями, хотя за прошедшие годы, естественно, изменились его вкусы, характер труда и окружение. Заканчивая исторический факультет, он думал стать археологом, исследовать тайны давно ушедших времен, мечтал раскапывать молчаливые половецкие и скифские курганы. Они и сейчас манят его, эти покрытые седым ковылем свидетели вечности, но манят больше в мечтах и раздумьях.

Нынешняя его деятельность отдана активному исследованию современности средствами тоже вполне современными. Богдан избрал профессию кинематографиста. Как кинорежиссер вместе со своим другом кинооператором Сергеем Танченко он ищет наиболее выразительные художественные средства, выходящие за рамки способов, известных и принятых в документальном кино. Он стремится создать фильм о свете, о внутреннем свете человека, рассказать о том, что сам видел, пережил, перетерпел, осознал. Он ничего не забыл — ни изнуряющих бесконечных скитаний в приднепровских степях по немецким тылам, ни предательства, бросившего ополченцев во вражескую западню, ни ужасных мук и унижений, изведенных пленными в застенках немецкого лагеря, ни их непоколебимую стойкость в упорной борьбе, в которой только еще больше закалились советские люди, такие, как до дерзости смелый грузинский рыцарь Давид-Шамиль, бесконечно преданный своему народу украинский крестьянин Решетняк, мужественные при всей нежной женственности Прися и Катря и очаровательная белокурая сибирячка Капа. Все они войдут в будущий фильм Богдана, над которым он работает с Сергеем Танченко, своим сверстником и ворчливым другом, неистово увлеченным искусством светописи. Из-за этого неистовства он и гибнет, пытаясь зафиксировать на пленке мгновение безудержного натиска вод, нашествие слепой и грозной тьмы. Светописец-светоносец — таков еще один герой Олеся Гончара, выписанный романтически,

увлеченно и в то же время непретенциозно и просто.

В «Человеке и оружии» сильно звучат мотивы психологического мужания, активного, бойцовского роста советского юношества. В «Циклоне» уже повзрослевшее это поколение живет не только боевыми воспоминаниями, но и мыслями о сегодняшней духовной жизни, о высотах творческого труда, о радости и значимости искусства. Какие бы дикие силы разбушевавшихся стихий ни обрушивались на мирные жилища, мирных людей, на их мирные планы, общие действия, единство, дружба, коллективная сплоченность советских людей оказывают стихиям могучее сопротивление, позволяя добиться победы.

В размышлениях Богдана, умных и значительных, мы угадываем мысли самого автора о мире, литературе, искусстве. Роман «Циклон» — в значительной степени роман раздумий о человеке, его духовной жизни, о сложностях и трудностях психологического становления и творческих порывов. Именно на это прежде всего направлено внимание Олеся Гончара, писателя и исследователя человеческих характеров. Не упрощая процессов становления человека коммунистического завтра, но и не тая своих высоких надежд на него, Олесь Гончар раскрывает своего героя через его поступки и размышления: «...Вершина всех помыслов — это не вся еще вершина. За ней должно открыться Действие, праматерь всех свершений человеческих». Самоотверженный труд, гражданская активность, одухотворенная преданность в служении своему народу, его идеалам, его устремлениям — вот что двигает разнообразными индивидуально выписанными характерами скромных и честных советских людей. Эта галерея начиналась еще знаменосцами — Хаецким, Брянским, Воронцовым, продолжилась персонажами «Гронки» и «Циклона» и достойно завершилась героями «Твоей зари».

Богдан Колосовский в рассказе о циклоне часто предается медитациям, но за его раздумьями читатель ощущает достойно прожитые годы, чувствует уважение к тяжелому труду советского воина, с силой и правдивостью описанному в «Человеке и оружии». Опыт военной жизни обогащается в «Циклоне» творческим трудом художника, действенным участием героя в коллективном противоборстве неистовству стихий. Перед нами человек, озаренный светом. «Свет этот всепроникающий, наверное, только он и не станет тленом. Силу создающую, силу солнца и бессмертных по-

ступков человеческих — разве ее убить циклонам?»

Ни циклоны, ревущие над горами, ни черные бури, воюющие над степями, не могут остановить созидательной деятельности человека. Тонко выписанные карпатские пейзажи сменяются в «Тронке» картинами приднепровской степи. Олесь Гончар с особенной любовью изображает те наши степи, величавые образы которых привлекали внимание еще Николая Гоголя, Антона Чехова, Сергея Васильковского и Юрия Яновского. Воспоминаниям о прежней их запущенности, унылости, сонной неподвижности писатель противопоставляет картины оживленной людьми степи, многокрасочной и изменчивой — то в роскошном весеннем цветении, то колышущейся бунчуками ковыля, то заметенной выгонами. Множество оттенков и красок находит автор, описывая любимые степи, характеры дорогих ему степняков.

В послевоенных украинских степях, по которым еще совсем недавно брели измученные, страдающие от ран и бессильного горя советские воины, нет уже тишины и печали. Над степной бескрайностью проносятся, громыхая и чертя серебряные дуги, стремительные самолеты; бульдозеры и грейдеры прокладывают линии животворных каналов; растут новые белостенные поселки, светлые здания дворцов культуры, школ, просторных жилищ. И строителя и хозяева здесь — люди новые. Но они свято берегут славные традиции прежних поколений. Прадедовский пастуший посох висит в их жилище на почетном месте, и старинная однотонная музыка тронки, как и когда-то давно, радует слух.

Новые пути лежат теперь перед людьми. Вольно и широко раскинулись дороги вдаль. По морям и океанам отправляются в плавание степняки Дорошенко и юный его радист Виталик. Как прадеды, деды и отцы, пасет отары, расчесывает, моет овец бойкая и расторопная Тоня. Шум моторов, рев сверхсовременных самолетов, скрежет бульдозеров, шум радио только подчеркивают и оттеняют извечную тишину степей.

Писатель утверждает и воспевает гармонию человека и природы. Сюитой песен о новой жизни можно назвать прелестную гроздь новелл «Тронка». Портретной галереей наших современников — добрых и веселых, упорных в труде и беспредельно преданных интересам общества — проходят перед нами герои романа, отмеченного Ленинской премией.

Свет и тьма, человек и природа, человечество и человечность — все это присталь-

но исследуется Гончаром и в последующих произведениях, таких, как «Бригантина» и «Берег любви», наполняя поэму о человеке еще более могущественным звучанием.

В романе «Твоя заря» органично сливаются мотивы рассматриваемых здесь предыдущих романов писателя. Произведение это разворачивается на больших пространствах и в больших временных просторах. Воспоминания героев романа возвращают нас к годам обостренной классовой борьбы, к процессу коллективизации, ожесточенного кулацкого сопротивления, когда возникало немало всякого рода искривлений и искажений. Далекие воспоминания переплетаются с современностью. Родные огни маленького украинского села Терновщины, родины героя романа Кирилла Заболотного, ничуть не меркнут от слепящих вспышек грохочущего потока заокеанской автомагистрали, от багрового зарева мегаполисов, напротив — они по-особому привлекают своей теплотой, свежестью, чистотой чувств. Роман интересен богатством ритмов и картин, резки и принципиальны в нем столкновения и противоборства героев; сильно, мощно звучит мотив любви к родине, ее людям, степям, песням. Грустные и игривые колядки и щедривки, величавые и шуточные песни Украины звучат в воспоминаниях Кирилла, когда вокруг грохочет и ревет быстротечный неистовый капиталистический хайвей — бешенство машин, самодовлеющих скоростей, отчужденных от всего человеческого. Капиталистическая конкуренция, выраженная в безумных машинных гонках, приводит к бесчисленным трагедиям и катастрофам, с которыми то и дело сталкивается в дороге Кирилл, везя на машине прибывшего из Киева друга и девочку Лиду.

Длинные пути-дороги остались позади в жизни Кирилла — от убогой хатенки в садах Терновщины к бурным военным поднебесьям, пронзенным его боевым самолетом; из аудиторий послевоенных институтов к далеким берегам Новой Зеландии, к подножью Фудзимы и наконец сюда, к мегаполисам и ошалевшим заокеанским автотрассам. Жизнь не скупилась на переживания, на счастливые и несчастливые встречи с людьми, но сквозь огромное множество событий и ощущений Кириллу всегда светил образ родины. С теплотой и нежностью вспоминает он Мадонну под яблоней, написанную во времена его детства на украинском Приднепровье неизвестным художником. И неудивительно, что едва лишь Кирилл узнал, что похожее полотно таинственным образом оказалось на стене чу-

железного музея, он с друзьями тотчас помчался туда. Ему хочется увидеть, лишней раз почувствовать, какой красоты художественные ценности творил и творит его народ, не раз терзавшийся историей, но всегда сильный и несокрушимый духом. Быть может, эта Мадонна и есть картина, которую с юных лет запомнил Кирилл. Когда-то в их село забрел обездоленный чудаковатый художник (Олеся Гончар называет его просто Художник); он видел смысл жизни в том, чтобы всем своим талантом, всем великолепием красок запечатлеть расцвет родной земли, красоту ее скромных, работающих людей.

Большим даром доброты наделил писатель и другого своего любимого героя, тоже, в сущности, художника, но не владельца красок и линий, а хозяина земли, ее деревьев, плодов, овощей, пчел и трав, открытого душой всему достойному,— садовника и пасечника Романа Винника, дочь которого, красавицу Надийку, изобразил Художник в виде Мадонны под ветвями отягченной плодами яблони. Не портрет ли Надийки увидел бы Кирилл, если б раскрылись перед ним двери музея? Очевидно, да. Я думаю, что да.

Сын своей страны, советский дипломат Кирилл Заболотный всей душой тянется к родной земле, туда, «где все... ближе к самому себе, к природе, к травам, к небу и солнцу, может, даже ближе к вещам более сложным, к тем истокам гармонии, которых так нервно и болезненно ищет человек современный». В обществе, строящем гармоничную жизнь, формируются гармоничные люди, причем не среди каких-то пасторальных декораций, а в самых различных условиях, порой в тяжелых испытаниях и бедах. Такая судьба, скажем, выпала на долю Романа Винника и его красивой Надийки.

Писатель хорошо понимает законы, по которым складывается характер героя, поэтому выведенные им в романе «Твоя заря» персонажи при всей внутренней красоте и благородстве не идеализированные и приподнятые на котурны герои, а реальные, живые, знакомые люди (вероятно, даже по личному писательскому опыту) — труженики, мечтатели, борцы. Таковы и Художник, и Роман-степняк, и нетребовательный, скромный и добросердечный учитель-большевик Николай Васильевич, и его коллега Андрей Галактионович, и, наконец, сам Кирилл Заболотный.

Кирилл Заболотный вошел в ту галерею образов наших современников, которыми гордится литература социалистического ре-

ализма. Выношенный в любви и теплоте чуждого писательского сердца, образ этот соединил в себе все то лучшее и цельное, что присуще такому своеобразному и неповторимому писателю, как Олеся Гончар. Современный советский человек, коммунист, патриот, интернационалист, готовый отдать жизнь для спасения голодных детей далекой африканской страны (так поступает Кирилл Заболотный),— такой герой является для Олеся Гончара носителем высокой, активной идеи, подлинной человечности. Не христианская всеблаженность, не приторная фальшь филантропии, не сентиментальная риторика, а действие, труд, борьба, способность на подвиг во имя человеческого счастья — вот что для Олеся Гончара мерило поступков и мыслей героев.

Глазами Кирилла Заболотного писатель присматривается к капиталистической действительности. Кирилл замечает в ней и классовые противоречия, и враждебность проявлениям гуманистическим и коллективистским, и эгоизм, страшный, тупой, жадный индивидуализм, который в конце концов смазывает, уничтожает индивидуальность: масса становится безликой, личные судьбы обесцениваются. Однако и здесь Кирилл встречает людей, славных и достойных сочувствия людей, чья судьба ему небезразлична. Вот молодые влюбленные, бездумно бросившиеся в равнодушный поток взбешенного хайвея, безжалостно унесенного их жизни. Погибает в дорожной аварии и девушка Кет. Возле места ее гибели, закутавшись в желтый буддийский балахон, отрешенно бродит влюбленный в нее, почти обезумевший юноша. Или еще один персонаж — старый негр Френк, пасечник и рыбак. Удивительным порывом писательского воображения создан образ этого скромного труженика с его пчелиными роями, звенящее жужжание которых не может заглушить даже рев трансокеанских лайнеров, проносащихся над его пасекой. Писатель объединил внутренней мелодией — назовем ее мелодией пчел — двух добрых, чутких, умеющих ценить красоту людей. Трудлюбивого пасечника-негра и украинского пчеловода, красивого, благородного степняка Романа. Они представители разных социальных слоев и разных континентов, но у них общее понимание доброты природы, общая увлеченность загадочным миром пчел — собирателей живительного нектара, таких работающих и таких могучих в строгом порядке своих роев. Их таинственное появление способно остановить движение машин, бешеную гонку на хайвеях — своими тельцами они закры-

вают светофоры автомагистралей. «При их появлении должны остановиться все «мистеры-твистеры!» — выкрикивает Кирилл Заболотный, увидев, как полиция и пожарные команды бросились за помощью к старому знатоку пчел Френку. «Нет, они создания уникальные!.. Мы еще их не знаем! Они как будто говорят людям: „Стойте на месте!.. Дух переведите, на небо поглядите, на ясное солнышко! О главном подумайте, о сущем!“». Мелодия пчел вплетается в тему гармонической связи человека и природы, нарушенной извращениями технического прогресса, особенно того неконтролируемого и своевольного, который становится тяжелой болезнью капиталистической индустриализации. Таким образом, и эта мелодия звучит в многогранной разработке темы человечности — сквозной и горячей теме творчества Олеса Гончара.

Жизнеутверждающий оптимизм, пронизывающий творчество писателя, является оптимизмом смелым, действенным, закаленным в пламени войны, в горниле народных испытаний. Исторический оптимизм социалистического общества органично живет в душе писателя как чувство, присущее патриоту, воину, борцу, но в то же время и мечтателю, живописцу, поэту, влюблен-

ному в красоту человеческих душ и природы. Богатство красок, которыми Олес Гончар рисует свои образы, он черпает из щедрот многокрасочного и многозвучного языка, к чистым народным источникам которого припадает жаждающими и благодарными устами. Музыкально текут волны прозы Олеса Гончара. Чистое и широкое море украинского языка переливается в ритмах этих волн, сверкает, очаровывает, играет. Лексикон Олеса Гончара доказывает, как умело писатель владеет неисчерпаемыми богатствами украинской речи. Отдав талант служению человеку и человечности, писатель посвятил этой высокой цели щедрое и богатое слово, чтобы как можно выразительнее передать многогранность подвига советских людей — подвига ратного, трудового, жизненного.

Четыре романа. Только часть созданного Олесем Гончаром. Четыре романа. Вдумываясь в них, как бы всматриваясь в четыре глубоких озера светлых живых вод, мы видим отраженное в них задумчивое лицо мастера, озаренное любовью к родине, к человечеству.

Авторизованный перевод с украинского
К. ГРИГОРЬЕВА.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Лев Озеров. Неприкосновенный запас. — **Наум Мар.** Люди под жарким солнцем. — **Александр Басманов.** На службе русского искусства. — **Вик. Ерофеев.** Памятник Артуру Рембо.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Кондратович. Поездки и портреты. — **К. Левитин.** Кибернетики спорят.

Литература и искусство

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Яков Хелемский. Избранное. М. «Советский писатель». 1983. 496 стр.

Книга Якова Хелемского подводит итог полувековой работы поэта (вышла она накануне его семидесятилетия). Произведения, знакомые по прежним книгам, встретились в одном томе, они как бы выстроились в ряд, уплотнились и дают читателю новый угол зрения, позволяющий с высоты нынешнего дня судить о долговременности творчества.

Так бывает со всяким иным развернутым собранием работ не только литературных — на персональных выставках, отчетных концертах, кинофестивалях. Такие вернисажи имеют свою особенность — произведения, порой отделенные друг от друга десятилетиями, образуют неразрывное единство. Разрозненное становится цельным. Далекое оказывается близким. Машина времени — в действии.

Что делать? Я привык не сразу
К особенности возрастной,
К ретроспективному показу
Всего, что за моей спиной.

В разное время о Якове Хелемском обстоятельно писали, высоко оценивая его работу в литературе, Павел Антокольский и Илья Сельвинский, Евгений Долматовский и Расул Гамзатов, Пимен Панченко и Константин Ваншенкин. Здесь, как мы видим, свое, и притом веское, слово сказали поэты. А критики? Ничего равнозначного (по точности анализа, по заинтересованности в судьбе художника) тому, что сказано поэ-

тами, увы, не назовешь, хотя газетных и журнальных рецензий было немало...

Как поэт, эссеист, переводчик автор «Избранного» живет напряженной творческой жизнью. Он, помнится, не знал простоев или кризисов. Ему всегда было что сказать хотя бы потому, что он неизменно оказывался не созерцателем, а участником, действующим лицом событий. Перед войной — газетчик, объездивший почти всю страну, в дни войны — фронтовой корреспондент, после войны — автор не только многих стихотворных книг, но и лирической прозы, вобравшей его разносторонний опыт, неутомимый путешественник, побывавший на четырех континентах; наконец, признанный мастер поэтического перевода, надежный связной, несущий русскому читателю строки иноязычных друзей.

Антокольский воспринимал Якова Хелемского как «поэта особого склада, у которого прежде всего широкий кругозор, разносторонняя культура, благородные пристрастия, верность им — верность самому себе». В то же время Павел Григорьевич, отмечая кровную причастность Хелемского к судьбе фронтового поколения, развивая свою мысль, писал: «В таком случае человек и художник гордится не только «лица необщим выраженьем», но и тем общим, что роднит его со сверстниками и соратниками».

Особый взгляд, верность самому себе. И, никак не противоречащая этим свойствам,

широта взгляда. Стремление подчеркнуть не свое отличие, а свою общность с ровесниками, преданность времени — в этом, пожалуй, и состоит внутренняя суть Якова Хелемского. Своеобычность поэта — это ведь прежде всего черты характера. Внешние приметы письма произвольны, они определяются именно личностью художника.

Разносторонняя культура поэта отразилась и в культуре стиха. Хелемскому присуща отточенность строки, чеканное построение поэтической фразы. Причем это не приводит к скованности, сухости. Нет, строфа звучит естественно, слово не стеснено. А когда Хелемский обращается к свободному стиху (он нередко это делает), разноударные строки искусно организованы, аритмия компенсируется внутренней мелодикой. Тут, я думаю, сыграла свою роль и великолепная школа, пройденная им в ранние киевские годы в студии стиха, которой руководил Николай Ушаков. Впрочем, когда мы начинали, еще не существовало «загонов для молодняка». Отсутствовала рубрика «Творчество молодых», предполагающая хоть малость, хоть толику снисхождения, хоть каплю жалости... Нам будто говорили: ты даровит — создай достойное и толкни дверь, входи, садись за общий стол, со всеми наравне работай в литературе.

В поисках своего пути Яков Хелемский вбирал в себя открытия учителей, создавая собственный слав, помнил уроки прошлого. Он вырабатывал не только свои рабочие приемы, но и вкус. «Избранное» убеждает в этом. Ради сохранения меры, гармонии, такта Хелемский при всей его техничности удерживал себя от рискованных решений, связанных с нарушением вкуса, уходил от экспериментирования (возможно, порой занимался им, но не на глазах у читателя), от демонстративного новаторства. Манера творческого поведения определилась сразу.

Затруднительно, а то и просто невозможно назвать одного поэта, которому следовал бы Яков Хелемский. В каждом из своих учителей он находил для себя то близкое, то самое насущное, что соответствовало его личным вкусам.

Такой путь к синтезу естествен. Он прослеживается и у самих учителей. Ушаков был верен Тютчеву, Анненскому, Пастернаку, оставаясь неповторимым. Антокольский следовал не только Блоку и Брюсову, но и Маяковскому, однако его не спутаешь ни с кем. В самобытном творчестве Заболоцкого уживались отзвуки Державина и Хлебникова, Звягинцева в равной мере обязана Некрасову и Блоку.

Мы говорили о культуре стиха. Полагаю,

что самое важное свойство Хелемского — это сочетание строгой отделки каждой строфы с интонацией задушевности. Интонация эта полифонична. Тревожное размышление вдруг освещается мягкой улыбкой. Описание, полное живописных деталей, внезапно завершается афоризмом.

Не выпячивая себя, поэт рассказывает о времени. Его биография настолько совпадает с бегом событий, что хроника прожитых десятилетий неразрывно слита с личной хронологией, с душевным развитием. Я читаю «Избранное» так, словно смотрю документальную ленту. Имена и даты даны в своеобразных, очень характерных для поэта подробностях. Стихия лиризма придает сменяющимся кадрам энергию, картинность, одушевленность. Колорит эпохи здесь неотделим от колорита личности. И думается, поэтому лирику Хелемского можно назвать эпической. Лирические миниатюры образуют развернутое полотно. Зерна эпоса прорастают из малых реалий, из небольшой метафоры. Это не назовешь достоинством или недостатком. Это особенность. Такова природа таланта, характера, темперамента.

Яков Хелемский мог бы говорить от имени людей, выходявших на литературное поприще в самом начале или в середине 30-х годов. Его слово окрепло в пору войны. Но так же современно оно звучит и сейчас, через четыре десятилетия после Великой Отечественной. В чем же здесь дело? Не будем гадать. Обратимся к автору:

Опять слова сложи
В старинном сочетанье.
Движение души —
Готовность к испытанью.

Далее поэт раскрывает смысл того, что это такое — движение души. Мгновенное решение — встать под огнем, увлекая других, поспешить ночью на помощь товарищу. Это и взятие рубежа, нахлынувшее вдохновенье, беспощадный разговор с самим собой и, наконец, — «движение душ людских — истории движенье».

Истории движенье... Хелемский с первых же строк (возможно, поначалу это было подсознательно), фиксировал окружающий мир, стремительно движущийся, непрестанно меняющийся. Этот мир был населен людьми, только что вступившими в первую пятилетку. Иные строки поэта обладали такой приметливостью, так точно выражали особенности быта и дух времени, что по ним можно судить о художнической достоверности. В стихах, открывающих «Избранное», мы безошибочно узнаем 30-е годы. Молодой человек возвращается в трамвае зимним вечером с лекции профессора

Цимидта, исследователя Арктики. В стихотворении об учебной тревоге инструктор Авиакима мгновенно надевает противогаз, а конь, участвующий в учениях, «думает, будто он впрямя на войне». Подросток приник к самодельному радиоприемнику, он «со вселенной — на волне короткой и с планетою — накоротке», он воображает себя то радистом на Северном полюсе, то связистом с походной рацией на спине, ползущим «в пороховом аду». Мечта и предощущение беды, жизнь трудная, увлекательная, предгрозовая.

На фронте у Хелемского та же пристальность взгляда и душевная зоркость. Стремление в подробностях разглядеть главное — боль и надежду.

Декабрь сорок первого года. Воспоминание об осенних горьких днях, об отступлении из Брянских лесов. «Не только люди — мокрая листва, и потускневший лиловатый вереск, и мхи, и увядающие травы глядели умоляюще на нас...» И неожиданный поворот. «А мы... Мы горсть оставленной земли с собой не брали... В полевую сумку ее не насыпали. Что нам горсть? К чему? Мы все обратно отвоюем».

Точный рисунок — солдатский блиндаж: «Печурка из трофейной бочки здесь накалилась докрасна. Вот стол почти что настоящий, хоть и шатается слегка, — пять кирпичей, патронный ящик и поперечная доска».

Оптимистическая концовка: «Друзья, надежнее жилища на свете не было и нет». Но в сорок пятом в первый день мира, увидев брошенный и ненужный уже блиндаж, поэт удивится: «Стволы наката чуточку осели, они уже покрылись мхом и цвелью. Неужто люди в норах жить могли?»

В сожженной белорусской деревне поэт видит старуху, которая хлопочет на пепелище: «Осталась печь. И значит, встанут стены. Старуха варит бульбу в чугушке». Женщина вываливает горстку картофеля на белоснежную накрахмаленную скатерку, расстеленную на черных кирпичях. «Да, прямо на скатерку... Изувечен и все же вечен, оживает быт. А бабка шутит: — Бульбу сдобрить нечем. Зато крахмал крахмалу не вредит». Эта жизнестойкость, это шутовское народное присловье, эта грустная улыбка — залог будущего возрождения. Боль и надежда. И урок на всю жизнь: «Когда мне будет холодно и грустно, я вспомню, как, наперекор тоске, в дыму, на пепелище белорусском, старуха варит бульбу в чугушке».

В первых послевоенных стихах отзвуки пережитого. «Звезда», хрестоматийное сти-

хотворение, без которого, кажется, не обходится ни одна из наших поэтических антологий: «Осенней ночью падает звезда... Примета есть: звезды летучей свет — тревожный признак, чьей-то смерти след». И гут же пронзительная мысль: «Ах, если б звезды скорбный счет вели и падали под тяжестью утрат, какой бы разразился звездопад!»

Я так обильно цитирую, чтобы проиллюстрировать, как Хелемский по-своему запечатлевал то, что ему пришлось увидеть и пережить. Да, он никогда не был специально озабочен тем, чтобы его манера резко отличалась от манеры других поэтов. Для него гораздо важнее — выразить время, художнически осмыслить свои наблюдения над ним. А это стремление и сказывалось на поэтическом почерке. Как бы там ни было, я всегда узнаю его стиховую поступь, его строй, его мазок на полотне. И при этом всегда точно ощущаю, когда написаны те или иные строки. Даже образный метафорический ряд обнаруживает, что работа Якова Хелемского о времени — непреходящая черта. Названия книг и циклов — «Неприкосновенный запас» (стихи военных лет), «Середина лета» (читай — середина жизни), «В начале седьмого» (читай — после шестидесяти) — весьма характерны.

Работа памяти — это тоже служба времени. Воскрешение неповторимого. Зримы не меркнувшие в сознании черточки былого. Благодаря памятьности поэта они показывают нам довоенный Киев (от цикла в первой книге «Гончарный круг» до поэмы «Коктебель, 1929», написанной в середине 70-х), Москву на протяжении полувека, среднюю Россию, памятные для русской культуры места. В книге портреты учителей в разные годы их жизни и деятельности, путешествия по стране, по зарубежным странам. Стихи далеко не описательные, а скорее, если можно так сказать, болевые, дающие понятие о жизни страны, о войне и мире.

Культура картинной записи события, стремление передать общие планы и подчеркивающие их детали — вот основа основ для понимания мастерства этого поэта. «Даже мальчику — сыну полка скоро пенсию тоже назначат»; на спектакле в районном аule «перед кассой коня осадил театральный, скинув бурку, торжественно входит он в зал»; африканка в далекой Гвинее, несущая за плечами двух близнецов, — «и даже за спиной у ней — не прошлое, а будущее с ясными глазами»; строки Маяковского, «многоступенчатые, как ракета», взлетают

в будущее. Эти и многие другие «прозы пристальной крупницы» (Пастернак) щедро рассыпаны по страницам «Избранного». В каждой из книг (а в «Избранном» это проступило четко) поэт вглядывался не только в смысл слова, но и в его структуру, в его изначальные и последующие друг за другом слои, как в годовые кольца дерева.

Так возникли и стихи Якова Хелемского об искусстве перевода. Это опыт не только профессии и призвания. Это опыт сердца, плод культуры душевной, и не правы будут те, кто стал бы причислять эти стихи к книжным. Строки Хелемского о труде переводчика: «И в этот миг судьба товарища тебе дороже, чем своя» — стали крылатыми. без их цитирования редко обходятся авторы статей об искусстве поэтического переложения. А метафора, выразившая трудности и разночтения при переводе с языков родственных, предельно точна: «В корнях — биеенье родников, в листве — многоголосье птичье».

Говоря о поэзии Якова Хелемского, о многообразной палитре его, нельзя умолчать об иронии, о тонкой лирической иронии, которая там и тут оттеняет чувство:

Не умею коротко писать.
Думал, ограничусь восьмистишьем,

Но за рамки выхожу опять.
Ну и что ж... Не по линейке пишем.

Это ирония, направленная на себя самого, то есть наиболее действенная. Поэт говорит: «Слух прошел, что никаких длиннот...» (это уже ирония по отношению к другим). И тут же рядом: «Краткость ходит в страхе при таланте, но его не в силах заменить». И далее — суть не в сжатом или просторном слого, говорит поэт, суть в другом:

Кто свое оставить людям смог,
Тот и нашим временам попутчик.

Эту мысль можно прочитать и так: кто был попутчиком нашему времени, кто был его очевидцем и участником, тот сможет оставить людям свое. Что останется — дело времени.

Книга, о которой здесь шла речь, выгодно отличается от иных неправомерно разбухших изданий тем, что в ней представлено действительно избранное, что под синим переплетом емкого однотомника спрессован поистине неприкосновенный запас поэта.

Лев ОЗЕРОВ.



ЛЮДИ ПОД ЖАРКИМ СОЛНЦЕМ

Илья Гордон. Под жарким солнцем. Роман. Перевод с еврейского Б. Дивинской. М. «Советский писатель». 1981. 527 стр.

Илья Гордон. Избранное. Роман, повести, рассказы. М. «Художественная литература». 1983. 541 стр.

Эти две книги известного мастера еврейской советской литературы Ильи Гордона, вышедшие в переводе на русский язык, пунктирно охватывают значительную часть пути писателя и определяют главную тему его творчества — тему дружбы советских народов.

С интересом перечитываешь в «Избранном» давний, написанный еще в 1956 году рассказ «Гости» — о том, как к еврейским колхозникам, которые жили под Запорожьем, приехала в гости делегация казаков из сельхозартели «Новая жизнь» Ростовской области. Этот светлый, написанный по следам газетной заметки рассказ уже тогда, почти тридцать лет назад, давал возможность сказать, что новые, социалистические отношения между советскими людьми, отношения верного товарищества и дружбы, автор понимает как главную тему своего творчества.

И действительно, сегодня можно с полным основанием утверждать: Илья Гордон посвятил этой дорогой теме всю свою писательскую деятельность. Посвящен ей и последний роман автора — «Под жарким солнцем». Роман, раскрывающий природу коллективного труда в многонациональном колхозе, того труда, что поднимает на гребень созидательной волны подлинно талантливых организаторов, людей, которые способны успешно реализовать выдвинутую партией Продовольственную программу.

Роман Ильи Гордона, живописуя современную жизнь крымского многонационального села, вводя в литературу яркие образы современников, вместе с тем будоражит читательскую душу острыми вопросами, связанными с нынешним этапом развития. И в частности, один из вопросов, возникающих при чтении этого романа, касается, кажется мне, чисто литературного процесса:

что есть документальный роман? Каковы его законы — большой простор для искусства писательской типизации или неотступное следование за событиями дня, недели, года, что, несомненно, было и остается главным делом публицистики, которая, как известно, пишет летопись современности? Две тенденции скрестились над этим вопросом. Роман, как утверждал К. А. Федин, был и остается основанием и вершиной большой художественной прозы. И вместе с тем статистика послевоенных десятилетий решительно утверждает, что документальная литература в наше время забрала необыкновенно большую власть над читателем. Неоспоримым тому свидетельством являются огромные тиражи военных, политических, дипломатических мемуаров, книг очерков, дневников, репортажей, интервью, воспоминаний... Утвердились и проявляют себя с большой активностью документальные повесть и роман, эссе...

Писать роман, как всегда, трудно: он требует многих лет упорного труда. «Это все равно что одному человеку построить город», — говорил Константин Александрович Федин, напоминая давнее утверждение, что романист должен писать жизнь, которую он серьезно знает. Видимо, тем более сложно писать документальный роман...

Долгие годы Илья Гордон наблюдал и наблюдает жизнь одного из замечательных наших современников, вожakov колхозного строя — Героя Социалистического Труда коммуниста Ильи Абрамовича Егудина. Именно он в безводной, начисто сожженной солнцем крымской степи некогда основал колхоз, которым уже не одно десятилетие гордится страна. Невозможное здесь стало реальным. Некогда мертвая пустынная земля покорила воле и труду большого коллектива переселенцев и начала плодоносить. В золотом разливе встали пшеничные поля. Зацвели богатейшие сады и прекрасные виноградники. Поначалу переселенцы жили в землянках и ветгих сараях — теперь в разбуженной степи поднялся великолепный, современной архитектуры городок, в котором сейчас живет более 10 тысяч человек! И все это плодотворный итог упорного труда одного поколения людей, объединенных в колхозе «Дружба народов». Название абсолютно соответствует истине: здесь живут и трудятся люди 22 национальностей, большой коллектив, который не одно десятилетие достойно возглавляет Илья Абрамович Егудин — поистине неутомимый боевой вожак; специалисты сельского хозяйства уважительно именуют его академиком колхозного дела.

Все в истории колхоза «Дружба народов» значительно и важно, будь то покорение безжизненной целины или создание большого комплексного хозяйства. И все-таки самым главным является неутомимый труженик — новый, советский человек, хозяин своей земли и своего государства, своей судьбы. Его глубокая вера в дело партии, его рачительное, поистине социалистическое отношение ко всему, что происходит в колхозе. Это, пожалуй, самое главное достижение колхоза!

Илья Гордон пишет роман широко, свободно и при этом строго следует за правдой жизни. Жизни, которая не всегда напоминает гладкое полотно бетонной дороги, а порой бывает отмечена кочками и рытвинами. Автор романа без смущения дает герою фамилию Мегудин, только одной буквой отличающуюся от фамилии его друга, труды которого он наблюдает уже почти полвека. За этим понятное желание писателя полнее сохранить и передать естественную атмосферу нашей жизни, коллективного труда. Получился живой образ коммуниста, талантливый представитель «председательского корпуса», по словам Георгия Радова. Всего себя Мегудин отдал колхозу, делу, которое ему поручила партия: в пять утра он уже в поле, на ферме, у трактористов, доярок и только в одиннадцать ночи возвращается домой. Он знает все хозяйство до мелочей как свои пять пальцев и помнит обо всем: кого из пожилых колхозников надо послать лечиться и кто из юных парней собирается жениться... С людьми у него связаны все дела и планы — с ними надо посоветоваться, какие дома строить, чтобы при жилье непременно были сад и сарай для скота, где и как строить Дворец культуры, который, конечно, влетит в копейку, но без него уже не обойтись, каким должен быть Дворец бракосочетания и как надо здесь венчать молодых без попов (кстати сказать, дворец этот уже тоже построен, и три веселые свадьбы здесь проходят в одну неделю)...

Все это есть та новая жизнь, о которой мечтал юный Мегудин, одиннадцатый ребенок в бедняцкой семье гомельского извозчика — балагулы, — которая вместе с несколькими другими еврейскими трудовыми семьями полвека назад переехала сюда, в выжженную крымскую степь...

И может быть, одна из самых притягательных сторон этого талантливого романа заключается в том, что автор дает широкую панораму жизни юного Мегудина, становление его судьбы на этой еще очень жесткой, не знавшей веками плуга земле, дает ши-

роко, естественно, правдиво. В двадцать с лишним лет Мегудин уже удостоился ордена Ленина за неслышанно высокий по тем временам урожай. Он приехал в Москву, вместе с другими колхозными вожаками заседал в Кремле, беседовал с Михаилом Ивановичем Калининым о сельских делах, о будущем колхоза, которое уже тогда, в 30-е годы, рисовалось ему прекрасным плодом коллективного труда... Но не все шло без сучка и задоринки. Нет, не все... Было в его жизни и такое, когда его исключали из партии за то, что он не сдал колхозный семенной фонд на... хлебозаготовки. Но ленинская принципиальность восторжествовала: Центральный Комитет отменил неправильное решение и вернул Мегудину партийный билет. Все это стоило ему

многих бессонных ночей, пережитого горя, тяжких испытаний. И все же Мегудин не согнулся, его не сломали трудности, он продолжал работать, честно делая то, что ему поручила партия. Эти нелегкие главы написаны с высокой мерой правдивости и психологической точности, которые отмечают весь роман.

Писатель в своей книге талантливо воспроизводит динамику становления социалистического сознания наших современников — тружеников колхоза «Дружба народов». И с высоты этого сознания они строго и прямо судят обо всем, что происходит с их земляками, в их колхозе, в их родной и великой стране.

Наум МАР.



НА СЛУЖБЕ РУССКОГО ИСКУССТВА

Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве. В 2-х тт. М. «Изобразительное искусство». Т. 1. 496 стр., 96 л. илл. Т. 2. 576 стр., 88 л. илл.

Д. Шмаринов. Дело жизни. «Советская культура» от 28 мая 1983 года.

Книга о крупном организаторе искусства, художественном критике и издателе Сергее Дягилеве, о соотношении его личности и русской культуры в целом, книга его текстов и текстов о нем вышла чуть больше чем через сто лет со дня рождения этого удивительного человека.

Для составителей, комментаторов, авторов фундаментальной, монографического достоинства вступительной статьи издание это — будто итог долгого пути: беспорный знаток культуры начала XX века доктор искусствоведения И. С. Зильберштейн и искусствовед В. А. Самков оказались уже спаяны опытом по изданию двух замечательных книг — «Константин Коровин вспоминает...» и «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников».

Пять лет составлялся двухтомник: кропотливая работа, которая потребовала изучения буквально тысяч старых газет и журналов от «Аполлона» и «Золотого руна» до «Биржевых ведомостей» и «Утра России», розыска неопубликованных статей, очерков и воспоминаний — многое публикуется впервые. Цель составителей здесь, как заметили они сами, — очертить некий круг художественной атмосферы рубежа столетий, то есть создать фон, из которого главное лицо явится объемно и по возможности правдиво. И действительно:

главное лицо выступает стереоскопически и в диалектическом движении — от образа провинциального гимназиста с темным пушком на розовых щеках до чуть ли не центральной фигуры в новом европейском искусстве: этот «художник без картин, писатель без полного собрания, музыкант — без композиций», как он сам себя называл, занял важнейшее место в истории живописи, музыки, театра и дизайна.

Он был настолько неистов в своей работе, что еще в начале его деятельности, в 1904 году, «Союз русских художников» в специальном адресе выразил глубокое удивление перед тем, как много им сделано. Его работа была синтетической: обожая до фанатизма все русское, он повез это русское на Запад и так поразил им, русским, иностранцев, так впечатлил многих западных художников, что потом выяснилось — без дягилевских балетов ни Дерен, ни Пикассо, ни Брак, ни Матисс не работали бы для театра. И Запад высказал Дягилеву свою художническую благодарность: Дариус Мийо посвятил ему партитуру балета «Голубой поезд», Морис Равель — свою обработку «Хованщины» и балет «Дафнис и Хлоя», Витторио Рьетти — балет «Бал», Пабло Пикассо сделал на одном из своих театральных занавесов надпись «Посвящается Дягилеву», а в Монте-Карло установлены в его честь мемориальная доска и памятник, площадь

около «Гранд-Опера» в Париже стала называться именем Дягилева, зарубежная же библиография о нем насчитывает около 40 книг.

Уже в первых художественных статьях двадцатипятилетнего Дягилева поражает талант; редкостная раскованность слога и самостоятельность идей — смелейший натиск на «буржуйную» ограниченность, рутину и постановка главной задачи: объединение молодых живописцев «по признаку культурности». Эту задачу он потом сам и решил: все мемуаристы книги подтверждают — не было бы Дягилева, не было бы и «Мира искусства», содружества и журнала.

Журнал «Мир искусства» печатался на очень дорогой, ручного изготовления бумаге, набирался редчайшим елизаветинским шрифтом, специально раздобытым в коробах словолитни Академии наук, украшался юнчайшего рисунка виньетками, клишировался у лучших мастеров и был призван его редактором Дягилевым «в иллюстрациях помещать истинную живопись, в статьях говорить откровенно».

О «Мире искусства» было много споров. Да и не мог, собственно, не вызывать их журнал, провозгласивший в предбуревые годы мировых перемен лозунг свободного и чистого искусства, и потому точно подметил академик живописи, народный художник СССР Дементий Шмаринов в статье, опубликованной в газете «Советская культура», что в этом превосходном издании несовпадение идей его художественно-критического раздела и раздела литературно-философского резко бросалось в глаза. Но это особая тема.

Здесь печатались писатели и художники, чьи имена составляют теперь мировую славу: Андрей Белый, Брюсов, Метерлинк, Рёскин, Бенуа, Ленбах, Билибин, Яремич, Нестеров. Выступал в «Мире искусства» и сам Дягилев; собранные вместе, его выступления удивляют тематической широтой: о европейских живописцах и иллюстрациях к произведениям Пушкина, об устройстве древлехранилищ и проблемах современной сцены — всюду знаки высокой эрудиции, отличного владения высочайшим, музейным и театральным делом.

И впрямь музейщик и экспозиционер он был первоклассный. Грабарь пишет в этой связи о феноменальной зрительной памяти и иконографическом «нюхе» Дягилева, умевшего с ходу, без заглядывания в учебные книжки «в портрете мальчика анненской эпохи узнавать будущего сенатора павловских времен и обратно — угадывать в

адмирале севастопольских дней человека, известного по единственному екатерининскому портрету детских лет».

Выставку 1905 года русских портретов в Таврическом дворце (о ее размахе мы можем судить по публикуемым в книге редким фотографиям) придумал и устроил именно Дягилев, и это было событием мирового значения: выставка выявила множество дотоле неизвестных замечательных мастеров, причем столько же русских, сколько и западноевропейских, отсюда начинается яркая полоса освоения живописи XVIII века: вместо смутных сведений и непроверенных данных — новые факты, истоки, новые взаимоотношения, взаимовлияния в истории изобразительного искусства.

К тому времени Дягилев уже выпустил свою блестящую монографию о Левицком, написал статью о двух портретистах Шибановых (к сожалению, ни то, ни другое в двухтомник не вошло), а поездки по России выработали из него исключительного знатока старинных картин. Эти поездки — серьезнейший эпизод в жизни Дягилева: для того чтобы выявить около 4 тысяч художественных произведений, ему пришлось почти год провести в вагоне и пыльной бричке.

Дягилев — теоретик и критик двоится в собственных писаниях: до 1907 года он искусствовед живописи и музейщик и после 1907-го — отдающийся почти целиком музыке и балету. В этом смысле в книге есть рубеж, кульминация, поворот. Начало им — Русские сезоны; с их наступлением он уже волею судьбы навсегда остается в Европе, по словам Д. Шмаринова «неутомимо пропагандируя русское искусство». Вот его заявление газетчиком: «...меня всегда поражало и оскорбляло мое национальное чувство — это незнакомство иностранцев с представителями русского искусства»; вот письмо Римскому-Корсакову в связи с предстоящими гастролями в «Гранд-Опера»: «...вспомните о нас, «малых сих», для которых вопрос русских культурных побед есть вопрос жизни и смерти. Когда читаешь напряженнейшую переписку между ним, Бенуа, Лядовым, Д'Аннунцио, Рерихом, Бакстом, Валентином Серовым, Кшесинской, Шаляпиным, Фокиным, Прокофьевым, Стравинским — проступает масштаб дягилевских усилий, кухня виртуозного управления целым жанром, будто симфоническим оркестром.

Лучшие Русские оперно-балетные зарубежные сезоны (они устраивались, придумывались, заказывались только Дягилевым) включали постановки ярчайшего стиля: балеты на русскую, преимущественно сказоч-

ную тему, европейские классические и на тему восточную: «Половецкий стан», «Жарптица», «Петрушка», «Весна священная», «Золотой петушок», «Павильон Армиды», «Жизель», «Сильфиды», «Видение розы» — все в непревзойденных живописных образах Бакста, Билибина, Головина, Гончаровой, Коровина, Рериха, Судейкина. Впечатление явилось сильнейшим, Луначарский писал, что одни кричали о чуде, другие о варварстве, но все были потрясены. О чуде кричали Пруст, Равель, Дебюсси, Аполлинер, Роден, Ренуар.

Из России на европейскую сцену пришло обновление, будто дохнуло свежим ветром. Сам виновник этих обновлений так и говорил: «...революция, которую мы произвели в балете, касается, может быть, всего менее специальной области танцев, а больше всего декораций и костюмов. Французы с изумлением впервые узнали от нас, что декорации вовсе не должны давать иллюзии природы или обстановки, а создать условную, художественно-условную рамку для содержания пьесы» («Еще о балетных итогах», интервью 1910 года).

Но революция была произведена не только в области декораций и костюмов: живой талант Дягилева сказывался во всем. Он безобразно вводил ранее неизвестного артиста на первые роли, и выбор, как оказывалось, решал спектакль (Нижинский, Ида Рубинштейн), он заказывал балет студенту консерватории, и студент создавал шедевр (Стравинский, Прокофьев), он поручал хореографию ординарному танцовщику — и тот становился великим балетмейстером (Мясин, Фокин, Лифарь, Балачин). Причем для всех, кто работал у Дягилева, та работа оказывалась самым счастливым периодом в жизни.

Его движение в искусстве, отраженное в обозреваемой книге, — пример универсализма и таланта для любой эпохи. Об этом пишут в своих письмах Балакирев, Боткин, Брусов, братья Васнецовы, Сергей Волконский, Врубель, Глазунов, Гончарова, Дебюсси, Добужинский, Коровин, Сергей Маковский, Малявин, Савва Морозов, Остроумова-Лебедева, Пикассо, Поленов, Прокофьев, Пуленк, Репин, Рерих, Рильке, Римский-Корсаков, Розанов, Рябушкин, Валентин Серов, де Фалья, Чехов и Шаляпин. Об этом вспоминают в своих мемуарах Луначарский, Бенуа, Грабарь, Карсавина, Михаил Ларионов, Нестеров, Рылов.

Очевидно, не все можно принять теперь у Дягилева, самоуверенно заявлявшего, что «классика есть средство, но не цель» и что балетная туника, пачка и пуанты — не что

иное, как вицмундир от хореографии. «Нас всех учили алгебре и греческому языку, но не для того, чтобы всю жизнь мы решали задачи или говорили по-гречески» («О классике», интервью 1928 года). Но тут же интересны и его высказанные в письме редактору «Таймс» наблюдения за спецификой, вернее, за исторической дорогой нашего балета в целом: «Классический танец ни сейчас, ни прежде не был исконно русским. Классика родилась во Франции, развивалась в Италии, но сохранилась лишь в России. Рядом с классическим танцем всегда, даже в самый расцвет классицизма, существовал характерный танец — это и был тот русский национальный элемент, который дал развитие русскому балету. В тех редких странах, как, например, в Испании, где национальный танец получил громадное развитие, ясна роль характерной формы танца. Я не знаю ни одного классического движения, которое бы родилось в русской пляске. Почему же нам идти от танца французского двора, а не от праздника русской деревни?»

Однако Дягилев был высочайший профессионал, и только идеальная техника могла удовлетворить его, как бы ни строился стиль постановки. Карсавина вспоминает: ее и Нижинского он водил на утренний урок во время сезона в Риме чуть ли не за руку и оставался всю репетицию, следя за ними — единственный зритель в тот час в зале театра Констанци, то молчаливый, как камень, то крикливо указующий на промахи: ориентир в тех указаниях был один — безупречное чувство художественной ценности.

К концу жизни, усталый и больно, Дягилев по временам чувствовал, что тяжесть его ноши слишком велика. Собираемость книг — новая страсть — владело им все больше и больше. Во что бы вылилась эта страсть, какую, с даром его широкости, он организовал бы «вифлиофику», можно только предполагать: на книги, устройство специального хранилища, рукописного отдела были отданы все последние средства, и на похоронах выяснилось — умер Дягилев нищим. Это произошло в 1929 году, неожиданно, и Стравинский сказал об «ужасной пустоте», а Прокофьев о том, что «поразило исчезновение громадной и несомненно единственной фигуры, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется».

Впрочем, Прокофьев ошибался. Были времена, когда Дягилева у нас почти полностью забыли, поскольку то, что сделал он на прище культуры, принадлежало, по сути, немногим, элите; в России же перерожда-

емой предъявлялись новые, исторически нужные требования к искусству. Были и издержки: то, что назовется потом вульгарно-материалистическими оценками прошлой эстетики.

Но время периодически пересматривает оценки. Занавес вновь поднят — и поэтический импресарио, коллекционер и балетоман, великолепный Дягилев опять знаменит. И что любопытно: модные ностальгические симпатии, обращенные в эпоху граммофонов и автомобилей на хромированных спицах, не имеют к его нынешней знаменитости никакого отношения. Имеет отношение совсем другое.

Дягилев был одним из тех, для кого вопрос культурной формы был важнейший вопрос: в селекции культуры, в поисках ее новых сортов и видов он усматривал эгоистический смысл своего существования. Сложность вкуса, неуловимая тонкость в искусстве были целью его работы, не означающей тем не менее, что этому человеку претила простота внешней трехмерной реальности, что творческие взоры его были обращены исключительно или к ретроспективным раскопкам старинных эпох, или к ледяному хладу бессердечного авангардизма. Он изыскивал свою тонкость и в обыденных, непосредственных, каждому знакомых темах и писал проникновенно как о Пикассо, так и о Левитане, его живописном величии, о его тургеневских утрах, его мотивах сенокосов, напоенных пряными ароматами трав.

Но и высокий класс вкуса не является вполне исправным ключом и не откроет

нам полностью истинного Дягилева, тут строй сложнее: его художническое чутье произрастало в нем из почвы исключительной, генетической и накопленной, культурности. Именно культурность, и к тому же не всякая, но экстракт ее, некий аристократизм культурности, то есть не только знание многого, а способность тщательного отбора из этого многого редкостей, элементов коллекционных даровала ему возможность с особой полнотой почувствовать и постичь ту органичность художественного мышления, то редкое умение гармонично соединять разные виды искусства в цельный и согласованный ансамбль, в одно звучание, что присуще всем произведениям, к которым прикоснулась его рука. Не обделила и прижизненная слава, ибо «свыше тридцати лет имя этого человека, — как пишет Д. Шмаринов, — стояло во главе многих выдающихся явлений» в театре, музыке и живописи конца XIX — начала XX века.

Теперь мы не можем увидеть дела Дягилева: о великих экспозиционных и сценических свершениях прошлого, увы, остаются только легенды. Но отголоски этих дягилевских дел и переворотов в русском искусстве явственно слышны сегодня в замечательной книге, важной как простому читателю, так и всякому настоящему художнику, надеющемуся в своей работе не только на «ученье у природы» и не только на себя одного при отображении жизни, но и на культуру, которая за ней стоит.

Александр БАСМАНОВ.



ПАМЯТНИК АРТЮРУ РЕМБО

Артю Рембо. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. М. «Наука». 1982. 495 стр.

Рембо умер в 1891 году в возрасте тридцати семи лет. Возраст, известно, критический для поэтов. Но когда Рембо умер, он уже давно не был поэтом. В больничной книге в записи о смерти Рембо обозначили негоциантом. Это была не насмешка или недоразумение, а сущая правда. Ибо как поэт Рембо умер много раньше, в возрасте двадцати лет. В общей сложности он писал стихи примерно четыре года. Но ничтожного срока было достаточно для того, чтобы Рембо обессмертил свое имя.

В чем состояло его предназначение? Чем интересен Рембо на закате XX века, спустя почти сто лет после смерти? Почему его поэзия удостоена у нас высокого права быть изданной в академической серии

«Литературные памятники» наряду с наиболее выдающимися произведениями всех времен и народов?

Всего только четыре года. Редкостный пример сосредоточения творческих сил. Рембо успел не только сложиться, но и состояться. И не только как поэт, но и как революционное явление.

Рембо революционизировал французскую поэзию. Это следует понимать в двух смыслах. Он был на стороне коммунаров. Вместе с Верленом участвовал в делах Коммуны. После ее поражения написал горькие строфы «Парижской оргии», хорошо известной у нас с 30-х годов в вольном переводе Э. Багрицкого и А. Штейнберга:

Ты плясал ли когда-нибудь так, мой Париж?
Получал столько ран ножевых, мой Париж?
Ты валялся когда-нибудь так, мой Париж?
На парижских своих Мостовых, мой Париж?

Но революционизируя поэзию, Рембо революционизировал и поэтику. Он писал стихи, которые не только по своей страсти, но и по форме были революцией.

Об этом наш читатель теперь получит более ясное представление. В России Рембо стали переводить давно, с 90-х годов. Есть несколько десятков книжных и журнальных публикаций. В 1960 году вышла небольшая книга избранных стихотворений Рембо со вступительной статьей П. Антокольского. Сейчас вышло полное собрание произведений поэта, подготовленное Н. Балашовым, М. Кудиновым и И. Поступальским.

В гимназии Рембо снискал расположение своих наставников тем, что с необыкновенной легкостью писал гладкие латинские стихи. Этот пай-мальчик мог бы стать человеком вполне благополучной судьбы. Случилось иное. Он явил собой образ поэта грядущего века, поэта-бунтаря. В его облике угадываются позднейшие черты Маяковского и Есенина, Элюара и Кеурака.

В обширной статье, сопровождающей поэтические тексты, обстоятельно прослежен путь Рембо. Вслед за французскими исследователями, которые многие десятилетия пробивались сквозь всевозможные легенды и мифы о поэте, автор статьи Н. Балашов устремляется на поиски подлинного Рембо. Сам заголовок его работы приобретает полемическое значение — «Рембо и связь двух веков поэзии», поскольку во французском литературоведении принято скорее говорить о разрыве связи, причем Рембо оказывается чуть ли не главным виновником «разрыва». Н. Балашов не скрывает, что связь поэзии двух веков подобна «неустойчиво взмытой вверх арке», но при этом парадоксальным образом «разрушитель» Рембо становится замковым камнем свода.

Рембо считал, что слишком часто «писатели были чиновниками от литературы». Он приблизил поэтический образ, традиционно отягощенный во французской поэзии риторикой, к реальной жизни. Свел поэзию к котурнов. В его стихах поцелуй вновь обрел значение поцелуя, а смех — смеха. Веселясь, он призывал ценить картофель не ниже розовых кустов. Это было не торжество утилитаризма, а пробуждение от романтического обморока.

В статье Н. Балашова верно сказано,

что «достигнутое в результате многовекового развития сплетение французского поэтического слова с логическим мышлением, выразившееся также в жесткости стихотворных правил... превратилось в цепи, начало восприниматься как гарантия... привычных структур, стертых употреблением в обиходе буржуазного мышления. Появилось опасение: пройдет еще какое-то время, и поэтические образы уподобятся карнидам на зданиях банков и изображениям статуй на кредитных билетах...». Сравнение выражает потребность в обновлении приемов поэзии всякий раз, когда они становятся слишком привычными.

Уже с первых самостоятельных стихов Рембо, несмотря на клятвы стать последователем парнасцев, не столько развивал, сколько ломал их традиции, создавая особую «непричесанную» поэтику. В его стихах отсутствовал зарифмованный сквозной сюжет, который можно безболезненно пересказать своими словами. Одновременно Рембо реформирует поэтическую лексику, смело вводя разговорные обороты, вульгаризмы, диалектные слова, сталкивает и смешивает их с научными терминами и латинизмами. К тому же он намеренно нарушает ритм стиха, отчего может возникнуть впечатление, будто он играет на расстроенном фортепьяно.

Его стихи действительно звучали «как пощечина общественному вкусу», от которой пунцовела щека честного французского мещанина. Во Франции, которую не без основания называли старшей дочерью католической церкви, Рембо принял вызывающую позицию аргелигиозного, нехристианского, скорее всего языческого поэта. Он призывает к «возмездно Тартюфу»; «прекрасный херувим с руками брадобрея» у него не становится на вечернюю молитву, а вместо того надувается пивом и дальнейшие свои действия излагает так: «...спокойный, как творец и кедров, и иссопов, пускаю ввысь струю, искусно окропив янтарной жидкостью семью гелиотропов». Как видим, образ певца изрядно начинен антиэстетическим зарядом, которым впоследствии воспользуются футуристы. В борьбе с буржуазной моралью оружием Рембо были сарказм, издевка.

Н. Балашов справедливо пишет, что Рембо «почти за сто лет до битлов и хиппи открывает возможность выражения в литературе глубоко равнодушного, наплевательского отношения к духовным и моральным ценностям существовавшего общества, включая и религию». Тем не менее цинизм в произведениях Рембо не следует мерить

мерками житейской добропорядочности. Тут гораздо вернее говорить о вызове, эпатиже как литературном приеме. По мнению Н. Балашова, стихотворения вроде «Моих возлюбленных малюток» не следует и на десятую часть принимать за чистую монету, понимать буквально. Разумеется, в стихах Рембо игровой момент имеет большое значение. Однако их содержание вполне серьезно и конкретно. Поэт описывает «малюток», в которых был некогда влюблен, и, вдруг новым зрением явственно видя их уродство, поражается:

И ради них дурных, как сон,
Мог рифмовать я?
За то, что был я в вас влюблен,—
Мое проклятье!

Дело не в том, что «малютки» уж так ужасны. Речь идет о раскрытии самого механизма поэтического обольщения.

Рембо не тот поэт, после чтения которого на читателя снисходит благодать, и, если перефразировать Лермонтова, в небесах он видит бога. Представление о гармонии сохраняется у Рембо лишь в воспоминаниях о раннем детстве. В остальном это поэзия отчаяния и ярости, уничтожающая благодущные иллюзии.

По ритмам, по накалу непримиримости к фарисейству Рембо близок XX веку. После поражения Коммуны он ищет для себя новые формы социальной активности. Гениальный юноша видит себя поэтом-мучеником, прорицателем, способным вести за собой общество.

Для того чтобы стать ясновидцем, необходимо, считал Рембо, привести в расстройство все чувства, идти на страдания, безумства. Поэт становится медиумом, ищет соответствия, которыми, по слову Блока, полон мир.

Образ все более превращается у Рембо в знак, отсылающий читателя к иной, не выразимой привычными словами реальности. Рембо непосредственно сближается с поэтикой символизма, или, точнее, в значительной мере превосходит ее. Особенно резко характер героя этой поэзии очерчен в известном стихотворении «Пьяный корабль», которое можно назвать и своеобразным автопортретом ясновидца. Центральный образ стихотворения многослоен и противоречив, как, впрочем, и сама «теория» ясновидения. Корабль, несущийся по морю без руля и ветрил, явился символом не только гордого, независимого существования, но и подчинения законам стихии. При этом образ «пьяного корабля» несет в себе социальный вызов, и не случайно

в нем находили отзвуки парижской весны 1871 года.

Рембо хотел быть ясновидцем и провозвестником. Но провозвестником каких сил? Н. Балашов называет их объективными силами, и похоже, что речь идет о некоем смутном пантеизме. Недаром католическая критика отзывалась о Рембо как о «мистике в состоянии дикости» (П. Клодель). Рембо был достаточно далек от мистицизма и дальше богохульства и языческих восклицаний в этом направлении не продвигался.

Позднейшие тексты Рембо свидетельствуют о свершившемся переходе от поэзии изображения к поэзии выражения (чему можно отыскать аналогии в живописи Гогена таитянского периода). По мнению исследователя, эти тексты «доказывают, что могут существовать такие словесные произведения, в которых, как в инструментальной музыке, смысл порождается в не меньшей степени звучанием, чем определенным (рассудочно определяемым) значением входящих в произведение языковых семантических единиц — слов, фраз, не столько их связью, сколько их соположением».

Можно, однако, вспомнить Аполлинера, который предупреждал против чрезмерной эксплуатации подобных приемов, и в частности автономно существующих «слов на воле». Аполлинер видел в них «отдаление от природы, так как люди не разговаривают при помощи слов на воле... Они дидактичны и антилиричны». И верно: образ Рембо порой оказывается на грани ложной многозначительности и даже иной раз приобретает те самые риторические черты, против которых поэт сам же и бунтовал: «Между колоколен протянул я канаты, между окон протянул гирлянды, от звезды к звезде — золотые цепи, и вот я танцую». Впрочем, подобная претенциозность свойственна далеко не всем его «озарениям».

Творчество Рембо, а также Верлена, Малларме и Лотреамона преобразило французскую поэзию. Арагон писал, что ее развитие в XX веке прошло «под знаком определяющего влияния Рембо». Можно сказать больше: без уяснения того нового, что внес Рембо в поэзию, затруднительно адекватно понять и таких больших и разных русских поэтов XX века, как Блок, Маяковский, Пастернак, Цветаева. Поздняя же проза Рембо в силу своей фрагментарности, метафоричности сыграла известную роль в развитии прозы нашего века.

Из сказанного ясно, насколько трудно переводить Рембо. Но здесь не место вздыхать о том, что Рембо так или иначе

теряет в любом переводе. Как решен вопрос перевода в книге? Ответственное дело перевода всего текста поручено одному переводчику. В этом есть своя логика. Достаточно взять издание 1960 года, чтобы убедиться, что когда соседствуют переводы несравнимых по своей значимости поэтов-переводчиков, вместо одного Рембо оказывается несколько: образ поэта мерцает.

В новом академическом издании перевод Рембо выполнен М. Кудиновым. Нельзя не воздать ему должное за совершенный труд, особенно если учесть, что многие стихи Рембо переведены на русский язык впервые. Во всяком случае, в книге строго выдержано стилевое единообразие. Однако составители не ограничиваются одним вариантом перевода. В примечаниях даны и другие варианты переводов, выполненных такими поэтами, как Ф. Сологуб, Б. Лившиц, И. Эренбург, П. Антокольский и дру-

гие. Порой варианты одного и того же текста вступают в «необъявленную войну» между собой, и не всегда перевод, помещенный в основном корпусе книги, оказывается лучшим, так что читатель волен выбирать. Порой же варианты настолько разнятся, что начинаешь сомневаться не только в том, что они являются переводами одного текста, но и в самих принципах переводческой работы, этого тяжелого вдохновения по требованию.

Однако факт остается фактом. У нас воздвигнут теперь русскоязычный памятник Артюру Рембо — добросовестно переведенное, тщательно откомментированное, замечательное академическое издание, одно из тех, что укрепляют репутацию «Литературных памятников», а также позволяют лучше постичь как богатство французской литературы, так и сложность развития культуры в целом.

Вик. ЕРОФЕЕВ.



Политика и наука

ПОЕЗДКИ И ПОРТРЕТЫ

Константин Серебряков. Дороги и люди. М. «Советский писатель». 1982. 295 стр.

Есть, по-видимому, особое удовольствие, если не наслаждение, проехать по той самой Военно-Грузинской дороге, по которой когда-то, полтора столетия назад, путешествовал Александр Сергеевич Пушкин. Погрузившись в прошлое, попытаться увидеть встреченное и окрестное глазами того времени. Настолько, что, как рассказывает о своей поездке по Военно-Грузинской дороге писатель К. Серебряков, «даже электромачты в ущелье, экскаватор у шоссе, след реактивного самолета на небе — эти зримые детали нынешней жизни видятся (может показаться преувеличением, но я испытал такое) «сквозь магический кристалл» прошлого, как некие знаки будущего. Нужны сильные эффекты, чтобы вырваться из объятий минувших дней и возвратиться в наше сегодня».

То же чувство острого, чуть окрашенного грустью наслаждения ждет сегодняшнего путешественника на Сахалине. Не просто на острове Сахалин, а на острове Чехова, «ведь Сахалин — это Чехов. Его путешествие... особенный человеческий поступок, акция, где человек раскрывается с такой силой, что трудно себе представить что-либо равноценное». Там, на далекой земле, можно попробовать «разгадать» Чехова, его личность, его до сих пор отчасти загадоч-

ную мысль поехать на тогдашний край света, да еще каторжный. И можно, наверное, посмотреть на окружающий мир чеховскими глазами, но вдруг ахнуть от удивления в музее, где лежит статистическая карточка, заполненная рукою писателя, а он их заполнил десять тысяч, единолично произведя перепись сахалинского населения. (Вы можете, скажем, представить себе не гения, нет, а рядового члена СП, который собственноручно заполнил бы десять тысяч таких же карточек? Я лично не могу. И вам вряд ли удастся. Иной у нас тип мышления, иной образ поведения...)

Зато величие Чехова после нынешней поездки «по тем же самым местам», пусть и отдаленным от чеховских времен чуть ли не столетием, почувствуется с особой остротой.

Оттого я и завидую автору рецензируемой книги — он все это испытал. Но я лично понимаю и другое: какая ответственность ложится на того, кто берется еще и описать, выразить словом для нас, читателей, свои впечатления, ощущения, мысли о вечно живых и дорогих для нас людях. Тут мало «чистого» знания, тут надобно еще в самом «письме» в чем-то приблизиться к ним. Только тогда мы почувствуем

свежесть восприятия только что увиденного и давно прочитанного, того, что мы и сами без автора знаем.

Надобен и свой взгляд на известное.

Скажут: да в нашей очеркестике чуть ли не целый жанр существует, никак, правда, не обозначенный, однако довольно распространенный, особенно в очеркестике газетной. Берется старая книга, статья, иногда хватают и высказывания, тоже, разумеется, давнего, и вот как бы по следам такого документального свидетельства пишущий едет и сравнивает прошлое с настоящим. Всегда, конечно, к выгоде настоящего. Было так (куда как плохо), а теперь так (совсем иная картина).

У Константина Серебрякова — очеркиста, критика — все это носит иной характер. У него и не путевой очерк, и не банальное сравнение (было — есть), и вовсе не занимательное литературоведение. А что? Прежде всего я, читатель, чувствую, что автор воспринял каждую из своих поездок как подарок судьбы. Серебряков так и пишет: «И тут судьба подбрасывает мне поездку на Сахалин...»

Автор, как многие из нас, с детства жил своими любимыми писателями, надеялся как можно глубже понять не только их произведения, но и их самих как личности. Это в нас, читающих, неосознанно есть все время; может быть, именно в том-то и смысл словосочетания «вечные спутники» (применительно к великим писателям, художникам). Спутники взыскательные, постоянно живущие в душе нашей, советчики, доброжелатели. Нередко и критики. Ведь порой мы оглядываемся на них: а как бы в этой ситуации поступили они? О пишущих и говорить нечего. Каждому пишущему полезно сверять свои шаги с трудом, творчеством, жизнью писателей-классиков. Думаю, что именно с этими мыслями отправлялся в свои поездки автор.

И вот он едет по Военно-Грузинской, в руках у него давно читаное-перечитаное «Путешествие в Арзрум», и он чуть ли не каждую строку сравнивает с распахивающимися окрестностями и уже готов послать себя к черту за то, что при выезде из Орджоникидзе забыл рассмотреть легендарный Казбек, а вот теперь, когда спохватился, «Казбек скрылся из виду — великана заслонила ничтожная высотка. Несправедливое преимущество малых гор! Увижу ли теперь Казбек, подъезжая к нему? Не упрячут ли его облака?..»

Вы чувствуете огорчение, досаду? И сегодня мы все еще стремимся взглянуть именно на то, что видел поэт. А ведь

полтора года лет минуло! Ну горы-то остались горами, они еще чего и кого только не переживут. А не горы? Собственно, все ли мы знаем о пушкинском путешествии в Арзрум, продолжавшемся с ночи на 2 мая 1829 года до 20 сентября того же года, чуть ли не пять месяцев? И Серебряков охвачен жадной поисков, своих решений замеченного. Как любопытно, свежо у него относительно «ошибки» Пушкина, поверившего при виде снеговой двуглавой горы, что это тот самый библейский Арарат (то был Арагац, называвшийся тогда Алагёзом). И все-таки (минуя цепь рассуждений): «Нет, по-моему, Пушкин не ослышался». Еще более любопытен рассказ о том, где в действительности пересекал Пушкин русско-турецкую границу. Это целая история, возможно, новая даже для пушкинистов. И вот уже рука тянется к книжной полке: а не перечитать ли «Путешествие в Арзрум», не вернуться ли к чеховскому «Острову Сахалину»?

Я толкую об этих двух очерках Константина Серебрякова так подробно не только потому, что они о писателях, всеми нами безоговорочно почитаемых. Скорее по той причине, что очерки о Пушкине и Чехове, открывающие книгу, сразу же дают представление о самом ее авторе. А в целом книга Серебрякова — о современниках, людях, которых писатель хорошо знал, некоторых десятилетиями. Так что истории как таковой в ней меньше всего. Но, если угодно, ее мало и в очерках о Пушкине и Чехове. И они, эти очерки, насквозь современны. Новизной взгляда на прошлое, нынешней аналитичностью, которая включает и живое внимание к, казалось бы, архаическим деталям.

Откуда у нашего современника повышенный интерес к истории? Очень серьезный вопрос, на который я сейчас не собираюсь давать ответ, да и по силам ли это мне? Замечу лишь, что на нынешнем витке истории, крутом, выразительном, грозящем оборваться и оборвать саму историю нависшей над человечеством атомной катастрофой, без понимания всей ценности истории, величия цивилизации, добытого и завоеванного гением и трудом человека, жить и трудно и сложно. Как точно говорит в очерке о Пушкине Серебряков: «Уважать историю — значит уважать современность, самих себя, создающих историю для тех, кто придет после нас». Именно так: жить с верой — придут после нас.

Но я несколько увлекся и отвлекся, надеюсь, правда, не от существа дела и не от самой книги, от ее смысла и духа. Повто-

ряю, содержание ее составляют главным образом портретные очерки о людях, с которыми автор встречался, виделся, беседовал, дружил много лет. Это Мартирос Сарьян, Мариэтта Шагинян, замечательный армянский живописец Геворг Башинджагян, писатель Костан Зарян, Дмитрий Гулиа... Серебряков рассказывает о них с любовью и восхищением. Хорош, например, взволнованный, полный дружеской теплоты портрет Ираклия Абашидзе. Я читал очерк о нем и все думал: с каким уважением и как часто говорил об Ираклии Абашидзе Александр Трифонович Твардовский, а на волну Твардовского настроил меня Серебряков.

Пишет он и о зарубежных писателях, с которыми ему довелось встречаться: о Дитере Нолле, Уильяме Сарояне, завещавшем похоронить часть своего праха в Армени.

Есть в этой сложной по составу, но очень цельной по стилю, духу, интонации книге и, так сказать, непортретные зарисовки. Скажем, «Пять страничек» — это пробы, керны, как бы вынутые из глубины памяти о днях войны и о собственной корреспондентской молодости автора. Или собственно очерки — о Ямале, например.

Но, пожалуй, центром книги является большая работа о Мариэтте Сергеевне Шагинян, занимающая чуть ли не сто страниц и как по объему, так и по новизне размышлений о феноменальном творческом пути писательницы превосходящая все помещенное в книге. «Феноменальном» я написал не случайно. В самом деле, в 1903 году пятнадцатилетняя Мариэтта Шагинян опубликовала в газете «Черноморское побережье» свою первую литературную работу — фельетон «Геленджикские мотивы», а в 80-е годы «Новый мир» несколько лет печатал ее большую книгу «Человек и время» — мемуарный, философский, историко-социальный труд. И кажется, не вчера ли я читал статью Мариэтты Шагинян «Право не быть равнодушным» в «Правде», «Завтрашний день» в «Литературной газете», «Искусство убеждать» в «Советской культуре». Сколько в них страсти, молодого огня и мыслей! Однажды Константин Багратович Серебряков показал мне послед-

нюю книгу Шагинян с длинной дарственной надписью. Длинной — я подчеркиваю, потому что видел, каким трудом она давалась: прыгающие буквы, сломанный почерк. Но не поддающаяся старости воля! «Когда это написано?» — спросил я. «За десять дней до смерти».

Прожита уникальная жизнь, до предела, заполненная работой, работой, работой и самозабвенными увлечениями — от научной организации труда до музыки чешского композитора Мысливечека (целая книга о нем написана, у самих чехов нет аналогичной).

Очерк Серебрякова, названный «Уроки жизни» и снабженный скромным подзаголовком «Штрихи к портрету Мариэтты Шагинян и беседы с ней», как я полагаю, на данный момент лучшее из всего написанного об этой писательнице. Здесь и литературный портрет, и юмор, и острая наблюдательность, и сюжетная занимательность. Нет только «литературного» пафоса и тем более словесной фальши, так часто, к сожалению, еще встречающихся в мемуарных свидетельствах. Перед нами живой человек — талантливый, непредсказуемый, со своими странностями, а то и слабостями. Но живой — ближе. Такую Мариэтту Шагинян и рисует нам Константин Серебряков. Думаю, и на то есть все основания, что мы вправе ждать от него еще более развернутой работы о писательнице: знал он ее многие годы и, главное, знал то, чего мы теперь без Серебрякова и не узнаем. Все должно быть воссоздано и воспроизведено: Мариэтта Шагинян — явление в советской литературе.

Книга «Дороги и люди» рождалась и составлялась годами — в размышлениях об увиденном, о встречах с людьми, близкими автору, о жизни. Суждения книги глубоко даже тогда, когда не бесспорны.

И она получилась очень интересной. Здесь нет случайных материалов. Все продумано. Лишнее отсеяно. Оставлено главное, что волнует писателя-документалиста. И это главное стоит нашего уважительного внимания.

А. КОНДРАТОВИЧ.



КИБЕРНЕТИКИ СПОРЯТ

Д. А. Поспелов. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту. М. «Наука». 1982. 224 стр.

Среди тех, кто называет себя кибернетиками, не столь уж мало людей, не признающих даже термина искусственный интеллект. В самом деле, чем исследования в области искусственного интеллекта отли-

чаются от обычной работы специалистов по вычислительным машинам, программистов, математиков, логиков, психологов, наконец?

Несколько лет назад в Репине под Ленинградом проходило первое международное

совещание по искусственному интеллекту. Один из его организаторов, Дональд Мики, так говорил о подобном рода вопросах в узком кругу коллег:

— Чего еще вы ждете от программистов, машинников, электронщиков и прочих серьезных людей? Что они возьмут да признают: на привычных уже электронных машинах и устройствах, с помощью программ, которыми эти люди давно пользуются, можно делать нечто совсем другое, в корне отличное от того, чем они занимаются? Отродясь такого не бывало. Вот, скажем, до пятидесятых годов существовали генетики и биохимики. И вдруг в тех же институтах и лабораториях, проводя, в сущности, те же исследования, появились группы людей, назвавших себя молекулярными биологами. «Но ведь они малограмотны в генетике!» — ужасались генетики. «Их биологический багаж крайне скуден!» — говорил биохимики. Прошли годы, прежде чем новая наука утвердилась.

Видимо, сейчас — появление книги Д. Поспелова одно из тому свидетельств — утверждается и новая наука о проблеме ИИ. Осенью прошлого года прошел уже третий международный симпозиум, посвященный искусственному интеллекту. Одна за другой создаются лаборатории, на дверях которых написаны эти два слова. За последние годы вышло огромное число книг по вопросам ИИ. Эти факты говорят сами за себя. Но главное, пожалуй, даже не в них, а в том, что осознан предмет и метод новой науки, определена ниша, занимаемая ею среди больших и малых околокомпьютерных наук.

В книге Д. Поспелова приводится таблица, составленная американским исследователем Л. Шиклоши еще в 1969 году, но, по-моему, именно сегодня приведенные в ней данные стали особенно актуальными, так как четко отражают суть нынешних сложностей в проектировании искусственных интеллектуальных систем. В таблице Шиклоши поражает удивительная закономерность: то, чем человек обычно овладевает в зрелом возрасте (скажем, игра в шахматы), запрограммировано на ЭВМ почти сразу же после ее создания. Наоборот, процедуры, доступные младенцу (например, восприятие окружающей среды или речи), неподвластны машинному интеллекту до самой последней поры. Новые работы лишь подтвердили правильность отраженной в выводах Шиклоши закономерности.

Подтверждает ее, в частности, и академик Колмогоров. Правда, он, говоря о програм-

мировании на ЭВМ различных функций, свойственных человеку, включает в уже реализованное и простейшие процедуры — условные рефлексы. В сущности, все достижения кибернетики, отмечает ученый, четко делятся на две группы: создание моделей условных рефлексов и моделей логического вывода. Но условные рефлексы, говорил Колмогоров, свойственны всем позвоночным, а логическое мышление возможно лишь на последней ступени развития человека. Таким образом, лишь верхки и корешки, лишь самое сложное и самое простое оказались в центре внимания кибернетиков. А все, что в середине — работа воли, эмоции, воображение, интуиция, — все, что надстроено над рефлексами, но предшествует логическому выводу, почти не изучалось и не моделировалось.

Но ведь именно эти проявления человеческого «я» — важнейшие признаки и характеристики личности, и потому они стали предметом изучения специалистов по искусственному интеллекту.

Какими путями движутся ученые, избравшие для себя эту отрасль кибернетических исследований? Не без самоиронии ставит Д. Поспелов эпиграфом к главе «Будущее» своей книги слова Гарсиа Лорки: «...и называют тысячами пальцев тысячи дорожек для скитальцев». Дорог действительно тысячи, и все нехоженые, а для сугубо машинно мыслящего электронщика или программиста и непроходимые. В самом деле, что для сердца истинного кибернетика таится во фразе: «Он вошел в комнату в пальто в клетку»? Почти ничего. Автор же книги видит здесь повод для серьезного разговора о внеязыковой информации, которой мы всегда пользуемся, общаясь друг с другом, и которой так остро недостает искусственному интеллекту машин. «Понимание, — пишет Д. Поспелов, — это процесс соотношения языкового описания с внеязыковой ситуацией». За этим несколько занаученным высказыванием скрывается одна из главных идей книги и всего научного направления, связанного с ИИ. Для взаимопонимания необходима единая модель мира. Люди обладают ею автоматически, а автоматы от рождения полностью лишены, если, конечно, их конструктор сразу же не предусмотрел специальные меры и не придумал специальные программы (которых пока еще, можно сказать, нет). Впрочем, автор книги приводит пример-анекдот, показывающий, что люди тоже порой не могут понять друг друга, когда модели участников процесса коммуникации не совпадают:

- За чем это такая большая очередь?
- За Голсуорси.
- Это лучше кримплена?
- Не знаю. Не пил.

Одна из центральных проблем, обсуждаемых в книге, — необходимость учитывать при моделировании сознания и поведения человека особый тип устройства его мозга: полушарную асимметрию. Известно, что наше левое полушарие строго логично, рационально; процедуры, характерные для него, могут быть описаны словесно, а потому формализуются и в принципе преобразуются в четкие алгоритмы — единственный язык, усваиваемый современными машинами. Но правое полушарие мыслит на уровне чувственных образов — потому-то во сне, когда левое полушарие отдыхает от дневных трудов, мы видим яркие бессловесные сны, испытываем ощущения, столь же мало выразимые словами, как музыка или живопись. Вот эти метаобразы моделированию пока не поддаются совершенно, а ведь они неотъемлемая часть нашего мышления. Следовательно, пишет автор книги, «центральными проблемами, еще ждущими своего решения в теории искусственного интеллекта, являются проблемы выявления метапроцедур правого полушария, увязка их действий с действиями метапроцедур левого полушария (ибо только при совместной работе обоих полушарий возникает феномен человеческого мышления и человеческого поведения) и, наконец, техническая реализация этих «правополушарных» процедур (персептрон¹ показывает, что иногда это удастся и на современном уровне наших знаний о процедурах правого полушария). Без решения этих проблем теория интеллектуальных систем не может

¹ Персептрон — устройство, состоящее из множества воспринимающих приборов, например фотоэлементов, соединенных между собой. Оно способно отличать один образ от другого, тем самым в известном смысле моделируя «правополушарный» способ человеческого восприятия мира, основанный не на алгоритмах, а именно на переработке образной информации.

плодотворно развиваться дальше, хотя и может предлагать достаточно развитые конструкции «левополушарных» роботов».

Спор, напряженный и страстный, с теми, кто вполне готов довольствоваться этими «достаточно развитыми», но при всем том, думается, неинтеллектуальными конструкциями, проходит через всю книгу. И даже там, где изложение мыслей и догадок автора становится подчеркнуто академичным, почти всегда можно обнаружить острую полемику с многочисленными оппонентами, все еще продолжающими считать, что кибернетику надо делать «без затей», попросту совершенствуя ЭВМ, повышая их быстрейшее действие и объем памяти.

«Можно долго спорить о достоинствах собаки, но многие основания для спора отпадают, как только предмет спора появится в поле зрения спорщиков», — замечает автор книги совсем по иному поводу, но слова его можно отнести ко всей ситуации с проблемой искусственного интеллекта в целом. Поэтому особенно ценны в книге страницы, где описаны первые интеллектуальные системы и пути, которые вели к их созданию. Оно продолжается, и процесс этот, видимо, неостановим хотя бы потому, что человек рожден, чтобы мыслить. В том числе о вещах, которые сегодня кажутся фантастическими.

К тому же исследования в области искусственного интеллекта, как бы они ни завершились в будущем, приносят вполне реальные результаты уже сегодня. Все более «умные и умелые» роботы помогают человеку на производстве, в сельском хозяйстве, в быту. Удастся ли научить их воспринимать образную информацию? Этот вопрос пока открыт. Однако, что бы там ни было, спор кибернетиков можно признать плодотворным, поскольку он, как говорят в таких случаях, дает практический выход: высказываемые идеи материализуются в действующие конструкции.

К. ЛЕВИТИН.

КОРОТКО О КНИГАХ



ОЧЕРКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СИБИРИ. В 2-х тт. Т 1. Дореволюционный период. 606 стр. Т. 2. Советский период. 630 стр. Новосибирск. «Наука». 1982.

Труд поистине гигантский: охватить четыре столетия, вытащить из глубокого забвения десятки интереснейших имен. В создании его участвовал большой авторский коллектив во главе с академиком А. П. Окладниковым, ныне покойным.

Рассматривается в «Очерках...» творчество писателей, которые жили в Сибири и участвовали в развитии местной литературы. Своеобразие их определяется так: «Жизненная активность, готовность противостоять трудным обстоятельствам существования, в том числе суровому климату и далеко не всегда щедрой природе...»

Первый том «Очерков...» охватывает время с конца XVI века по 1917 год. Среди произведений первых двух столетий особый интерес вызывают летописи, среди них Кунгурская, составленная одним из сподвижников Ермака. Под влиянием декабристов набирают силу сибирская поэзия, краеведческий очерк и гражданская публицистика. Творчество сосланных в Сибирь Чернышевского, Достоевского, Короленко подталкивает гражданские устремления сибирских писателей.

«Очерки...» показывают, как постепенно сибирская передовая интеллигенция завоевывает всероссийскую журнальную трибуну. Реалистический роман И. А. Кушевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин», рисующий нравы сибирского города, публикуется в «Отечественных записках». Роман И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» становится программой действий сибирских демократов. Его высоко ценили М. Е. Салтыков-Щедрин и В. Г. Короленко.

В двухтомнике убедительно прослеживается внутреннее родство сибирской литературы с общерусской литературной историей. Показана активная роль А. М. Горького в развитии сибирской литературы. Он лично знал многих писателей, поддерживал их творчество. На Первом съезде писателей Горький говорил о том, что Сибири суждено сыграть важную роль в развитии советской литературы.

В марте 1922 года выходит первый номер журнала «Сибирские огни». Один из его создателей, талантливый критик В. П. Правдухин, писал тогда: «Он станет притягивающим со всей Сибири центром для литературно-научных сил».

Авторы «Очерков...» не уходят от острой литературной борьбы 20-х годов в Сибири, раскрывая реакционную сущность возникшего в 1928 году журнала «Настоящее». Писатели-сибиряки постепенно овладевали методом социалистического реализма. Значительными для всей русской литературы стали созданный в то время роман В. Зазубрина «Два мира», повести Вс. Иванова «Партизаны» и «Бронепоезд 14-69» и Л. Сейфуллиной «Перегной» и «Виринея».

Если первый том часто открывает для современного читателя новые имена, то второй показывает новые грани в творчестве широкоизвестных и любимых советских писателей-сибиряков — К. Седых, Г. Маркова, С. Сартакова, С. Залыгина, К. Урманова, А. Коптелова. И более молодой писательской волны (это сибиряк А. Фадеев говорил: «Мы входили в литературу волна за волной») — В. Распутин, А. Вампилова, В. Шукшина, поэтов Павла Васильева, Ильи Мухачева, Леонида Мартынова, Александра Смердова.

У этой работы, ставившей своей целью дать полную картину развития русской литературы в Сибири, есть просчеты. В частности, композиционный. О творчестве одного и того же писателя рассказывается в развернутой вступительной статье к каждому разделу, в литературном портрете и в жанровых обзорах. Это вызывает повторы. Но сама идея и труд, вложенный в воплощение двухтомника, заслуживают того, чтобы с интересным изданием познакомился широкий читатель, к которому главным образом и адресуются авторы.

Н. Макарова.



ВЛАДИМИР ПОРТНОВ. Равновесие. Избранные стихи. Баку. «Язычь». 1982. 144 стр.

Это честная, прямая, достоверная книга стихов. «Все о жизни своей бестолковой я пытаюсь, как мог, рассказать». И рассказано,

чувствуется, «один к одному», в полном согласии с опытом событий и чувств. Автор — переводчик, однако начавший с оригинальных стихов и не прекращавший их писать. Теперь часть их собрана под одним переплетом, и получилась «сюжет судьбы». Много это или мало для поэта-лирика? Скажут: смотря какая личность, крупная ли, смотря какая судьба. Но, читая стихи В. Портнова, убеждаешься: любая обыкновенная жизнь интересна и крупна, когда приближена к нашему глазу без позы и рисовки, вместе с сопутствующими обстоятельствами времени и с точным пониманием собственной души. Всякая подлинная встреча «просто с человеком» — и в реальности и в литературе — значительна. Но с человеком, а не с его подставным муляжом или вымечтанным призраком. Ощущение банальности порождается именно подставками такого рода, какие бы ухищрения их ни сопровождали.

И еще по ходу чтения этих стихов приходишь к выводу, что многократно попадавшая под подозрение «повествовательность» отнюдь не губительна для лирики. Напротив, непритязательный и связный рассказ в стихах — микрорсужет, признание, зарисовка — по контрасту с примелькавшейся уже сложностью производит даже освежающее впечатление. «Завораживает простота», как замечает автор «Равновесия» о розе, о ее простодушной готовности исполнять назначение цветка. Этого принципа он и старается держаться.

Впрочем, как уже говорилось, в книжке свой сюжет — не цветочный и не лиственный: прожитые годы. Вот детство и юность, проведенные в пробах, скитаниях, в направляющем обруче армейской дисциплины. Вот остепененность, оседлость. Дом как предел странствий: «...построена жизнь, хоть и поздно, и расставлено все по местам», — так что можно теперь, побродив под дачным или городским дождиком, задумавшись над отголосками сердечных дел, сочинить потом философский «Сонет волкам». А вот плоды чтения — от арабских сказок до Франсуазы Саган, и они тоже результат разнообразных проб души, примеряя ее к тем или иным положениям, но проб уже не житейских, а воображаемых, подкрепленных чужой фантазией. Как приоткрыто можно бы все это перемешать — чтоб мальчишка из ватаги Робин Гуда оказался рядом с паренком, возвращающимся в родную казарму после пестрого и докучного дня, проведенного в увольнительной! Но в книжке прочной чертой отделена жизнь от литературы, случившееся от привидевшегося, биографическое от мечтательного. И, знаете, так надежнее, так даже интересней.

Стихи об отрочестве и об армейском быте, наверное, лучшие. Радость жизни, захлестывающая мальчишку конца 30-х, счастливого среди летнеканicularного, парусино-волейбольного рая неосознанностью о прошлом и неведении близкого будущего. Бакинские и харьковские пригороды, где пестрый оголодавший послевоенный люд налаживает жите и замыкает любопытствующего паренка в свойское, родственное кольцо. А потом — на привале, в казарме — такое же чувство уюта в многолюдье: столь редкое в «сложных натурах» чувство об-

житого дома посреди тесноты, возни, чужих дыханий. И нежный, но краткий солдатский роман с доброй, работающей девушкой, чей образ (в стихах «Суббота», «Песня Шуре», «Насыпь») — самое, быть может, музыкальное и сердечное звено книжки.

Но живущий, по его собственным словам, «как все», легкий и на подъем и на стоянку в первой же гавани герой книги подмечает за собой «повадку несколько иную». В чем эта «инакость»? Пожалуй, не в «темпераменте», «родословной» или «уровне культуры». А в том, что где для большинства пролегает единственная жизненная дорога, герой «Равновесия» видит перекресток и, выбирая неизбежно какой-то один путь, не может не жалеть о путях невыбранных и непройденных. Так, осев на юге, он грустит по северу, по снежной России, по воображившейся учительской доле на Псковщине. И стихи о северном крае, который словно не замечает любви «докуливого гостя», а между тем так дорог, светел и хорош («Идиллия», «Осенний сон», «Зазимье», «Снегурочка», «Август»), — стихи о несостоявшемся кажутся чуть ли не осязаемей и душевней, чем стихи об устоявшемся.

В путешествиях же по эпохам истории всего точнее и колоритнее получилась фигура молодого искателя приключений, кто бы он ни был: юнга под пиратским флагом или шкет-беспризорник, пересекающий страну с мечтой о хлебом Ташкенте. Доброжелательная, простецкая, демократическая «оседлость» и неискоренимое поэтическое бродяжничество, социально-житейская основательность «областного реализма» (как полушутя называет поэт свою манеру) и вкус к авантюрно-романтическому способу существования ладят у В. Портнова между собой, чем и оправдано — как знак душевного прироста — заглавие его книжки: «Р а в н о в е с и е».

И. Роднянская.



М. Б. ХРАПЧЕНКО. Горизонты художественного образа. М. «Художественная литература». 1982. 334 стр.

Этой книге М. Б. Храпченко предшествовали две другие — «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» (1970) и «Художественное творчество, действительность, человек» (1978), в которых был дан анализ кардинальных сегодня вопросов теории литературы и искусства, методологии литературоведения. Автор не только не оставляет без внимания ни одной проблемы, которыми активно занимается наша литературная критика, но и стремится наметить перспективы дальнейшего изучения проблем, тесно связанных с традициями старой русской литературы и практической деятельностью советских писателей, с их сегодняшней творческой жизнью.

В новой книге рассматриваются мало разработанные в науке теоретические темы, связанные с выявлением специфики художественного образа как средства познания

и отражения жизни, развитие его в мировой литературе XIX—XX столетий. Здесь и вопросы об эстетических и художественных ценностях. О путях взаимосвязей и взаимообогащения социалистических культур. О функциональном подходе к литературным явлениям.

Статья, давшая название книге, посвящена современному искусству, которое непрерывно обогащается новыми способами и средствами образного освоения мира, средствами воздействия на духовную жизнь людей.

Будущее искусства во многом заключено в настоящем. Творческие потенции литературы и искусства не уменьшаются, а увеличиваются. И наука не соперник искусству, а его соратник и помощник в познании и отражении мира. Процесс их взаимодействия плодотворно протекает сегодня, но он заключается не в их унификации, не во взаимном обмене методами творчества, указывает Храпченко, а в тесном сотрудничестве, имеющем своей целью социальный прогресс, рост человека, его духовных сил.

Это особенно видно в социалистических странах, где интенсивно идет процесс взаимодействия и взаимообогащения культур, являющийся важным фактором их неуклонного роста. Характерная особенность взаимообогащения социалистических культур заключается в том, что оно затрагивает широчайшие слои трудящихся, получивших доступ к эстетическим и художественным ценностям других народов.

Новаторский характер в книге несут статьи «Пути взаимообогащения социалистических культур» и «Эстетические и художественные ценности». Много нового найдет читатель в статье «Созидательная энергия литературы», где автор снова возвращается к проблеме функционального изучения литературы. Отстаивая это новое направление литературоведческих исследований, автор убедительно показывает, что на нынешнем этапе развития литературной науки центр тяжести постепенно начинает перемещаться в сферу изучения художественной литературы как динамической системы, ее социально-эстетических функций, ее воздействия на читательскую аудиторию в разные исторические периоды.

Роли литературной критики и науки в осмыслении процессов развития современной литературы, и прежде всего литературы народов нашей страны и других стран социализма, посвящена статья «Литературный процесс и проблемы теории». Автор подчеркивает, что для успешного роста нашей литературы и критики требуется непрерывная разработка теоретических проблем, и прежде всего касающихся метода социалистического реализма. Необходимо решительно преодолевать эмпиризм, описательность, навязывание предвзятых схем и умозрительных выводов при анализе произведений литературы социалистического реализма. На это нацеливают известные постановления ЦК КПСС по вопросам художественной литературы и критики.

Конкретным явлениям русской классической и современной советской литературы посвящены часть второго и весь тре-

тий раздел книги, в которых охарактеризованы некоторые итоги современного изучения творчества Гоголя, Некрасова, Толстого, Достоевского, Горького, Шолохова и других писателей, намечены перспективы развития нашей филологической науки.

Небольшая статья «О Шолохове» представляется мне исключительно ценной для современного шолоховедения, которое стремится к правильному пониманию своеобразия шолоховского изображения социальной жизни. Автор решительно возражает против локального истолкования произведений писателя, особенно романа «Тихий Дон» и образа Григория Мелехова.

Новая книга академика М. Б. Храпченко «Горизонты художественного образа» еще раз подтверждает известную истину: развитие научной мысли, в том числе в области теории литературы, плодотворно только тогда, когда опирается на марксистско-ленинскую методологию.

Вл. Котовсков.

Ростов-на-Дону.



А. Ф. ХРЕНОВ. Мосты к победе. М. Воениздат. 1982. 349 стр.

Читая мемуары генерал-полковника А. Хренова «Мосты к победе», убеждаешься: многое нами еще не осмыслено и не описано в истории обороны Одессы, да и других городов-героев. Автор книги. — Герой Советского Союза, руководитель инженерных войск, возводивших оборонительные укрепления Одессы, Севастополя, Ленинграда, — сообщает немало новых, интересных фактов; рассказывая собственную военную биографию, освещает еще одну грань Великой Отечественной войны.

Рецензируемая книга — один из первых мемуарных трудов, в котором раскрывается роль инженерно-саперных соединений, понтонно-мостовых батальонов, отрядов и групп подрывников и минеров, других специальных подразделений. С исключительным знанием дела повествует автор об особенностях действий инженерных войск, щедро делится своим богатейшим опытом организации и эффективного применения этих войск, делает оригинальные обобщения и выводы, приводит ряд новых данных.

Книга изобилует множеством исполненных подлинного драматизма эпизодов. Вот один из них, описанный в разделе, посвященном обороне Одессы. Из письма, обнаруженного у попавшего в плен румынского офицера, стало известно, что в случае захвата Одессы в здании управления НКВД на Маразлиевской улице (ныне улица Энгельса) расположится штаб фашистского командования. Тогда и возникла у Аркадия Федоровича Хренова мысль подготовить врагам минные «сюрпризы».

Был разработан план секретного минирования. В вырытый в подвале здания на Маразлиевской котлован, в ниши, выбранные по двум углам здания выше цоколя

ной части, в вентиляционные каналы, проходившие в стенах, было уложено три тонны тола. Конец детонатора прикрепили к клемме специального радиоприбора, дублирующий комплект которого, настроенный на такую же волну, оставался у нашего командования. Для надежности к радиоприбору подключили две стокилограммовые бомбы (их удалось заложить под колонны в вестибюле). Оставлены были также «сюрпризы» с часовыми механизмами в порту, на аэродроме и на других объектах.

Результат взрыва на Маразлиевской всецело зависел от удачно выбранного момента. Человеком, способным узнать, когда в штабе фашистов состоится какое-либо крупное собрание, и своевременно сообщить об этом на Большую землю, был прославленный герой одесского подполья Владимир Александрович Молодцов (Бадаев). От него и принял А. Хренов, уже будучи под Бахчисараем, радиосообщение такого содержания: «Концерт на Маразлиевской начнется 22-го в 17.30». (Наши войска оставили Одессу, как известно, 16 октября сорок первого года.)

Была немедленно приведена в действие специальная станция радиотехнического звонка, установлен дублирующий прибор, точно настроенный на заданную волну. В эфир пошла команда, которую ожидало одно-единственное приемное устройство. В Одессу, вспоминает А. Хренов, понеслись позывные мести...

Очевидцы рассказывали, что взрыв был подобен землетрясению. Партизаны доносили, что под обломками здания погибли около 50 генералов и офицеров оккупационных войск. «Насколько мне известно, — заключает автор, — это был если не первый, то один из первых взрывов радиотелефугов, произведенных нашими инженерными войсками в годы войны»...

С большим интересом читаются страницы мемуаров А. Хренова, посвященные обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Заполярья, Керченско-Феодосийскому десанту, наступательным операциям на Крайнем Севере, освобождению Карелии, разгрому японского милитаризма.

Я. Звездов.

Одесса.



В. ЛЕВИН. Свидетели из Каповой пещеры. М. «Детская литература». 1982. 222 стр.

«Едва ли не самым великим событием археологической науки XX века является открытие человека верхнего палеолита. Именно открытие, ибо тот наш пращур, которого рисовало воображение исследователей прошлого века, — «звероподобный», «инстинктивный»... исчез. Вместо него перед мысленным взором ученых предстал математик, астроном и мыслитель». Этими словами начинается книга В. Левина «Свидетели из Каповой пещеры», первая (и, на мой взгляд, самая интересная, насыщенная новой информацией) глава которой посвящена наскальной живописи.

Палеолитическое искусство вообще, пещерная живопись в частности — отнюдь не вольная забава древних в часы досуга, когда в наших предках «вдруг» пробудился творческий дух, но и не утилитарное действо, когда животные изображались на стенах пещер якобы с той единственной целью, чтобы всяк мог оттренировать на «художественной модели» замах копыта и поучаствовать в ритуальной охоте. Еще выходят книги, утверждающие ту и другую точку зрения, но это свет уже погасших концепций. Первобытный художник рисовал не просто те или иные фигуры — он изображал мироздание, создавал свое о нем представление.

Композиция и детали рисунков строго канонизированы. Намечена хорошо знакомая нам по более позднему искусству символика трехзвенного членения видимого и сущего: птицы изображены тяготеющими к «горным высям», копытные занимают центральное, олицетворяющее земное бытие положение, змеи-рыбы представляют собой царство подземного мира. Тщательно продумано расположение символических знаков, которых немало в пещерных галереях, четкий смысл прослеживается в орнаментах, в гравировке на кости и камне. Во всем этом закодированы представления древних людей о мире, о временных ритмах и жизненных циклах, о рождении, развитии, смерти, зачатки математических навыков, а также некая система мифологических представлений. Причем основные принципы отображения и осмысления мира единообразны в течение многих тысячелетий на всем пространстве Евразии! «... человек палеолита, — делает вывод В. Левин, — не только пытался осознать взаимосвязь своего бытия, жизни природы и космических явлений, но и начал организовывать пространственно-временные категории с такой стихийной убедительностью, что главные достижения его коллективной мысли вошли основой в одну из древнейших в истории человечества космогонических схем. И схема эта оказалась настолько устойчива, что пережила эпоху своих создателей, питая искусство и христианское, и буддийское, оставаясь и сейчас основой культурной традиции многих современных народов мира».

В своей книге автор, неизменно учитывая новейшие достижения археологии и современной научной мысли, прослеживает развитие искусства с самых дальних времен, рассматривает его во взаимосвязи с другими сторонами человеческой деятельности. Но охватить все, конечно же, невозможно, поэтому главы книги В. Левина прорисовывают культурно-историческое движение человечества пунктиром: шумеры, греки, кушане, скифы... Множество самобытных культур, взлеты, падения, взаимосвязи и скользя, казалось бы, навсегда оборванных нитей, надолго забытых цивилизаций. Но автор вновь и вновь показывает: мертвых культур нет, — ничто и никогда не проходит бесследно.

Историческое мышление необходимо как для понимания настоящего, так и для предвидения будущего. В ряд книг, воспитывающих и углубляющих это мышление, можно поставить и «Свидетелей из Каповой пещеры».

А. Изборский.



ЭДГАР ЧЕПОРОВ. Как делаются сенсации. М. «Советская Россия». 1983. 110 стр.

Об Англии и англичанах уже написано немало, и все же книга Эдгара Чепорова вносит в наше представление о них новые интересные штрихи. Автор несколько лет работал в Лондоне корреспондентом АПН и «Литературной газеты» — факт, заслуживающий упоминания, ибо срез реальности, какой открывается в книге, непременно требовал от журналиста личного знакомства с этой реальностью и непосредственных впечатлений.

Э. Чепоров рассказывает о том, как делаются на Британских островах сенсации, то есть о том, кто их делает, из какого материала и как именно. Перед читателем возникает картина «массовой культуры». Сенсация на Западе, в частности в Англии, пишет Чепоров, «не сногшибательная новость, не та известная ситуация, когда «человек укусил собаку», а весь стиль общения «массовой культуры» с читателем и зрителем». Шум, поднятый вокруг так называемого великого железнодорожного ограбления, смакование других преступлений, история с попыткой запрещения через суд порнографического бестселлера, ажиотаж из-за никчемной авангардистской «скульптуры», футбольная истерия... Очень разные события, очень непохожие явления, но все они как бы сдвинуты со своего места, вытолкнуты из положенной им «ниши» и вовлечены в единую круговорот, именуемую шоу-бизнесом. Все превращается в балаган, в щекочущие нервы представление.

Процесс производства этой массовой культурной «похлебки», общий для Запады, в данном случае особенно интересен: речь идет о стране, известной своим традиционализмом и определенным консерватизмом. Сдержанность, уравновешенность, едва ли не флегматичность всегда отличали островной характер британцев. И вот парадоксы сегодняшнего дня. Респектабельный по английским меркам писатель пишет книгу о преступлении фактически на паях с его участниками (получилась, констатирует Чепоров, «инструкция, как грабить поезда и какие промашки при этом случаются»). Облаченные в средневековые мантии судьи отвергают иск о запрещении похабнейшей исповеди американской «порнозвезды» Линды Лавлейс (а запрет на «Декамерона» был отменен в Англии лишь в 1954 году!). На чинной Кингс-роуд, в клубе, который облюбовали сменившие хиппи панки, музыканты плюют в зрителей (не в переносном смысле, в буквальном), а зрители плюют в музыкантов. В статьях на спортивные темы газеты избегают слова «спорт», предпочитая употреблять «шоу-бизнес», — деталь, выражающая нынешнее отношение к спорту на родине спорта.

Словом, в меру возможностей все делается для того, чтобы рядовой англичанин утратил нравственные ориентиры, перестал понимать, что хорошо и что плохо, и где «свобода самовыражения» превращается в свободу от разума и морали, в равнодушие

к социально значимому. А как раз о социальных проблемах западная, и в том числе английская, пресса предпочитает умалчивать.

Ю. Михайлов.



В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ. Неопубликованные произведения. М. «Наука». 1983. 416 стр.

Неизвестный Ключевский... На первый взгляд это может показаться странным, ведь только после 1917 года собрание сочинений выдающегося русского историка издавалось трижды (были и дореволюционные издания). Последний восьмитомник вышел в 1956—1959 годах. В 1968 году была опубликована часть рукописного наследия Ключевского — письма, дневники, афоризмы, мысли об истории. И вот перед нами «новый» Ключевский. Усилиями ответственного редактора академика М. Нечкиной (ей, кстати, принадлежит превосходное фундаментальное исследование жизни и творчества историка) и составителей А. Зимина и Р. Киреевой советский читатель получил возможность познакомиться с той частью творчества Василия Осиповича Ключевского, которая до сих пор оставалась малоизвестной даже для профессиональных историков.

В сборник вошли два лекционных курса Ключевского — «Западное влияние в России после Петра» и «Новейшая история Западной Европы в связи с историей России». В самостоятельный раздел выделены историографические очерки о русских историках XVIII—XIX веков. Литературоведам несомненно будет интересно познакомиться с заметками Ключевского о Лермонтове, Гоголе, Аксакове, Гончарове, Достоевском, Чехове. Составители включили в сборник и литературные опыты самого историка, где нетрудно заметить влияние Чехова, вероятно любимого писателя Ключевского.

Наибольший интерес, на мой взгляд, представляет публикация лекционного курса «Западное влияние в России после Петра», прочитанного Ключевским в 1890—1891 годах в Политехническом музее в пользу голодающих. Разночинец по происхождению и образу мыслей, Ключевский дает яркие индивидуальные и групповые портреты российских самодержцев и дворянства, едко и доказательно разоблачая их неспособность справиться с новыми задачами, поставленными Петром I.

В историческом споре между западниками и славянофилами Ключевский, критикуя слабости и крайности тех и других, все же отдавал предпочтение первым, хотя и не относил себя к их числу. Его позиция — это позиция историка, глубоко убежденного в исторической целесообразности и необходимости петровских преобразований. Тем большее сожаление вызывает у него искажение замысла Петра при бездарных премьерах царя-преобразователя. Между прочим, Ключевский вовсе не считал его пионером в распространении иноземного влияния в России. Если уж искать истоки «порчи», о которой любили поговорить сла-

вянофилы, то Ключевский отсылает их к 988 году, когда Русь приняла византийскую (то есть чужую, иноземную) религию. Идейный же раскол в русском обществе произошел не при Петре, а гораздо раньше — при Алексее Михайловиче. Излагая мысль Петра, Ключевский отмечал: зачем говорить об опасности европеизации России? «Речь может быть только о том, чтобы не пропустить своей очереди. Науки Греции посетили Западную Европу, посетят и нас, если мы приготовимся принять их. Они — всемирные гости, принадлежат нам столько же, сколько и Европе, только стали принадлежать ей прежде, чем нам».

Петр, по убеждению Ключевского, думал вовсе не об онемечивании или офранцуживании России, а о том, чтобы превратить ее в современное государство. И единственный путь к этому он видел в просвещении, в частности во внедрении европейских достижений в области науки, техники, культуры, социальной жизни. Не вина Петра, что после его смерти разумное заимствование достижений европейской цивилизации превратилось подчас в слепое подражание, дошедшее даже до отказа определенной части просвещенного общества (в основном дворянства) от родного языка. Преемники Петра свели его дело главным образом к заимствованию «приятного». Ключевский подчеркивает различие в характере заимствований при Петре и после него: «...при Петре преимущественно технические средства и удобства, после Петра и до конца XVIII в. преимущественно увеселения, украшения, обычаи светского общеджития, нравы, вкусы, чувства...»

Стремление исключительно к удовольствиям, переродившееся в неспособность к созидательной деятельности, стало, по мнению Ключевского, характернейшей чертой российского дворянства и в какой-то степени всего тогдашнего общества — общества, которое «желает есть, не потрудившись», где «вошло в привычку жаловаться на централизацию, на стеснение общественной самостоятельности, на недостаток прав и не пользоваться тем, что дано, пренебрегать обязанностями». «Каким-то непостижимым и неожиданным образом, — продолжает историк, — западное влияние из культурного средства превратилось у нас в патологический симптом, в источник болезненных возбуждений».

Сам спор славянофилов и западников представлялся Ключевскому патологическим явлением в русской общественной жизни. Говоря о XVIII веке, Ключевский раздраженно подчеркивает: «Западная культура для нас вовсе не предмет выбора: она навязывается нам с силой физической необходимости. Это не свет, от которого можно укрыться, — это воздух, которым мы дышим, сами того не замечая. Но и в воздухе не все здорово, и им надо уметь дышать, наблюдать его химический состав и температуру. Мы не будем открывать кровообращения, потому что оно уже открыто Гарвеем, не будем искать бактерий, потому что они уже найдены Пастером».

Как и Петр, Ключевский считал, что дальнейшее замыкание в себе, пребывание на задворках Европы было чревато для России

опасным отставанием. А неразвитая страна — легкая добыча для иноземных захватчиков. Отсталость могла обернуться утратой национальной самостоятельности, что случилось, к примеру, со многими азиатскими соседями России. Реформы Петра, по убеждению Ключевского, превратили Россию из пассивного объекта в активный субъект европейской политики, в великую континентальную державу.

...Россия и Запад. Эта тема (далеко не единственная) проходит через всю книгу, в которой любители отечественной истории найдут множество глубоких мыслей и интереснейших суждений.

П. Черкасов,

кандидат исторических наук



А. Е. БЕЖИН. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III—VI веков. М. «Наука». 1982. 221 стр.

Трудно определить жанр рецензируемой книги — в ней содержатся элементы литературоведческой работы, философской публицистики и научного исследования. В свободной эссеистской манере автор увлекательно рассказывает об интересном социокультурном феномене раннего китайского средневековья (периода Шести династий) — стиле жизни творческой интеллигенции, вошедшем в историю под названием «ветер и поток» («фэн лю»).

«Когда познакомишься с жизнью образованного человека в Китае III—VI вв., — пишет Л. Бежин, — бросается в глаза обилие странных поступков, вызывающих жестов, эпатирующих высказываний, словом, всевозможной эксцентрики и буффонады, заставляющих задаться вопросом: а объединяется ли все это пестрое разнообразие во что-то цельное? Иначе говоря, было ли это просто анархией или же за этим стоял определенный стиль поведения, продиктованный своеобразной этикой?» Действительно, многое в образе жизни целой плеяды китайских художников того времени — поэтов, писателей, живописцев, философов (зачастую это были различные ипостаси одного и того же человека) — напоминало эскападу: намеренное бравирование поступками, противоречивыми общепринятым нормам морали, сознательное небрежение общественными обязанностями, шумные застолья, нарушавшие строгий официальный этикет, и т. п.

В образном, мегафоричном выражении (характерном для китайского мышления вообще) все это именовалось «ветром и потоком». «Фэн лю» обозначало своего рода символ психологической модели поведения — самовыражение свободной, не связанной условностями и запретами творческой личности.

Последователи «фэн лю» шокировали современников: они могли считать единственной ценностью жизни лишь приятный досуг,

воспевать прелесть вина, которое являлось для них «мировоззренческим фактором», наряду с респектабельным костюмом — «формой» аристократа по тогдашнему этикету — носить грубую крестьянскую обувь и простую шляпу с бамбуковыми полями. В сущности же, представители «ветра и потока» проповедовали естественное поведение, навеянное, по-видимому, даосскими категориями «цзыжань» («естественность») и «увэй» («недеяние»). «Желая жить, я ничего не делаю, чтобы жить, — говорили даосы, — не желая смерти, я не отказываюсь от нее. Презирая, я не впадаю в ненависть; цenia, я не радуюсь. Принимай то, что дано Небом, и будешь спокоен».

В учении даосов большую мировоззренческую и этическую нагрузку несло различие естественного (природного) и искусственного (человеческого). Понятие «недеяние» означало следование естественному ходу вещей, «дарованному» природой; под «деянием» же понималось навязывание обществу и отдельному человеку противоестественных установлений и наклонностей. Неудивительно поэтому, что движение «фэн лю» включало в себя идеал отшельничества, которое интерпретировалось как возвращение к подлинным нравственным ценностям, умение замечать красоту в том, что окружает человека, прежде всего в природе.

Апология человеческого бытия, самоценность человеческой жизни — вот что отличало деятелей китайской культуры, ставших приверженцами стиля «ветер и поток», направленного против насаждавшихся официальной идеологией (конфуцианством) жестких ограничений личной свободы индивида. Как справедливо пишет Л. Бежин, человек почувствовал себя независимым от воли Неба и в мрачном, «перевернутом» мире, полном социальных контрастов, предавался наслаждению жизнью. «В этом нет парадокса, — развивает свою мысль автор, — отчаянный пессимизм и эпикурейство причудливо соединились во времена Шести династий. Именно в их синтезе обнаруживали себя великие ценности китайской культуры, еще столь непривычные для средневекового китайца, который привык, что долг сына — подчиняться родителям, а долг подданного — служить государю. Речь идет о ценностях человеческой свободы; одним из первых всплесков ее в душе человека Шести династий и стало движение „ветра и потока“».

Л. Бежин настойчиво и плодотворно разрабатывает малоисследованные пласты китайской культуры. Еще в 1980 году он опубликовал работу, посвященную видному деятелю «фэн лю» — Се Линьюню. В новой книге предметом рассмотрения становится уже все движение «ветра и потока» — наклонности, пристрастия, симпатии, мироощущение многих представителей интеллектуальной элиты раннего средневековья. Собранные в единое целое и осмысленные автором сведения, по сути, превращаются в завершенную картину, дающую срез художественной культуры Китая в описываемое время. Достоинство книги состоит также и в том, что каждый ее раздел включает небольшую антологию древних текстов: жизнеописания из династийных историй, лирические стихотворения.

Серьезные, основывающиеся на богатом фактическом материале размышления о китайской литературе, живописи, философии, культуре, яркая, образная манера письма привлекут к книге Л. Бежина внимание широкой читательской аудитории.

В. Буров,
кандидат философских наук.



ДАНИИЛ КРАМИНОВ. Люди и ракеты.
М. «Советская Россия». 1983. 112 стр.

Новая книга Даниила Краминова «Люди и ракеты» содержит объемный репортаж-публицистический материал. Осенью 1979 года вместе с представителями организаций, выступающих за мир в Западной Европе, автор побывал в США в связи с завершением там эстафеты мира, стартовавшей в Голландии. Рассказ об эстафете интересен сам по себе, однако Д. Краминов повествует о ней на фоне событий, чья логическая цепь продолжается и в наши дни. Событий, имеющих исключительно важное значение, в первую очередь для Европы, но не только для нее, поскольку все происходящее на нашем древнем континенте прямо касается судеб всего мира.

Речь идет о напряженной борьбе вокруг уже осуществляемого американского проекта насыщения Западной Европы новыми видами оружия массового уничтожения — «Першингами-2» и крылатыми ракетами, нацеленными на Советский Союз и другие социалистические страны.

Д. Краминов показывает однонаправленность курса двух последних администраций США, подчеркивая отступничество президента Картера от им же подписанного в июне 1979 года в Вене Договора ОСВ-2, отмечая еще большую милитаристскую одержимость рейгановской администрации. Будь это в ее силах, «холодная война» возобновилась бы в еще более широких и опасных масштабах, чем в конце 40-х — начале 50-х годов.

«Длинный, долгий, трудный, но вдохновляюще благодатный и нужный» был путь эстафеты мира летом — осенью 1979 года, начавшийся в Амстердаме и закончившийся в штаб-квартире ООН вручением деклараций двадцати двух стран, призывающих к разоружению, подчеркивает автор книги. Символ единого мира — глобус эстафеты — побывал и в Москве.

Осенью того же года Д. Краминов присутствовал на антивоенной конференции в университете Джорджа Вашингтона, что недалеко от Белого дома. Вечером участников встречи пригласили в лютеранскую церковь рядом с Капитолием. В молитвах и проповедях, как и в речах на конференции, переплетались безоговорочное осуждение гонки ядерных вооружений и призывы к сдержанному или негативному отношению к ядерной энергии вообще. Однако большинство ораторов были единодушны: ракетно-ядерную

гонку необходимо обуздать. После молебна, уже поздно вечером, служки вручили каждому по зажженной свече, и была организована процессия к Белому дому. Одна из многих манифестаций, растекающихся живительными ручьями, потоками и по Америке и по другим континентам.

Как бы ни нагнетали напряженность фабриканты смерти и их политические эмиссары, им не остановить людей, поднимающихся в защиту священного права на жизнь. Напротив, усиление военной угрозы, принятое Рейганом решение о размещении в Европе «Першингов» и крылатых ракет будет неизбежно вызывать и усиление борьбы за мир со стороны миролюбивых правительств и общественности. А об акциях КПСС, советской дипломатии можно смело говорить как о подлинном мирном наступлении. Под знаком этих акций и инициатив прошел весь 1983 год, заложивший основу для последующих действий в защиту устоев мира как в европейском масштабе, так и в глобальном.

То, о чем пишет в своей книге Д. Краминов, подтверждает, что «глубоко антинародная по замыслу, крайне авантюристическая по практическому осуществлению политика нынешнего правительства США встретила сопротивление со всех сторон, кроме военно-промышленного комплекса, диктаторских режимов, фашистских и реакционных партий и групп».

В будущее мы можем и должны смотреть с уверенностью и оптимизмом. И многое в определении политического климата планеты в предстоящие годы будет зависеть от степени активности, организованности, сплоченности миролюбивых сил.

Викентий Матвеев.



АНАТОЛИЙ АГРАНОВСКИЙ. Совершенно не секретно. М. «Советская Россия». 1983. 86 стр.

«Когда хочешь поразить движущуюся цель, стрелять надо с упреждением» — прочитав это у Аграновского, я вспомнил артиллерийский полигон сорок пятого года, где мне, свежеепеченному младшему лейтенанту, довелось обучать теории стрельбы «богов войны», прошедших путь от Сталинграда до Берлина, годящихся своему взводному в отцы. Тягач на длинном тропе тащил фанерные макеты «тигров», а я злился, что наводчики никак не могут усвоить формулу упреждения. Решил сам показать, но вышел конфуз: выстрелил дважды и промахнулся. Тогда к орудию подошел сержант и неспешно начал крутить ручки подъемного и поворотного механизмов. Выстрел — «танк» вдребезги! Еще выстрел — только щепки полетели! «Мы теория не обучены, — сказал сержант, — мы по-деревенски...»

С тех пор я крепко запомнил: мало знать формулу, надо еще уметь стрелять с упреждением. Если оглядеть поля наших экономических сражений — область, больше

всего занимающую Анатолия Аграновского, — то нетрудно обнаружить во многих случаях неплохое знание правил при огорчительной пальбе мимо. Построили завод — позабыли о жилье, «потекли» кадры. Отпраздновали выпуск энергоблока, а корпус станции для него завершат через два года. Магазин забит товарами, но их не берут — изменилась мода. Автор умеет срывать оболочку фальшивого благополучия. А что под ней? Удар писательского скальпеля, разрез, и мы видим: недомыслие или болтовня. Публицист находит точные слова: «Бесхозяйственность не одолеешь беспорядком»; «...порядок не стоянка, а расписание движения. Оно убыстряется, и тупое пристрастие к единожды установленному вносит не меньше смуты, чем бездумная страсть к переменам»; «Организм должен работать сам по себе, а не так, чтобы проглотил кусок и ждал сигнала пищевода: „Проталкивай!“ Потом команду сверху: „Начать подачу желудочного сока!“ И звонок снизу: „Желчь не завезли!“»

Понятно, скажет догадливый, это книга о чинушах, головотяпах, дураках. Ошибаетесь!! «Писать я намерен преимущественно о хороших людях. Но уже в похвале таится сравнение. Если они поразили меня, значит, не все работают так». Писатель, симпатизирует тем, кто прокладывает новые дороги в развитии отечественной экономики, людям одержимым, бесстрашным, не единожды битым за свое бесстрашие. Его герои из тех, кто живет «по закону велосипеда: пока едешь — стоишь, остановился — упал». Рабочие, специалисты, руководители — они при всей пестроте своих характеров и судеб в чем-то подобны друг другу. Схожи, допустим, с оригинальной личностью — инженером Костюковым, автором «безумной» идеи вести монтаж под раскаленными слитками: сидел под этим страшным грузом безвылазно, пока не смонтировали. В условиях реконструкции оправданный расчетом риск оказался лучшим способом выиграть время. Под свою галерею портретов публицист подводит общий знаменатель: эти люди не временщики, не рабы обстоятельств, а творцы их.

И опять догадливому ясно: проповедь благости, писатель зовет подражать своим героям, лепить с образцов жизнь. И снова — ошибочка, не то! Аграновский говорит: «Я был бы бесчестный человек, если бы призвал сейчас читателей следовать этому примеру». Он уважает людей поступков, но не каждый способен прорываться сквозь джунгли бюрократических параграфов, консервативных традиций управления, ведомственной амбициозности, равнодушия, непонимания, подозрения. Давно уже сказано: инициатива — наказуема. Из частной жизни своих героев автор выводит общезначимые проблемы. Почему заботящиеся о всеобщем благе нередко поставлены в худшие условия? Откуда идет и куда ведет мания запретительства, «тяга секретить неудобное»? «Вот что, говоря по совести, более всего тревожит меня».

Книга Аграновского — о незаурядных людях, оказавшихся в тисках устаревшего хозяйственного механизма, которому они могут противостоять лишь в силу своей не-

заурядности. А надо бы противостояние исклочьить, механизм сам должен продуцировать инициативу. Пример идущих впереди говорит о необходимости изменить условия для всех последующих. Обо всем этом — «совершенно не секретном» — у Аграновского сказано с откровенностью, требующей от автора и его героев гражданского мужества.

В который раз убеждаюсь: Анатолий Аграновский умеет стрелять с упреждением. «Хорошо быть первым» — слова из программной его книги «А лес растет». В 60-х годах писатель-публицист первым обратил внимание общества на положение «сервантов индустрии» (выражение с тех пор стало нарицательным), на то, как дорого обходится «растрата образования» (тоже вошло в языковой обиход), на опасность «примитивного меркантилизма». Позже он познакомил нас со многими людьми, имена которых ныне знает вся страна. И вот, не изменяя себе, первым — всерьез о реконструкции: «Мы не можем бесконечно строить новое. Как ни велика держава, а граница есть, и других земель не предвидится. Как ни велик народ, а сосчитан... Реконструкция — вот то единственное слово, которое в ущерб стилю придется мне все время повторять».

Лично я не нахожу, что в ущерб стилю. Новая книга написана увлекательно и тонко, населена запоминающимися людьми, богата афоризмами, достойными перечня «мудрых мыслей». Коллеги-публицисты знают слова Анатолия Аграновского, получившие в профессиональной среде широкое хождение: в наше время хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Простим мастеру некоторое лукавство. Сам-то он, конечно же, пишет не хуже, чем мыслит: владеет сюжетом, требователен к фразе, имеет вкус к деталям. Но главным для него остается игра ума.

Что такое книга? Есть шуточный «критерий Марка Галлая»: если стоит на ребре — книга, падает — брошюра. В отличие от толстых книг Аграновского («А лес растет», «Детали и главное», «Своего дела мастер») новая работа маленькой задумывалась изначально: таково требование серии «Писатель и время». На ребре «Совершенно не секретно» не стоит. И все-таки это книга! На восьмидесяти шести страницах автор увлекательно рассказал о хороших людях и вместе с ними дал бой самодовольной лжи.

Александр Левяков.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Капитал. 905 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Икрамов. Все возможное счастье. Повесть об Амангельды Иманове. («Пламенные революционеры») 383 стр. Цена 1 р. 40 к.

Современная Испания. 383 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Толкунов. Фарисейство. Империализм США против народов Латинской Америки. 192 стр. Цена 35 к.

Феликс Эдмундович Дзержинский Биография. Изд. 2-е, дополненное. 494 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Я. Авижюс. Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского. 495 стр. Цена 2 р. 90 к.

Л. Гинзбург. «Разбилось лишь сердце мое...» Роман-эссе. 255 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Орлов. Происшествие в Никольском. Альбтист Данилов. Романы. 592 стр. Цена 3 р.

Ю. Рытхэу. Полярный круг. Повести, современные легенды. 592 стр. Цена 2 р. 50 к.

Д. Урнов. Приз Бородинского боя. Рассказы и повести. 271 стр. Цена 1 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Белаяснас. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Цветут розы алые. Роман. Перевод с литовского. 352 стр. Цена 1 р. 50 к.

Поэзия Бразилии. Перевод с португальского. 332 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Рауд. Избранное. Рынок, топор и луна. Романы, Рассказы. Перевод с эстонского. 575 стр. Цена 2 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Бондарев. Мгновения. Миниатюры. Изд. 3-е, дополненное. 414 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Крипалани. Рабиндранат Тагор. Перевод с английского. («Жизнь замечательных людей») 287 стр. Цена 2 р.

Н. Матвеева. Страна прибор. Книга стихотворений. 110 стр. Цена 50 к.

Налет мотоциклистов. Рассказы американских писателей. 237 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Петров. Хрустальный глобус. Повести. 301 стр. Цена 85 к.

«СОВРЕМЕНИК»

Н. Верещагин. Крутая гора. Роман. 397 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Огнев. Годовые кольца. Дневник критика. 1975—1980. 335 стр. Цена 80 к.

Г. Фридендер. Литература в движении времени. Историко-литературные и теоретические очерки. 300 стр. Цена 85 к.

«ИСКУССТВО»

В. Березина. Французская живопись первой половины и середины XIX века в Эрмитаже. 255 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Караганов. Всеволод Пудовкин. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. («Жизнь в искусстве») 313 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ю. Эдлис. Диалоги. Драммы, притчи, комедии. 453 стр. Цена 1 р. 50 к.

«НАУКА»

И слышно море. Поэты Японии, Австралии, Африки, Вост. Индии. XX век. Перевод с японского и английского А. Сергеева; Предисловие Е. Мелетинского. 150 стр. Цена 65 к.

В. Ковский. Литературный процесс 60—70-х годов. Динамика развития и проблемы изучения современной советской литературы. 336 стр. Цена 2 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Балтрушайтис. Дерево в огне. Стихи. Вступительная статья А. Туркова. Вильнюс. «Вага». 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Гроссман. Да святится имя твое! Роман. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 496 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ж. Санн. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 159 стр. Цена 1 р. 70 к.

Сорок девушек. Каракалпакская народная поэма. Записана со слов сказителя К. Тажбаева в переложении А. Тарковского. Нукус. «Каракалпакстан». 358 стр. Цена 7 р. 20 к.

Шолом-Алейхем. Счастье привалило! Повесть и рассказы. Перевод с еврейского. Хабаровск. Книжное издательство. 176 стр. Цена 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 26.10.83 г. Подписано к печати 26.12.83 г. А 04250.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
26,84 уч.-изд. л. Тираж 380.000 экз. Зак. 3683.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радлинка Украина», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 06520.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 1, 1—272.